

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Людмила Басова	Синие звезды Европы, зеленые завезды Азии. Роман	3
Николай Кузнецов	Маленькие смерти под абрикосовыми небесами. Повесть	136
Володимир Короткевич	Маленькая балерина. Оповідання. Пер. з білоруської Данила Кононенка	170
Анатолий Николин	Новая жизнь. Рассказ	187
Валерий Басыров	Цветы. Сплюшка. Рассказы	193
Валентина Селиванова	Троянский конь. Рассказ	200

ПОЭЗИЯ

<i>К 150-летию начала Крымской войны 1853–1856 гг.</i>		
Стихи о Крымской войне А.Майкова, Л.Толстого, Н.Некрасова, А.Толстого, П.Вяземского, А.Апухтина, А.Фета, И.Анненского. Составитель, авт. вст. ст. и примечаний В.Коробов		203
Федор Тютчев, Игорь Ляпин, Владимир Коробов , Вячеслав Егизаров , Константин Кинелев , Александр Рудь , Вилиор Бухарцев , Адольф Зиганиди , Татьяна Зыкова , Владимир Куликов . Стихи		215

ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Виктория Прокофьева	Столп света. О романах В. Бахревского «Столп» и «Тихон»....	262
Владимир Коробов	В полосе отчуждения. Размышления о прозе Станислава Славича	270
«Поэт с чисто крымской палитрой».	Две рецензии на книгу В.Егизарова «Бегство талой воды»:	
Владимир Коробов	Всерьез и взаправду	275
Владимир Карпичев	Певец Южнобережья	277

ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

Олександр Губар	Зачарований мовою «синьоокої сестри України». Перекладач з білоруської Данило Кононенко	281
-----------------	--	-----

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Наталья Ничипорук	А.П.Чехов и В.Г.Короленко. К 150-летию В.Г.Короленко	285
-------------------	--	-----

КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ

Александр Маленко	«Ялта... производила на меня удручающее впечатление». Афанасий Фет в Крыму	293
-------------------	---	-----

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Александр Потапенков	В поисках истины. Эпоха Перикла и роман Анатолия Домбровского «Перикл»	297
Михаил Колесов	Смутное время и Романовы	313
Феликс Лазарев	Славянское древо: книга судеб. Часть 5. Внимать бытию	348

АРХИВНЫЕ ПОИСКИ И НАХОДКИ

Сергей Филимонов	Отец и сын Вернадские в Крыму в годы гражданской войны	365
------------------	---	-----

МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ

Аза Пальчикова	Магия созвучия красок и линий Элеоноры Щегловой	372
----------------	--	-----

ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА

Геннадий Шалогин	«Мудрые звери». Крещенский обряд балаклавских греков в зеркале русской литературы	384
------------------	--	-----

КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2004 г.		393
--	--	-----

*Издание выходит при финансовой поддержке
Верховной Рады и Совета министров Автономной Республики Крым*

*Автор проекта, основатель и главный редактор
журнала «Брега Тавриды» с 1991 по 2002 год —
писатель, философ, академик,
почетный крымчанин
ДОМБРОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ*

Главный редактор — ДОМБРОВСКАЯ Г. С.
Зам. главного редактора — БАХРЕВСКИЙ В. А.
Зам. главного редактора — РЯБЧИКОВ Л. А.

Правление журнала:
БАХРЕВСКИЙ В. А.
ДОМБРОВСКАЯ Г. С.
ПАНАСЕНКО Л. Н.,
ПОТАПЕНКОВ А. В.,
РЯБЧИКОВ Л. А.,
СЛАВИЧ С. К.,
ТЕРЕХОВ В. П.,
ШАЛЮГИН Г. А.

Исполнительный директор О. Я. ХМЕЛЕВСКАЯ.

Учредитель: Союз русских, украинских и белорусских
писателей Автономной Республики Крым.

© Журнал «Брега Тавриды», 2003 г.

Компьютерный набор, верстка и техническая редакция Н. А. БОНДЯКОВОЙ

Снимки И. Красовского и О. Кожуховского

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За достоверность приведенных в материалах сведений и за правильность цитат отвечают авторы. Мнения редакции и авторов не всегда совпадают. Переписку с читателями редакция не ведёт. Перепечатка только с разрешения редакции.

Безгонорарное издание.

Адрес редакции: 95000, г. Симферополь, ул. Горького, 7. Телефон 27-87-42

Сдано в набор 09.09.03. Подписано к печат30.10.03. КМ 102.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.
Заказ № 4761. Тираж 1000 экз. Цена договорная.

Набрано и отпечатано в ОАО "Симферопольская городская типография"
95011, г. Симферополь, ул. Горького, 8.

Людмила БАСОВА

СИНИЕ ЗВЕЗДЫ ЕВРОПЫ, ЗЕЛЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ АЗИИ

*Незабвенному мужу Леониду Пащенко
посвящаю.*

Роман

ГЛАВА I

Полуживая возвращалась Алина с грузовой станции «Душанбе-2». Туда и в добрые времена было трудно добраться. Доехать до конечной 15-го автобуса, а потом своим ходом, никакого транспорта. Правда, можно было взять такси или остановить попутку. Но теперь ни автобусов, ни такси. Попутки, правда, нет-нет, да встречаются на дорогах, только садиться в них опасно. Сядешь — и все, с концами. Разъезжают в автомобилях в основном исламские боевики. Мирные жители попрятались по своим норам, без особой необходимости на улицу не выходят. Но у Алины такая необходимость была: три месяца назад заказали контейнер, и ни с места. Вот и сегодня ей опять сказали, что очередь не продвинулась, контейнеры из России долго не возвращаются, а желающих уехать из мятежной республики все больше и больше.

До дома уже рукой подать, уже почти дошла, но сил не было. Отекли, устали ноги. Да и жара сегодня — за тридцать перевалило, а ведь всего-то начало марта. Вот и решила Алина зайти в магазин, перевести дух. Покупать ничего не собиралась, да там ничего и не было, но когда-то в этот магазин поставляли продукты для диабетиков, — дефицитную гречку, сладости на ксилите, тушенку, а то и постную говядину. Обустроен он был по-особому. Вдоль всей стены, напротив прилавка, удобная мягкая скамейка, чтоб могли больные люди, часами стоявшие в очереди, посидеть, передохнуть. Да и знакомый продавец Салим нравился Алине: не было в нем ни хамства, ни угодливости, столь сочетаемых в доблестных работниках прилавка времен застоя. Кроме того, Салим, как заметила Алина, с особым почтением относился к людям образованным, ученым, а значит, ко всем жильцам писательского дома, как его называли в народе: построен дом на средства литфонда. Ее, Алину, иначе, как муаллима*, не называл.

* Муаллима — учительница, наставница.

Слава Богу, магазин открыт. Салим скучает за прилавком, а самое главное — прохладно.

— Добрый день, Салим! Можно у тебя передохнуть? Салим приветливо улыбнулся.

— Отдыхай, муаллима. Видишь — продуктов нет, покупателей нет. Зато можно чай попить, у меня горячий.

— С удовольствием выпью, Салим, в горле пересохло.

Наливая зеленый чай в пиалу, скороговоркой стал говорить положенные приветствия в форме вопроса: все ли у вас хорошо, здоровы ли родные, как чувствует себя хозяин?

Алина кивала головой, в свою очередь, осведомляясь о здоровье самого Салима и его семьи. Усталость отпускала, Алина блаженно расслабилась, не сразу восприняв вопрос:

— Квартиру, муаллима, продали?

Сразу же внутренне подобралась и, отставляя пиалу со словами благодарности, не торопилась отвечать. Ее уже не раз предупреждали: с этим поосторожней. Говорить надо — либо уже продали, либо вообще не собираемся. В микрорайонах продать жилье было практически невозможно, разве уж совсем за бесценок, чтоб хватило на отpravку контейнера и билеты на самолет. Но за их квартирами в элитном доме велась настоящая охота. Посмотрела в лицо Салиму, встретила глазами и сказала, как есть:

— Еще не продали, но договорились с надежным человеком.

Надежным человеком был их давний друг, Шавкат Гулямов, врач, преподаватель мединститута. За то время, пока подойдет очередь с контейнером, он собирался подзанять у родни денег. Конечно, квартиру можно было продать дороже, но рисковать Алина с мужем не хотели. Кроме того, что Шавкат свой, порядочный человек, его зять, летчик, обещал пронести с собой в самолет доллары, отдать их уже в Москве. Ведь устроили идиотизм: продавать квартиры можно, а вывозить доллары — нет.

— Куда едете, муаллима?

— Во Владимир. У нас там сын живет.

— Сын — это хорошо, — вздохнул Салим. — У меня пятеро детей и все дочери. Я их всех хотел выучить, всех... А-а-а, — махнул рукой Салим, и Алина увидела, как запечалилось его лицо, как сжались, легли в скобочку полные губы.

— Ничего, Салим, может, все еще образуется, — произнесла Алина дежурную фразу, от которой самой стало неловко. Сейчас спросит — чего ж, мол, съезжаете-то?

Но он заговорил о другом.

— Муаллима, я почему про квартиру спросил... Если уезжаете, у меня родственник — таможенник, начальник. Не самый главный, но может помочь с контейнером. И чтоб досмотр не производили.

— Наверное, сам Бог мне сегодня подсказал: загляни к Салиму, — обрадовалась Алина. — Только что с контейнерного двора. Третий

месяц на очереди — и ни с места. А что досмотр, так мы не боимся, ничего неположенного вывозить не собираемся.

— Вы не знаете, муаллима... Контейнеры у русских так просто не пропускают. Скажут — все выбрасывайте на землю, а потом начнут: это нельзя, это нельзя, хотя можно. Вы все сложите хорошо, а потом они так запахают, что половина не влезет.

Алина согласно кивала, — она уже не раз слышала о бесчинствах на таможне.

— Только знаете, за это платить надо... — Салим перешел на шепот, хотя в этом не было никакой необходимости. Время от времени в магазин заглядывали какие-то люди, но, увидев витрины, заставленные банками с виноградным соком и зелеными помидорами, тут же разворачивались обратно.

— Это понятно, Салим. Кто же станет делать бесплатно? Не беспокойся, деньги у нас есть, сын передал. А сколько надо, не знаешь примерно?

— Он сам скажет. Мы пойдем вместе, договоритесь.

— Дай Бог тебе здоровья. Будем ждать.

— Хозяину привет передавайте, — Салим вышел на порог, провожая Алину.

Домой Алина вернулась в хорошем настроении, дверь открыла своим ключом, чтоб не беспокоить мужа. Константин Леонидович сидел в кресле, на подлокотнике дымилась в пепельнице сигарета. Лицо мужа было отстраненно задумчивым, взгляд обращен внутрь себя. Алина глянула на беспорядочно разбросанные по столу пожелтевшие газеты и журналы и догадалась, в каких даях он сейчас витает...

Десять лет назад Константин Леонидович попал в автомобильную катастрофу, с тех пор хромал, ходил, опираясь на трость. Три операции мало чем помогли: левая нога так и осталась короче, не гнулась в бедре. Тем не менее, в мирное время он не очень страдал от своей хромоты. Они жили в самом центре Душанбе, все было под рукой: редакция литературного журнала, в котором он уже лет двадцать трудился, в нескольких минутах ходьбы от дома, рядом автобусная и троллейбусная остановки. По субботам, как правило, объезжал все книжные магазины города, а в воскресенье отправлялся на Зеленый базар, хотя Путовский базар находился на одной улице с ними, надо лишь пройти по подземному переходу. Просто Зеленый был живописнее, богаче, торговали там в основном узбеки, а не таджики, и Константин Леонидович, покупая приправы к плову или свежую зелень, иногда подолгу беседовал с ними на узбекском языке... Теперь, когда встал общественный транспорт, а на улицу стало опасно выходить и здоровым-то людям, он словно обезножел. Все хлопоты, связанные с отъездом, легли на Алину, и муж чувствовал себя не у дел, переживал, что не может помочь, хотя это было не так. Целыми днями он упаковывал в коробки книги, разбирался с архивом. Они давно уже были профессиональными литераторами, больше, правда, переводили, чем писали и из-

давались сами (особенности национальной политики в республиках Союза), но архив Костя собирал еще с журналисткой юности, еще с тех времен, когда работал в Узбекистане собкором молодежной газеты в Голодной степи. Причем, хранил не только номера со своими поэтическими подборками, но и с репортажами, очерками, а также первыми рассказами Алины.

— Милый, ты где, ау? — позвала Алина.

— Слава Богу, вернулась, — встрепенулся Константин Леонидович. — Вроде тихо, не стреляют, а все равно, как уйдешь, места себе не нахожу...

— Да брось ты... Все хорошо. Лучше расскажи, в каких даялях витал? Взяла в руки газету.

Ага, «Комсомолец Узбекистана». И что же здесь за красавец?

Константин Леонидович действительно был, как выражалась одна из приятельниц Алины, красив до неприличия. Даже сейчас, когда уже перешагнул пятидесятилетний рубеж и стал совершенно седым. Но это была зрелая, отточенная временем, освещенная пережитым красота. А здесь, на черно-белом, уже выцветшем снимке, он был чудо как хорош. Стоял на фоне бескрайней степи, чуть-чуть задрал голову, с улыбкой во все лицо, с раскинутыми в стороны руками, словно собираясь взлететь. Екнуло, забилось часто-часто сердце... Вот таким Алина повстречала его почти тридцать лет назад. Повлажневшими глазами пробежала по строчкам стихотворения под заголовком: «Степь моей юности»

Дни так горячи, ночи так коротки,
Дороги, как ветер, внезапны.
Я люблю вас, вагонные городки,
Поезда, уходящие в завтра...

Дальше читать не смогла, да в этом и не было необходимости: она помнила его наизусть.

Через день пришел Салим вместе с родственником — суетливым, маленьким человеком неопределенного возраста по имени Бахтиер. Тот походил по квартире, раскрыл несколько коробок с книгами, пострелял глазками направо-налево, спрашивая при этом, правда, скорее с утвердительной интонацией: оружие не везете, наркотиков нет, да? Договорились. В пятницу после обеда приедет машина с контейнером, останется на ночь, грузите спокойно, не торопитесь. Утром подойдет водитель, вы поедете вместе с Салимом, там будет Сайд, скажете ему, что Бахтиер сам все смотрел. Деньги давайте сейчас.

Взяв деньги, все-таки осведомился:

— Квартиру продали?

— Продали, — ответила Алина, выразительно глянув на Салима. Тот незаметно кивнул: понял, мол...

— Жаль-жаль, — покачал головой Бахтиер. И вдруг накинулся на Салима: — Ты знал, почему не сказал?

— Он не знал, — вступилась за Салима Алина. Посмотрела на ставшее злым лицо Бахтиера, на мелкие хищные зубы, вдруг прикусившие нижнюю губу, и подумала: Господи, как хорошо, что не стали гоняться за ценой, ждать «дорогих» покупателей. Хоть бы все получилось с контейнером...

Если бы не бесценная библиотека, которую они с Костей собирали всю жизнь и где не было ни одной случайной книги, ни за что не стали бы связываться с контейнером. Мебель допотопная, телевизор и холодильник тоже свое отслужили. Но коль уж все равно проходить через эти тернии, то Алина решила брать все, вплоть до мелкого кухонного скарба. Еще неизвестно, как сложится жизнь там и будет ли на что покупать те же ложки-плоски...

Грузили до позднего вечера. Пришли помогать те из друзей, кто еще оставался в городе, но основной рабочей силой были соседи — причем, самого разного возраста — от десятилетних мальчишек, подтаскивающих что полегче, до пожилых мужчин. Они же и дежурили до утра во дворе, стерегли контейнер.

Утром Алина села в «Жигули» к Салиму, и они поехали вслед за грузовиком...

К ним сразу же подошел таможенник — коренастый, в камуфляжной форме. Некрасивое, смугло-кирпичное лицо, мало похож на таджика: глаза узкие, нос приплюснутый, с вывернутыми ноздрями. Уйгуры* в роду подмешаны, — машинально отметила про себя Алина.

Рывком распахнул дверцы контейнера, не глядя на Алину, бросил:

— Выгружать на досмотр сами будете? Если наши грузчики — платить надо.

— Подожди, брат, — подошел к нему Салим и заговорил по-таджикски, — тебя как зовут, уважаемый? Саид-ака, да? Вот хорошо... Бахтиер велел тебе передать, что сам смотрел, мы договорились, что больше смотреть не будут. Спроси у него, если не веришь.

— Э-э, — таможенник покачал головой, — Бахтиера сейчас нет, откуда я знаю...

— Клянусь, брат... Если забыл, давай найдем его.

— Бахтиер, Бахтиер... Родственник, говоришь? Бахтиер хороший человек. Сам живет и нам дает. Не придет он, не надо ждать. Эй, Мумин, — окликнул стоящего неподалеку парня. — Иди сюда, выгружать будем.

Салим беспокойно оглянулся на Алину Николаевну. В отличие от таможенника, он знал, что она понимает каждое слово.

Парень ленивой походкой подошел к контейнеру. Этот был красавец. Матово-смуглый, с правильными чертами лица, с копной густых черных волос и серыми глазами.

Памирец, потомок Александра Македонского. Если верить истории, полководец вырезал в горных кишлаках мужчин и оставлял своих

* Уйгуры — народность в Средней Азии.

воинов для потомства, подумала Алина и тут же одернула себя: Господи, о чем это я? Зачем мне это сейчас?

Подошла к таможеннику:

— Вы знаете, Бахтиер действительно сам делал досмотр. У нас ничего такого... Мы писатели, люди мирные. Только старая мебель и книги. Картин несколько.

Парень спросил:

— Что, Саид-ака, начинать?

Саид, между тем, вытащил аккуратно заложенную между стенкой контейнера и коробкой с книгами картину, разорвал бумагу, в которой она была упакована. Пейзаж в темных, почти в черных тонах был написан маслом на куске старой фанерки.

— Говоришь, картины, да? На картин тоже разрешение министерства культур-мультур надо, не знаешь? — таможенник заговорил теперь по-русски.

— Нет, — растерялась Алина — Но видите ли, это картины, как бы вам сказать... Самодельные. Они не представляют ценности. Только для нас.

— Э-э, все так говорят. Фанера старый, плохой, некрасивый, а потом получится, что это Пикас-с-с, — таможенник победоносно глянул на Алину. — Думаешь, только вы умные, а я тут... ахмак, да?

— Я так не думаю. Только уверяю, что работ Пикассо нет вообще в Таджикистане.

Саид-ака согнул фанерку, она вдруг хрумкнула, и Алине показалось, что также хрумкнуло у нее внутри, около сердца, старая картина была семейной реликвией.

— Саид-ака, брат, так нельзя, так нечестно, Бахтиер обещал, — заволновался Салим.

— Послушай, а ты что для русских так стараешься? Продался, да? А может, ты ее... того? — манипулируя пальцами, сделал неприличный жест. — Что, молоденьких русских мало?

Салим побагровел и пошел на таможенника.

— Салим! — испугалась Алина.

И в это время на другом конце двора раздалась автоматная очередь. Салим остановился. Саид, подмигнув Мумину, ослабилась.

— Послушайте, — Алина держалась изо всех сил. — Давайте по-хорошему. У меня есть деньги. Сколько надо?

— По-хорошему почему нет? — продолжал ухмыляться таможенник, взяв деньги, сказал Мумину по-русски: — Давай, печатай, будем отправлять, — и добавил по-таджикски: — Скажешь ребятам — грузить будут, пусть тряхнут хорошенько. Ей в России дрова нужны будут, печку топить.

В машине Алина заплакала. Салим пытался ее успокоить, оправдывался:

— Муаллима, хлебом клянусь, я не знал, что так будет. Это не

люди... И Бахтиер, родственник мой... Это кучук*, хар*, честное слово...

Алина плакала и повторяла:

— Салим, веришь, сколько помню себя... Сколько помню себя, Салим...

Она хотела сказать, наверное, очень много: о том, что родилась в Душанбе, прожила там почти полвека, что с Таджикистаном связана вся ее жизнь. Но фраза не выговаривалась, не вмещала нахлынувшие чувства, и Алина опять повторяла:

— Сколько помню себя...

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

Моя бабушка Оля вместе со своей сестрой Тоней, которая пришла к нам в гости, пьют чай из блюдец и ведут неторопливый разговор. Мне страсть как хочется послушать, о чем они говорят, и я стараюсь придумать дело, чтобы остаться здесь, на веранде. Беру деревянную колотушку, бидончик, наполненный сметаной, и начинаю сосредоточенно сбивать масло. Теперь уж бабушка не должна прогнать меня на улицу, по опыту зная, что потом не заставит заниматься этим нудным делом. Пристраиваюсь на кровати, за печкой и во все глаза гляжу на бабушку Тоню.

Бабушка Тоня совсем необычная бабушка.

Когда они вместе с моей бабушкой остались сиротами, то присматривала за ними их бабушка, деревенская колдунья. А когда эта совсем старенькая бабушка-колдунья собралась умирать, то долго мучилась и помереть никак не могла, потому что ей надо было освободиться от своего колдовского дара, передать его кому-то. Но передать она могла его только с каким-нибудь предметом. А поскольку никто не хотел становиться колдуньей, то никто к ней и не подходил, хотя она стонала, мучилась и всем протягивала то кружку, то шепотку сена, вытащенного из матраца, то веник, почему-то лежавший рядом с умирающей. Оле было уже двенадцать лет, она все понимала и потому не подходила близко к своей бабушке. А Тоне всего четыре, и только взрослые упустили ее из виду, как она кинулась к бабушке и взяла из ее рук этот проклятый веник. Тогда якобы бабушка-колдунья сказала: «Отпусти, господи», и перекрестила бабушку Тоню, с тем и померла.

Девочек-сироток привели к приходскому священнику, который вроде бы приходился родственником колдунье, но не признавался в этом. Сирот, однако, взял в дом, но все приглядывался к бабушке Тоне, не проявится ли в ней колдовской дар. Дар не проявлялся, девочки росли послушными и трудолюбивыми. И все забыли про завещание

* Кучук — собака.

** Хар — ишак

колдуньи, а вспомнили много лет спустя, когда свершилась уже Октябрьская революция и бабушка Оля вышла замуж, а бабушка Тоня ходила в невестах, и на все окрестные села славилась своей красотой. И полюбил ее красавец-парень, который работал в милиции. И будто бы ему в этой милиции сказали: или женишься на поповской родственнице, или останешься работать в милиции. И он выбрал милицию и женился на комсомолке Даше. И тогда Тоня сказала ему, что будет он всю жизнь ее помнить... Только то и сказала. Но после этих слов стал он сохнуть и из красавца превратился в кощера бессмертного, и никакой доктор не мог найти причину такой сухотки. Бросил работу в органах или его оттуда выгнали, потому что какой же работник из такого высохшего человека, и все время сидел на крыльце у бабушки Тони, а надо сказать, что она после того, как любимый предпочел ей милицию, ушла из дома дяди-священника в одинокую, забитую до тех пор избушку бабушки-колдуньи. Говорят, что комсомолка Даша приходила к бабушке Тоне и просила простить мужа и отпустить от себя. И вроде бы бабушке Тоне стало жалко комсомолку Дашу, она даже заплакала и ответила, что ничего теперь сделать не может.

Тут, я помню, выразила сомнение в том, что комсомолка Даша приходила просить бабушку Тоню. Потому что в ту пору уже была комсомолкой моя старшая сестра Вера, и я знала, что комсомольцам не положено верить в такое. Тогда моя бабушка Оля, не раз рассказывавшая мне эту историю, обижалась и говорила, что если я не верю, то зачем тогда пристаю, и продолжала лишь после того, как я изрядно надоедала ей своим канючаньем.

И вот однажды поутру, выйдя из дома, бабушка Тоня увидела некогда красавца-парня под своим крыльцом мертвым. Она взяла его на руки, ведь он был легонький, как малое дитя, потому что совершенно высох, и отнесла его к комсомолке Даше. Вдвоем они его и похоронили. И бабушка Тоня так и не вышла никогда замуж. А глаз у нее становился все дурнее и дурнее, и поселковые прятали от него и малых детей, и скотину, чтобы ненароком не сглазила.

Но кто бы подумал, что бабушка Тоня уйдет на гражданскую войну и будет санитаркой в отряде красноармейцев. И хоть называлась она просто санитаркой, на самом деле врачевала раны разными травами и даже заговаривала. А красный командир был от бабушки Тони без ума и никогда с ней не расставался. И она отводила от него вражеские штыки и пули. И только один раз, отправляясь в особенно тяжелый бой, уговорил ее остаться, ссылаясь на то, что в отряде много раненых и их нельзя оставлять без присмотра, а на самом деле боялся за бабушку Тоню, потому что любил ее больше жизни. Однако бабушка Тоня разгадала такой маневр и наотрез отказалась остаться. Но командир очень рассердился и сказал, что приказывает ей это как красный командир красному бойцу. И что если она не послушает приказа, значит, изменит делу революции. После этого бабушке Тоне ничего не оставалось делать. Но в этом бою красный командир сло-

жил свою голову. Бойцы принесли его на шинели уже остывшего. И бабушка ничего не могла сделать. А если бы он был еще не остывший, если в нем хоть немножко теплилась бы жизнь, она, конечно, оживила бы его своими колдовскими чарами.

Мне было очень жаль, что к тому времени, когда бабушка Тоня воевала с красным командиром, уже не было в живых высохшего жениха из милиции. Потому что, мне кажется, тогда бы он просто так высох, от жалости и позднего раскаяния. И еще я думаю, что бабушка Тоня тоже полюбила этого красного командира, и, наверное, нарушила бы обет безбрачия, который, по-видимому, дала после того, как высох ее жених. Но, окончательно убедившись после гибели командира, что в любви ей не везет, перестала раз и навсегда о ней даже думать.

Вот такая смелая, не похожая на других бабушек, была бабушка Тоня. И больше всего она была непохожа на свою сестру, мою родную бабушку Олю, которая по характеру была очень мягкая, хотя, конечно, и в ее жизни были поступки решительные и смелые. Взять хотя бы ее замужество...

Ей было пятнадцать лет, когда к священнику в дом пришел хромой, почти тридцатилетний да еще рыжий мастер по швейным машинкам. Увидев хорошенькую сиротку, он через несколько дней прислал сватов. Семья Ивана пользовалась на редкость дурной славой. Его вдовый отец не обвенчался, как положено, с новой молодой женой, а жил с ней как с сожительницей. Причем, эта сожительница не только сама курила, но научила курить двух сестер Ивана, девок-перестарок, которых, может быть, поэтому никто и не засватал, что отец жил невенчаным, да и были они в селе людьми сравнительно новыми, невесть откуда взявшимися, и ко всему этому не ходили в церковь.

И тогда-то, пожалев мою бабушку Олю, кто-то написал священнику записку такого содержания: «Если вам сироту не жалко, то лучше наденьте ей камень на шею да утопите в реке». А река в их селе Рудия Саратовской области действительно была, называлась она Хопер. Но священник, естественно, топить бабушку Олю не стал, а согласился выдать ее замуж. Но что самое удивительное, бабушка Оля не была против. Неизвестно, почему, но и ей приглянулся хоть хромой, хоть рыжий и старый, но все-таки симпатичный мастер по швейным машинкам. В общем, бабушка Оля стала на 16-м году женой моего дедушки Ивана, и, как она говорила, никогда не покаялась в этом. В доме мужа ее жалели и лелеяли, а отец моего деда иначе как кудряшечкой, — потому что бабушка Оля была неистово кудрява, -не называл. Дед был мастеровой, знал немало ремесел, даже печи сам клал, а бабушка Оля родила ему шесть детей, пять девочек и одного сына Николенку.

Дед Иван детей любил без ума, о чем я сама знала, судя по тому, как он любил нас, внуков. Но характер у него был одновременно и очень добрый, и вспльчивый. А ругался он так, как больше не умел никто. Рассердившись, кричал: «Родимец тебя расшиби». Я очень долго думала, что родимец — это что-то вроде сердитого бога, который

должен ударить и расшибить человека. И только став взрослой, узнала, что родимец — это болезнь, которую дед мой призывал на голову разгневавших его людей.

Бабушка Оля рассказывает, что однажды я, лежа в люльке, ни с того ни с сего раскричалась, а она хотела во что бы то ни стало доварить борщ и уговаривала меня ласковыми словами, просила потерпеть. Но я, однако, ни на какие уговоры не шла, и орала что есть мочи. Дед под этот мой крик незаметно вошел в дом. Постояв минутку-другую, грозно осведомился у бабушки Оли, не оглохла ли она, на что та виновато ответила, что хочет доварить обед.

— Ах ты, родимец тебя расшиби! — заругался дед. — Ребенок, значит, разрывается, а ей борщ приспичил!

И, подскочив на хромой ноге, взял кастрюлю и опрокинул ее на-земь. И вся семья осталась без ужина, что по тем временам было очень даже плохо. Но дедушка, тут же успокоившись, сказал:

— Ничего, чайку попьем.

Вспышки такого, часто неоправданного гнева мне не раз приходилось видеть, но я низколого не боялась. Я только ждала, когда дед что-нибудь бросит на пол или крепко стукнет кулаком по столу. Тогда, объясняя бабушка Оля, он отходит сердцем. Она даже старалась под-сунуть ему деревянную миску либо железную кружку, чтоб те не разбились. И подбирала их со словами: «вот и хорошо, и слава Богу...»

И еще был, пожалуй, один решительный поступок со стороны бабушки Оли, в котором, однако, есть кое-какие сомнительные моменты.

Дед мой, который из-за хромой ноги в гражданскую не мог воевать, ушел в дальние края на заработки — плотничать, чинить швейные машинки да класть печи. В это время шли в Рудне ожесточенные бои, и бабушка Оля спасла раненого красногвардейца.

— Захожу в сарай за сеном, корову накормить, — рассказывает бабушка, — слышу, а в сене кто-то дышит. Я перекрестилась: батюшки-светы... Пригнулась: человек весь кровью залитый...

В общем, выходила бабушка красногвардейца. И мне эта история из бабушкиной биографии очень нравилась. Но однажды черт меня дернул спросить:

— Бабушка Оля, а откуда ты знаешь, что это был красноармеец?

Бабушка Оля посмотрела на меня, помолчала и сказала:

— Так мне думалось.

— А может, это беляк был?

— Все может быть, — согласилась спокойно бабушка Оля. — Я тогда про это не думала...

— Да как же так, — заплакала я, — это же был наш враг.

Бабушка Оля махнула рукой:

— Какой там враг... Ему всего-то лет семнадцать было...

Мне хотелось помочь вспомнить бабушке Оле, что это был именно красноармеец.

— Бабушка, — умоляла я. — Ну, подумай, кто тогда отступал?

— Кажется, красные, — неуверенно говорила бабушка. — Или нет, белые... Забыла я...

— Ну, а кто деревню занял, помнишь?

— Вроде зеленые...

Вот такой невыясненный факт остался в биографии моей бабушки Оли.

Но, пожалуй, самым решительным и по-настоящему мужественным поступком со стороны бабушки был отъезд из родной Рудни в Душанбе, вслед за моими родителями, геологами, которые по комсомольской путевке поехали в молодую республику, так нуждавшуюся в молодых специалистах.

К тому времени родилась моя старшая сестра Вера, а меня и моего брата Витюни еще на свете не было, когда дедушка единственный раз, по его признанию, предоставил бабушке Оле самой решать такой жизненно важный вопрос, и она сказала: поедем.

Уже весь скарб собрали, и во дворе стояла загруженная телега, чтоб везти нас к поезду, — вспоминает бабушка Оля, я вошла в свою хату, поклонилась в тот угол, где висела икона и говорю: «Ну пошли, пора, батюшка».

— Это ты кому, божьей матери?

— Домовому, — шепчет бабушка Оля. — Домового если не позвать, он может обидеться и сам не пойти...

— А зачем он нужен?

— Эко, скажешь... — бабушка Оля смотрит с укоризной. — Как же без него...

С домовым у нее свои сложные отношения. Он вроде бы и очень хорошо относится к бабушке Оле — не щекочет ее и не душит, и о несчастьях предупреждает, но помочь, видно, не может.

Так, перед войной, когда нас с братом еще не было на свете, он всю ночь кряхтел и стонал, и вздыхал. Наконец, бабушка, понимая, что он хочет и никак не решится сказать ей о какой-то надвигающейся беде, решила помочь ему:

— К добру, батюшка, или к худу? — спросила она, и домовый ответил:

— Ох, к худу...

А утром объявили войну.

И еще раз предупредил он ее о несчастье: перед гибелью моей мамы. Тогда нас у нее стало уже трое. Я появилась на свет огненно-рыжей, похожей на своего дедушку Ивана. Это потом мои волосы посветлели, стали золотистыми. А тогда решили, что самое подходящее имя для меня — Аля, только долго ломали голову — каким должно быть полное — Альбина? Алевтина? Алла? Остановились на Алине... Младшего брата называли Витей в память о священнике, воспитавшем бабушку. А через несколько лет погибла в самолетной катастрофе мама. И тоже накануне вздыхал, всхлипывал домовый.

Конечно, вроде бы какой смысл в предупреждении домового, если

избежать несчастья невозможно? Но, оказывается, есть у него и другие заботы. Вот, например, в послевоенные годы, когда в Средней Азии, а может, и во всей стране, было полно шпаны и о кражах слышалось то и дело, в наш дом ни разу не залезли воры, в чем, как считала бабушка, заслуга полностью домового. Правда, я не знаю, что бы воры смогли найти тогда в нашем доме, но это уже другой вопрос.

Наш домовый, кроме прочего, был еще и большой шутник. Иногда поутру никак не найдешь брошенную с вечера майку или тапочки. И уже пускаешься в рев, как бабушка скажет: «Ну-ка, успокойся, да попроси: «батюшка-домовой, поиграй да отдай». Я тут же успокаивалась и начинала подсматривать, куда же он бросил мою маечку? И находила ее либо под кроватью, либо еще где...

...Бабушки Оля и Тоня пьют морковный чай с сахарином и говорят о неинтересном. Я перестаю слушать, задумываюсь и мечтаю о том, чтобы оказаться поблизости, когда будет умирать бабушка Тоня, хотя я ее люблю и не хочу, чтоб она умирала. Зато уж обязательно возьму у нее из рук веник или какой другой предмет. И если изменит мне парень-красавец, непременно высушу его. Однажды я даже поделилась своей мечтой с бабушкой Олей, чем очень напугала ее.

— Упаси тебя Бог! Колдуньи-то они все несчастные. У них так на роду написано...

Я уже задремала со своей колотушкой за печкой, когда в дом ворвалась соседка Сидоровна. Оказывается, ей кто-то сказал, что к нам пришла бабушка Тоня, и она прибежала, чтобы излить ей свою обиду.

Дело в том, что на днях у Сидоровны сдохла коза, которая им молока давала почти как корова, и Шерсть с нее настригали на носки ребятам, и вообще была хорошая и здоровая коза, а сдохла, как считает Сидоровна, от дурного глаза моей бабушки Тони.

— Ой, да как же это я не укараулила, — причитала Сидоровна, и проклинала бабушку Тоню, грозила, что отольются ей слезы малых детей...

Мне жалко и козу, и Сидоровну, и бабушку Тоню, которая ни слова не произнесла в ответ на обвинение нашей соседки, молча встала, крепче подвязала платок под подбородком и вышла из дому.

Я бегу за ней и прошу:

— Бабушка Тоня! Скажи, что ты нечаянно глянула на козу. Ты ведь правда не хотела, чтоб у Сидоровны детишки без молока остались?

— Дите глупое, — бабушка Тоня гладит меня по голове. — Да неужто и ты думаешь, что коза с дурного глаза подохла?

— А с чего же? — удивляюсь я.

— Кто его знает, с чего... Может, съела чего нехорошее или клещ внутренний напал...

— Почему же ты не сказала это Сидоровне?

— Не поверит, — удрученно говорит бабушка Тоня.

Я замечаю у нее в глазах слезы, но все же спрашиваю:

— Бабушка Тоня! Но ведь все знают, что ты колдунья. Ребятишек-то как лечишь?

— Травами лечу, тут колдовать не надо. А вывихи вправлять да кости сломанные на место ставить еще в гражданскую научилась.

Тогда я решаюсь на крайнее:

— Бабушка Тоня! А как же это ты без колдовства жениха высушила? Или это все тоже неправда?

— Не я, а совесть его высушила, — говорила бабушка Тоня.

Вся в смятении, я провожаю ее до самого домика, до ветхой избушки, которая, как и некогда в Рудне, стоит у самого края нашего поселка — дальше идут уже хлопковые поля. Бабушка Тоня, хоть и поехала в Среднюю Азию следом за сестрой, но верная себе, жила одиноко. И что удивительно — ее очень любили таджики, водили к ней своих больных ребятишек, а вот русские сторонились, хотя вовсе и не чурались ее помощи. Та же Сидоровна приходила однажды со слезящимся, красным глазом — никак не могла достать соринку. А бабушка Тоня из глаза что хочешь достанет языком. Я удивляюсь — не противно ли ей языком в глаза чужого человека лазить, однажды, когда она достала таким образом соринку у рыбака-выпивохи, спросила ее об этом.

— Чище глаза ничего нет, — сказала бабушка Тоня. — Он слезой омывается...

... Раннее утро. Я просыпаюсь от негромкой перебранки, с которой начинается каждый день в нашем доме.

Дело в том, что бабушка Оля каждый день встает в пять утра, а дедушка любит поспать подольше. Теперь-то я понимаю, бабушка Оля была жаворонком, а дедушка — совой, потому-то и ложился дедушка поздно и все ворочался, не засыпал. А бабушка Оля, чуть смеркалось, начинала подремывать. Но они-то не знали про такое психологическое разделение людей, а потому бабушка Оля, которая к семи часам уже побывала на базаре, разожгла печь, подоила корову и начистила картошки на завтрак, начинала ворчать:

— Господи! И как это можно столько спать, куда только сон лезет...

Дед, в белой исподней рубаше и кальсонах садился на кровати, и сетка под ним сурово трещала.

— Ну, посплю я, так что тебе от этого? Жалко, что ли?

— Да спи, пожалуйста, — пожимала плечами бабушка. — Ты мне что, нужен? Спи! Я только удивляюсь — как это можно столько спать?

Мне смешно, потому что ссора это ненастоящая, незлая.

Дед опять ложится и начинает похрапывать. Но бабушка не успокаивается.

— А потом жалуется — голова болит, — говорит она, ни к кому не обращаясь. — Как же не будет болеть — столько спать?

Я знаю, что сейчас будет, и жду.

— Черт бы тебя побрал, — кричит дед и, вскакивая, натягивает на себя рубаху и штаны. — Ну, встал, встал! Потешила душеньку? Ишь, ведь как тебе пригорело!

Дед садился на табурет, — а сидел он, между прочим, совершенно замечательно: одну ногу под себя, другую сгибал в колене и пристраивал тут же на табурете, и начинал мрачно крутить козью ножку.

Бабушка Оля принимается будить нас, детей. Вера вставала сразу, она была очень послушная. Мы же с Витюней старались урвать минутку-другую и понежиться в постели. Будила нас бабушка ласково, не раздражаясь, но особенно нежной была к брату.

А вот уж и солнышко встало, смотрит: что это Витюня заспался... Ишь, в окошко заглядывает...

Вообще брата бабушка Оля и дедушка любили больше всех. Может быть, потому, что он был один мальчик. Из своих детей они тоже больше всех любили Коленьку. Но мне теперь кажется, что бабушка Оля чувствовала, каким коротким будет его век и старалась одаривать его любовью в концентрированном виде, зная, что на его долю выпадет ее не так уж много. Брат умер рано.

Вера была чернявая, похожая на маму и очень худенькая, но никогда не болела. Я же, наоборот, розовощекая и толстая, но болела постоянно и поэтому сердилась на сестру, будто она присвоила обличье, приличествующее мне. А у Витюни были необыкновенные глаза, будто он чему-то одновременно и удивлялся, и радовался. И это детское выражение глаз сохранилось у него на всю жизнь.

Я еще не хожу в школу. Мне, правда, восьмой год, но тогда брали в школу с восьми. Торопиться некуда, но я тоже встаю. Прислушиваюсь к шуму базара — он расположен прямо у нас под окнами. Одеваюсь и выскакиваю, словно ныряю сразу в это цветастое многоголосье. Наверное, с той самой поры я люблю по сей день наши душанбинские базары. Меня знают почти все продавцы, потому что многие, не распродав товар, оставляют его на ночь в нашем дворе. Бегу, поеживаясь от утреннего холода. Подпрыгиваю и напеваю: ой, какие красивые помидоры, какие красивые дыни, ой, какая зеленая травка...

Но я не останавливаюсь ни у помидор, ни у дынь. Бегу в самый конец базара, мимо фруктов и овощей, зеленого клевера, снопами продававшегося на корм скоту, мимо огурцов и арбузов. Бегу туда, где продается мешалда. Не знаю, есть ли другое, более правильное или русское название у этой вкуснятины — не знаю, потому что сейчас она совершенно исчезла с наших базаров. А что это такое — попытаюсь объяснить. Это взбитый с сахаром мыльный корень. Но тогда, слава богу, я этого не знала. Знала только, что это вкусно-превкусно. Позже я пыталась сравнить мешалду со взбитыми сливками или взбитыми белками яиц — но мешалда еще воздушней, еще белее, еще вкуснее.

— А, келимка*! — кричит рыжий-рыжий, единственный рыжий на всем базаре таджик.

* Келим — сноха. Келимкой в шутку называли маленьких девочек.

Я вынимаю рубль, который выпросила с вечера у дедушки, подставляю захваченную из дома пиалку, и он щедро, с походом кладет мне эту воздушную массу, это белое облако, это объединение.

Назад бегу вприпрыжку. Но время от времени останавливаюсь и облизываю верхнюю часть белой горки, возвышающейся над пиалой.

И вдруг слышу: «Гуля, Гуля!». Это меня. Это бабушкин приятель, который всегда оставляет у нас свои мешки, зимой приходит погреться, а в другое время просто так, выпить пиалу чая. Меня он очень любит, но вместо Али зовет на таджикский манер Гулей. А бабушку мою зовет Мамашкой, хотя сам тоже старый, еще старше нее. И мы, едва он постучит в окно, кричим: «Мамашка пришел». Так и привыкли. Я кричу: «Салом, Мамашка!».

— Ой, Гуля, — радуется он и дает мне две большие зеленые редьки, потому что торгует Мамашка редькой.

— Приходи чай пить, Мамашка, — зову я.

— Хоп-хоп*, — кивает он.

Прихожу домой, угощаю мешалдой бабушку Олю и дедушку, они отказываются, и я доедаю ее всю и облизываю пиалку.

Теперь во двор. Я еще не видела сегодня корову, нашу красавицу, нашу кормилицу, как говорит бабушка Оля. Она серая, комолая, что, оказывается, значит безрогая. У меня для нее гостинец -кусочек хлеба, посыпанный солью. Она осторожно берет губами хлеб, а потом еще долго лижет мне руки шершавым языком. Тут же, за загородкой, куры. Заглядываю в гнездо — сидит пеструшка. Жду, когда она встанет, раскудахнется и я принесу в дом яичко. Но она никак не встает, и я волнуюсь, не собралась ли в наседки. А наседка у нас уже есть, уже скоро должны быть цыплята. Подхожу к гнезду — хвать, и курица у меня в руках. Щупаю толстую пушистую попку и чувствую под рукой твердую округлость. Значит, яичко есть.

А с цепи рвется, весь исходя любовью и ревностью, пес по имени Светлый.

— Погоди, сейчас, сейчас, — кричу я и залезаю к нему в будку. Светлый одновременно визжит от восторга и поскуливает, жалуясь на то, что его посадили на цепь. Но иначе нельзя — он прыгает через забор и устраивает на базаре переполох. Поэтому до обеда, пока не разойдется базар, и сидит на цепи.

Светлого я нашла на улице маленьким щенком, и кто бы мог предположить, что он окажется чистопородной овчаркой. Мы бы и сами об этом никогда не узнали, если бы однажды не пришел пограничник и не сказал деду, что хочет купить его для границы.

— Кого? — удивился дед. — Нашего кобеля?

— Да, — подтвердил пограничник. — Вашего кобеля.

— А где ж ты его видел? — опять удивился дед, хотя в этом не было ничего удивительного, потому что во внебазарное время пес носился с ночи до утра по улицам.

* Хоп-хоп — ладно, ладно.

— Нет, не продам, — сказал дед, не дождавшись ответа, уточнявшего, где именно видел пограничник Светлого.

— Пятьсот рублей, — заметил пограничник, что было неслыханно дорого.

Тут дедушка уже удивился по-настоящему.

— За этого дурака-то?

— Выучим, это уж не ваша забота, — ответил пограничник.

— Шалавый пес, — сокрушенно сказал дед. — Беспутный. Он и двор-то не сторожит, чего ему на границе делать...

— Вот и продайте, раз шалавый, — пограничнику, видно, стал надо-едасть этот разговор.

— Нет, не продам, — твердо сказал дедушка.

— Вот чудной старик, — удивился теперь пограничник. — На что он вам, если шалавый и двор не сторожит?

— А так, привыкли, — и дед закрыл перед носом пограничника калитку.

Но тот уже за калиткой стал кричать, что если дед такой несознательный и не хочет продать собаку, то придется ее просто конфисковать, что в ближайшее время он и сделает.

— Ничего, это мы еще посмотрим, — уже не очень уверенно произнес дед. — Я завтра найду вашего главного военного, узнаю, можете ли вы частную собственность в образе собак конфисковывать.

И рано утром, надев парадную форму — белые парусиновые штаны и пиджак, дед отправился искать главного военного. Пришел он успокоенный, в прекрасном расположении духа и сказал, что главного военного нашел. Как я сейчас предполагаю — ходил он в военкомат и говорил с военкомом. Тот ему сказал, что отнимать собаку права не имеют. Тогда дед попросил выдать ему соответствующий документ, чтобы он мог показать его пограничнику. Но главный военный вроде бы рассмеялся и сказал, что документ такой выдать не может, но пусть дед запомнит его фамилию — Сафаров и сошлется на него, если придет пограничник. Но пограничник больше не пришел.

Со Светлым я обнимаюсь так же, как и с коровой. Хоть он не кормилица и вообще от него никакого проку, но люблю его даже больше коровы и мне от этого немного совестно.

Вдруг Светлый вырвался из будки и начал весело прыгать. Оказывается, это пришел Мамашка оставить мешки и попить чаю. И Светлому совершенно ясно, что базар кончается. Я тоже бегу пить чай, потому что очень люблю Мамашку. Зимой, когда выдаются холодные дни, он приходит, еще не расторговавшись, чтоб отогреть озябшие руки, чем сбивает с толку нашего Светлого.

Руки Мамашка держит прямо над раскаленной чугунной плитой, побряхтывая от удовольствия, пока они не отойдут от мороза и не станут красными.

Но сейчас тепло, и они с бабушкой пьют чай и ведут очень странную беседу. Бабушка говорит по-русски, а Мамашка по-гаджикски, но

такое впечатление, что они понимают друг друга. Может быть, потому, что Мамашка, как и мои бабушка с дедушкой, воспитывает внуков — детей погибших на войне сыновей. Бабушка говорит про то, что жизнь налаживается, что уже отменили карточки, что внуки, слава Богу, подрастают. И старик, по-моему, говорит то же самое, только по-таджикски.

Чай у нас не морковный, а настоящий, зеленый, и Мамашка крутит головой: «Ой, карашо. Нагз*...»

Потом базарчик наш перевели в другое, более подходящее место, мы потеряли из виду Мамашку, и даже думали, что он умер. Но однажды я, уже взрослой женщиной, вместе с мужем шла по большому базару по улице Путовского и вдруг услышала: «Гуля, Гуля», и увидела совсем дряхлого, старенького Мамашку, которому было уже, наверное, лет девяносто. Как в детстве, он протянул мне зеленую редьку...

И я сразу вспомнила наш базарчик. Вспомнила, как ела мешалду, как мы с мальчишками отвязывали ишака и катались на нем, пока увлеченный торговлей крестьянин не спохватывался и не обнаруживал пропажу. И как однажды я забралась на спину лежащего верблюда, а когда он неожиданно поднялся, испугалась высоты и заорала: «Мама...»

И еще вспомнила, как Мамашка приходил свататься за нашу бабушку Тоню. Бабушка Тоня, в отличие от бабушки Оли, очень быстро выучила таджикский язык, и когда Мамашка заставал ее у нас дома, беседа принимала оживленный характер. Бабушка Тоня выступала в роли переводчика. Мамашка все горевал о своей жене-покойнице, сетуя на то, что вдвоем — он кивал при этом на моих бабушку и дедушку — внуков растить сподручнее, и однажды предложил бабушке Тоне перейти жить в его кибитку. Та, смущаясь, все же перевела его предложение. Бабушку Олю, которая относилась к Мамашке с явным расположением, озадачила его другая, мусульманская вера.

Дедушка, не веривший ни в черта, ни в Бога, посоветовал бабушке Тоне выходить за Мамашку замуж, и так век она прожила бобылихой. Но бабушка Тоня сказала, что жениться на старости лет — людей смешить и замуж не пошла. Однако с Мамашкой подружилась, частенько навещала его, пока внучата были маленькие, и помогала по дому.

Бабушка Тоня пережила namного и моих стариков, и моего умершего молодым братом. Я была в отъезде, когда она покинула этот мир, а вернувшись, первым делом пошла не на могилу к ней, а вместе с сестрой Верой в тот поселок, где мы выросли, где торговал редькой на маленьком утреннем базаре Мамашка и где, на самом краю, у оврага, за которым начинались поля, жила бабушка Тоня.

По дороге сестра рассказала, что умерла бабушка Тоня быстро, немучительно. Прибралась в доме и вышла на солнышко посидеть, погреть свои старые кости. Да не дошла до скамейки — упала. И будто бы никого не звала и ничего не просила взять из рук, а только сказала:

— Хорошо-то как, господи! Солнышко...

* Нагз — хорошо.

ГЛАВА II

Пока Алина Николаевна отправляла контейнер, соседи «обустроили», как могли, их быт. Два раскладывающихся кресла, столик, кухонная утварь — чайник, кастрюлька, несколько пиал вполне достаточно, чтобы прожить одну-две недели, пока оформят продажу квартиры и достанут билет на самолет. На душе сразу полегчало. А самое главное — старый, черно-белый, но вполне сносно показывающий телевизор. Его принес Махсум. Он не был литератором, он был сыном самого знаменитого таджикского поэта, еще при жизни зачисленного в классики. Когда отец умер, они с сестрой отдали роскошный особняк под музей Поэта, а взамен им выделили две квартиры на одной лестничной площадке в писательском доме.

— Ну, как, — спросил Константин Леонидович, — обошлось без проблем?

Алина отвела глаза:

— Все нормально, отправили.

— Что-то непохоже, что нормально, — вздохнул он, вглядываясь в лицо жены, и, поскольку Алина не отреагировала на его слова, добавил: — Вообще-то обойти таможеню, это сама понимаешь, нарушить закон. Представляешь, что можно отправить в контейнере? И оружие, и наркотики...

Наверное, хотел таким образом утешить: что ж, мол, если все-таки досматривали, значит, так надо.

— Костя, милый! Да какие тут законы сейчас, о чем ты? Вывозят, кому надо, и оружие, и наркотики, не сомневайся, только платят побольше, чем мы заплатили, — голос предательски задрожал. Алина готова была опять сорваться на плач.

— Аля, тебя там обидели?

Алина улыбнулась сквозь слезы и лишь покачала головой. Обидели, были не слишком учтивы, не поняли — все это из плоскости других взаимоотношений.

Вообще с той самой поры, когда появились первые лозунги «Русские, убирайтесь вон» или, того хуже — «Русские, оставайтесь, нам нужны рабы», существование казалось Алине зыбким не только оттого, что могли убить в любую минуту, это была духовная зыбкость, ощущение ирреальности происходящего. Словно страшный сон, который невозможно стряхнуть, и хочется крикнуть, что есть сил, но онемевшие губы не размыкаются, крик комком застревает в горле. Особенно остро такое состояние охватывало перед телевизором.

Ни одна из телевизионных программ не обходилась без слов в поддержку «молодой Таджикской демократии, борцов за независимость республики и роста национального самосознания», в то время как поднимали голову исламские фундаменталисты, ваххобиты. И даже после черного февраля 90-го года с экранов ЦТ несло возмущенное: «молодую демократию пытаются затоптать сапогами русских солдат... В

столицу Таджикистана введены войска... Преступное правительство отдало приказ стрелять в свой народ...»

Вы что, ребята, с ума там посходили? Ничего не знаете или не хотите знать? По-вашему, это демократы жгли и крушили прекрасный город? Борцы за независимость затаскивали в пустые автобусы русских женщин, а также таджичек, одетых по-европейски, зверски насилывали, а потом выбрасывали их, полуодетых и полуживых? Это возросшее национальное самосознание позволяло им врывать в квартиры русских и расстреливать целые семьи?

Алина металась по квартире, не в силах успокоиться.

— Костя, ну ты подумай, что они говорят! Ведь если бы не ввели войска, нас, как и многих, уже бы не было в живых. Это же, как дважды два. Войска ввели поздно, это да... Вот о чем надо бы говорить. И вообще, можно же рассуждать логически: если озверевшая толпа (свой народ), кинулась убивать мирных жителей (тоже свой народ), что все-таки лучше: позволить убивать или остановить ее силой? Нельзя же все выворачивать наизнанку. Нет, что-то они там не понимают. Надо что-то делать, писать...

— Алина, ты уже сама не в состоянии мыслить логически. Все её знают. Ну, посуди — это же не вчера все началось. Работали фискальные службы. Здесь живут собкоры многих центральных газет, приезжают спецкоры... Да сколько душанбинцев разлетелось по всему свету? Честное слово, ты как ребенок, такую ерунду говоришь.

Но Алина не отступалась, писала, передавала свои статьи с отъезжающими в Москву. Не печатали, не отвечали. Не докричаться, не страхнуть тяжелого сна...

И все-таки, пытаясь осмыслить отношение Москвы к тому, что творилось в Таджикистане, однажды, как ей показалось, она дошла до сути. Скорее всего, исламские фундаменталисты должны были свергнуть коммунистический режим республики, а «за ценой, как всегда, не постоим!»

Вспомнила, как демонтировали памятник Ленину. Монумент вождя с указующим перстом в центре города давно уже ничего, кроме раздражения, у них с Костей не вызывал, но, Господи, как они его «демонтировали»! Свалив огромный памятник, железными прутьями отбивали на руках пальцы, выдалбливали глаза, забравшись на него, устроили дикие танцы, наконец, мочились... Недели две, пока бандиты удерживали город, таджикское телевидение без конца транслировало эту хронику. Смотреть было страшно и жутко.

— Ну, ладно, — рассуждала Алина. — Предположим, с коммунистами они справятся. Но кто потом справится с ними? Неужели Афганистан никого ничему не научил?

Ответа на этот вопрос не было.

На ночь разложили кресла, поставив их рядом, так, чтобы можно было дотянуться друг до друга, взяться за руки. Ночи были тревожными, со стороны реки Душанбинки время от времени доносились

одинокими выстрелами, — к ним, насколько возможно, успели привыкнуть. Хуже было другое — вой голодных зверей из зоопарка, когда-то считавшегося одним из лучших в Союзе. Располагался он совсем недалеко от их дома, — одна коротенькая троллейбусная остановка. Когда-то Алина водила по выходным дням туда детей, потом они бежали сами.

Теперь зоопарк вымирал. Оленей, лосей, других парнокопытных убивали на мясо. Дикие звери были никому не нужны. По ночам их вой выворачивал душу. Алина прятала голову под подушку, зажимала ладонями уши, но это не помогало. Вот раздался грубный плач слона, вот тоскливо растянутый рык льва, а это завывают волки...

Поднималось давление, но Алине казалось, что этот леденящий душу вой пульсирует, бьется в голове и вот-вот разорвет ее изнутри.

Часам к трем звери, видимо, обессилев, затихали. Вот и сегодня наступила, наконец, благословенная тишина. Ничего, кроме ровного дыхания мужа. Алина потянулась к нему, прижалась щекой к щеке, и Костя, не просыпаясь, дотронулся теплыми губами до ее уха.

Все, успокоиться и уснуть. А пока не уснула, думать только о хорошем, о будущем. Конечно, хорошего было мало, а будущее проглядывалось смутно. И все же, и все же...

Едут они не в никуда, как многие, а к сыну Андрею, во Владимир, город, странно обозначившийся в их судьбе. Когда-то Алин брат Витюня, в ту пору студент московского ВУЗа, поехал на зимние каникулы в гости к сокурснику. И надо же, — встретил там свою судьбу, женился и, окончив институт, в Душанбе не вернулся. К сожалению, умер молодым, в 35 лет. Но зато там, в далеком Владимире, есть родная могила, живет его семья: жена и дочка.

И вот ведь какая круговерть получается. Много лет спустя, сын Андрей, в ту пору молодой ученый биолог, улетел в Москву, как сказал родителям, по делам, связанным с защитой кандидатской диссертации. Из Москвы завернул во Владимир навестить жену Витюни и познакомиться с двоюродной сестрой Ларисой, которую никогда не видел и... тоже влюбился во владимирскую девушку. Ненадолго приехав в Душанбе, отказался от защиты, уволился с работы. Уверял, что давно думал заняться бизнесом, а во Владимире такая возможность есть, что в Москву ездил, на самом деле, чтобы поступить в экономическую академию — и поступил... «Сейчас другое время, быть нищим ученым я не хочу».

Для Алины и Кости понятие «бизнес», «коммерция» были чем-то чужеродным, даже пугающим. Но отговаривать сына не стали, да он бы и не послушал. Между тем, дела у Андрея шли, видимо, неплохо: когда в Таджикистане началась гражданская война, стал передавать с оказией деньги и продуктовые посылки, настаивал на их немедленном переезде, обещал всяческую поддержку. Но они все тянули, все надеялись, что образуется...

Был и еще один знаковый момент. Недавно, писал сын, главным военкомом области был назначен генерал-майор Николай Алексеевич

Сеньшов, бывший командующий 201 дивизии, базирующейся в Таджикистане. Это он 11 февраля ввел войска в Душанбе, когда все они были на волоске от смерти. Много позже Алина узнает, что он целый день звонил в Москву Язову, докладывая обстановку, но тот тянул, мямлил и так и не дал приказа. Сеньшов всю ответственность взял на себя...

Значит, чем-то предопределен для них этот город, значит — судьба, уговаривала себя Алина, изначально намереваясь думать о хорошем.

Опять же — любимая младшая дочь, похожая на отца красавица Сашенька живет в Ленинграде. Как уехала учиться после школы, так и осталась там. Вышла замуж, но неудачно, разошлись, теперь мается в каком-то рабочем общежитии с маленькой дочкой. Одна была радость — каждый год приезжала в отпуск к родителям, но вот уже три года не виделись. А Владимир от Ленинграда недалеко — Россия, одним словом. Может быть, вообще съедутся, станут жить вместе.

Старшая дочь Лена живет пока здесь, в Душанбе, работает в «Вечерке», газете, которая в последние годы из информационно-развлекательной, превратилась в боевой листок. Летает с военными из 201 дивизии на вертолетах в командировки не то что в горячие, а в горящие точки. Уезжать они договорились вместе. У Лены своя однокомнатная квартира тоже в центре города, осталась от мужа. Насчет продажи она тоже договорилась со знакомым кинооператором. Зять Фима уехал в Израиль три года назад, она наотрез отказалась: здесь я журналистка, там буду посудомойкой, если повезет. И вообще человеком второго сорта.

Алина тогда резко ее оборвала:

— Просто ты никогда не любила Фиму по-настоящему. Я за твоим отцом на край света пешком бы пошла.

Так или иначе — осталась с восьмилетним сыном Димкой. На время командировок подкидывает внука бабушке с дедушкой. Правда, вот уже два месяца, как у нее появилась жилища: знакомый офицер-пограничник привел к ней молодую девушку, одетую в огромную солдатскую шинель поверх мужского белья. Рассказал:

— Вот такая неудача. Приехала из России к брату на заставу, в Московский район, а заставу всю вырезали, ее с собой захватили. Вчера отбили, живая, слава Богу. Ты, Лена, переодень ее во что-нибудь женское, пусть отлежится, а мы через недельку бортом в Москву отправим, там недалеко от дома, доберется на электричке.

Несколько суток Настя, так звали девушку, пролежала в постели и была словно в забытьи. Потом стала потихоньку двигаться, разговаривать. Пограничник появился, как обещал, через неделю, сказал, что завтра отправят, пусть будет готова. Однако когда Алина позвонила дочери через три дня, оказалось, что Настя все еще никуда не улетела.

— Что, не приехали за ней? — поинтересовалась она.

— Приезжали, — ответила Лена, — но Настя не смогла улететь. У нее сильное кровотечение.

— В больницу ходили? — Нет. Она не хочет...

Алина пошла к дочери разобраться, в чем дело.

Глянула на Настю; та как тень, ни кровиночки в лице.

— Ты что, Лена, — возмутилась Алина, — соображаешь хоть что-нибудь? Ну, она не в себе, а ты сама как, нормальная? Мало у нас в моргах невестребованных трупов?

Родильный дом от Лены через дорогу, там же женская консультация, в городе, к счастью, затишье, выстрелы слышны только по ночам. Неужели трудно было сходить?

— Быстро в душ и одеваться! — скомандовала Алина, и Настя молча повиновалась.

В роддоме Алина нашла свою знакомую — пожилую армянку Ануш Хачатуровну, акушера-гинеколога, попросила посмотреть девушку. Полная, шумная Ануш обняла Алину:

— Конечно, посмотрю, сейчас посмотрю, дорогая... Я думала, вы уехали. У меня все друзья уехали. Евреи в Израиль, немцы в Германию, русские в Россию. Нам куда ехать? Здесь воюют, в Армении тоже воюют. Что за жизнь... Ну, пойдем, девочка, пойдем дорогая.

Вернулась минут через сорок, без Насти.

— Алина, она кто тебе? — не дождавшись ответа, запричитала: — Что они с ней сделали, звери, звери... Сколько человек насильовали? Она сама не знает. Или не говорит... Верить, я такие разрывы только после тяжелых родов видела. Швы накладывать надо. Как кровью не истекла, а? Как заражение не случилось? Ай-ай-ай... Бедная девочка, она ведь девственница была...

Через несколько дней Лена забрала Настю домой, но пограничники, видимо, о ней забыли.

— Ты бы подсуетилась, Лена, напомнила бы им или попросила военных из 201-й, пусть отправят девушку.

Та обещала, но неохотно, отговариваясь делами, пока однажды не заявила:

— А куда ей ехать? Мать умерла, только брат и оставался, теперь и его нет. Пусть живет.

— Лена, что значит — пусть живет? Ну, нет близких, есть, может, дальние родственники. Какое-то жилье после матери осталось. А главное, там не стреляют. Мы ведь и сами уезжать собираемся.

— Ну, вот тогда и решим.

Приводить еще один аргумент — как прокормить взрослого человека в голодном Душанбе, Алина не стала. Непременно услышала бы укоризненное: мама, тебе что, жалко?

Больше к этому вопросу не возвращались. Уезжая в командировки, дочь оставляла теперь сынишку с Настей, — это было удобней, Алине не приходилось водить его в школу, а после уроков встречать.

Уже засыпая, Алина вспомнила, как вскоре после февральских событий 90-го, пришла на железнодорожный вокзал, надеясь среди отъезжающих встретить знакомых попросить бросить в Москве письма, ина-

че они не доходили. Ничего не получилось: поезд брали на абордаж, к вагонам было страшно подступиться. Один к одному — кинохроника революции и гражданской войны. И тут увидела портниху Люсю, с которой выросла в одном поселке и у которой время от времени шила что-нибудь из одежды. Та металась по перрону с зажатými в кулаке смятыми деньгами, пытаясь пробиться к проводнику. В стороне, с застывшим лицом, отрешенно стояла ее двадцатилетняя дочь — единственный поздний ребенок. Когда поезд ушел, Алина окликнула Люсю. Та долго смотрела на нее безумными глазами, наконец, узнала, они разговорились. Оказалось, что когда озверевшая толпа громила город, Люся с дочерью волею случая оказались в ее эпицентре. Люсю несколько раз ударили, сбили с ног, едва не затоптали, дочку потащили в пустой автобус, разорвали на ней кофту, от изнасилования ее спасло только то, что в это время кто-то поджег автобус.

— Куда же вы, Люся уезжаете?

— Не знаю пока. Доедем до Москвы, а оттуда до какой-нибудь станции на электричке. Сниму угол у добрых людей.

— Квартиру-то продала?

— Ты же знаешь мою квартирку. Кто ее купит, хрущевку в микрорайоне? На проезд деньги есть, да на первое время, а там что Бог даст. В колхоз пойдем работать, шить стану. Нам бы только уехать, только бы от страха избавиться. И днем, и ночью боимся, я уже давно спать перестала. Только билетов достать никак не могу. Хотя тут и с билетами остаются на перроне. Кто влез, тот и поехал...

Вот ведь как уезжают люди. А им с Костей что — к сыну, к родне. Да там и земляков уже немало, во Владимирской области. Только Андрей пять семей перетянул, всех прописал, помог устроиться на работу. Все будет хорошо. Продать квартиру — и на самолет... Лишь бы продержалось это хрупкое равновесие, этот шаткий мир, эта договоренность недавно созданного коалиционного правительства...

Утром их разбудил телефонный звонок, и Алина вовсе не подосадовала на то, что прерван сон. Она уже давно относилась к телефону как к одушевленному существу. Вторую зиму не было ни отопления, ни газа, часто сидели без электричества, а телефоны в городе работали, ну, не чудо ли? Если долго не было звонков, Алина поднимала трубку с замиранием сердца, — вдруг оборвалась последняя связующая ниточка с родными и близкими? Услышав сигнал, вздыхала с облегчением и, бережно опуская ее на рычаг, приговаривала: ты уж держись, дружок, без тебя совсем будет худо.

Звонила Лена, вернулась вчера вечером из командировки, привезла тревожные новости: в Курган-Тюбе идут бои, на Гармском направлении стягивает силы полевой командир Махмуд.

— Лена, мы уже отправили контейнер, так что в понедельник еду с Шавкатом оформлять куплю-продажу. Ты тоже давай со своим «киношником» приходи, чтобы все сделать одновременно, не ждать друг друга. Здесь промедление, сама понимаешь, чему подобно...

Повисла долгая пауза.

— Мама, я не еду.

— Что значит не еду? У тебя что-то случилось?

— Ничего. Я собиралась завтра к вам придти, поговорить, но может даже лучше сразу, по телефону. Понимаешь, мне надо самоутвердиться...

— Ну-ка повтори еще раз, чего тебе надо?

— Самоутвердиться. Что ж здесь непонятного? Все очень просто. Знаешь, я всегда была вашей дочерью...

— А это что, не так? Или теперь уже не дочь?

— Мама, не в этом смысле... Просто мне надоело, когда меня представляют: А это Елена, дочь поэта Константина Пашкова... Есть еще вариант: дочь писательницы Батуриной. А мне хочется, чтобы обо мне сказали просто: журналистка Елена Пашкова. Я не исключаю, что кое-кто и сейчас считает, что ты пишешь за меня репортажи, а я только фактаж привожу.

— Что за бред ты несешь! Значит, чтобы потешить свое самолюбие, ты готова рисковать не только своей жизнью, но и жизнью ребенка?

— Нет, ребенка отдам вам, так и быть, забирайте с собой в Россию.

Алина удрученно молчала, и Костя, внимательно прислушивавшийся к их разговору, взял из ее рук трубку.

— Ну-ка, давай, Лена, еще раз, четко и толково.

Слушал, ни разу не прервав и не переспросив, а в конце разговора сказал:

— Решила, значит решила. Ты взрослый человек.

— Но, Костя!... — вскрикнула было Алина.

— Пусть остается.

Алина пошла на кухню поплакать.

Много лет назад, когда девочки были еще маленькие, отец благословил их в дорогу таким стихотворением:

Измотанная дорогами,
Обалдевая от забот,
Влюбленную недотрогую
Пусть каждая проживет.
Пройдет мимо лжи и зависти,
Через горе и трусость,
Благополучье покажется
Чем-то пресным и грустным...
В пеленках планета — нянчить,
В тревоге мир — приласкаться,
Идите в геологи, в прачки,
В физику, в авиацию,
Живите трудно и строго —
Благословляю в дорогу.
Благословляю цветами,
Зеленой вьюгой и ветром,
Благословляю утратами,

Надеждами и приметами,
Благословляю пустыней,
Морем и лунной ночью,
Хлебом, тоской и мыльми,
Дочери мои, дочери...

Сегодня он это благословение подтвердил. И с этим Алина ничего не могла поделать.

ФАНТИК ОТ ИРИСКИ

В давние послевоенные годы в нашем поселке было много нищих. Не только своих, постоянных, но и временных, тех, кто побирался по поездам. Их еще называли вагонными. Добравшись до теплого города, они шли прежде всего в наш поселок, так как находился он сразу за железной дорогой. Правда, молодые калеки, особенно безногие, устраивались на ступеньках моста, перекинутого через рельсы. Душанбе (в то время Сталинабад) был и остается тупиковой станцией. Поэтому многие побирались здесь лишь день или два и уезжали вновь с московским или ашхабадским поездом. Некоторые жили подолгу, а бывало, оставались насовсем.

Так прижился у нас в соседях безногий Веня. На мосту он сидел вместе с парнем, у которого по локоть не было рук. Просили милостыню они не жалостливо, а весело, с прибаутками. Веня играл на гармошке, а Слава пел песни. Когда по мосту шли девушки, они заговаривали с ними, шутили, просили если не монету бросить, то хоть постоять, поговорить. Вечерами они отправлялись в «забегаловку», сколоченную прямо у моста и выкрашенную в голубой цвет. Веня ел сам и кормил с ложки Славу, а также подносил ему стаканчик с водкой, и тот ловко прикусывал его за край и, моментально вскинув голову, опрокидывал. Ему даже хлопали за это. А потом они шли вместе в железнодорожный парк. Вернее, Слава шел, а Веня ехал рядом на своей платформочке. Контролер тетя Даша бесплатно пропускала их в летний кинотеатр. Была она некрасивая, рябая, с тремя детьми, но жила в хорошем добротном доме, у нее была небольшая пасека. Она-то и приглядела для себя Веню. В поселке выбор ее одобрили. Говорили: какой-никакой, а мужик. И никто не подумал о безруком Славе. Несколько дней он тоже пожил у тети Даши, а потом она его выпроводила. Я играла во дворе с детьми тети Даши и все это видела. Слава не хотел уходить, плакал и все смотрел на Веню, а тот молчал, хотя тоже утирал рукавом слезы, а Славе даже утереться было нечем.

— Ступай-ступай, — торопила тетя Даша. — Что ж теперь делать. Тебя, сам понимаешь, ни к какому делу не приспособишь. А иждивенцев у меня своих трое.

Тогда я побежала домой и кинулась к бабушке:

— Давай возьмем Славу себе замуж, — просила я. — Он даже есть сам не может!

— За кого же мы его возьмем? — вздохнула бабушка. — За тебя или за меня?

— Конечно, за меня. У тебя дед есть и ты-то только стариться будешь, а я, пока он поживет, подрасту.

Была уверена, что моя добрая бабушка согласится, но она не согласилась. Только собрала немного еды, сложила в полотенце, оставив свободными два конца, и сказала: догони его, подвяжи к плечу. Встретит добрых людей — покормят.

Но я его не догнала.

По поселку же в основном ходили старики и старухи, а также молодые женщины с детьми. Иногда забредали величавые старцы-дервиши с высоким посохом, в цветных ватных (даже летом) халатах-чапанах.

Бабушка всегда подавала нищим. Когда раздавался стук в окно и слышалось: «Подайте Христа ради...», она отдергивала штorkу и, взглянув на того, кто за окном, посылала меня с куском хлеба, иногда — если за юбку женщины держались дети, добавляла несколько леденцов или яблочков, или пару яиц. Смотри что было под рукой и в доме вообще. Но иногда, не знаю, по какому выбору, она приглашала приезжих нищих в дом, угощала чаем, а то и супом, детям давала молока и подолгу говорила с ними.

Однажды в теплый летний день пришла к нам в дом цыганка с маленьким ребенком. Была она молодая, но больная, прикладывала руку к животу и жаловалась: «Так здесь печет, хозяйюшка, прямо огнем горит». Лицо у нее было в бурых пятнах, а губы потрескавшиеся, заветренные. Она чем-то особенно расположила к себе бабушку. Возможно, долгим жалостливым рассказом о своей жизни. Бабушка, награв на керосинке воды, помогла ей обмыть ребенка, дала под пеленки хоть старые, но чистые тряпки, затем, вручив цыганенку мне, они сели за стол. Бабушка покормила цыганку, напоила чаем, затем составила на край стола чайник, пиалки, сахарницу, другой же край насухо вытерла полотенцем, а цыганка вытащила из-за пазухи колоду замасленных карт и стала веером разбрасывать их по столу. При этом она о чем-то расспрашивала бабушку, та отвечала, но разговора я не слышала, так как у меня на руках разорался цыганенок.

— Иди-ка во двор, займи ребенка, — распорядилась бабушка.

Во дворе малыш довольно скоро успокоился и уснул. Но все равно гадание я, можно сказать, прозевала. Когда вернулась, цыганка уже собирала карты, приговаривая:

— Вернется, вернется... Но будет, как разбитый самовар.

Я сразу догадалась, на кого гадала бабушка. Фраза меня просто заворожила. Вечером я рассказывала подружкам:

— К нам вернется дядя, но будет, как разбитый самовар.

— А как это, как разбитый самовар? — спрашивали меня.

— Не знаю, — пожимала я плечами. — Наверное, у него все будет разбито: голова, руки, а главное — живот.

- Почему живот?
- Потому что — как самовар.

С того вечера я стала ждать таинственного дядю Сашу, мужа тети Аллы, сестры моей мамы.

Тетя Алла считалась в семье красавицей. У нее были черные пронзительные глаза, черные, гладко зачесанные назад волосы и бледное строгое лицо. Одевалась тетя всегда в темное платье с белым кружевным воротничком. Воротнички она вязала сама крючком из простых, катушечных ниток. Платье обязательно с рукавом по локоть, даже в самую жару. А почему по локоть — это был секрет, про который рассказала мне бабушка.

Когда бабушка была еще молодой и жила в России, к ним приехал погостить дальний родственник, молодой парень Митя. Через несколько дней Алла подошла к бабушке и спросила: можно, мне Митя на руке что-то нарисует.

- Пусть рисует, все равно сегодня баню топлю.

И он нарисовал солнце с острыми лучами и под ним — летящую чайку. Вечером бабушка повела детей в баню, вымыла малышей, а как дошло дело до Аллы, увидела, что рука у той вспухшая, а рисунки почему-то не смываются. Про татуировки она в то время и слыхом не слыхивала. А тетя Алла, ставшая комсомольским вожаком, а позже — учительницей, никогда не позволяла оголить себе руку до плеча. И когда на реку ходили, купалась от всех в отдалении. Вот такую память оставил о себе родственник-«художник». А вот дядя Саша действительно был художник, хоть и непрофессиональный. В доме у нас висели две картины, написанные маслом на фанере. Фанерки были длинными и узкими, и поэтому, видно, висели, как иконы, в углах. На обеих — только вода и небо. Но одна розовая, почти красная, с яркими сполохами зарниц в небе — и таким же отражением их в воде, а другая — черная. Черное небо и черная вода. Перед Пасхой бабушка каждый год белила, я же помогала ей с уборкой. Картины и фотографии под стеклом снимались со стен, мне надо было очистить их от пыли, а картины еще смазать постным маслом и потереть разрезанной луковичей. Быстро справившись с фотографией и красной картиной, я замирала над черной. Глядела на нее, не отрывая взгляда, вода и небо сливались в одно темное пятно, и оно становилось огромным. Казалось, я сижу над черным омутом, и он сейчас проглотит меня.

Бабушка очень сердилась, заставляя меня над картиной.

- Я ей печку разожгу, будешь так смотреть, — говорила она.

- Почему? — не понимала я бабушкиной сердитости.

Но объяснения ее были еще непонятней:

- Потому что тоска от нее находит...

О дяде Саше бабушка говорить не любила, сразу замыкалась в себе, но кое-что я все же знала. Например, что он — сын священника, школьный учитель, человек очень образованный и интеллигентный и что пострадал за лишнее слово... «Сказал, что не надо при ком не

надо». Это было трудно понять. Что же мог сказать дядя, если после слов этих вот уже двенадцать лет жил где-то на Севере, а тетю Аллу, которая преподавала в школе милиции, вместе с двумя детьми выгнали из квартиры «и это еще хорошо обошлось»: она с дочками приехала в Среднюю Азию, к нам.

Еще из обрывков разговоров взрослых слышала, что был некий майор, которому нравилась тетя Алла, что это благодаря ему «еще хорошо обошлось» и что может быть, зря она уехала, майор уговаривал остаться, а так — прожила одна в самые-самые годы и еще неизвестно, чего дождется и дождется ли. Вот и дергается с тех пор.

Тетя Алла действительно дергалась. Через определенное время она будто бы отводила чуть назад левое плечо, потом дрожь пробегала по шее, а затем чуть вскидывался подбородок. Видела в кино, как красивая актриса на признание в любви гордо ответила: «Нет, никогда» — и при этом повела плечом, вздернула подбородок. Про себя решила: наверное, майор, который помог тете Алле, тоже объяснился ей в любви. Она ответила: «Нет, никогда!» и с тех пор в ней это так и осталось.

Вообще, тетя Алла была очень гордая, они с бабушкой часто ссорились. Иногда по мелочам, а однажды так серьезно, что тетя Алла ушла от нас на частную квартиру и долго не приходила. Не знаю, с чего началась эта ссора, я вошла в дом, услышав бабушкины слова:

— А я ведь просила, я умоляла вас. Я у вас в ногах валялась, а вы!.. Может, и Тая с Аней живы были, и ты бы не маялась...

— Глупости! — плечо и подбородок у тети Аллы дергались чаще обычного. — Глупости! Стыдно слушать. Люди это творят, понимаешь, люди, а не Бог! А будешь корить — уйду от тебя. Не пропаду.

Бабушка после той ссоры долго плакала, рассказывая:

— Когда она мне сказала, что завтра пойдут на комсомольское собрание и будут сбрасывать все вместе с себя крестики, я всю ночь не спала. Просила: не берите греха на душу. Проклятий людских побойтесь! Но они красные косынки повязали, и с песней... Алла, Тая да Аня. Только Катюша младшая не пошла, меня пожалела: ей тогда лет пятнадцать было. Катюшу на другой день из комсомола исключили. Алла же и исключала. Говорит — не место ей в наших рядах...

У бабушки из четырех дочерей в живых две остались: Тая после того, как сбросила крест, пришла вся разгоряченная, достала из погреба холодного молока, выпила, а ночью в жару стала метаться: крупное воспаление легких. Умерла через три месяца от скоротечной чахотки. Мама погибла в самолетной катастрофе. Алла мается без мужа, и только Катюша живет припеваючи. Она не похожа на сестер — кудрявая, светловолосая, ровный носик обсыпан веснушками. И кажется такой молодой, что все племянники зовут ее просто Катюшей. Да и характером она смешливая, веселая, хорошо играет на гитаре и любит делать подарки. Муж у нее поляк, дядя Юзек, большой начальник в Совнарком. Жену свою обожает, но ревнует даже к дереву, как говорит

бабушка, и оттого не разрешает работать. Живут они в центре города, в настоящей квартире с ванной и туалетом, с горячей водой. Катюша все зовет нас купаться, и мы несколько раз ходили, но бабушке не нравится. «И голову там моешь, и задница, прости господи, там же. Не полюдски», — ворчит она, возвращаясь домой.

В общем, получилось так, что лишь Катюша из всех дочерей оказалась счастливой, и бабушка, конечно, по отсталости своей, считает, что это все из-за крестов. Мне хочется возразить — ведь бог — это один обман, зачем же нужны тогда кресты? Но жалко бабушку, и я молчу. Укладываюсь спать на сундук — большой, деревянный, потемневший от времени. В нем всякая всячина — зимние вещи, пересыпанные нафталином, альбомы с фотографиями, мамины журналистские блокноты. И еще два свертка по разным углам. В одном — то, что приготовила себе на смерть бабушка, чтобы «не попасть впросак», а во втором... Когда, после долгих поисков обнаружили, наконец, в горах самолет, потерпевший катастрофу, за погибшими, среди которых была моя мама, отправилась специальная экспедиция. Вместе с экспедицией — дядя Юзек и мой отец, приехавший с Памира, где он жил и работал последние годы. Бабушка уже знала, что хоронить будут в цинковых гробах, поэтому белье, платье, тапочки отдала отцу и дяде Юзеку, чтобы одели покойную там, раз уж здесь не будет такой возможности. Вернувшись, отец молча отдал бабушке сверток, пробормотав что-то вроде «не пригодился».

Лучше бы он выбросил его по дороге! Как плакала, причитала бабушка! Даже на похоронах, над цинковым гробом, она так не убивалась.

И все-таки странно, что, когда бабушка встала на колени, мама, такая добрая, не пожалела ее. А может, пожалела? Конечно, пожалела, но все равно пошла. Потому что тетя Алла запела: «Весь мир насилья мы разрушим...». И вообще — комсомольцы не отступают! — эта мысль как-то успокаивала, оправдывала мамин поступок.

С того дня, как гадала цыганка, прошло два года. Я дядю уже и ждать перестала. И дома про него почти не говорили. Приехал он неожиданно. Поздно вечером раздался в окошке стук. Стук был неожиданный, это точно. Нищие ходили по утрам, да их уже и поубавилось. Соседки, если стучали в окошко, тут же подавали голос: «Ольга Александровна!». Или просто «Александровна!» Меня, моих сестер и братьев просто выкрикивали по именам, без стука. А тут вдруг «тук-тук» по стеклу и молчание. Бабушка отдернула шторку, пригнувшись, долго всматривалась в темноту за окном, затем выпрямилась и так глянула на тетю Аллу, что та побледнела сразу и судорога у нее по шее раз, другой, третий... Поднялись молча и пошли к калитке. И тут я догадалась. Пришел, вернулся «как разбитый самовар...»

Во дворе всхлипы. Плачут обе, в дом не идут. И мы тогда тоже выскакиваем во двор. Мужчин двое. Интересно, кто второй? И какой из них — дядя Саша? Наверное, вот тот, высокий. Бабушка говорила:

он богатырского роста, и фамилия у него подходящая — Богатырев. Что они топчутся на улице, не спешат в дом? Оказывается, надо переодеться. Я слышу: «Вши...» Бабушка торопливо роется в сундуке, достает какие-то рубашки, штаны, выносит во двор, мужчины идут в душ. Там хоть и темно, зато вода в бочке почти горячая — так нагревается за день. Одежду выбрасывают через верх, бабушка собирает ее, идет в угол двора, где стоит дощатый туалет, кладет наземь, поливает керосином и чиркает спичкой.

Тетя Алла собирает на стол, жарит яичницу. Гости входят в дом, усаживаются на скамейку, и я во все глаза разглядываю дядю Сашу. Одежда на нем висит мешком, но штаны короткие, чуть ниже колен, и я замечаю, что одна нога у него раздутая, как толстое полено, ступня уродливая, кривая, а другая нормальная. А так больше никакой разбитости. Лицо очень морщинистое и, кажется, нет зубов. «Обманула цыганка», — думаю почти разочарованно. Зато друг у него, которого зовут Лев Самуилович, — это, конечно, похуже, чем разбитый самовар. Маленький, бледный, волос на голове нет, зато над правым виском огромная вмятина, прямо дыра, и видно, что кости там нет, одна кожа, а под ней что-то вздрагивает, бьется, пульсирует. Стою рядом и гляжу на эту голову, разинув рот. Бабушка бросает на меня строгие взгляды, я отворачиваюсь, но все равно искоса поглядываю на Льва Самуиловича. Тут к нему подошла кошка, потерялась о ногу, он нагнувшись поглядит ее, и я с ужасом заметила, что яма превратилась теперь в бугор, из нее что-то как будто вывалилось и нависло надо лбом, продолжая пульсировать. Невольно наклонилась вместе с ним, но бабушка, поняв, что взглядом меня не проймешь, сердито дернула за руку, и я отошла в другой угол комнаты.

Люба с Ниной глядят только на отца. А он еще слова не вымолвил. Не спросил даже, кто где, не поздоровался. И лишь когда выпил рюмку водки, поднялся, протянул к ним руки. Люба подошла первая, но как бы нехотя, так же нехотя позволила отцу обнять себя. Ей уже семнадцатый год, тетю Аллу и бабушку она не слушается, стала «загугливаться», вечерами ее зовет коротким свистом на улицу какой-то чуужой, не поселковый парень в кепочке, с золотой фиксой. Бабушка грозит: «Вот придет отец, он с тобой разберется».

— Подумаешь, отец! Он что, меня воспитывал? Пусть только слово скажет! — огрызается Люба.

— Взрослая! Совсем взрослая, — шепчет дядя Саша, гладит рукой густые Любины волосы. Они у Любы медно-рыжие, в деда. Дед недаром говорил: рыжий человек неистребим. С кем его ни мешай, все равно пробьется. И действительно: я была рыжей, и у тети Аллы — обе дочери, хотя и она, и мама черные. Но Нина с Любой рыжие по-разному. У Любы волосы хоть рыжие, но очень темные, веснушек нет, глаза как угли, брови и ресницы тоже черные. Нина же светленькая, бровей и ресниц не видно вовсе, и вся в круглых ярких веснушках.

Бабушка не разделяла непонятной гордости деда принадлежностью к рыжим. Но встречая женщин, крашенных в рыжих, радовалась:

— Слава Богу, теперь рыжих хоть поддержали. Раньше в деревнях бывало задразнят. А сейчас, надо же, сами красятся. Так что и мои внучки не пропадут, в самую моду попали.

Люба отстраняется от отца, лицо у нее бледное, губы сжаты. И тогда ему на шею бросается Нина. Тычется в грудь носом-кнопочкой и ревет: «Папочка, родненький...» А ведь она, в отличие от Любы, совсем его не помнила.

Мне тоже захотелось тут же заплакать, я уже шмыгала носом. Но тетя Алла командует: всем — спать!

Когда приезжают гости, мы, дети, укладываемся спать на полу. Расстилаем ватное одеяло, а под головы сворачиваем телогрейки. Есть еще одно «спальное» место — сундук, и я успеваю его занять: «Чур, я на сундуке!» Идти укладываться на пол нужно в другую комнату, а сундук стоит здесь же. Бабушка опять качает головой, молча коря меня за неумное любопытство. Я уверяю, что усну тут же, сразу как лягу. Но сама только притворяюсь, слушаю разговоры взрослых и даже одним глазком подсматриваю за ними, и таким образом узнаю историю про колечко.

— Ты заезжал к матери? — спрашивает тетя Алла.

— Да, — кивает дядя Саша. Достает из кармана что-то блестящее и начинает катать его по столу. Я даже приподнимаюсь, чтобы увидеть, что же это такое.

Под Москвой у дяди Саши живет мать с младшим сыном, Евгением. Евгений этот писатель, человек известный, но от дяди Саши отказался, когда тот попал в беду — это я слышала не раз. И теперь дядя катает по столу колечко, долго молчит, но даже я понимаю, что оно как-то связано с его домом, с родными. Наконец рассказывает:

— В дом Евгений не пустил. Ночевали в сарае. А утром мама тайком принесла колечко. Знаешь, она совсем старенькая. Плачет и просит прощения. А про кольцо сказала: «Продай, Сашенька, может, доберешься на эти деньги до Аллы. Больше мне дать тебе нечего. А оно дорогое, старинное, хорошей пробы».

— Но ты ведь не продал, — неуверенно говорит тетя Алла, хотя яснее ясного, что не продал, и подбородок у нее подпрыгивает вверх.

— Не продал, — соглашается дядя Саша. Колечко со звоном врезается в блюдо.

— А как же?

— Добрались, как видишь.

Потом мне приснился сон: катится по земле колечко, как волшебный клубочек из сказки, а за ним идут дядя Саша и Лев Самуилович...

Но это потом. А пока я слышу, как бабушка хлопочет — кому где постелить. Дяде Саше и тете Алле — на улице, на топчане. «А уж вам, Лев Самуилович, в коридоре — больше негде.»

Но Лев Самуилович мнется, переступает с ноги на ногу и вдруг спрашивает:

— Ольга Александровна! У вас тараканы есть?

Бабушка обиженно поджимает губы. Мне хочется крикнуть: «Есть, есть!» Тараканы у нас живут под печкой, они совсем не нахальные, по столу не лазают, к тому же не какие-то там залетные рыжие прусаки, а черные, те самые, что, как уверяет бабушка, водятся к деньгам и благополучию. Может, человеку неудобно без этих тараканов, зачем же она обижается? И Лев Самуилович это видит, оттого с таким волнением, заикаясь, начинает объяснять:

— Вы не подумайте... чтоб в осуждение. Ради Бога, простите. Я просто их боюсь. Ну, очень. Поймите...

Вот чудак! Ну, клопов бояться — это куда ни шло, они хоть кусаются. Но чтобы тараканов?! Тут на помощь приходит дядя Саша.

— Ольга Александровна! Он действительно боится. Поэтому постелите ему на улице, а то он всю ночь на ногах простоят.

— Ну что ж, раз он такой боязливый, — сдаётся бабушка.

— Он не боязливый, — застывает дядя Саша. — Он человек редкой храбрости. А это у него как болезнь. Может несколько суток вообще не спать, если знает, что есть тараканы. Так что вы на него не обижайтесь.

Дядя Саша провожает друга во двор, возвращается в дом. Бабушка ложится рядом со мной на сундук. Дядя Саша садится за стол.

— Что же дальше? — спрашивает тетя Алла. — Как жить будем? Девчата уже большие. Люба от рук отбивается.

— Не знаю... Главное — работа. В школу меня теперь не возьмут, сама понимаешь. Если бы здоровье прежнее — я бы канавы рыть пошел. Только все во мне отбито-перебито. Я теперь, Алла...

И тут он произносит слова, от которых я так и подпрыгиваю:

— Я теперь, Алла, как разбитый самовар... И душа у меня вся выхолощена.

— Слышишь! — трясусь я за плечи бабушку. — Помнишь, цыганка?

— Тише, тише, — шепчет бабушка, и я замечаю, что она тихо, беззвучно плачет.

— Поедем в район, — продолжает тетя Алла. — Шараф Ниязович поможет. Он сейчас в Курган-Тюбе директор хлопкозавода.

Я ни разу не видела Шарафа Ниязовича, только знаю, что это хороший человек и всем помогает. Вот и сейчас тетя Алла, помолчав, добавила:

— Хороший человек... — потом спросила: — Саша, а друг твой, у него что, родных нет? Кто он вообще?

— Это актер, был когда-то известен. Да ты знаешь — это же...

Дядя Саша произносит такую трудную нерусскую фамилию, что ни повторить про себя, ни запомнить ее я не могу.

— Боже мой! — ахает тетя Алла, — Боже мой!

— У него никого не осталось, — говорит дядя Саша. — Всех подчистую... Так что придется нам вместе...

Вспоминаю безногого Веню и безрукого Славу. Вдруг тетя Алла прогонит Льва Самуиловича? Ведь его, наверное, тоже в хозяйстве не приспособишь. Полголовы без черепа, да еще тараканов боится. Но она говорит:

— Конечно, конечно. Какой может быть разговор. Вместе так вместе.

Дядя Саша наклоняется и целует руку тети Аллы.

Тетя Алла — это, конечно же, не рябая тетя Даша. А этот Веня тоже... Мастерит рамки для уликов, по воскресеньям торгует медом, весело, с прибаутками. Будто и не было у него никогда друга Славы.

На другой день у нас собрались гости. Катюша пришла одна, у дяди Юзека какое-то важное совещание. Дядя Саша очень ей обрадовался, все спрашивал:

— Ты помнишь, как я тебя на плечах на речку таскал? Залезешь верхом — и потопали...

Катюша целовала дядю Сашу, заливалась смехом, играла на гитаре, пела красивые песни, надарила всем подарков — мне досталась красивая пластмассовая шкатулка. Тете Алле, конфузясь, сунула деньги, та отказывалась, пока сестра не заплакала. Но сидела Катюша недолго, чуть стало темнеть — засобиралась, забеспокоилась:

— Я бы еще побыла, мама, но ты же знаешь...

Бабушка, вздохнув, развела руками: «Что же, Катюша, делать. Терпи, любовь у него такая».

А еще через несколько дней тетя Алла, дядя Саша и девочки уезжали в Курган-Тюбе. Дядя Юзек дозвонился Шарафу Ниязовичу, и тот сказал, что возьмет дядю Сашу, бывшего учителя математики, на завод бухгалтером, а тетя Алла будет работать в школе.

— Кто он такой, этот Шараф Ниязович? — спрашиваю я бабушку.

— Хороший человек, — отвечает она. — Дай Бог ему здоровья.

— Хороший человек — это я сто раз слышала. А кто он нам? — Друг твоих родителей по Вахшстрою.

Перед отъездом Люба мне наказала: будут в школе спрашивать куда уехали — не говори. И этот, если придет — тоже... «Этот» — конечно же, парень в кепке и с фиксой. А что касается школы — то я тоже знала, о ком она беспокоилась.

Школа наша называлась железнодорожной, и мужская, и женская под одним номером, оба здания находились в одном дворе. Так что были мы, с одной стороны, и отдельные, как все, а с другой — и не очень. Уроки физкультуры и пения часто проводились вместе, общей была и художественная самодеятельность, которой руководил Таир Усманович. Многие учителя были приезжими, из эвакуированных. Жили они тоже во дворе школы в маленьких, наползающих друг на друга постройках. На переменах мы видели, как учительницы, свободные от уроков, готовили на керосинке еду, стирали в корыте белье и тут же

развешивали его на веревках, протянутых между деревьями. Учительница литературы, маленькая, сухонькая Надежда Тимофеевна жила вместе с парализованной матерью. Окна их квартиры выходили прямо на спортивную площадку и иногда в них залетал тяжелый футбольный мяч. Услышав звон разбитого стекла, Надежда Тимофеевна выходила с веником и молча подметала осколки, никогда не пытаясь выяснить, кто именно разбил стекло. Потом еще долго окно смотрело слепой фанерой.

Рядом, в совсем уже малюсенькой комнатке, без прихожей и коридора, жила наша «немка», то есть учительница немецкого языка Ида Соломоновна. У нее была странная внешность, как будто ее взяли и слепили из двух разных людей. Маленькая, очень кудрявая голова покачивалась на тонкой длинной шее, плечи были узкими, талия тонкая, а вот все, что ниже талии, было тяжелым, неповоротливым. Ноги всегда перебинтованы, но если утром эти бинты были еще чистыми, то уже к полудню пропитывались желто-бурыми пятнами. Посмотришь на лицо — хорошенькая десятиклассница, а глянешь на походку — пожилая женщина...

У нее была собачка, тоже очень кудрявая, беленькая, говорили — французская болонка. Не знаю, у нас в поселке таких собак не было. Говорят, что спала собачка на кровати хозяйки, да еще на подушке, и что немка кормила ее колбасой, хотя сама ходила голодная. А зимой она одевала на свою болонку специально сшитую курточку — или как там ее назвать, с прорезями для ножек и хвоста и пуговицами на животе, чтобы та не простудилась. Собачка эта звонко тявкала, но ее все равно никто не боялся и не принимал всерьез, а немку считали малость «сдвинутой».

Стояла осень, и школа наша, как, впрочем, и остальные, пустовала. С середины сентября 6-9 классы собирали хлопок. Сейчас, в октябре, поговаривали, что пошлот и нас, пятиклассников, и десятиклассников тоже: пошли ранние дожди, а с планом у республики — плохо. А пока, как мы говорили — «лафа!». Многих уроков нет — учителя ведь тоже на хлопке. Вот только Ида Соломоновна со своими больными ногами да математик с протезом, да худрук без руки всегда были при школе. Усиленно изучаем немецкий и математику, десятиклассники еще жмут на физику — у нас пока ее нет. С худруком — ребята за глаза его дразнят: «Худрук — без рук» (плохая дразнилка, а попробуй, скажи им), так вот, с худруком мы готовимся к 7 ноября. Маршируем по плацу, поем песни и строим пирамиды.

Я эти пирамиды не люблю. Как одна из самых рослых, всегда стою внизу. Вместе с другими крупными одноклассницами, сцепив руки, мы составляем как бы платформу, на которую взбираются девочки поменьше, а им на плечи — еще меньше, а уж на самом верху у нас всегда Лиля Омельченко. Тонкая, гибкая, голосистая. Вскинув руки, она звонким голосом громко выкрикивает:

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Затем ловко прыгивает, и пирамида рассыпается.

Конечно, мы все завидовали Лильке. Казалось, что именно ее обязательно слышит товарищ Сталин, а может быть, даже видит — ведь из Москвы, из Кремля, он видит все и про всех все знает.

Сегодня мы опять разучивали пирамиды, хотя знали их наизусть, это только так называется — разучивать. А десятиклассники болтались по плацу, потому что у них не было уроков. Когда нас отпустил худрук, ко мне подошел Гена Омельченко, брат Лильки, десятиклассник. Я уже знала зачем: спрашивать о Любе, она училась тоже в десятом, только в женской школе, за ней все мальчишки «бегали», и Генке она тоже нравилась, но он всегда из себя что-то строит и за всеми следит, Люба его терпеть не может. Одевается как взрослый — носит пальто и шарф, которым закрывает пол-лица, хотя у нас ни одного мальчишку не заставишь шарф одеть, пуговицы на куртке или на телогрейке — и то не застегнуты, вся грудь нараспашку. Два года назад чуть не прославился этот Гена. Якобы встретил на улице Троцкого — решил, что тот пробрался из Турции к нам, в Среднюю Азию, надеясь, что здесь его не узнают. Мне по секрету все это рассказывала Лилька, она же и на вопрос — кто такой Троцкий — ответила, что это главный враг Ленина-Сталина, и что Гена его вот-вот «накроет». Потом оказалось, что худенький мужчина в очках с тонкой оправой и бородкой, инженер-железнодорожник, лет на тридцать моложе настоящего Троцкого, и мы с Лилькой жалели, что ее брат так ошибся. Наш пионерский отряд носил имя отважного Павлика Морозова, книжку о нем мы знали наизусть. Но Павлик разоблачил только своего кулака-отца. Если бы Генка разоблачил главного врага Ленина-Сталина, он бы, конечно, стал еще знаменитее. Тогда его именем вполне могла называться вся пионерская дружина.

И вот этот Генка подошел ко мне и спрашивает — куда Люба уехала. Я, как и пообещала, сказала, что не знаю, что они еще «не определились». Тогда Гена сказал:

— Чухнула, значит.

— Почему чухнула? — обиделась я. — Просто к ним приехал отец.

— Ты знаешь, с кем она встречалась? Вот этого, с фиксой?

Я пожала плечами, а Генка все подходил ко мне вплотную, надвигаясь, я отступала — и так мы оказались в углу двора.

— Любка ваша с бандитами связалась. Про «черную кошку» слышала?

Про «черную кошку» я слышала, но думала, что это где-то не в Душанбе и что этих бандитов уже поймали, о чем и сказала Генке.

— Да, сейчас, — презрительно усмехнулся он. — Поймали, да не всех! А они — везде, в каждом городе. И этот, что к Любке ходил, — главарь. Так что она доиграется...

Тут мне стало совсем не по себе. Бедная Люба! Но я старалась не показывать вида.

— У нее отец теперь. Он, знаешь, какой сильный...

— Отец! А отец у нее, между прочим, враг народа, за что сидел в тюрьме. Вот. Но ты не бойся, я никому не расскажу. Только при условии — узнаешь Любкин адрес и дашь мне. Договорились?

Я молча киваю головой, стараясь не расплакаться. Про себя думаю — потяну-потяну, а потом Гена забудет, закончит десятый класс, куда-нибудь уедет.

Дома мне тоже было тревожно. Боялась, что придет еще и этот с фиксой — «черная кошка». Может, рассказать все бабушке и спросить, почему дядя Саша — враг народа? Но чем она поможет, только расстроится. Однажды я уже рассказала одну историю, услышанную от той же Лили...

Дело в том, что когда нас приняли в третьем классе в пионеры, а отряд назвали именем Павлика Морозова, мы часто спрашивали друг друга: а ты бы так смогла, как Павлик? И с уверенностью отвечали: конечно, смогла бы... Но при этом я всегда радовалась, что бабушка моя ничего не прячет. А то бы... Бабушка упала бы на колени, просила бы меня, чтоб я никому не говорила, а я должна бы, как тетя Алла и мама, когда кресты бросали — пойти и не оглянуться. Поэтому я отвечала, как все: «конечно», понимая, что ничего такого мне делать не придется. А вот мама Лили и Гены разоблачила настоящего врага. Лиля так про это рассказывала:

«У папы брат был авиаконструктор, самолеты делал, его поэтому на войну не взяли. Мой папа погиб, а брат его дядя Валерий жил в Москве, у них с женой и дочкой квартира большая-большая, а еще дача. Он маме написал, чтоб она взяла меня и Генку и приехала к ним на лето. Мы приехали и жили на даче с тетей Леной, дядь Валериной женой и их дочкой Сонькой, купались на речке и шоколаду было хоть сколько. А дядя работал в Москве и приезжал только в воскресенье, но и на даче все равно работал. Тетя Лена маме сказала: у него работа секретная и чертежи секретные. Ему их нельзя брать на дачу, а он берет, потому что не успевает. А потом моя мама заметила, что тетя Лена на Сонькином платье вышила самолет, она была шпионка и вредительница! Подсмотрела у дяди Валеры чертежи нового самолета и нарочно вышила. Сонька бегала в этом платье, а кому надо, врагам, они этот чертеж смотрели. Их сразу арестовали. Мама хотела, чтоб только тетю Лену, но дядю Валеру тоже арестовали, потому что он жил со шпионкой и приносил чертежи. А потом мама хлопотала, чтоб дачу оставили нам, потому что она ведь их разоблачила. Но дачу не оставили. А Сонька сейчас в детдоме.»

Эта история произвела на нас большое впечатление, я ее наизусть запомнила. Не нравилась мне только концовка про дачу и еще было жалко Соньку — все же она не виновата, что отец и мать оказались вредителями. Поэтому, прибежав домой, я тут же принялась рассказывать все это бабушке и тете Алле, решив умолчать про дачу и про Соньку. А то получалось, будто Лилина мама не просто разоблачила

врагов, а за дачу. Но мне и не пришлось рассказывать до конца, потому что тетя Алла, еще когда я только дошла до самолетика на платье, выскочила из комнаты со словами: «Какая мерзость!». Бабушка пошла вслед за ней и долго не возвращалась. Конечно, если бы я знала тогда, что дядя Саша враг народа, я бы не стала про все это рассказывать.

В общем, бабушке я говорить ничего не стала. Этот, с фиксой, не приходил. Гена несколько раз спрашивал про адрес Любы, а я отвечала: пока ничего, ни одного письма — так оно и было на самом деле. Первая открытка пришла под Новый год. Тетя Алла писала, что у них все нормально.

Время шло, мы «строили» свои пирамиды, учились, пели с хударком песни, и вдруг такое событие — в Москве разоблачили врачей-вредителей. Все в школе только про это и говорили. Но больше всех это встревожило Гену. Мы с Лилькой сидели у них дома, когда он пришел со своим одноклассником Джамшедом, сдернул шарф с шеи, бросил портфель и сказал:

— Все, надо кончать с этой вражиной. Надо ей такое устроить, чтобы она отсюда вылетела в свое Бердичево.

— Кто? — спросила я.

— Эта Ида-Гнида. Сама жидовка, преподает фашистский язык... Она нам знаете, что говорила? Немцы — это великая нация, у них Гете, Гейне... Вот и осталась бы с немцами, нечего было сюда драпать. Очень нам нужен какой-то Гете.

Ида Соломоновна была, наверное, плохой учительницей. До войны училась в аспирантуре, в школе раньше никогда не работала. На уроках у нее шумели, а она часто вместо того, чтобы учить правила, читала стихи сначала на немецком, потом, их же, на русском языке, и даже, пела. Но что интересно — слушать мы ее вроде не слушали, а песни и стихи запоминались.

Джамшед учился вместе с Геной. Учился очень плохо, вообще был туповатый, зато — лучший футболист в школе, играл за сборную города. А при Гене — как телохранителем. Сейчас он слушал его, открыв рот, и всем видом выражал готовность разделаться с вражиной.

— Надо вот что сделать в первую очередь. Свистнуть у нее собаку. «Мой песик, мой мопсик», — передразнивал Генка учительницу. — «Мой милый дружок».

— А куда свистнуть? — спросила я.

— Ну, куда-нибудь. Отвести подальше и бросить.

— Можно убить, — сказал Джамшед.

— Вы что, с ума сошли? — закричала я.

Лилька молчала, поглядывала то на брата, то на Джамшеда, то на меня.

— Убивать не будем, поморщился Гена — Просто уведем.

— Да она все равно умрет, вы что, не понимаете? — я чуть не плакала. Очень было жалко собачку, я на переменках с ней всегда играла. Про Иду почему-то не думала.

— Собаку тебе жалко! — возмутился Гена. — А тех, кого врачи-вредители убивают, тебе не жалко?

— Но она же не врач, — робко, уже без прежней запальчивости, возразила я.

— Была бы врач, всю школу бы давно отравила. Может, еще и отравит. А если ты не за нее, уведешь собаку со двора, она к тебе идет.

— Нет, — твердо сказала я. — Собаку уводить не буду.

Расплакалась и выскочила на улицу. Всю дорогу плакала, поэтому пошла не домой, а к тете Даше, вернее к Нельке, ее старшей дочери. Тетя Даша с Веней уехали на пасеку, и Нелька с младшими сестренками была одна. Нелька училась в четвертом классе, потому что осталась на второй год. Она была отчаянная девчонка, мать не слушалась, отчима вообще терпеть не могла. Воровала у него деньги, тот ругался на нее матом, грозился убить, но попробуй догони ее на своей-то платформочке. А когда кидался камнем или палкой, Нелька всегда успевала вернуться и показывала ему язык. Бабушка не то чтобы запрещала мне ходить к ним, но относилась к этому неодобрительно: Нелька сама материлась не хуже Вени. Но что теперь мне было за дело до ее матерательств...

— Нелька, — сказала я. — Что придумать, чтобы не ходить в школу хоть несколько дней?

— Заболеть да и все. Притвориться.

— Нет, Нелька, мне надо взаправду заболеть. Притвориться не получится.

Бабушка моя очень недоверчиво относилась ко всякому недомоганию, разве что было оно совсем серьезным. Говорила: «Нечего болезни потакать». Сама, если плохо себя чувствовала, никогда не ложилась, а, наоборот, бралась за самую тяжелую работу в огороде или за большую стирку. Потом хвалилась: вот и болезнь отступила. Бывало, кто пожалуется, что голова болит, а она: это ты переспал. А если что живот болит — значит, переел, не жадничай за столом. Вот и все диагнозы. Нет, заболеть надо по-настоящему, чтобы была высокая температура.

— Мне надо простудиться, Нелька.

— Давай и я с тобой простужусь. А то завтра мать с Венькой приедут и накинутся: то не сделала, другое...

Был конец февраля. Погода стояла слякотная, промозглая. Снега не было, а так, мелкий серый дождик. Мы разулись и стали бегать босиком по цементным дорожкам. Но этого показалось нам мало. Открыли настежь двери и окна, забралась на подоконник и сидели на сквозняке, пока не посинели от холода.

Пришла домой поздно вечером. Бабушка спросила:

— Ты что такая пасмурная?

— Не знаю, наверно, заболела.

Легла в постель, но еще долго не могла согреться и уснуть. Прислушивалась к себе — ничего не болело. Но ведь это не сразу бывает. К утру уж точно начнется жар, будет ангина, а еще лучше — воспали-

ние легких. Тогда бы я долго-долго не ходила в школу, может быть, даже легла в больницу.

Вот ведь как бывает, думала я. Еще недавно все было хорошо. А теперь оказалось, что дядя у меня враг народа, Люба знается с бандитами, а Лилька, с которой я дружила, заставляет увести такую хорошую собачку. Нет, надо обязательно заболеть. А еще лучше умереть.

С этими горькими мыслями я и заснула.

Утром, проснувшись, вскочила с постели и вдруг вспомнила про все вчерашнее. Прокашлялась — горло не болело. Температуры тоже, скорее всего, не было. Но бабушка, не признававшая никаких болезней, озабоченно глянула на меня и сказала:

— Что-то ты сегодня бледная. Оставайся дома, говорят, ходит страшный грипп, с осложнениями.

Послушно легла в постель. Почему же я все-таки не заболела? Может, и маленькая собачка Иды Соломоновны не простудится, когда ее уведут из дома и выбросят? А даже если не простудится, то все равно умрет с голоду, или ее замучают мальчишки, такие злые, как Джамшед.

Конечно, если бы бабушка разрешила, можно было бы взять ее домой, но у нас есть своя большая собака, которая живет во дворе. Стала думать, кому бы отдать собаку. Может, Рене Левиевой. Она всегда ее гладит и даже целует. А ведь Рены вчера не было в школе. И Розы Гольман. Что они, обе заболели? Конечно, нет. Не пошли в школу, чтоб их не дразнили. И я сегодня не пошла... Ну уж нет... Фигушки им, и Лильке, и ее брату-сыщику.

Стала торопливо одеваться. Будь что будет... Пойду и расскажу Иде Соломоновне, чтобы спрятала свою собачку. А потом пусть делают, что хотят. Может быть, и вообще школу брошу.

Будь что будет! Пусть вслед мне кричат, что я за жидов, пусть Генка всем расскажет про дядю Сашу. Все — пусть.

Во двор школы прошла через «мужские» ворота. Сама окликнула Генку: «Привет, иди сюда!» А когда подошел, сказала:

— Вчера приходил этот, Любкин... Просил тебе передать, что если ты будешь спрашивать ее адрес, он тебя убьет.

Генка побледнел. Не такой уж он и храбрый, оказывается.

— А зачем ты ему сказала, что я спрашивал?

— Захотела — и сказала. Еще и про собаку скажу.

— Он что же, и за Иду будет заступаться?

— Будет. Попрошу — будет. Только тронь попробуй.

— Ты, слушай! Я наврал, что он «черная кошка».

— Все равно убьет, — пообещала я и пошла в свою женскую школу.

Розы не было, а Рена Левиева пришла, сидела на задней парте одна. Я села рядом. Несколько дней ждала, что меня будут дразнить или спрашивать про дядю. Но, видно, Генка очень испугался Любиного ухажера и никому они с Лилькой не сказали. А вскоре нам всем стало

не до этого: по радио сообщили, что тяжело заболел Иосиф Виссарионович Сталин. И взрослые, и дети — все ходили потерянные, жили от бюллетеня до бюллетеня, плакали.

И вот наступило 5 марта... На каждом доме полоскался на ветру красный, обрамленный черной лентой флаг. На траурном митинге в школе плакали все — директор, учителя, школьники, и сквозь рыдания клялись всегда быть верными делу Ленина-Сталина.

Уроки в этот день отменили, но мы все равно зашли в класс, не в силах разойтись. Ведь это было наше общее горе, и мы спрашивали друг друга: как теперь будем жить без Сталина? И каждая девочка говорила о том, что если бы можно было отдать за него жизнь, вот сейчас бы прямо умереть, то сделала бы это, не задумываясь.

И когда мы так сидели и горевали, в класс зашла отставшая от нас на год Нелька. Выглядела она похудевшей, осунувшейся, потому что, помогая мне простудиться, простудилась сама и все это время тяжело проболела.

— Нелька. — сказала я. — Ты на меня не обижайся. Я не виновата, что не я заболела.

— Ладно, — великодушно простила меня Нелька. — Зато хоть в постели повалялась. А Веня целый килограмм ирисок подарил.

Нелька стала всем раздавать конфеты. А потом, хитро подмигнув мне, протянула фантик и прошептала на ухо:

— Смотри, «кис-кис» называется. А наоборот прочти...

— Сик-сик, — вслух прочла я.

Нелька засмеялась, мне тоже стало смешно.

— Вы чего там? — подошла Зара Альбекова.

— А вот, прочти, — предложила Нелька.

Через несколько минут мы смеялись всем классом. Как будто нас завели или загнипотизировали. Мы зажимали рты, пытались избавиться от этого наваждения, но, глянув на фантики, ничего не могли с собой сделать. И в самый пик смеха распахнулась дверь. На пороге стояла старшая пионервожатая Лариса Ивановна, и на лице ее был ужас.

— Вы что, с ума сошли? Сталин умер, а вы...

Мы затихли, онемев, Лариса Ивановна грозно пообещала:

— Ничего, с этим мы еще разберемся. Еще будет время, — и хлопнула дверью.

— Это ты начала! — вскинулась Лиля на Нельку. — Ты!

— А что я начала? Фантик показала. Подумаешь! Кто вас просил смеяться? Повернулась и вышла из класса. По одной, молча стали разбредаться и остальные девчонки.

Я вдруг вспомнила, что уже два дня не видела Иду Соломоновну и собачку и подошла к барaku. Дверь ее комнаты была распахнута. Я зашла — пусто, ни собаки, ни «немки», и даже вещи: железная кровать, тумбочка, книги — вывезены.

Постучалась в соседнюю квартиру к Надежде Тимофеевне, — тоже

никто не отвечает. Тронула дверь — открыта. В кресле сидела, закутанная в одеяло, парализованная мать учительницы.

— Вы не знаете, — робко спросила я, — где Ида Соломоновна и собака?

— Отчего же, — ответила старушка. — Знаю. Ее увез худрук.

— Куда увез?

— К себе домой. Как бы это вам объяснить — он взял ее замуж.

— Замуж? Иду Соломоновну?

— Ну, а почему нет? Молодая, красивая женщина.

— А собачка?

— Разумеется, вместе с собачкой.

Вот это дела! Ида с ее больными ногами, веселый, красивый однорукый худрук... Почему-то опять вспомнились Веня со Славой. Может быть, я этого Славу, которого хотела взять замуж, вообще не забуду...

Пришла домой, а там гость, дядя Саша, приехал в командировку. Я ему обрадовалась, забыла, что он враг народа, стала спрашивать про Любу и Нину. Потом вспомнила и помрачнела. Мне еще предстояло рассказать бабушке про то, как мы смеялись в классе, — ведь она все равно узнает, вызовут теперь в школу, соберут родительское собрание, наверняка исключат из пионеров, а потом, может, из школы вообще. Но вот дядя... Стоит ли это все рассказывать при нем?

— Бабушка, у нас такое в школе случилось...

— Господи, что еще может случиться, если случилось самое страшное — Сталин умер.

— Вот-вот... Сталин умер, а мы смеялись.

— Как смеялись? Почему же вы смеялись? Как вы могли?

— Из-за фантика.

Я осеклась. Попробуй, расскажи, почему. Как не могли остановиться, как зажимали рты, хватались за животы...

— Из-за какого фантика? — спросил дядя Саша.

Я протянула злополучный фантик.

— Мы прочли наоборот, видите? — нечаянно опять прыснула и закрыла лицо руками от отчаяния. И тут мне послышалось, что дядя плачет. Даже ему так горько и стыдно за меня. Подняла голову и обомлела. Мой взрослый, можно сказать, старый дядя смеялся. Да просто хохотал... По морщинистым щекам текли слезы — но это были слезы смеха.

— Значит, сик-сик получается?

Минуту-другую ошеломленно глядела на прыгающий по худой шее кадык, на стертые корешки зубов, на веселые, озорные глаза дяди и вдруг сама засмеялась и стала хлопать себя по коленям. А бабушка, недоуменно покачивая головой, на всякий случай поплотнее прикрыла форточку.

ГЛАВА III

Все воскресенье Алина маялась, не зная, чем заняться. В городе было тревожно. Заходили соседи, делились новостями, которые были, правда, на уровне слухов. Вроде бы группа афганских моджахедов прорвалась через границу и пытается пробиться к гармовским боевикам, а от этих-то головорезов вообще пощады не жди. После русских, или русскоязычных, как теперь называли всех некоренных жителей республики, примутся за таджикскую интеллигенцию. Впрочем, интеллигенцию, как и все властные структуры, в Таджикистане представляли, в основном, ленинабадцы, а их, в свою очередь, не жалуют и кулябцы, всю жизнь считающие себя обделенными. Но они сейчас главная сила против ваххабитов. Говорят, в Курган-Тюбе перевес уже на их стороне, а командует кулябцами некий Бобо Сайгак, уголовник, чуть ли не 20 лет просидевший в тюрьме.

Что касается Сайгака, это было так и не так. Родной дядя Алины Николай Иванович смолоду жил в Кулябе по соседству с Сайгаком. Алина, в свою журналистскую бытность, любила летать в командировки в Куляб, чтоб не только привезти материал для газеты, но и поведаться с родными, поэтому знала о полевом командире из рассказов дяди.

Сангак был простым чайханщиком, когда получил первый срок. А случилось это так. Приехал в Куляб проверяющий из Душанбе, мелкая чиновничья сошка. Но, как это и принято было в те времена, стал изображать из себя большого начальника, подолгу сидел в чайхане, «на топчане, усталном мягкими курпачами, а местные подхалимы, как могли, ублажали его, подавая горячий жирный плов и наливая в чайник коньяк. Когда столичный гость, наевшись, откинулся на подушки и сыто рыгнул, Сангак подумал, что теперь самое время принести ему горячего зеленого чая. Однако тот, отхлебнув из пиалы и обнаружив, что напиток заменили, выплеснул содержимое в лицо Сайгаку.

Сангак был молод и самолюбив. Он взял за шиворот проверяющего, стащил с топчана и, пригнув сильной рукой его голову к земле, вылил на нее из чайника все содержимое.

Отбывая срок за злостное хулиганство и телесные повреждения, он убил своего сокамерника, «смотрящего» за зоной авторитета, который отличался особой жестокостью, особенно по отношению к более слабым и молодым заключенным, впервые оказавшимся за решеткой. Двадцать — не двадцать, но лет пятнадцать Сангак, действительно, отсидел, причем за эти годы сам стал «смотрящим», и, как говорят, хоть и суровым, но справедливым, и беспредела не допускал.

По освобождении из тюрьмы так и остался авторитетом, и не только в криминальных кругах. Потеряв веру в советские органы правосудия, люди шли к нему с жалобами как к главному прокурору и судье, и приговор, вынесенный им, обжалованию не подлежал и исполнялся беспрекословно.

Дядя Алины, много лет проработавший начальником кулябской типографии, выйдя на пенсию, частенько ходил с Сайгаком на рыбалку. Рыбачили они по два-три дня, случалось, ловили огромных, до 8–12 кг сомов, и за это время успевали наговориться всласть. Николай Иванович поражался острому уму и мудрой рассудительности простого, необразованного человека. Алина несколько раз видела Сайгака. Его смуглое лицо с черными пронзительными глазами, обрамленное густой белой бородой, казалось лицом древнего дервиша, много повидавшего и познавшего на своем веку.

Все это она объясняла соседям, но они сомневались, качали головами: победят кулябцы, начнутся разборки...

— А если не победят? — спрашивала Алина, и они соглашались: будет еще хуже.

Сама Алина надеялась на Сайгака, больше было не на кого: правительство давно расписалось в своей беспомощности, заявив по телевидению о том, что не сможет защитить жителей столицы и призвав создавать отряды самообороны, особенно в микрорайонах, расположенных при въезде в город.

Костя, между тем, не участвовал в этих, как он считал, пустопорожних разговорах, а, подвинув к креслу шаткий столик, работал над переводом стихов французского поэта Жака Превра. Французский язык был, собственно, его специальностью. И хоть по окончании ин'яза Ташкентского университета сразу ушел в газету, языком занимался постоянно. Едва ли не четверть библиотеки составляли книги на французском, в основном — поэтические сборники. Время от времени его переводы публиковались в литературном журнале республики, пару раз удалось напечатать их в «Иностранке». Надо сказать, что и французы оказались взаимно вежливы. Приехавший из Парижа в Душанбе на какое-то культурное мероприятие, знавший русский язык литератор Шарль Риоль был, по его выражению, очарован и произношением Кости, и знанием французской поэзии, и переводами, особенно Франсуа Вийона, и, наконец, его стихами. Вернувшись во Францию, издал небольшой сборник стихов Константина Пашкова.

И вот теперь Костя занимался своим любимым делом. В отличие от Алины, он в любой ситуации умел уйти в мир высокой поэзии, заслонившись им, как щитом, от реалий сегодняшнего дня со всеми его страхами и тревогами. Алина же решила заняться делом весьма прозаическим, сходить на базар и купить хотя бы косточку для супа. Едва дошла до подземного перехода, увидела женщину, в обеих руках тащившую две, видимо, тяжеленные сумки, и не сразу признала в ней даму из соседнего, так называемого цековского дома. Знакомы они были лишь визуально, но при встрече раскланивались. Холеная, всегда дорого и со вкусом одетая блондинка казалась высокомерной, а уж встретить ее с сумками было просто невероятно. Алина решила даже свернуть за угол дома, чтобы не вводить в смущение знатную даму, но та неожиданно окликнула ее.

— Соседка, погодите! — и остановилась, поставив сумки на землю.

Алина подошла, поздоровалась, отметив про себя, что выглядит дама скверно, ненакрашенное лицо постарело лет на десять, а одета в домашний халат. Поскольку та не торопилась заводить разговор, Алина вежливо осведомилась:

— С базара идете?

— Какой с базара... От Салима, сок виноградный тащу.

Действительно, из каждой сумки, которые дама поставила на землю, выглядывало по две банки трехлитрового сока.

— Витаминами запасаетесь?

— Да на кой черт мне эти витамины сейчас... Самогон гоно.

Алина была ошарашена таким признанием. Самогонование дело запрещенное. А тут...

— Хотите, вас научу? При такой-то жизни... Я вот напьюсь, — и пошли все на хрен... Пусть стреляют, воюют.

Растерянная деревенская баба стояла перед Алиной, а не высокомерная номенклатурная жена. А жила ведь еще недавно при коммунизме — не иллюзорном, не в светлом будущем, к которому такие, как ее муж, уже 70 лет вели народ, а в самом что ни на есть реальном. Спецмагазины, спецпайки... Даже спецпрачечная, откуда приезжала машина, забирала грязное белье, а потом привозила чистое. Тяжело падать с Олимпа... Хотя что теперь судить. Этих партия с ладошки прикармливала. Косте, талантливому поэту, всю жизнь кислород перекрывала, и он почти не издавался. А сейчас все в одном положении.

— Так у меня нет ничего... Там же аппарат нужен, и вообще...

— Мантушница есть?

— Конечно, есть.

Вообще-то Алина свою мантушницу отправила в контейнере, но у Лены есть.

— Ну, так вот — это самый лучший самогонный аппарат. И не притерешься, если что... А дрожжи мне мама из хмеля сама варит, я поделюсь хоть сейчас. Может, зайдете? Посидим, выпьем. У меня во всем доме перекинуться словом не с кем.

— Спасибо, как-нибудь потом.

— Ну, смотрите. Я от души предложила. Давайте хоть познакомимся, а то даже имени вашего не знаю. Меня Валентиной зовут. Алина тоже представилась.

Вернусь домой, расскажу Косте, вот удивится, и мы посмеемся вместе, — думала она, возвращаясь с базара. Надо же, самогон варит...

Так и вошла, посмеиваясь, и уж начала было рассказывать, да не так просто, а с вопроса, чтоб потомить и заинтересовать: а знаешь, что мне сейчас предложили? Но, глянув на Костю, осеклась на полуслове. Он полулежал на кресле, лицо было бледным, глаза прикрыты.

Опять сердце, испугалась Алина, подошла, провела рукой по лицу мужа, — оно было в испарине.

— Что, Костя, прихватило? Подожди, дам валидол. Ты береги себя, милый. Нам еще немного осталось потерпеть, совсем немного. Знаешь,

у тебя кончик носа и верхняя губа белые. Это от сердца. Шавкат мне так и сказал: это сердечный треугольник называется. Это плохо, ты, говорит, Алина, за ним последи. А как за тобой следить, когда ты даже лекарства отказываешься принимать? А больниц сейчас нет. И «скорых помощей» тоже... Завтра я попрошу Шавката, после того, как квартиру оформим, пусть зайдет, послушает тебя. И ничего, что хирург, главное, он умница, все умеет и все знает, — так приговаривала испуганная Алина, раскладывая второе кресло, чтобы уложить Костю, но он остановил ее, взял за руку.

— Аля, тебе не надо завтра никуда идти. Шавката убили.

— Боже мой! Костя, нет!... Откуда ты знаешь?

— По новостям уже трижды передавали. И по нашим, и по московским. Ты сядь рядышком, посиди, скоро опять начнут передавать.

Но она не могла ждать.

— Костя, где его?.. Как?

— Дома, вместе с женой застрелили в постели.

— А дети, дети?

— Оказывается, он отправил их неделю назад к родственникам в Ленинабад. Может, чувствовал что...

— Не хочу слушать «новости» и видеть это. Не хочу...

Взяла курпачу, ушла в другую комнату, расстелила ее на полу и легла.

Неужели это из-за денег, которые он собирался завтра отдать им за квартиру? Это первое, что пришло в голову. Но тут же засомневалась. Конечно, могли и из-за денег. Но это одна из причин, на поверхности... Следствие, если таковое будет, за нее и ухватится. Могли быть и другие, более глубокие.

Шавкат был человеком неординарным. Он родился в семье имама Ленинабадской области, кроме средней школы, окончил также медресе, но по стопам отца не пошел, решив стать врачом. Однако в годы воинствующего атеизма происхождение камнем преткновения встало на его пути. Золотой медалист, он только с третьей попытки поступил в мединститут. Его всю жизнь куда-то «не пущали»: сначала в комсомол, потом в партию, а без партбилета была немислима карьера ученого. Но защита кандидатской диссертации в Москве, его работы в области эндоскопической хирургии стали известны не только в Союзе, но и за рубежом. Так что партийные боссы отступились, «забыли» о происхождении. Но, может быть, теперь вспомнили исламисты и посчитали его вероотступником?

Не были типичными и его семейные отношения. Он женился на красивой девушке — татарке Мадине, что само по себе не осуждалось, ведь татары тоже мусульмане. Но Малина по профессии археолог, подолгу работала в экспедициях на раскопках древних городищ, и Алина слышала не раз от вполне современных и образованных таджиков: мы ничего не хотим сказать о Мадине плохого. Но отпускать жену так надолго, с мужчинами... Знаете, это не в наших традициях...

И Шавкат, и Мадина были людьми не только много читающими, но и пишущими. Когда Алина еще работала в газете, Шавкат приносил ей научно-популярные статьи, написанные хорошим русским языком, доходчиво, умно, зачастую — с юмором, а Мадина, вернувшись из экспедиции, также интересно и ярко рассказывала читателям об археологических находках. Оттого оба любили бывать в гостях у Кости с Алиной, с удовольствием принимали участие во всех посиделках, которые довольно часто устраивались здесь по какому-либо поводу, а то и вовсе без него, возникая стихийно.

Остроумный, веселый Шавкат был прекрасным рассказчиком. Не красавец, но лицо подвижное, умное, с белозубой улыбкой, а руки... Когда он говорил, беспрестанно жестикулировал ими, и Алина глаз не могла от них оторвать.

Правда, последний рассказ его не был веселым, но и его Шавкат рассказал с присутствием юмора.

— Когда в городе шли бои, мы несколько суток не выходили из больницы. Во-первых, домой не доберешься, а доберешься, не знаешь, сможешь ли завтра вернуться. А больных как оставишь, когда кругом стреляют? Уже поздно было, я прилег в кабинете, вдруг слышу, шум какой-то. Выхожу — четыре боевика с автоматами, заросшие все, лиц не разглядеть. Пойдем, говорит, с нами, мы своего командира привезли раненого, лечить будешь. Ведут в отделение травматологии. Я спрашиваю: разве там нет хирурга? Есть, отвечают, но русский, ты будешь лечить. Иду, думаю — может, у того кости раздроблены или ранение в голову, я ведь хирург полостной, но разве им что-нибудь объяснишь? Тем более, когда автомат в спину упирается. Раненый — в операционной. Боевики, как есть, в сапожищах, тоже за мной следом вошли. Я глянул на того, кого «лечить» надо, и сразу понял, что дело плохо, пощупал пульс — нитевидный. Так, говорю, ребята, все в коридор, ждите там. Но прежде чем выйти, один из них сказал: ладно, мы будем за дверь. Но если он умрет, из вас тоже живым никто не останется.

Осмотрел я этого полевого командира, — ранения несовместимые с жизнью, ему от силы несколько минут осталось. А боевики дверь приоткрытой оставили и наблюдают за мной. Я по их выговору сразу понял, — памирцы, а среди медиков, что согнали в операционную, один из врачей памирец. Я ему шепчу тихонечко: иди, уговаривай их. Сделаем, мол, все возможное, но шансов мало. И вот верите, я целых два часа, пока тот с ними беседовал, манипулировал с мертвым телом. «Ассистирующие» мне хирург и сестра включились в эту жуткую игру... Я командую, они подают инструменты... Сестра мне лоб промокает салфеткой. Правда, испарина в самом деле выступила. Боялся, конечно, а что же...

Рассказывая, Шавкат помогал себе, как всегда, жестами, и его легкие руки летали по воздуху, показывая, как резали, как зашивали.

Через два часа вышел в коридор, сказал слова соболезнования... Они молча забрали тело с собой и ушли, нас не тронули...

Тогда ушли, не тронули, но может, теперь вернулись, подумала Алина. Сволочи, сволочи! В кого стреляют — цвет и гордость нации...

Постукивая тростью, в комнату вошел Костя.

— А что, Аля, не устроиться ли нам вообще на полу? На креслах спать не очень удобно. Алина притащила еще одну курпачу, и они легли рядом.

— Как страшно, Костя, что их обоих, Шавката и Мадину. Дети совсем сиротами остались. Дочка хоть замужняя, своя семья, а мальчишки еще в школе учатся. Но знаешь, что я хотела сказать... Если бы нас... Если бы тебя... Короче, Костя, я ни за что бы не хотела остаться без тебя. Пусть бы уж лучше вместе. Я тебя так люблю, что мне не пережить...

— Глупенькая, о чем ты? Я тебя тоже очень люблю. Но если со мной что-то случится, ты уж, пожалуйста, живи долго-долго...

Они обнялись, и Алина тихо поплакала на его плече.

— Костя, я вдруг вспомнила твои стихи «Юго-восток». Ты как, почему их написал? Нет, я понимаю, что глупо об этом спрашивать, и все-таки... Что навеяло?

— Вообще-то строки Макса Волошина «Сотни лет мы шли навстречу выюгам с юга вдаль на северо-восток». Ну, и время, конечно.

— Ты их помнишь? Прочти...

— Волошина?

— Нет, свои.

Алина и сама их помнила, но вслушивалась в каждое слово и слышала их по-новому. В который раз она уже убеждалась, что Костя в своих стихах опережает время, а она не всегда понимает это сразу.

А нынче уходим на юго-восток —
В иные наречья, в иные обычаи,
Быть может, что даже в иные обличья —
Несмешанных красок прозреть холодок.

Быть может, сквозь сердце пробьется росток,
Как пробивает саманную крышу:
И бьется в висок отлетевшею вишнею
Речки подледный исток.

Уходим, уходим. Куда уходить?
Под зной или ветер? Не спрядена нить
И даже кольца не сковали...
Златая печаль и златая печать,
Холмы золотые, как стражи, стоят.
Куда нам идти за печалью?

Алина так и задремала на плече мужа, сквозь сон почувствовала, как он бережно высвободил руку, переложил ее голову на подушку и ушел, видимо, опять смотреть телевизор.

Проснулась уже в сумерках. Надо придумать что-нибудь перекусить или хотя б чаю согреть. Спросила:

- Что там, Костя, в «Новостях»? Есть что-нибудь хорошее?
- Есть и хорошее. Курган-Тюбе освободили от исламистов.
- Костя, почему ты сказал и хорошее? Что, плохое есть тоже?
- Сангак погиб...

Так... На сегодня многовато. Точно, многовато. Ни слова не говоря, Алина вышла во двор и направилась к соседнему дому.

— Валентина, я не успела купить виноградный сок, — сказала она с порога, когда ей открыли дверь, — но завтра обязательно куплю. А вы мне дайте, пожалуйста, дрожжей и еще... если можно, бутылку самогона. А я потом отдам. Или деньгами, если хотите.

Вернувшись, поставила на стол бутылку:

- Все, Костя, сейчас напьемся и пошли все...

И Костя изумленно посмотрел на нее, не столь удивленный неизвестно откуда взявшейся выпивкой, сколь залихватской фразой жены.

Алина достала банку рыбных консервов, да не кильки в томате, а благородной лосося, — энзе из посылки сына. Помянули и Шавката, и Сайгака. Пусть не православные, но помянули. Костя читал свои стихи, посвященные любимой женщине, то есть ей, Алине. Самогон был крепкий, настоящий луб на травах, и полегчало на душе, полегчало... Только Костя опять включил этот проклятый телевизор, не мог жить без новостей. А там разговор за круглым столом как раз о межнациональных распрях и войнах. И выступали, выступали, перебивая друг друга, вчерашние коммунисты, сегодняшние демократы, все умеющие объяснить и, оказывается, даже спрогнозировать... Ведущая, черноглазая красавица с лебединой шеей, с явным удовлетворением подвела итоги беседы: итак, разрушен еще один советский миф — о дружбе народов.

— Это на вашем, декларативном и партийном уровне миф, — подвыпившая Алина делала свои выводы, продолжая теледебаты. — Это ваша уродливая национальная политика противопоставляла людей друг другу. Это вы называли русский народ старшим, а коренной в республиках младшим братом. И это было издевательством над старшим братом, потому что русские в том же Таджикистане были людьми второго сорта, рабочими лошадками, это было оскорбительным для таджиков, называться младшими. Ага, вот именно: «и зверье, как братьев наших меньших...» Это Есенин, а кто еще? Но он ведь о другом писал, не так ли? А на нашем человеческом уровне, были и дружба, и братство. Костя, скажи, в послевоенное время в Ташкенте было братство народов?

- Было, было, — посмеивался Костя.

— И в моем поселке было, Костя, еще какое было братство! Им такого и не снилось! Так что выпьем и простим дураков, ибо не ведают, что творят. Нет, Костя, давай по-другому: выпьем, и не простим. Потому что если забрались так высоко, должны, обязаны ведасть...

СВИДЕТЕЛЬНИЦА

Когда едешь из Ташкента в Душанбе, смотреть в окошко нет никакого смысла: пустыня с проплешинами соли. Разве кому в диковинку верблюда увидеть. Но Аля с Дилей и на верблюдов насмотрелись, всю жизнь в Средней Азии. Диля злится, что Аля уговорила ее ехать поездом. Но с билетами на самолет было глухо, они два дня проторчали в аэропорту, и Аля решила, что лучше уж жара в поезде, чем беспросветная сутолока в аэровокзале. И Диля дуется, залезла на верхнюю полку и изо всех сил делает вид, что спит. Хотя заснуть в таком пекле просто невозможно.

Их сосед по купе, мужчина средних лет, кавказец по виду, без конца вытирает со лба обильный пот полотенцем, шумно вздыхает. Когда подружки вошли в купе, первым, что увидела Аля, была огромная кепка блином, болтавшаяся на вешалке, а потом уже она разглядела ее владельца. И сразу ей показалось что-то знакомое в его облике. Теперь она мучилась: где, когда могла его видеть?

Солнце бьет прямо в окно, и сосед по купе, приподнявшись, задергивает штору. Теперь Аля видит его в профиль и узнает мгновенно. Она даже чуть не вскрикнула, но сдержалась, зато сердце стало стучать гулко-гулко, она прямо захлебывалась этой гулкостью.

Я не узнала его сразу, потому что он поседел, а главное, расплывел, — соображала Аля. — И постарел. Конечно, постарел... Но профиль у него прежний, орлиный профиль...

Задержав штору, мужчина смотрит на Алю мягким бархатным взглядом, шумно вздыхает:

— Жарко...

— Жарко, — соглашается Аля.

Он встает, достает из-под полки чемодан, и купе заполняется мандариновым запахом. Протягивает оранжевый плод:

— Угощайтесь!

— Спасибо.

— А вашу подругу можно угостить?

— Подруга не хочет, — резко отвечает Диля, спускает с полки ноги, обтянутые джинсами, спрыгивает и выскакивает в коридор. Аля понимает это как приглашенье к разговору и выходит тоже.

Диля молчит, отвернулась, смотрит в окно, и Аля представляет, какое сердитое у нее сейчас лицо. А ей всегда смешно, когда Диля сердится. Потому что в такие минуты ее густые брови сходились на переносице, глаза смотрели исподлобья, но вздернутый носик с приподнятой верхней губкой словно бы продолжали улыбаться.

Аля берет подругу за плечи, поворачивает к себе:

— Ну, может, хватит дуться? Ведь едем же. Хочешь, я дам тебе ситцевый халатик, будет не так жарко, как в джинсах?

— Мне не нравится этот мандариновый король, — заявляет Диля.

— Ты с ума сошла! — Аля быстро прикрывает дверь в купе, хотя под стук колес вряд ли можно расслышать, о чем они говорят.

— Нет, ты видела его кепку? — не унимается подруга. — Я знаю, кто на Кавказе носит такие кепки. И вообще, он к тебе пристаёт.

— Он — ко мне? — Аля аж задохнулась от такого несправедливого обвинения. — Никто ко мне не пристаёт... Скорее это я к нему пристаю, если тебе так уж нравится это слово.

Диля презрительно подергивает верхней, короткой губкой. И тогда Аля признается:

— Понимаешь, мне кажется, я давно знаю этого человека. С самого детства. Я тебе потом расскажу, ладно? А пока не дави на меня. А то ты сейчас станешь напоминать, что я замужняя женщина.

Кажется, подруга сменила гнев на милость. Глаза ее помягчили, она махнула рукой:

— Делай, как знаешь, — и пошла в купе.

Аля же побежала в туалет, чтобы посмотреться в зеркало. Лучше бы не смотрелась. Чертова жара! Волосы прилипли ко лбу мокрыми прядями, и она безуспешно попыталась взбить их хоть немного. Тушь поплыла. Осторожно промокнула глаза носовым платком и тоже пошла в купе. Диля уже опять забралась наверх. Вторая верхняя полка напротив по-прежнему пустует. Аля возмутилась:

— Надо же! За билетами давились, а место свободное!

— Непорядки, непорядки, — соглашается попутчик.

В купе по-прежнему пахнет мандаринами. Аля подсаживается к столику и ничего не может сделать с собой — во все глаза разглядывает сидящего напротив мужчину. Ей становится обидно: она уж, конечно, изменилась меньше, а вот он не узнал ее. Хотя, с другой стороны, он в то время был уже взрослым парнем, а она совсем девчонкой. Младших всегда не помнят.

По-видимому, мужчина обратил внимание на явно повышенный интерес к его особе. Приосанился, провел рукой по седой, кудрявой шевелюре.

Сейчас предложит познакомиться. И тогда я... — раздумывает Аля. Но он не предлагает знакомиться. Опять достает из чемодана мандарины.

Вслед за мандаринами появляется бутылка вина.

— Понимаю, жарко, — словно извиняясь, говорит он. — Но это сухое...

— С удовольствием, — соглашается Аля и ловит на себе несколько удивленный взгляд.

Затем глаза его устремляются к верхней полке.

— Вы нам составите компанию?

— Уж так и быть, — снисходит Алина подруга, и попутчик отправляется к проводнику за стаканами.

Вино на вкус кисло-сладко-терпкое, но градусы в нем, как видно, есть. Аля чувствует легкое опьянение, потому что теперь сквозь тяжелова-

тое лицо сидящего напротив мужчины явственно проступают тонкие черты необыкновенно красивого юноши. Але так хочется, чтобы он сам, сам узнал ее, что она идет на маленькую хитрость. Вытягивает ноги в босоножках и говорит:

— Как жаль, не захватила с собой тапочек. Так устала на этих каблуках.

Фраза должна прозвучать, как пароль. Незаметно следит за выражением его лица. Ничего, кроме любезности и соответствующего ей:

— Ради бога, пользуйтесь моими. Тем более, что я сейчас залягу спать.

Но Аля не сдается и делает еще одну попытку.

— Скажите — «аленький» — просит она.

— Аленький — что? — недоумевает он.

Зато Аля довольна. Потому что он произнес это слово без мягкого знака: «аленкий». Потому что с мягким он никогда не умел.

— Аленький — что хотите, смеется она. — Что вам угодно: можно цветочек, можно горшочек...

Попутчик сидит, закрыв глаза. Ну, чего он? Глупой показалась Алина шутка? Или так разморило, хочет спать и не решается лечь, пока она тут сидит и разглядывает его? Ну что ж, надо помочь.

— Вы укладывайтесь, — говорит Аля. — Я пойду постою в коридоре. Там хоть чуточку попрохладнее.

Когда Алю в детстве спрашивали, где она живет, девочка, не задумываясь, отвечала: на Лепрозорке. «Лепрозорка» — так называли их поселок, и все в городе знали его под таким названием. Слово это казалось Але очень красивым. Что-то было в нем от «лепное», «лазореное». А разгадка оказалась куда прозаичнее. Когда-то здесь находился лепрозорий, больница для прокаженных. И хотя это было очень давно, может быть, еще до революции, таджики на этом месте не селились. И даже когда Душанбе стал стремительно разрастаться, здесь все еще был громадный пустырь, тянувшийся до самых хлопковых полей, а там уже шли небольшие кишлаки, которые в черту города не входили. Сам же город отделяла от пустыря железная дорога. И стояло на пустыре поначалу одно единственное здание барачного типа, но кирпичной кладки, с высокими потолками, в котором и был когда-то лепрозорий. Потом его отдали под общежитие геологам, две комнаты получили родители Али, но самой ее тогда еще не было. Во время войны пустырь стал застраиваться эвакуированными. Благо, находился у самой железной дороги...

Первыми здесь поселились несколько осетинских семей, соорудив сначала небольшие времяночки, а потом, пообжившись, и настоящие глинобитные дома. Времянки же сдавались эвакуированным, а те, тоже пообжившись, сооружали свои пристрочки. Не трогали пока лишь участок, где, якобы, было заброшенное кладбище прокаженных. И действительно, был он то в бугорках, то в ямках, и водилось там множе-

ство фаланг. Но постепенно стали застраивать и его. Так вырос поселок, известный душанбинцам под названием Лепрозорка, и народ жил там удивительно пестрый. Шло время, завязывались добрососедские отношения, все всё знали друг о друге, иногда вспыхивали ссоры, и тогда случайный человек поражался разноязычию женской брани. Однако ссоры, как правило, были недолгими. Подрастали ребятишки, которых вывезли матери из родных городов, спасаясь от бомбежек. Работать, как правило, шли либо на железную дорогу, либо в расположенный рядом колхоз. Каждого нового, еще не зная имени, как-то прозывали, и это прозвище приживалось прочно, переходило зачастую на всех членов семьи.

Почти на самом краю поселка жила осетинская семья, которую не со зла, не для обиды, а исходя из факта, звали «Туберкулезными».

У тети Зары умерли от туберкулеза муж, две дочери, болела она сама и старший сын Казбек. Лишь младшие мальчишки-погодки чудом пока оставались здоровыми.

Вот им-то, Туберкулезным, носила рано утром двенадцатилетняя Аля на продажу молоко. Конечно, можно было бы и не вставать так рано, понежиться в постели, тетя Зара сама бы прислала мальчишек за молоком. Но тогда оно было бы уже не парное. Аля слышала от взрослых, что парное всего полезнее от туберкулеза, а ей так хотелось, чтобы выздоровели тетя Зара и Казбек и чтобы не заболели мальчишки. Бабушка же вставала в шесть утра, разжигала печку и тут же шла доить корову. И как бы ни хотелось Але спать, она все равно рано вставала, ежилась и мерзла, кутаясь в старый шерстяной платок. Бабушка, отдавая ей жбан с молоком, каждый раз напоминала:

— Смотри там ни за что не хватайся, ничего не ешь, если угостят, — болезнь заразная. Выскакивая на улицу, Аля сдергивала с плеч платок, оборачивала жбан с молоком и бежала вприпрыжку к дому тети Зары.

Тетя Зара уже сидела за маленькой ручной машинкой. Она весь поселок обшивала тапочками. Они так и назывались: осетинские тапочки. Были каждодневные, суконные, в них только язычок и задничек кожаные. Были праздничные, которые назывались лосевые. На них тетя Зара выводила нитками причудливые узоры. На полу лежали заготовки — простроченные бока с вшитым язычком, но еще без подошвы и задничка, похожие на нахохлившихся птиц. Тетя Зара отрывала от машинки темные глаза, губы ее трогала едва заметная, тихая улыбка, спрашивала:

— Прибежала?

Может быть, она думала, что однажды Але не захочется вставать так рано и нести им молоко.

Осторожно Аля раскутывала жбан, щупала холодными ладошками его бока, радовалась: не остыло... Начинала тормошить мальчишек, сама разливала молоко в кружки, беспокойно оглядывалась: где же Казбек?

— В ночной сегодня, — ничего не спрашивая, объясняла тетя Зара.

Тогда Аля начинала беспокоиться еще больше. Опять закутывала молоко в платок, выскакивала на улицу, вглядывалась в сторону моста. Казбек работал в железнодорожном депо. Сначала-то он был помощником машиниста, только врачи не разрешили ему водить поезда. Наконец разглядывала высокую худую фигуру, вбегала в дом и опять щупала молоко. Когда Казбек входил, она уже стояла с кружкой в руке. Он смеялся:

— Аленька, погоди, видишь, какой я чумазый. Отмоюсь и попою. Он всегда называл ее Аленька, только получалось у него Аленка, с твердым «н».

Показывал ей свои черные, в мазуте, руки, пугал, что сейчас схватит за нос. Но Але не до шуток: молоко остынет, станет не парным, пропадут все ее старания, а главное, оно уже не поможет от туберкулеза.

— Я подержу кружку, подержу, ты только попей, — прыгает она возле Казбека. Встает на цыпочки, тянется к его лицу. Он уступает, припадает губами к краям кружки, делает крупные глотки. Аля замирает, разглядывая запрокинутый подбородок, бледную впалую щеку, неожиданно яркий румянец на скуле, впадинку у виска, кудрявые смоляные волосы над чистым высоким лбом.

Нечасто приходилось Але поить Казбека молоком. Нужно было подгадать, чтобы пришел он с ночной, чтоб не успел еще вымыться, но ради таких минут Аля готова была не высыпаться всю жизнь. Потом Казбек выходил в коридорчик, ставил на табуретку таз, брал ковшом теплую воду и звал:

— Мать, полей!

Тут уж Аля только остро завидовала, попросить разрешения полить ему она не смела. Молоко — другое дело, она сама его принесла, у нее вроде и прав больше. Но не уходила, ждала, пока он там плескался и пофыркивал. Уговаривала себя: сегодня и так повезло. Я его поила!

На улицу выбегала счастливая, в который раз повторяя чужие, из трофейного фильма слова: «Он мой князь и мой идеал». А потом уже сама додумывала: когда вырасту, обязательно выйду замуж за Казбека, и всегда, целую жизнь буду поить его молоком из кружки и поливать водой из ковша. Целую жизнь!

Пришла домой, нарисовала мелом палочку на дощатой стене веранды. Потом, поразмыслив, послонявила палец и стерла ее. Такая у них с бабушкой была бухгалтерия. Отнесет Аля два литра молока — пишет мелом на стене палочку. Когда палочек собирается достаточно, тетя Зара шьет Але тапочки. Иногда Аля писала эту палочку, а иногда день-другой пропускала. Все-таки молоко у них свое, от своей коровы, а с тапочками всегда можно погодить. Больная тетя Зара и так шила их с утра до ночи.

Однако пора в школу, а Аля еще не причесывалась, подходит к старенькому комоду, на котором стояло зеркало из толстого стекла —

семейная реликвия. Дед, мастер на все руки, был, оказывается, в молодости и зеркальных дел мастером. И это зеркало сделал сам в подарок своей невесте, сироте и бесприданнице Алиной бабушке. Оно, конечно, потускнело со временем, в глубине, за стеклом, появились трещины и разводы, но бабушка и мысли не допускала о том, чтобы купить новое. «Сейчас таких не делают», — говорила она, и в голосе ее звучали гордость и восхищение. Аля и сама любила старое зеркало. Ведь в него когда-то смотрелась молодая бабушка, а потом молодая мама. Да и свое отражение в этом зеркале ей очень нравилось. В других зеркалах только глянешь, сразу лезут в глаза яркие веснушки, волосы кажутся очень уж рыжими. А здесь никаких веснушек, волосы светлорусые, неяркие, с золотым отливом, все лицо сквозь матовую тусклость смотрелось взрослее, красивее.

Аля распустила волосы, они тут же закрутились в кольца. Но бабушка не считалась с ее кудрявостью и не разрешала отрезать косы. А такой-то Аля нравилась себе гораздо больше. Но тут постучала в окно Люська, одноклассница, и Аля быстро концом расчески сделала прямой пробор, заплела две тугие косички, завязала бантики из атласных голубых лент, и они потопали в школу: высокая, худенькая Аля и плотненькая, маленькая Люська.

Школа, больница, магазин — все находилось за перекидным железнодорожным мостом. Идти в город — значит идти «за мост». Летом для ребят это всегда проблема: раз за мост — надо умыться, одеться поприличнее, обуться — в поселке ходили босые. Ну, а во время учебного года за мост приходилось ходить два раза в день как минимум.

Ходили на занятия лепрозоровские все вместе, ждали друг друга на мосту. Сегодня первыми пришли Аля с Люской. Следом Валерка Воронов. Но встал отдельно: он десятиклассник, они для него пацанки. Да и класс у него еще мужской. С сентября соединили школы мужскую и женскую, а десятые и девятые оставили несоединенными. И вообще десятиклассников в поселке мало. Ребята после седьмого класса идут в техникум, а еще чаще — работать. Аля, обняв проволочные перила, смотрела в сторону депо. Вот бы придти однажды туда и посмотреть, как чинит Казбек поезда. Он ей обещал, может, и ответит. Тронулся товарняк, запыхтел, застучал колесами. Но этот перестук, как и пронзительные свистки, были привычны слуху Али, наверное, также, как крик петуха, по утрам деревенским девочкам.

Ребята тем временем подобрались. Но всегда кто-то опаздывает, а из-за него и все остальные. И учителя вечно ругаются: хоть бы раз эти лепрозоровские пришли вовремя! Сегодня нет Яшки с Фимой. А без них уж никак нельзя уйти. Фима, младший, мальчишка спокойный, он ни к кому не придирается, и к нему тоже. А за Яшкой нужен глаз да глаз. Ужасно психованный. Его так и зовут: Яшка-псих. Но если свои зовут, лепрозоровские, он даже не психует, отзывается да и все тут. А если кто чужой хоть слово скажет, тут такое начинается...

Алина бабушка при случае говорила мальчишкам: Фимку с Яшкой не обижайте, они такое пережили, что вам и во сне не снилось.

Наверное, про это, про пережитое, рассказала бабушке мама мальчишек тетя Бетя, уборщица железнодорожной больницы. Иначе откуда бы бабушка знала, что отец у них погиб в первый же год войны и что когда они сами выбирались из занятых фашистами мест, что-то страшное случилось со старшей сестрой. Фимка в то время был маленький и ничего не помнит, зато у Яшки что-то сдвинулось в голове. Он даже несколько лет не учился, а теперь сидит в одном классе с Алей, хотя намного старше ее. И когда на него находило, он сразу начинал искать сестру, и глаза у него становились прямо бешеные. И чтобы ни случилось, всегда у него мозги поворачивались на одно и то же. Ну, например, подножку кто-нибудь в коридоре подставит или снежком запустит — да мало ли что, он все равно начинает про сестру, кричит: «вы ее убили», да еще бросается в драку. Причем, вцепится в кого — не оттащишь. Аля поначалу сама пугалась, когда на него такое находило, а потом научилась его успокаивать. Просто говорила:

— И ничего ее не убили. Сейчас пойдем домой, а она там.

Ее даже с уроков отпускали, чтоб она Яшку домой отводила. И что интересно — дома сразу же забывал про сестру, ложился спать и спал очень долго, иногда целые сутки мог проспать.

Но вот, наконец, и они. Теперь бегом, через две ступеньки. Три пролета за несколько секунд. Школа до войны была двухэтажной, но ее отдали под госпиталь, быстро выстроив рядом два длинных одноэтажных здания — мужскую школу и женскую.

Война уже десять лет, как кончилась, а здание все не отдавали, все лежали там инвалиды. Не то, чтобы в прямом смысле лежали, многие ездили в колясках, а некоторые безногие на деревянных платформочках, отталкивая ее от земли двумя деревяшками. Этих «ездящих» школьники, в том числе и лепрозоровские, хорошо знали. Аля с Люской со многими здоровались, а иногда приносили им цветы или гостинцы.

В школе в этот день все было нормально. И Яшка не психовал, и контрольную Люська незаметно списала у Али. И дома, после школы, не произошло ничего необычного. Аля помогла бабушке, накосили они с Люской травы в овраге для коровы. Уроки сделала, как всегда, наспех, и — на улицу.

Поздно вечером, спрятав под одеяло черные жесткие пятки, чтоб не увидела бабушка и не заставила отпаривать ноги в тазу, в горячей воде с мылом, от которого нестерпимо щипало цыпки, Аля, засыпая, думала о том, как бы утром пораньше проснуться и подгадать к тому времени, когда Казбек уже придет со смены, но не успеет умыться.

Так бежали дни своим чередом. Однако происходили в поселке и свои знаменательные события. Например, состоялось общепоселковое собрание, на котором присутствовал представитель райкомхоза, мужчина средних лет в чесучовом костюме, соломенной шляпе и с портфелем. Он выступил с речью, сказал:

— Все вы знаете, товарищи, что ваш поселок назывался, неофициально, конечно, Лепрозорка, и это было, надо сказать, наследие прошлого, потому что никаких прокаженных в нашем советском поселке нет. Теперь же поселок ваш будет называться именем героя-летчика Нестерова, который, чтобы вы товарищи знали, между прочим, первым сделал «мертвую петлю». А отсюда вытекает тот факт, что и вы сами и ваш поселок должны быть достойны этого славного имени, потому решено от самого моста через весь поселок не позже чем к международному празднику 1 Мая провести асфальтированную дорогу, а также будут ставиться столбы для электрического освещения улиц. Но в этой светлой жизни вы сами, дорогие товарищи, должны не ударить в грязь лицом, побелить снаружи свои дома и другие пристройки, а также расчистить близлежащую территорию и следить за содержанием арыков, куда, между прочим, некоторые хозяйки выгоняют домашний скот в виде уток.

Речь всем очень понравилась. Принарядившиеся женщины — Алина бабушка тоже пришла не в обычной ситцевой косынке, а достала из сундука цветастый праздничный платок, горячо обсуждали приятные новости, тогда же и порешили: как только заасфальтируют дорогу и проведут освещение, сделать прямо на этой дороге большой дастархан и отпраздновать всем поселком, как его новое название, так и благоустройство, — вроде как справить именины.

На собрание не пришли только Иванцовы, которые всегда всех сторонились. Они и жили особняком, на краю поселка, в большом каменном доме, с оградой, с кованными воротами. Впрочем, фамилии их тогда никто и не знал, а звали их все Врачи по Нехорошим Болезням. Эти врачи, пока Аля не выросла и не узнала, что они венерологи, ее просто замучили. Она спрашивала бабушку:

— Туберкулез — хорошая болезнь?

— Что ты! — охала бабушка, не чувствуя подвоха. — Не приведи господи! От нее человек, как свечка, тает.

И тут Аля ее подлавливала:

— Значит, ее должны лечить Врачи по Нехорошим Болезням?

Бабушка терялась.

— Это другие нехорошие болезни.

— Но ведь хороших болезней не бывает? — настаивала Аля.

Тогда уж бабушка сердилась, говорила, что Аля больно дотошная и тут же отсылала ее за каким-нибудь делом.

Врачи по Нехорошим Болезням с поселковыми не общались. Были у них свои какие-то знакомые и друзья. Аля слышала, как поздним вечером подъезжали к ним легковые машины, но не через поселок, а задами, со стороны кишлаков. Дочка их, Танечка, единственная из всего поселка училась в институте, говорили, что она выбрала себе ту же специальность, и Алина бабушка сокрушалась:

— Надо же, такая молоденькая, такая хорошенькая, а тоже пошла в нехорошие болезни.

Что касается Али, хорошенькой она Танечку не считала и вообще

терпеть не могла. Да и другие поселковые ребята, даже те, что постарше, ровесники Тани, тоже с ней не дружили.

Трудно объяснить, почему, но мода к ним за мост доходила с большим опозданием. Городские парни уже зачесывали волосы назад, а поселковые все ходили с косыми челками на лоб, там уже носили пиджаки, а здесь вельветовые курточки на кокетке. Да и девчата все были с косами, в длинных, мешковатых платьях одного покроя. И только Танечка, за что была и прозвана Ципа-Дрипа, ходила в капроновых чулочках, в туфельках на высоких каблучках, в коротких гофрированных юбочках, схваченных на тонкой талии широким поясом. Кроме того, она была заносчива, мало кому даже из пожилых говорила «здравствуйте», а когда была помладше, не ходила общей гурьбой купаться на речку Кафирниган или ночью на кладбище прокаженных, где, как уверял Валерка Воронов, якобы светился фосфор из костей. И правильно, что все ее в поселке не любили. Да вот в чем была беда: все, кроме Казбека...

Развлекаться в поселке молодым было негде. Но вот по их сторону моста стали разбивать парк железнодорожников. Открылся летний кинотеатр, работала танцплощадка, где сначала под радиолу танцевали «Приориту» и «Брызги шампанского», а потом появился духовой оркестр. Алю, конечно, в парк бабушка не пускала: мала еще. Но откуда было бабушке знать, что, едва выскочив вечером на улицу, она бежала в парк, стояла, босая, чуть поодаль танцплощадки, смотрела на танцующих, слушала музыку. Городские к ним не ходили, побаивались: поселок был, кроме парка, пока еще неосвященным, да и ребята почему-то считались драчунами. Но и поселковые развлекаться «за мост» тоже не ходили, одна только Ципа-Дрипа каждый вечер, примерно часов в семь отправлялась в город. А чуть раньше на углу Алиного дома, мимо которого Танечка должна была пройти непременно, появлялся Казбек в наглаженной рубашке, с влажными, уложенными кудрями. Если в это время Аля спрашивала его о чем-то, отвечал рассеянно, поглядывая на дом Врачей по Нехорошим Болезням. И только когда хлопала тяжелая калитка и в своей пышной юбочке, с русыми локончиками вдоль узкого, лисьего личика, выходила Ципа-Дрипа, Казбек оживлялся, начинал болтать с Алей. Аля же, наоборот, замолкала, понимая, что это он нарочно, чтобы та не поняла, кого он здесь поджидает. Но только Танечка проходила мимо, он тут же на полуслове замолкал и долго смотрел ей вслед.

В последнее время у Ципы-Дрипы появился кавалер, как выражалась Алина бабушка. Небольшого росточка, с маленькой прилизанной головкой. Аля как встретила их вместе, так и не удержалась, покрутила пальцем возле виска так, чтобы видела Танечка. А означать это могло только одно: какой же надо быть идиоткой, чтобы не замечать такого красавца как Казбек, а ходить с такой Вошкой. Своим мнением она и с ребятами поделилась, и вот уже прозвище Вошка прочно приклеилось к кавалеру Ципы-Дрипы.

Неизвестно, каким образом поступила эта информация в Лепрозорку, но вскоре все уже знали, что Вошка сын главного прокурора. Какого именно прокурора — района, города, республики, а вполне возможно, что просто его отец кем-то работал в прокуратуре — эти детали уже не уточнялись. Факт тот, что лепрозоровские ребята все же побаивались этого родства, а то бы точно отлупили Вошку.

Але хоть и казался Вошка очень противным, но она надеялась, что теперь уж Казбек не будет каждый вечер ждать эту Ципу-Дрипу. И зря надеялась. Он смотрел ей вслед еще тоскливее, еще дольше. Но самое ужасное было то, что когда Танечка проходила мимо них вместе с Вошкой, то начинала хихикать и что-то шептать ему на ухо. Вошка тоже хихикал и оглядывался на Казбека.

— Зачем ты здесь стоишь? — с горькой обидой на него сказала однажды Аля Казбеку.

— А ты зачем стоишь? — улыбнулся Казбек. — Я с тобой...

— Ну вот, а я — с тобой, Аленка.

Аля тогда обиделась на Казбека: чего он с ней, как с маленькой? Знала, чувствовала, что добром эти ожидания на углу не кончатся.

Однажды Вошка шел, как всегда, к своей Тане, чтобы потом отправиться с ней в город, но до дому Врачей по Нехорошим Болезням не дошел, остановился возле Казбека, который, как всегда, уже ждал на углу Алиного дома. Аля, как увидела, что Вошка остановился, сразу выскочила и встала рядом с Казбеком.

— Покурим? — спросил Вошка у Казбека, а тот ответил:

— Не курю.

— Что, на папиросы не зарабатываешь? — спросил опять Вошка и нехорошо засмеялся. — Тогда могу угостить.

И протянул ему пачку с папиросами, но Казбек даже рукой не пошевелил. Аля знала, что не курит он из-за болезни, но Вошке Казбек ничего не стал объяснять, просто не ответил и папиросу его не взял. А Вошка вдруг ни с того, ни с сего стал ругать их поселок.

— Тут один сброд живет, в вашей Лепрозорке. Сброд и отребье всякое. И жулики.

И еще про то, что Танины родители, нормальные и интеллигентные люди, попали сюда случайно.

— А то бы, — сказал он, — я бы в жизни не узнал про вашу Лепрозорку, я бы даже плюнуть сюда не зашел.

А сам взял и плюнул и стал нахально смотреть на Казбека. Казбек все еще молчал, но Аля не выдержала:

— Иди плюйся в своем прокурорском доме или во дворе у Танькиных родителей, потому что тут только они одни жулики, — кричала она. — Я знаю, зачем к ним по ночам машины ездят!

Тогда Вошка глянул на Алю так, как будто она вообще никто и ничто. А потом наклонился и что-то прошептал Казбеку на ухо. А вот что именно, — Аля, как назло, не расслышала. Только после этих слов Казбек вдруг со всего маху ударил Вошку по лицу.

Или уж так сильно ударил, потому что хоть и был он болен, но все-таки рабочий парень, широкий в плечах, или Вошка такой оказался квелый, но только Аля и понять ничего не успела, как тот оказался в пыли на земле. И Ципа-Дрипа уже бежала к ним от своих ворот и визжала во весь голос.

В поселке ребята дрались часто. Бывало, что с городскими, а чаще между собой. Но никто никогда ни на кого не жаловался. Даже участковый, добрейший дядя Сережа, казах по национальности, с трудным именем, оттого и переименовали в Сережу, даже он не разбирался в этих драках. Так, пожурит только, назовет петухами, и все дела. Сколько раз и его сыну Искандеру влетало — и ничего. Но на этот раз Аля знала: так не обойдется. Ципа-Дрипа завела своего Вошку домой, а оттуда он вышел уже перевязанный, потому что, когда упал, рассек подбородок о камень. И вели его под руку, словно тяжело больного, Танькины родители.

Вечером бабушка никак не могла уложить Алю спать.

Та ее замучила вопросами:

— Бабушка, у нас поселок хороший?

— А чего ж... Магазин вон открыли, дорогу заасфальтируют.

— Да я не про это. Люди у нас какие?

— Люди как люди. Академиков, конечно, нету, народ обычный. Но неплохой. Мы уж тут сколько лет, слава богу, живем, и ничего.

— Бабушка, Казбек подрался...

— Казбек парень несчастливый. Красота в нем, видишь, какая.

— А разве это плохо — быть красивым?

— Плохо, — убежденно говорит бабушка. — Это вроде как отметина на человеке. Сестру ты его старшую не помнишь. Вот уж была красавица, а ведь поди ж, померла — восемнадцати не было.

— Ты так говоришь, бабушка, что по-твоему все бы красивые умирали.. А вон какие артисты есть красивые и счастливые.

— Помирают-то не все. Да и про их счастье мы много не знаем.

— Это ты так говоришь, бабушка, по своей отсталости и все неправильно!

— А если ты такая неотсталая, — сердится бабушка, — то ложиська да спи давай!

Попробуй тут усни! Чуть задремлет Аля, а ей все свой поселок снится. К тому времени он вытянулся в длинную прямую улицу, называвшуюся Первой линией, а небольшие поперечные улочки-проездами, тоже безымянными, по номерам: первый, второй, третий... на своей улице Аля знала всех. И хоть бабушка говорила: люди как люди, это было не совсем так. Потому что были среди них и такие, с которыми связывалась какая-то тайна, загадка. Вот, например, Та, Которая в Окне...

Вроде спит Аля, а вроде и не спит. Только видит она, как рано утром распахиваются голубые ставенки, раздвигаются ситцевые занавески в горошек, на своем обычном месте стоит горшок с геранью и появляется Та, Которая в Окне, и вот уже сидит, подперев кулачками

подбородок. Золотые волосы уложены короной, платье с глубоким вырезом, руки полные и белые.

У этой женщины нет ног. Но почему — никто в поселке этого не знал, а слухи ходили самые разные. Одни говорили, что она без них родилась, другие — что в детстве попала под поезд. Мало того, была она иностранка и будто приехала сюда из Варшавы. Но этому многие не верили: зачем это ехать из Варшавы в Лепрозорку? И потом, если бы она только что приехала из Варшавы, то откуда бы у нее взялся черноглазый сынок с таджикским именем Акбар, с фамилией Музафаров? Тем более все видели и отца Акбара, который первым приехал на легковой машине в поселок, сторговал у дяди Хамзата полдома, а затем уже привез Ту, Которая в Окне, и Акбара.

Легковая машина была уже сама по себе событием в поселке, потому и считали, что отец Акбара большой начальник. Сам Акбар одевался совсем не так, как поселковые мальчишки. Ходил в шортах, в гольфиках и настоящих сандалиях, рубашечки на нем всегда были чистые, с отложным воротничком. Зная нравы поселка, можно было бы предположить, что Акбару, такому чистюле, живется в нем неудобно, но это было не так. Ему прощались и шорты, и гольфики, потому что это был мальчик-грузчик, Хозяюшка, — как ласково называла его Алина бабушка. Ему было всего пять лет, когда он появился в поселке. И, поскольку мать его вовсе не выходила из дому, он сам носил тяжелые сумки с базара, стоял в очереди за керосином, ходил за мост в магазины и, кроме того, был такой добрый и вежливый, что обидеть его было просто невозможно. Никто не понимал, когда успевают Та, Которая в Окне, шить на себя и на сына, стирать, делать красивые прически, потому что от зари до зари вот так, подперев кулачками щечки, сидела у окна. Узнать у нее что-нибудь тоже было не так-то просто. Она неплохо разговаривала по-русски, но если ей не нравился вопрос, начинала быстро-быстро щebetать что-то по-польски, и собеседнице ничего не оставалось, как махнуть рукой.

Домой Та, Которая в Окне, никого к себе не приглашала, а самим идти вроде бы и незачем. Поздороваться, спросить о чем-нибудь, так пожалуйста, вот она, в окне... Но сегодня ночью, во сне, Аля решила во что бы то ни стало зайти к Той, Которая в Окне. Ей нужно, обязательно нужно посмотреть на ее ноги. Ночью окно не занято, Аля сама раскрывает ставеньки, на пол грохается цветок с геранью. Та, Которая в Окне, кричит от неожиданного грохота, вскакивает с постели, и Аля видит ее ноги — они у нее целые, но очень коротенькие, волосатые и с копытцами. Тогда Аля тоже кричит что есть сил и просыпается окончательно.

Слышит, как бабушка ругает теленка, перевернувшего кастрюлю. Теленок еще маленький, и пока живет в доме, потому что в сарае холодно.

— И что ты не угомонишься, — увещевает его бабушка. — Девчонку вон испугал. Выходит, и проспала Аля всего ничего, бабушка еще даже не ложилась.

— Бабушка, — спрашивает Аля. — А у Той, Которая в Окне, такие ноги тоже потому, что она красивая?

— Не знаю я, Аля. Сказала про красоту так, к слову, а ты все в строку берешь. Спи давай.

— Бабушка, а на что они живут, Та, Которая в Окне и Акбар?

— Отец мальчишки помогает.

— А почему он не живет с ними всегда?

— Ну тебе-то что за забота? Мало на то какие причины. Забываешь голову, чем не положено. Спи! Отец Акбара приезжал в поселок часто и всегда на легковой машине. И однажды случилось такое происшествие. Нугмон, узбекский мальчишка, которого все звали просто Немошка, шустрый и озорной, выскочил неожиданно из-за поворота и попал под колеса автомашины. Отец Акбара, весь бледный, вышел из машины, закрыв лицо руками. А Немошка в это время уже вскочил на ноги. Из ворот дома выбежал отец Немошки дядя Саид и, узнав в чем дело, дал сыну затрепину, сказав при этом хлесткую фразу по-узбекски, которая в переводе означала примерно «не будут тебя черти носить, где не положено». Но потом взял Немошку на руки и заплакал.

Дядя Саид был продавцом в единственном недавно открытом в поселке магазине, одновременно и продуктовым, и промтоварном, так что теперь не приходилось ходить за товарами и продуктами первой необходимости за мост. И вообще дядя Саид удивительный, замечательно честный человек. Однажды, что-то перепутав в накладных, ведь был он не очень грамотным, дядя Саид целый день торговал ситцем по 8 рублей 80 копеек, а потом обнаружил, что материя стоит 6 рублей 90 копеек. Тетя Амина, его жена, рассказывала, что он всю ночь не спал, а рано утром, припоминая, кто из поселковых брал ситец, ходил по домам, возвращая кому три, кому шесть рублей. А потом еще долго переживал оттого, что были среди покупателей случайные, незнакомые ему люди, которым он не может вернуть деньги и которые будут считать его мошенником.

Неизвестно, почему так повезло Немошке, но отделался он только испугом да синей полосой поперек живота, которая долго еще не сходила и которую он с удовольствием показывал всем, кому хотелось на нее посмотреть.

Отец Акбара привел к дяде Саиду барана, чтобы он сделал худои и чтобы никуда не жаловался на него. Барана дядя Саид взял, потому что худои был народный обычай: если случалась маленькая неприятность там, где она могла бы обернуться большой бедой, принято резать барана и делать угощение. А жаловаться он и так бы никуда и не пошел.

Так, от одного к другому, скачут мысли, все путается в голове у Али. Она опять вспоминает Ту, Которая в Окне, и улыбается красивой, таинственной женщине, и радуется, что она, эта красота, живет в их поселке. Потому что даже представить страшно, что однажды не откроется окошко и не покажется в нем золотоволосая головка.

Немного повзрослев, Аля, листая какой-то иллюстрированный журнал в доме своей любимой учительницы, вдруг увидит на цветной

вкладке Ту, Которая в Окне. Прочтет под ней: «Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари» и возмутится:

— Здесь ошибка. Я ее знала, — скажет Аля. — Она совсем не актриса, у нее нет ног.

И учительнице долго придется объяснять, что Ренуар, французский импрессионист, никак не мог написать Ту, Которая в Окне, и что просто люди могут быть настолько похожими.

После того, как испугал Алю теленок, она никак не может уснуть. Лежит и вспоминает своих соседей, мысленно идет от дома к дому. Рядом с Той, Которая в Окне, живет однорукий печник дядя Вася, жену его зовут Печничихой, хотя она и сама работает на железной дороге диспетчером. У них снимает комнату старая проводница тетя Настя, или, как зовут ее за глаза, Курилка, потому что она курит, а больше из женщин в поселке не курит никто. А еще дальше семья машиниста Воронова, у них трое самых отчаянных парней. Зато Валерка, старший, лучше всех играет на гитаре и поет. Но все это — люди обыкновенные, без тайны. Аля пропускает несколько домов и пристроек и останавливается у приземистой, глинобитной кибитки. Вот тут-то и живет самая жгучая тайна, еще таинственней, чем Та, Которая в Окне.

Здесь живет Китаец. Его так и зовут, хотя это не прозвище, он в самом деле китаец, но как раз в этом-то никакой тайны нет. Например, корейских семей в поселке несколько, ну и что? Дело в том, что китаец этот уже старый, с желтым морщинистым лицом, он едва передвигается на двух костылях, говорят, у него вообще нет ребер, и каждый день жена зашнуровывает на нем какой-то особый корсет. Но и это само по себе еще ничего бы не значило, если бы жена эта не была молодой и очень красивой женщиной, ничуть не меньшей красавицей, чем Та, Которая в Окне, но еще и на длинных, стройных ногах. И тут уж тайна, тут уж непонимание — отчего, почему живет со старым, большим Китайцем молодая и красивая женщина? Но даже эта тайна еще не вся. Китаец этот настоящий фокусник. Свои фокусы он показывает на маленьком базарчике, который стихийно возник несколько лет назад в поселке, прямо под окнами барака, где жила Аля. На базаре он показывал фокусы за деньги, но если приходили ребята к ним в дом, показывал их просто так, смеялся и угощал леденцами. Аля сама видела: держит в руках нормальную колоду карт, даже дает проверить, что все там нормально, а потом раз — и в колоде уже одни только дамы, или короли, или все карты вдруг станут одной масти. И леденцами он угощает не просто так. Сожмет на глазах у ребят пустую ладонь в кулак, а когда разожмет — в ней разноцветные леденцы. Аля пробовала — настоящие.

Про эту пару говорили еще больше, чем про Ту, Которая в Окне. Печничиха уверяла, что он несметно богат, и жена его, красавица Валентина, живет с ним из корысти. Проводница Курилка считала, что он колдун и приворожил Валю, она бы, мол, и рада от него отстать, да не в силах. И только, может быть, Аля догадывалась, что Валя просто лю-

бит Китайца. И тайна для нее была не в том, почему она с ним живет, а в том — отчего любит.

Еще Аля знала, что Китаец человек добрый, хоть и хитрый. Когда четыре года назад в самолетной катастрофе погибла ее мама, бабушка ходила к нему гадать. Дело в том, что самолет, вылетевший из Ленинабада, не долетел до места назначения, то есть до Душанбе, но и обнаружить его долго не удавалось. В течение трех месяцев несколько раз снаряжались поисковые экспедиции, и все безрезультатно. Лишь когда сошел с гор снег, останки самолета случайно обнаружил чабан. Но все эти месяцы не покидала деда и бабушку надежда на то, что мама жива. Аля все время жила с бабушкой и дедушкой. Отец с матерью, геологи, были всегда в разъездах. Но и потом, когда мама стала уже работать в газете, у нее тоже были то дежурства, то командировки, и Аля сразу не поняла, не ощутила утраты. Отец же несколько лет уже жил и работал в другом городе, может быть, они даже расстались с мамой, оттого и жили отдельно. Так вот, когда иссохшая от горя бабушка пришла с Алей к Китайцу, он долго раскидывал карты, прикрывал свои и без того узкие глаза и молчал. Наконец попросил жену принести росток какого-то растения — а их в доме Китайца было очень много — и сказал бабушке:

— Посади. Если примется — есть надежда. Будем смотреть.

И вот тогда-то Аля поняла, что Китаец сам несколько не сомневался в гибели мамы, и не потому, что умел гадать, а потому, что, кроме родных и близких, несмевших расстаться с надеждой, и так все было ясно. Но он жалел бабушку и таким гаданием поддерживал в ней надежду. А когда бабушка, обрадованная, принесла ему горшок с зазеленевшим ростком, он опять прикрыл свои глаза-щелочки и сказал:

— Хорошо... Теперь зацвести должен. Будем смотреть.

Хорошили маму в цинковом закрытом гробу: оттого, что Аля не видела ее лица, она и тогда еще не ощутила утраты. Смотрела на все отстраненно, словно происходило это в кино, а если плакала, то только потому, что плакали все. На поминках, и позже, всегда, когда заходил разговор о маме, все говорили:

— Такая была добрая, такая улыбчивая, веселая...

Аля недоумевала: добрая — да. Но веселая? На всю жизнь она запомнилась ей печальной. Печальны были ее темные, глубокие глаза, печальны даже смуглые, тонкие в запястьях руки, печален весь облик. Аля силилась вспомнить маму смеющейся или хотя бы улыбающейся, и не могла. Может быть, считая Алю слишком маленькой, мама не таила перед ней свою печаль? И печаль эту Аля, не умея объяснить, каким-то образом связывала с отцом.

За домом Китайца опять шли дома с людьми обыкновенными. Стояли два барака — общежитие железнодорожников, в котором жили машинисты, помощники машинистов, дорожные рабочие, служащие станции со своими семьями. За что же их всех так обозвал этот Вошка? В поселке не работала только Та, Которая в Окне, но ведь она без ног.

Ну, еще Китаец на базаре показывал фокусы, и дядя Сережа его несколько раз ругал за это. Но ведь Китаец инвалид. Если и неправда, что совсем без ребер, то уж точно с большим позвоночником. Жил еще за железнодорожными бараками старый рыбак-пьянчужка, который с удочкой ходил на Кафирниган, а потом продавал рыбку на базаре. Так ведь везде есть свои пьянчужки. А если разобраться, то и он тоже хороший человек. По крайней мере, растит один внучку Люську, Алину одноклассницу, потому что у нее не только отец, как у многих, но и мать, родная дочь рыбака, погибла на фронте. А еще он, хоть и пьянчужка, выращивает такие розы, каких здесь никто раньше и не видел. И чуть выпьет, тут же срезает их и всем раздаривает.

И вот все эти люди — сброд? Правильно Казбек ему врезал, вот только в милицию его за это таскать не стали бы...

И опять полусон, полузабытье. Колода карт в руках у Китайца, а на них не короли и дамы, а живые рыбки плещутся...

Из-за этой бесполовой ночи Аля проснулась, когда бабушка давно уже подоила корову, молоко остыло, а Казбек, конечно же, не только пришел, но и вымылся. Однако время до школы еще оставалось, и Аля все-таки решила отнести жбан молока. И еще только дошла до Той, Которая в Окне, как увидела, что из дома тети Зары вышли два милиционера, один дядя Сережа, другой незнакомый, а посередине, нагнув голову и заложив руки за спину, шел Казбек. Тетя Зара стояла у калитки, обняв косяк, а потом стала медленно сползать на землю. У дяди Сережи было ужасно виноватое лицо, и он шел, как и Казбек, пригнувшись, а Та, Которая в Окне, что-то кричала, похоже, ругалась польски на милиционеров.

— Это же его арестовали, — догадалась Аля. — Не просто вызвали в милицию, а арестовали...

Хоть и знала Аля, что Врачи по Нехорошим Болезням сделают какую-нибудь пакость Казбеку, но такого не ожидала. Она не выронила — бросила жбан на дорогу и побежала навстречу. Казбек, заметив ее, поднял голову, улыбнулся.

— Аленка, — сказал он. — Молоко пролила. Ну, ничего...

И засмеялся.

Аля не поняла, к чему относилось это «ничего» — к молоку или тому, что его арестовали. Вечером весь поселок был взбудоражен.

— Ничего ему не сделают, кричал пьяный рыбак. — Попугают немного и отпустят.

— Могут оштрафовать, — сомневался печник дядя Вася.

Проводница Курилка, потягивая «козью ножку», предложила:

— Надо матери Казбека да нам всем, соседям, пойти к врачам по Нехорошим Болезням попросить, чтоб уговорили Вошку простить. Полубовно, мол, по-соседски надо...

Но предложение Курилки не поддержали, идти к ним никто не хотел.

Разговор этот происходил вечером, на том месте, где по утрам собирается базарчик. Вышли из барака железнодорожники, те, что по-

моложе, устроились прямо на прилавках, пожилые вынесли с собой самодельные скамеечки. Получилось настоящее собрание, однако вести его было некому, оттого и проходило оно с криком, спором, беспорядочно и бестолково. Железнодорожники кричали: да чтоб такого парня посадили? Это наш стахановец, образец, так сказать, для подражания. Да мы за него горой!

Кто-то сбежал за участковым. Дядя Сережа пришел, как всегда, облепленный маленькими детьми, мал-мала меньше. У него и форма-то вечно была заляпана и заспунявлена малышами, их у дяди Сережи восемь в семье и все на нем виснут. Потолковал он с собравшимися, но не обнадежил. Сказал:

— Как дело повернется. Статья в кодексе есть.

— Какая такая статья! — завозмущались женщины. — Да когда же это было, чтоб парни из-за девки не передрались!

Та, Которая в Окне, волновалась, звала к себе поближе, кричала:

— Ходатайствовать надо!

Слово это всем понравилось, хотя никто его толком не понял, и все стали друг у друга спрашивать, как они будут ходатайствовать.

— Пойдем в суд и будем перед судом ходатайствовать, — решил за всех Рыбак.

Аля тут же побежала к тете Заре: пусть предупредит ее, когда будет суд, а она уж все дворы обегает, и все пойдут ходатайствовать. Но предупреждать Алю не пришлось: ей самой прислали повестку. Следователь, который вызывал ее и про все спрашивал, сказал, что хоть она и несовершеннолетняя и ее свидетельские показания полной силы не имеют, тем не менее в суде их решили выслушать.

На суд все, конечно, пойти не смогли, особенно из железнодорожников: кто был в поездке, кто на смене. Зато печник пришел в выходном костюме, пустой рукав аккуратно подвернут, а вся грудь в орденах и медалях. Рыбак был абсолютно трезвым. Вместо школы пришли в суд Люська, Валерка и Немошка. Хотел за ними увязаться и Яшка, но его обманули, сказали, что суд перенесли, потому что он точно бы распиховался.

Пришли лепрозоровские большой толпой, уселись на скамейке в зале заседаний. Только Алю не пустили. Милиционер сказал, что в зал заседаний ей нельзя входить, пока ее не вызовут, так что пусть она посидит с другой свидетельницей в коридоре. Другой свидетельницей оказалась Ципа-Дрипа, и Аля принялась доказывать милиционеру, что она никакая не свидетельница, потому что прибежала уже потом, на что милиционер ответил, что все это надо объяснять суду, а не ему.

А в зал заседаний уже вошли судья и заседатели, прокурор и адвокат. Когда судья сказал: «Встать, суд идет» и открыл судебное заседание, поднялся рыбак и на весь зал крикнул:

— Минуточку! Как это суд идет? Мы еще не ходатайствовали!

Тогда судья объяснил, что здесь, в суде, не ходатайствуют, надо было делать это раньше. Лепрозоровские заволновались, но судья строго

призвал всех к порядку и предупредил: если кто будет шуметь, его выведут из зала.

Аля еле дождалась, когда ее вызовут. Ей казалось, что она сможет все объяснить и спасти Казбека. Но вместо того, чтобы рассказать правду и этим хоть чуточку помочь ему, она стала врать и совсем запуталась. Аля уверяла, что Казбек вовсе не ударил Вошку, а, наоборот, Вошка хотел его ударить, но поскользнулся, упал и разбил подбородок. Все это она выпалила, едва судья назвал ее фамилию. Это его, видимо, рассердило, и он велел ей отвечать только на вопросы, а еще выговорил за Вошку, напомнив, что здесь суд, а не улица, и чтобы она обходилась без оскорбительных прозвищ.

За нее вступился адвокат:

— Девочка хотела сказать «Вовку», так как потерпевшего зовут Владимиром, она просто немножко шепелявит.

Но Аля зло выкрикнула:

— Ничего я не шепелявлю! Я и не знаю, как его зовут, он — Вошка!

Тогда судья опять сделал ей замечание и сказал, что если она так будет себя вести, то ее лишат права давать свидетельские показания и вообще удалят отсюда.

После этого Аля притихла и стала отвечать на вопросы. Рассказала, как потерпевший (выговорила это слово с ненавистью) стал цепляться к Казбеку насчет покурить, а потом ругал весь их поселок и плевался, а потом еще что-то сказал на ухо Казбеку.

И тут до нее дошло, что это «что-то» было сказано в ее адрес, и что из-за нее ударил Казбек Вошку. Конечно, придрался Вошка из-за Ципы-Дрипы, но еще неизвестно, дошло бы дело до драки или нет.

Догадка Алю ошеломила, она замолчала на полуслове, разревелась и стояла перед всеми, хлюпая носом и размазывая слезы по лицу.

Судья попросил Алю успокоиться и уточнить: когда же обвиняемый ударил потерпевшего? Но она упрямо стояла на своем: никогда не ударил, это потерпевший хотел ударить, поскользнулся и упал.

Прокурор поинтересовался, кто научил ее врать, и она опять ответила, что не врет, а говорит правду. После этого Але разрешили сесть и приступили к допросу второй свидетельницы.

По словам Тани Иванцовой выходило так, что Казбек давно был влюблен в нее, приставал к ней, каждый вечер поджидая на углу, а когда она стала встречаться с потерпевшим, из ревности цеплялся к нему и, наконец, выждав момент, набросился на него безо всяких оснований и избил. Да, она тоже врала, но все у нее выходило так ровно и ловко, как будто она говорила правду.

Когда она сказала, что Казбек был в нее влюблен, Аля не выдержала и крикнула:

— Да он тебя терпеть не мог! Он для того и ждал на углу, чтоб тебе вслед плюнуть!

Судья постучал ручкой по столу, но реплика почему-то заинтере-

совала прокурора, и он попросил разрешения задать ей еще несколько вопросов.

— Значит, вы, свидетельница, утверждаете, что обвиняемый и раньше вел себя оскорбительно по отношению к Иванцовой, как вы говорите, плевал ей вслед. Не припомните ли вы, может, при этом он выражал и угрозы?

Адвокат от досады даже рукой хлопнул по столу. А на Казбека Аля и взглянуть боялась. Опять, опять она сказала какую-то глупость, которая только навредит ему.

— Ничего я такого не утверждаю...

— Но вы сейчас разве не говорили?

— Я про Вошку говорила, что он плевался не только тогда, а всегда...

Прокурор даже руками развел, словно приглашая всех присутствующих убедиться, сколь противоречивы и неискренни показания этой девочки. В свой речи он особое внимание уделил их поселку, где по его словам, царит нездоровая атмосфера и подобная драка между городским и поселковым парнем явление неодинокое. Вот эту-то нездоровую атмосферу и имел, по-видимому, потерпевший в виду, когда, возможно, позволил себе некоторые критические замечания в адрес поселка.

— Я говорю — возможно, — подчеркнул прокурор, — потому что все вы могли удостовериться, как пыталась ввести в заблуждение суд свидетельница, отрицая столь очевидный факт нанесения удара, в котором сразу признался сам обвиняемый.

Говорил прокурор долго и потребовал меру наказания — три года лишения свободы. Речь адвоката была короче и бледнее прокурорской, а все оправдание сводилось к тому, что обвиняемый молод, приводов в милицию ранее не имел и так далее. Приговорили Казбека к двум годам.

Громко, в голос, заплакала тетя Зара.

Аля, обернувшись к Иванцовой, крикнула на весь зал:

— Дура венерическая, вот ты кто!

А потом выскочила в коридор, чуть не сбив с ног какого-то дядьку, и помчалась домой. Дома с ней случилась настоящая истерика. Она глухо рыдала, обхватив руками подушку и вцепившись в нее зубами, а когда испуганная бабушка принялась ее утихомиривать, выскочила вместе с подушкой из дома, пометалась по двору, а потом залезла в собачью будку. И неизвестно, что решил для себя их добрый и bestолковый пес, но к будке не подпускал никого, даже бабушку. Там, согнувшись чуть не втрое, Аля вдруг сразу впала в какую-то странную дремоту. Под вечер, однако, замерзла, вылезла из будки и, все еще не проснувшись, пришла домой и забралась в постель. Подсевшая к Але бабушка обнаружила, что та вся горит.

Так, в горячке, Аля провалялась три дня. Приезжал врач. Поскольку на его вопросы Аля не отвечала, шептался о чем-то с бабушкой.

Бабушка говорила про контакт, возможное заражение, и врач решил на всякий случай проверить легкие, выписал направление на рентген. В больницу Аля не пошла. Она знала, что здорова. То, что с ней произошло, сейчас бы назвали обычным стрессовым состоянием.

Прошло еще несколько дней, прежде чем похудевшая, осунувшаяся, Аля поднялась на ноги и сразу отправилась в редакцию, где работала ее мама. Ее там все знали и помнили, вот только секретарша была новая и к редактору не пускала, объясняя, что если с жалобой, то надо идти в отдел писем. Но тут он выглянул сам, обнял Алю и завел к себе в кабинет. Сначала про все выслушал, а потом сказал:

— У нас уже занимается сотрудник этим письмом.

— Каким письмом? — удивилась Аля. — Письма не было...

— Ну как же так. Его от ваших поселковых принес товарищ Музафаров.

— У нас Музафарова нет, — начала Аля и осеклась, сообразив, что это отец Акбара.

— Да я сейчас приглашу сотрудника.

Пришел сотрудник, которого Аля тоже знала, с письмом.

— Вот видишь, сколько подписей. А написала Бзежинская.

— Это Та, Которая... — Аля замолчала, но редактор понял ее по своему.

— Да, которая без ног. А ты, кстати, знаешь, почему она без ног? Аля покачала головой.

— Она из польских беженцев. Когда в 39-м фашисты напали на Польшу, армия Андерса отступила. Бзежинской повоевать пришлось. Ноги ей гранатой оторвало. Ну, а что касается Казбека, приходи завтра, я тебе уже что-нибудь конкретное скажу. Сейчас мы тут обговорим, выясним кое-что...

На другой день редактор сказал Але, что внимательно ознакомился с делом Казбека, и сразу стал ругать Алю за то, что так вела себя на суде.

— Если бы не стала врать в основном, то, возможно, суд учел бы все, что предшествовало драке и принял к сведению как смягчающее обстоятельство. Но если ты утверждала, что Казбек не ударил потерпевшего, а, наоборот, потерпевший хотел его ударить, то тебе, конечно же, не поверили с самого начала. Так что своим враньем ты не помогла другу, а все испортила.

Это-то Аля теперь и сама понимала. Тем не менее возразила:

— Иванцова вообще все врала, ее там и не было вовсе, она потом выскочила, а все равно ей поверили.

— А в общем, конечно, с парнем поступили жестковато, — заключил редактор. — Поэтому надо апеллировать в Верховный суд. Ты приходи ко мне вместе с матерью Казбека, я вас направлю к юристу, он поможет написать заявление, скажет, какие документы нужно собрать. Почему, кстати, в деле нет характеристик с места работы, жительства, наконец, справки о том, что он серьезно болен?

Аля пожала плечами: кто же думал, что его посадят? И потом, никто ведь не научил.

— Что же касается тебя, Аля, — продолжал редактор, — мне крайне неприятно, но я должен тебе сказать, что на суд ты произвела очень плохое впечатление. Мало того, что врала, но и дерзила, оскорбила свидетельницу, проходившую по тому же делу. Позоришь и бабушку с дедушкой, и отца. А о маме ты подумала, об ее памяти? Ее вся республика знала. И судья, кстати тоже. Я когда сказал, чья ты дочь, он прямо поразился. Говорит: мне и в голову не пришло, хотя у них одна фамилия. Такая, говорит, женщина была — интеллигентная, обаятельная... Бумагу вот собирались тебе в школу отправлять, чтоб усилили воспитательное воздействие. Ты, кстати, как учишься?

— Учусь хорошо. Но если бумагу отправят, вообще в школу не пойду.

— Не отправят. Теперь не отправят. Но ты подумай над собой хорошенько, ладно?

Але было, конечно, не до того, чтобы думать над собой, но она пообещала, что подумает.

Верховный суд отменил решение районного. Наверное, помогло теперь уже настоящее ходатайство и железнодорожников, и соседей. А может быть и то, что Таня изменила свои свидетельские показания, была на суде вся сникшая, говорила вяло. Ходили слухи, что за Казбека, как ни странно, вступился отец Вошки, действительно прокурор, и будто даже выдал сыну, назвав его подлецом. Но откуда дошли такие сведения, тоже непонятно — не Иванцовы же их распространяли. Так или иначе, из-под стражи Казбека освободили прямо в зале суда, но через несколько дней увезли в туберкулезную больницу из-за обострения болезни.

После этих событий отношение поселковых к Иванцовым, а также к Вошке, совсем испортилось.

Ребята обдумывали план мести.

— Ничего, он нам еще встретится один, этот Вошка, без свидетелей, — выжидали они.

Беспокоился дядя Сережа. Говорил то с одним, то с другим:

— Посмотри на тетю Зару, сколько она, бедная, пережила. Ты хочешь своей матери такого?

Может быть, действовали уговоры дяди Сережи, а скорее всего то, что Вошка после этого ни разу по эту сторону моста не появился, провожал Таню только до железнодорожного вокзала. Тем не менее, как ни старался участковый, кто-то запустил в окно Врачей по Нехорошим Болезням поздно вечером булыжник, и стекло разлетелось вдребезги. Кто-то проколол шины легкового автомобиля одного из посетителей дома Иванцовых и разбил на нем фару. Несколько дней таились ребята, ждали, что станут искать, кто это сделал, однако никаких поисков не последовало. А уж чего только не выкрикивал вслед врачам пьяный рыбак! В общем, жилось им в поселке теперь неуютно. Может

быть, поэтому, а может быть, были у них на то свои, неизвестные поселковым причины, но вскоре они продали дом и съехали — в другой ли город или просто из их поселка — никто не знал...

Больница, в которой лежал Казбек, находилась километрах в двадцати от Душанбе, в живописном местечке Рохаты. Все это время Аля только и думала о том, как поедет в больницу к Казбеку, но сделать это было непросто. Бабушка и слышать не хотела: девочке, да одной, да в такую даль? Конечно, можно было бы вместе с тетей Зарой или парнями-железнодорожниками съездить в воскресенье, но в том-то и дело, что Але хотелось поехать к нему одной. Но послушаться бабушку она все же не решалась, а поехать и обернуться так быстро, чтоб та не догадалась — тоже не получится. Выручила верная подруга Люська.

— Давай прямо с утра, вместо школы, а? Поедем вдвоем, а зайдешь ты одна. Подумаешь, день пропустим! Ты ж способная, сама все выучишь и мне объяснишь.

Люське и так с трудом давалась учеба, но отказаться от такой жертвы Аля была не в силах. Утром выложила учебники из сумки и спрятала под кровать. В сумку же затолкала новое платье из штапеля, потому что в школьной форме ехать к Казбеку не хотелось. Затем зашла за Люськой, и они вместе наврали ее деду, Рыбаку, что у учительницы день рождения, и он срезал для них самые красивые розы. На вокзале забежали сначала в туалет, где Аля одела новое штапельное платье, которое, конечно, уже помялось в сумке, потом в буфете купили два пирожных с воздушным розовым кремом и стали ждать автобуса.

Когда автобус пришел, народу набралось уже так много, что они едва втиснулись в него. Давка была такая, что пирожные, которые Аля держала в руках, прижимая к груди, тут же сплющились, а розовый крем стекал струйками по платью. Прекрасные розы съезжались и увядали на глазах... Еле доехали до нужной остановки, а там еще надо было идти пешком вверх по ущелью. Люська разнылась и жалела, что поехала, мало того, стала высказывать всякие предположения насчет того, что будет в школе и дома, когда их разоблачат. Аля отмахивалась: уж об этом-то они еще успеют попереживать. Худо-бедно — добралась. Только вот к Казбеку их не пустили. Оказывается, посещения разрешены только по воскресеньям. И опять они ехали в душном, переполненном автобусе, и худо, худо было на душе у Али.

Теперь она, как и обещала редактору, думала о себе. Думала примерно так:

— Я очень, очень плохой человек, потому что все делаю плохо. И потому что я вруша. Из-за этого я все чуть не испортила на суде, а сегодня обманула бабушку, не пошла в школу, сбила с толку подругу, испачкала платье, которое бабушка шила мне ночами, чтобы я была нарядной на Первое Мая, и за все это мне сегодня, конечно, очень хорошо влетит...

Весной, когда Аля сдавала экзамены за шестой класс, к тете Заре приехал брат с Кавказа, чтобы увезти ее с детьми на родину. Казбек приехал на вокзал прямо из больницы, в поселок заходить не стал.

Сдавала экзамены Аля на пятерки, но ни отметки, ни сама весна ее не радовали. И даже праздник, к которому готовился весь поселок по случаю асфальтированной дороги и обещанного освещения, мало занимал ее. Теперь эта затея казалась ей даже глупой. У всех свои дворы, сады, там столы, скамейки деревянные, так нет, нужно вот так, прямо на улице, проходим на смех. Причем, поначалу устроились под окнами Алиного дома. Хорошо, что Та, Которая в Окне, сказала:

— Я хочу тоже праздник поближе...

И тогда все перебрались под ее окно. Таким образом она тоже как бы присутствовала за дастарханом, а угощение ей подавали на подоконник. Пришел на костылях и Китаец, жена подложила ему под бок подушку. Если честно, было, конечно, очень весело и хорошо. Женщины напекли пирогов, дядя Саид сделал плов, вино принесли свое, виноградное. Тосты поднимали за то, чтоб не было войны, за здоровье присутствующих и за легчика Нестерова, зазывали случайных прохожих, Китаец показывал фокусы. А Аля думала горько, всем хорошо в нашем городе, в нашем поселке, который хоть и назывался когда-то Лепрозоркой, но принял, приютил столько людей, потерявших свой кров во время войны. Всем, кроме тети Зары и Казбека...

Когда Аля вернулась в купе, попутчик, против ожидания, не спал, сидел за столиком и смотрел в окно. Аля тоже села у столика и стала листать купленный на вокзале журнал. И вдруг она почувствовала на себе взгляд человека узнавшего... Быстро вскинула глаза, но нет, он опять уже смотрел в окно.

Не решается узнать? Или не хочет? Ей надоело играть в прятки. Отложила в сторону журнал.

— Скажите, вы не узнали меня?

— Простите, нет. А как вас зовут?

— Алина Николаевна.

— Мне это имя, признаться, ничего...

— Еще бы! Меня тогда звали просто Аля. Мы жили с вами на одной улице.

— В каком городе?

— Ах, да в Душанбе же, конечно!

— Мне очень жаль, но вы ошиблись. Я еду в этот город впервые.

Значит, не хочет... Ну что ж, может быть, это уже совсем не тот Казбек и у него есть причины не узнавать Алю. А как обидно! Ведь она помнила, думала о нем. И как хорошо было бы пригласить его домой, познакомить с мужем, детьми. Может, чуточку пококетничать. Так, самую малость. И они вместе сходили бы в поселок, там еще живет кое-кто из стариков. Молодежь разлетелась. Валерка Воронов стал

известным режиссером, лауреатом Государственной премии. Люська такая знатная портниха, что к ней пробиться можно лишь по большому благу. Немошка, как и его отец, тоже продавец. Вот только честности отцовской, как Але кажется, не унаследовал. Ездит на «Жигулях», толстый, аж лоснится весь. И первая фраза при встрече. «Аля, если что нужно — звони. Для старых друзей...»

Аля даже о Тане Иванцовой кое-что могла бы рассказать Казбеку, хотя сама о ней узнала случайно. Писала однажды материал о проблемах туберкулезного диспансера, разговорилась с Дильбар, новой сотрудницей газеты, с которой сидела в одном кабинете и успела подружиться. И потянуло на откровение, рассказала о больном Казбеке, о том, как ездила в детстве в этот самый диспансер. Упомянула историю с Таней Иванцовой, и та вдруг встрепенулась:

— Подожди-ка, я, когда жила в Ленинабаде, знала врача Татьяну Иванцову. Дружила с ней. Не та ли?

Оказалось, та. Диля говорила он ней:

— Очень славная и разнесчастная баба. Что-то там с родителями, какая-то скандальная история. Муж мерзавец, ушел от нее, а она его очень любит. Растит одна двоих детей, тащит на семье больных старых родителей. И причем, заведует отделением, следит за собой, много читает. Давай заскочим к ней в Ленинабад. Рядом ведь. Все твои детские впечатления развеются. Не знаю, что там у вас произошло, но мнение у тебя о ней совершенно превратное.

Аля минуту-другую поколебалась. Но нет, не смогла, не перешагнула...

Однако зачем это все вспоминать, если тебя не узнают? Что ж, примем его игру. Аля извиняется:

— Простите меня, я, видимо, обозналась. Иногда встречаются очень похожие люди.

— Конечно, конечно. Мне даже приятно, что вы меня с кем-то перепутали. Надеюсь, это был хороший парень?

— Был (Аля сделала ударение на слове «был») — хороший.

— Раз уж мы с вами разговорились, скажите, кто вы по профессии?

— Врач, — почему-то соврала Аля.

— И по какой специальности?

— Фтизиатр. Лечу туберкулез.

И опять ей показалось, будто что-то промелькнуло в его глазах, какой-то теплый всплеск. Впрочем, это бывает. Самообман, услужливое воображение.

— А сейчас из отпуска? — продолжал разговор попутчик.

— Да.

Аля теперь отвечала односложно. Казбеку, не признавшему ее, Аля не хотела рассказывать о том, что все отпуска они с мужем проводят в путешествиях. Когда удастся пристроить детей — вдвоем, когда не удастся — по очереди. Где только ни успели они побывать! Вот толь-

ко в городах, рядом с которыми, можно сказать, Аля выросла — в Бухаре и Самарканде, — до этой поездки не была. Муж Костя, выросший в Узбекистане, напротив, знал там каждую улочку. Поэтому когда Дилия собралась в эти края навестить родственников и пригласила Алю с собой, посоветовал: съезди, не пожалеешь. Управились за неделю, возвращались через Ташкент. Ничего этого она не стала рассказывать, но все-таки спросила:

— А зовут вас, случайно, не Казбек?

Он покачал головой:

— Нет...

Теперь Аля нехорошо, неуютно чувствовала себя рядом с попутчиком. Она даже обрадовалась, когда на одной из остановок к ним в купе вошел новый пассажир и, поздоровавшись, стал устраиваться на свободной верхней полке. На вид тоже кавказец. Что ж, как сказала бы Дилия, на кавказцев нынче урожай. Казбек (про себя она так и продолжала называть его), тоже оживился, начал почти расшаркиваться:

— Добро пожаловать.

Тут же спросил:

— Не земляк?

— Пока не знаю, — ответил тот и стал что-то спрашивать на своем языке.

Казбек ответил. Аля прислушалась, — говорили не по-осетински, осетинский бы она узнала.

Перебросившись несколькими фразами, мужчины похлопали друг друга по плечу. Затем Казбек опять достал мандарины и вино, пригласил Алю посидеть с новым попутчиком, но она отказалась, легла и в самом деле в скором времени уснула. Дело шло к вечеру, и в купе стало заметно прохладнее.

Разбудила ее Дилия. Мужчин в купе не было. Объяснила:

— В ресторан отправились. Звали нас, но я сама не пошла и тебя будить не разрешила.

Взяли у проводницы чай, поужинали бутербродами с сыром, а когда, явно навеселе, пришли мужчины, уткнулись в книжки. Не хватало только пьяных ухаживаний! Тот, второй, ужасно противный. Такие скользкие, сальные глаза. А Казбек с ним, как брат родной. И хорошо, что он не стал узнавать ее, потому что сейчас это обязывало бы к общению. А может, это все же не Казбек?

Всю ночь она спала тревожно, настороженно, потому что так быстро подружившиеся мужчины то выходили курить, то рассказывали вполголоса друг другу анекдоты, а потом, забывшись, громко смеялись. К утру, когда они подъезжали к городу, Аля даже смотреть не хотела на так называемого Казбека. Да и он, обнявшись с новым другом, даже не сказал женщинам до свидания.

Аля с Дилей еле тащила тяжелые сумки — каких только гостинцев не насовали им Дилины родственники. А ведь собирались вернуться налегке, оттого и не предупредили мужей, чтоб встретили. Где-то

впереди мелькали в сутолоке привокзальной площади соседи по купе. И вдруг все произошло, как в детективном кино. Когда попутчики поравнялись с серой «Волгой», от нее отделились двое: один встал впереди Казбека и его товарища, другой обошел сзади. Аля зажмурилась. Громко хлопнула дверца машины. Тогда она рванулась вперед, мимо, волоча за собой сумку. Неужели, неужели ей второй раз суждено это пережить?

Инспектор Душанбинского уголовного розыска Рахматулло Файзиев, человек по природе восторженный, не переставал повторять:

— Скажи, как хорошо мы его взяли! Держу пари, что никто в привокзальной сутолоке даже внимания не обратил...

— Ну, нет, — возразил его коллега из Орджоникидзе Казбек Цориев. — Одна женщина заметила непременно. Только, по-моему, она решила, что нас взяли вместе...

Они вышли на улицу, вечер был душным, прохлада еще не успела спуститься с гор.

— Поедем ко мне, — пригласил Рахматулло.

— Нет, — отказался Казбек. — Мне нужно отыскать одну женщину. Свидетельницу.

— Какую свидетельницу? — Не понял Рахматулло. — По какому делу?

— По моему, собственному, — ответил Казбек.

ГЛАВА IV

С квартирой было глухо. Давать объявления в газеты Алина боялась, многие, продавшие жилье, таким образом, до места назначения не добирались, бандиты пасли их не только в Душанбе, но и в Московском аэропорту Домодедово. На просьбы сына все бросить отвечала уклончиво. Приехать и сразу стать иждивенцами не хотелось. Да и к войне потихоньку привыкали. Не то, чтобы совсем, но прежнего страха не было. Перезванивались друг с другом: у вас сегодня тихо? И у нас не стреляют... О завтрашнем дне старались не думать, в городе стали оживать учреждения и предприятия, а по утрам ходить транспорт. Нет-нет, да и закрадывалась мысль: а может, все обойдется, и не надо будет уезжать? Что вещей нет, так Бог с ними, оказывается, человеку не так много и надо. А библиотека не пропадет, сохранится у сына.

Алина порадовалась, что не стала впахивать большую десятилитровую кастрюлю в контейнер и не успела отдать ее соседям. Поставила брагу, неделю она «гуляла», и в квартире стоял запах дрожжевого теста, затем успокоилась, потянуло кислым, и вот тогда-то, как учила соседка, в самый раз гнать. Мантушница, действительно, оказалась идеальным самогонным аппаратом, и первый блин не вышел комом. Самогон был крепким, градусов под 60. Алина бросила туда несколько

веточек душистого райхона, и он начисто отбил сивушный дух, да еще придал приятный, зеленоватый цвет.

На самогончик потянулись друзья, шли пешком из дальних микро-районов, если досиживались допоздна, оставались ночевать, в сумерки никто носа из дома не высовывал, но на полу всем места хватало. Общение за рюмкой, что и говорить, скрашивало жизнь, а то и создавало забавные ситуации. Так, не поверил поначалу своим ушам, решил, что Костя разыгрывает его по телефону, спросив, не хочет ли он, случайно, выпить, все-таки пришел старый приятель кинорежиссер Ваня Максимов. Коренной москвич, однокурсник Роллана Быкова, он приехал в Таджикистан сразу по окончании института, да так и остался, так и прирос сердцем к этому краю. И редкая кинолента студии «Таджикфильм» выходила без его участия, независимо от того, стояла его фамилия в титрах или нет. Внешне Ваня был похож на артиста Гафта, только шевелюра побогаче. Когда он вошел, Алина только что разлила горячий самогон по бутылкам, одну из них поставила под струю холодной воды из крана, и Ваня, держась за сердце, повторял: ребята, если она сейчас лопнет, у меня будет инфаркт. Но когда Алина предложила успокоиться и подождать, пока бутылка сама остынет, возмутился: «Ты, Алина, прямо ваххобиткой стала, издеваешься над хорошим человеком».

Навещала Лена с внуком Димкой. Какое-то время Алина не разрешала ей без особой надобности ходить с ребенком по улицам. Димка умный парень, хотя и суеты с ним хватало. Наверное, ему было года два, когда он впервые потянулся к их пишущей машинке, и, радостно тыча пальчиком в клавиши, восторженно повторял: «буковка, буковка». Да и позже не дай Бог оставить при нем машинку открытой, тут же начинал толкать за каретку лист бумаги, стянутой с письменного стола, и нажимать на «буковки», и не было для него более интересного занятия. Но сейчас ему стали разрешать печатать, — самый верный способ занять ребенка так, что не слышно и не видно.

А сегодня соседка сказала, что на базаре, прямо с машины, продают живую рыбу. Правда, очередь большая, но рыбы много. Алина тут же поспешила на базар, свежей рыбки ох как хотелось.

Торговали два молодых парня. Один, забравшись на верх цистерны, зачерпывал сачком рыбу, другой бросал на весы. Сазаны и толстолобики были огромными. Очередь волновалась, каждый просил выловить поменьше. И тут женщина, стоявшая впереди Алины, сказала:

— Рыба-то из Курган-Тюбе, а там бои какие были... Говорят, полные водоемы трупов, вот она и разжирела.

Слова ее подействовали, как холодный душ. Пожилой таджик, которому уже взвесили рыбу, развернулся и ушел из очереди, а следующий тоже не торопился брать. Возникло некое замешательство, впрочем, им тут же воспользовалась стоявшая в хвосте молодая девушка.

— Подумаешь, крабы, говорят, тоже трупы едят, а деликатесами считаются.

— Глупости это, — кричал продавец. — Рыба большая, потому что долго не ловили.

Алина и сама засомневалась, покупать или нет, хотя женщина, первой высказавшаяся насчет трупов в водоемах, уходить, похоже, не собиралась. Спасибо, подошел знакомый артист из таджикского драмтеатра им. Лахути Азиз Ташмухаммедов. Он-то и шепнул Алине на ухо: берите толстолобиков, они не хищники, едят только водоросли, это я точно знаю.

И пристроился рядом с Алиной, вроде бы стоял здесь с самого начала. Она боялась, что вспыхнет ссора, но Азиз белозубо всем улыбался и теперь уже громко озвучивал свои познания из жизни рыб, толстолобики пошли на «ура». А когда они сами приблизились к прилавку, опять зашептал на ухо: «Алина Николаевна, у меня на такую рыбу денег не хватит, вы не займете? А я на днях забегу, отдам. Заодно с Константином Леонидовичем поздороваюсь».

«Где там, отдаст, — подумала Алина, — актеры, и так люди небогатые, обнищали сейчас совершенно», — но деньги дала. Азиз был славным парнем.

Дома разделала рыбу, сварила из головы и хвоста густую, наваристую уху, остальное засолила, холодильника у них теперь не было. Лена два дня назад принесла буханку хлеба, ей время от времени «подкидывали» ребята из 201 дивизии, почти половина еще оставалась. Алина порезала его тонкими ломтиками, мелко покрошила свежую зелень и уже позвала Костю к ужину, как в дверь постучали. Именно постучали, а не позвонили. Долго вглядывалась в глазок, но так ничего не разглядев, спросила по-таджикски: кто там? В ответ услышала: Рахмон.

Рахмоном звали мальчишку из соседнего подъезда, и Алина открыла двери. Это был действительно мальчишка, подросток лет четырнадцать, но незнакомый. Увидев русскую женщину, он то ли испугался, то ли растерялся, но попятился от двери в глубь подъезда. Это был тот самый момент, когда она могла закрыть дверь и забыть о подростке, вернувшись к ужину, но почему-то не сделала этого, а спросила: кто ты, что тебе нужно?

Мальчик пытался что-то ответить, но кроме «я, я...» и невнятного бормотания Алина ничего не услышала, и вдруг он заплакал. Горько, отчаянно. Она была в смятении. Только сегодня в очереди за рыбой слышала леденящую душу историю: попросился переночевать подросток, его впустили, а он ночью открыл дверь бандитам, семью перерезали. Но тут, обеспокоенный заминкой, подошел Костя и, глянув на нежданного гостя, сказал: заходи в дом.

— Так откуда ты? — повторила свой вопрос Алина, когда они уже вошли в комнату.

— Я пришел из Курган-Тюбе.

— Ты хочешь сказать, что пешком, через перевал пришел из Курган-Тюбе? — изумилась Алина, но, глянув на его окровавленные, рас-

пухшие босые ступни, поверила. — Садись, — кивнула она на расстеленные на полу курпачи.

Мальчик продолжал стоять, и она догадалась: не смеет сесть, когда стоят старшие. И действительно, стоило им с Костей сесть в кресла, как он тут же, со стоном, опустился на пол. Но тут еще одна догадка осенила Алину: Курган-Тюбе только что освободили от исламистов, и если он оттуда бежал, значит... Тут же устыдилась — измученный ребенок с разбитыми ногами... И даже вспомнила рассказ бабушки о том, как она выходила раненого то ли красноармейца, то ли белогвардейца, то ли вообще зеленого.

Налила горячей ухи, отрезала хлеба. Ел Рахмон сдержанно, хотя было видно, каких усилий ему это стоило. Почерствевший хлеб крошился, и он аккуратно собирал с чистого полотенца, постеленного Алиной вместо скатерти, каждую крошку. И не потому, что был голоден, — у таджиков, особенно религиозных, отношение к хлебу священное, выбросить даже малую крошку — великий грех.

Да, но что с ним все-таки делать? Позвала на кухню Костю, сказала:

— Как хочешь, но оставлять на ночь я его боюсь.

— Но не выгонять же на улицу, Аля?

— Послушай, я пройдусь по соседям, может, что-нибудь придумаем.

— Сходи к Зарифу, — посоветовал Костя, — он сам кургантюбинский, приотит земляка.

Действительно, продолжала Алина убеждать себя по дороге в следующий подъезд. Я — женщина, Костя — инвалид, оба немолодые. Опять же русские, так что, как говорят, фактор риска более высокий... А у того же Зафара трое рослых сыновей, сам мужик крепкий... Открыл старший сын студент Шерали, пригласил войти.

— Папу позови, — попросила Алина.

— Они с мамой пошли гостей провожать, здесь рядом, в цековский дом. Сейчас вернутся. Что передать?

— Попроси отца, пусть зайдет к нам на минутку. Тут, понимаешь, такое дело...

Рассказала о Рахмоне, и только теперь, заметив стол, за которым сидели гости, сообразила: сегодня же праздник, Навруз... Раньше они отмечали его всем домом, ночью женщины во дворе в большом котле варили сумалак — ритуальное лакомство из проросших зерен пшеницы, по очереди мешали большим деревянным черпаком: проведешь круг, успеешь загадать желание, обязательно сбудется.

Недавно это было, совсем недавно, но в другой жизни...

Зафар не зашел ни через час, ни через два, и Алина поняла, что ждать его бесполезно. На всякий случай позвонила в квартиру напротив, к Кариму Урунову. На то, что он заберет Рахмона к себе, не рассчитывала: у него трое девочек, сноха с маленьким ребенком, сын служит в 201 дивизии, что уже само по себе в любой момент может навлечь на семью смертельную опасность. Просто хотела посовето-

ваться, Карим мягкий, интеллигентный человек, жена его, Матлуба, женщина кишлачная, простоя, но радушная и добрая. Они больше десяти лет прожили на одной лестничной площадке и чем могли, всегда помогали друг другу. Кроме того, Карим по-настоящему крепкий, хороший прозаик, и Алина переводила его всегда с удовольствием. И вот оказалось, что не зря зашла. Пока Матлуба суежилась с чаем, — останавливать ее было бесполезно, убеждать, что только из-за стола, тоже, Карим выслушал Алину и нашел совершенно замечательное решение.

— Пусть-ка мальчик одну ночь поспит у меня в подвале, а там видно будет.

Подвалы в доме были сухие, теплые, поэтому некоторые многосемейные писатели переоборудовали их в кабинеты. У Карима вообще там полный уют, письменный стол, топчан, полка с книгами и старый телевизор. Косте с Алиной хватало места в квартире, подвал у них был завален старым хламом, поэтому самой ей такая мысль не пришла в голову.

Прежде чем отвести Рахмона на ночлег, нагрела воды в тазике, развела марганцовку. Он опустил туда стертые ноги, терпел, сколько мог, затем Алина обработала их йодом. Сама же легла спать с надеждой, что утро вечера мудренее и все как-нибудь устроится. Беженцам, которые недавно еще толпами бродили по городу, сейчас отдали под общежитие одну из гостиниц и здание детского сада в микрорайоне Зарафшан.

Поскольку до гостиницы было ближе добираться, туда и решила первым делом отправиться Алина. На антресолях нашла кроссовки сына, не новые, но из дорогих, он оставил их в свой последний приезд, а Алина забыла положить в контейнер. Из мягкой кожи, размера на три больше, они пришлись в самый раз на распухшие ступни Рахмона, а Карим дал ему свои брюки и рубашку.

Гостиница была переполнена, в основном, женщинами с детьми. В нос ударил тяжелый, спертый воздух. Оставив Рахмона в вестибюле, Алина отправилась на второй этаж искать кого-нибудь из начальства. К счастью, старшим оказался бывший заведующий горсобесом, знакомый еще со времен ее работы в редакции. Договорившись, что мальчика обязательно пристроят, спустилась в вестибюль за Рахмоном, но его там не было. Не было его и в сквере возле гостиницы, но Алина все-таки посидела на скамеечке, подождала, может, еще объявится, хотя уже поняла, что Рахмон просто сбежал.

По дороге ругала себя, на чем свет стоит, а когда вернулась домой, увидела, что Рахмон сидит на полу рядом с Костей, и они мирно беседуют за чаем. При ее появлении тут же вскочил:

— Тетя, простите меня. Я не мог там остаться. Там другие... Они меня не примут. Они меня убьют...

И опять слезы в огромных черных глазищах, и совсем детское выражение испуганного лица.

— Хорошо, — сказала Алина. — Но давай договоримся: или ты нам сейчас все о себе расскажешь, или сразу уйдешь.

И он рассказал. Отец был мулла, в семье пятеро детей. Старшие две сестры живут с мужьями в соседнем кишлаке, двое старших братьев воевали, как сказал Рахмон, с кулябцами. Люди Сайгака убили отца, братья, по слухам, ушли в Афганистан. Бой шел прямо в доме муллы, Рахмона спас русский солдат, спрятав его в погребе. Мать гостила в это время у дочерей, и он о ней ничего не знает.

Ну что ж, примерно это Алина и предполагала. И все-таки была какая-то неясность, какая-то недосказанность...

— Рахмон, я понимаю, что к сестрам ты идти побоялся, но почему пошел в Душанбе, так далеко? Не попросился к кому-нибудь в ближних кишлаках, по дороге?

Долго молчал, то ли собираясь с силами, то ли не решаясь признаться, потом с трудом выговорил:

— В Душанбе живет дядя. Отец сказал, если что случится, иди к нему. Он большой человек и тебе поможет.

— Почему же ты не ищешь его?

— Я его нашел. Я сначала пошел к нему...

— И что же? Ну Рахмон, не молчи. Тебя не приняли? Не впустили в дом?

В ответ слезы.

— Да, Костя, кажется, мы с тобой вляпались, — сказала по-русски Алина. — Что делать будем?

— Так ведь уже вляпались, — невозмутимо ответил Костя, — поэтому делать ничего не будем. Пусть поживет пока. Решится у нас отъездом, тогда и с ним что-нибудь придумаем. Отправим к сестрам, там вроде сейчас все тихо.

Знать бы еще, кто этот дядя — «большой человек», может, в соседнем цеховском доме живет, ведь оказался почему-то Рахмон в этих краях, рядом. Увидит племянника, и сам же нас заложит...

Так вот получается — ругала дочку Лену, а сама тоже обзавелась жильцом. Та, Ленина девчонка, хоть русская, от исламистов пострадала, а кого приютили они с Костей?

Особых хлопот мальчишка не доставлял. В положенное время совершал намаз, днем из дома не выходил. Костя принес ему от Карима Омара Хайяма на арабском языке, и он сосредоточенно читал его, шевеля губами и о чем-то надолго задумываясь. Одно только выводило Алину из себя: Рахмон наотрез отказывался пользоваться туалетом, терпел целый день, а в сумерках уходил куда-то к реке, — самому беспокойному месту, где постреливали и в дни затишья.

Иногда они подолгу разговаривали.

— Чего хотели твои братья и отец? — спрашивала Алина.

Он отвечал скоро, как по заученному:

— Чтобы жить по законам шариата.

— А если не все хотят жить по законам шариата? Ты видел, какие девочки у дяди Карима? Старшая, Шамсия, учится в мединституте, она будет врачом. А если победят такие, как твои братья, на нее оденут

паранджу и отдадут замуж за старика четвертой женой. Как ты думаешь, она этого хочет?

— Не знаю, тетя, я про это не думал.

— А ты думай, Рахмон, думай. И еще скажи мне, у вас в кишлаке жили люди других национальностей, не мусульмане?

— Жили, тетя. Русские жили, немцы, евреи. Они уехали в свою страну.

— А кто не успел, тех убили, да? И что значит своя страна? У нас с дядей своя страна — Таджикистан, мы здесь родились и работали всю жизнь. И вообще, эти люди — русские, немцы, евреи, они что, были плохие?

— Нет, тетя, хорошие были, — растерянность и слезы в глазах.

Полный сумбур в голове у мальчишки. Но однажды сделал признания, от которых у самой Алины выступили слезы:

— Тетя, когда вы с дядей станете совсем старенькие, я буду о вас заботиться, помогать вам.

— Рахмон, — Алина справилась с комом в горле: — Мы будем старенькие далеко, в России. А заботиться о нас будут наши дети. Но все равно, спасибо.

Но иногда что-то смутное поднималась в душе, Алина замыкалась в тяжелых раздумьях. Вспоминалось, как в спешке, за бесценок продав квартиру, уезжала сестра Вера. Тоже почти в никуда — под Симферополем жила семья школьного друга ее сына, в общем-то чужие люди. Все, на что она могла рассчитывать, — остановиться на первое время. Алина с Костей тогда и не думали об отъезде, пытались остановить и сестру. Но та твердила: нет, нет, вы не видели того, что видела я. Теперь уже никогда не смогу жить среди них.

Тогда, в феврале 90-го, после того, как раздались первые выстрелы и озверевшую толпу отнесли от центральной площади у президентского дворца, она ринулась громить микрорайоны. Тот, где жила Вера, оказался одним из самых пострадавших. Сын сестры был в отъезде, со снохой и маленькими внуками в квартире на первом этаже, дверь которой можно выбить пинком ноги, они тряслись от страха. Услышав крики о помощи, Вера подошла к окну и сквозь тонкий просвет между шторами увидела страшную картину: толпа таджикских мальчишек от 10 до 15 лет забивала камнями русского старика. Из дома никто не вышел...

Теперь единственная родная сестра Алины живет за тридевять земель, мается по чужим квартирам. Известная, заслуженная журналистка, тоже, как и сама Алина, она родилась в Таджикистане, объездила вдоль и поперек, знала и любила его.

Поняла ли, одобрила бы Вера ее сегодняшние хлопоты о мальчишке из семьи исламистов? Вслед за этим вопросом возникал другой, более мучительный и жуткий: взял бы Рахмон в руки камень, оказался он в той толпе мальчишек? А порою закрадывались в сознании неясные мысли, что дело не только в Рахмоне, — что-то пытается понять

Алина в самой себе, себя на что-то проверить. Недаром столько раз всплывал в памяти бабушкин рассказ о спасенном ею раненом парнишке, — «Да какой там враг, — сказала тогда бабушка маленькой Але, — ему всего-то летнадцать было...»

Время шло, но дни больше не теснились, не набегали друг на друга, а тянулись, как растянутые меха старой гармошки, на одной тоскливой ноте. И лишь два из них выбились из однообразной череды. День, когда Рахмон сказал:

— Тетя, говорят, в Курган-Тюбе ходят автобусы. Я бы поехал к сестре, к маме...

— Кто говорит? — хотела спросить Алина, ведь Рахмон ни с кем, как она считала, не общался, но почему-то не спросила. Дала на дорогу денег, хлеба и конфет-карамельек.

Прощаясь, он низко поклонился и ей, и Косте, а Алина, подавив в себе порыв обнять его, улыбнулась и пожелала счастливого пути, а главное — найти мать живой и здоровой.

А на следующее утро, запутавшись в числах, она ощутила смутное беспокойство и, заглянув в настенный календарь на кухне, сообразила: сегодня день рождения брата Витюни.

В этот день, как и в день смерти, они с сестрой обязательно поминали его. Ходили в церковь, ставили свечи, приглашали друзей. Еще недавно была уверена, что будут они с Костей в это время уже во Владимире, да вот не получилось. Инна, вдова Витюни, писала, что непременно вместе с друзьями собираются на кладбище, чтобы отметить день рождения Витюни.

Алина знала его друзей, по крайней мере, самых близких, — Колю и Толяна. Они были его сокурсниками, к ним он еще студентом приехал во Владимир и тем определил свою судьбу. Но зато именно Витюня уговорил их после института поработать в Памирской геологической экспедиции. И когда молодые геологи спускались с гор и загорелые, бородатые, как ураган, врывались в дом Алины и Кости, как славно они гуляли! Много пили, вкусно ели, пели под гитару, и летела к чертям собачьим всякая срочная работа...

Что ж, помянем и сегодня, сказала себе Алина. Правда, обойтись придется самогоном, банкой кильки в томате и солеными помидорами из магазина Салима. Лена, возможно, принесет хлеба. И нужно позвать Ваню Максимова, он знал и помнил Витюню.

А пока... Алина взяла томик Костиных стихов, раскрыла его на странице, где было стихотворение, написанное вскоре после смерти Витюни, и прочла его, как молитву:

Когда на кострище свое придешь
Раздаренным и усталым —
В память, как в омут. И только дрожь:
Как только темный покой разобьешь —
Вернется все, что казалось малым:

Орешник и заводь в горной реке,
Нагромождение скал,
И все со всеми накоротке,
И ежевика в твоём платке,
И ноет в ногах перевал.
И позабудешь, и не простишь —
Гляди — над кострищем — пламя.
Друзья не уходят.
Друзья, как костры
На заснеженном перевале.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Несколько раз в дверь звонили, и Толян с гулко бьющимся сердцем переждал, когда перестанут звонить и когда шаги тех, кто звонил, стихнут там, на первом этаже. Он боялся высунуться из квартиры до той поры, пока соседи не уйдут на работу.

Натворила мать вчера дел. Пришла к нему прибрать квартиру и постирать, сложила белье в ванну, покрутила краны — воды не было, — да так и оставила открытыми. Сам Толян загулял, домой пришел почти под утро, а воду дали где-то, видно, с вечера. Ну и понятно — все три этажа, что под ним, затопило. Ломились тут, наверное, к нему в дверь, потом замок взломали. В квартире страсть что творится, разбухшие домашние тапочки осели на кухне. В ванной прилипли к полу трусы и майки. Но все это полбеда. Хуже с соседями. Толян сжал ладонями тяжелую похмельную голову. Потом, потом он что-нибудь придумает. Извинится перед каждым, забелит, замажет, что нужно, лишь бы сейчас не объясняться ни с кем, ничего не говорить. Ах, мать, мать! И на нее как обижаться. Семьдесят лет старухе. Ему бы ходить к ней полы мыть, да вот уж так случилось, что мать до сих пор пестует своего младшенького, которому тоже, слава Богу, за сорок.

Толян прислушался. В подъезде было тихо, и он стал одеваться. Носки пришлось выжать, — по привычке бросил вчера под кровать. Туфли тоже потяжелели. Ничего, на улице тепло, пообсохнет.

Двери закрыл тихо, без щелчка, по лестнице спускался крадучись. На втором этаже жила вредная бабка. Если не ушла шастать по магазинам, значит, стоит у глазка за дверью и караулит его. Миновав опасное место, бросился вниз бегом. Завернув за угол дома, остановился и, малость отдышавшись, выгреб из кармана мелочь. «Двушек» оказалось достаточно, и Толян направился к телефону-автомату.

Каждый год повторялось одно и то же. День этот Николай Николаевич помнил загодя, а потом, по мере того, как он приближался, закручивался с делами — конец месяца, предпраздничные дни. Сегод-

ня помнил еще до обеда, потом начисто отключился. На пять назначил совещание. И тут раздался звонок.

— Але! — хрипела трубка голосом Толяна. — Ты там как, не забыл? У Витюни сегодня день рождения.

На минуту замешкавшись, Николай ответил:

— Как же, как же... Сразу после работы, как всегда?

— Ну, да...

— А кто будет?

— Да не знаю пока. Кто вспомнит. Я тут обзваниваю, кого могу. Ну ладно, до встречи.

Николай Николаевич откинулся в кресло. Неувязочка. С совещанием за час не управиться. Но и не пойти он тоже не мог.

Нажал на кнопку, попросил секретаршу вызвать заместителя. Через несколько минут она вошла, доложила:

— Заместитель сейчас будет.

Могла бы сказать по селектору, однако никогда не упустит возможности лишний раз покрасоваться. Смотреть на нее было приятно. Стройная, длинноногая, кокетливая. Ну, ничего, пусть себе кокетничает. Лучше работать будет. Николая Николаевича не интересовали вчерашние школьницы.

Кивком отпустил ее, спасибо, мол.

В пять часов подошел к зеркалу. На него смотрел живыми, черными глазами седой красавец. Подтянул галстук, одернул пиджак. Вызвал машину. До шести нужно было еще заехать в магазин.

К шести подъехал к высоким металлическим воротам. Водитель притормозил у лотка «Живые цветы». Рядом сидели старушки, торговали бумажными. Поодаль стояли Толян, бывший одноклассник, бывший коллега, бывший геолог, в последнее время человек без определенных занятий, сейчас, кажется, сантехник, как всегда в обшарпанной одежде, в старых, каких-то разможенных туфлях, и Женя, тоже одноклассник, друг детства, облокотившийся могучим торсом на костыли. Не густо... Хотя что ж — время идет.

Подошел, поздоровался за руку. И спросил:

— Ну, так сколько бы ему сейчас было?

— Пять лет прошло, — откликнулся Толян. Голос его хрипел, как испорченный радиоприемник. — Значит, сорок пять бы стукнуло.

К Витюне на день рождения друзья пришли на городское кладбище.

У Инны Петровны дел тоже было невпроворот. Позвонила из школы домой, чтобы Лариска, шестнадцатилетняя дочь, ждала ее уже готовой.

Лариска засуетилась, запрыгала. Стала примерять сиреневый, сшитый к Первомаю, костюм. Вертелась перед зеркалом, и чем больше вертелась, тем больше себе не нравилась. Здоровущая, какая же здоровущая!

Когда к ним приезжала тетя Алина из Душанбе, сама еще статная и красивая, не могла наглядеться на племянницу. Вот уж рослая да фигуристая, кровь с молоком. Не то что нынешние худосочные красотки. Королевна!

И слышалась в этой похвале не только гордость от того, что Лариска вся в отца, а значит, в их породу, но и давняя, уже забытая неприязнь к снохе, которая увела из семьи любимого братца. И действительно, ничем не напоминала племянница строгую, не улыбочивую Инну. Будто и не родня.

А Лариска остро завидовала матери. Хрупкой ее фигуре, тонким запястьям, узким, маленьким стопам, бледному, смуглому лицу, которое и красивым-то не назовешь. Слишком глубокие глаза, впалые щеки, крупный, с горбинкой, нос. Ревнивым взглядом подмечала легкую походку, изящество, с которым садилась та в легковую машину и выходила из нее. Пыталась копировать — ничего не получалось. Тетя Алина тоже — королевна, королевна, вся в отца! Так отец-то мужчина. Медведь, уважень — и все равно хорош. А ей какво, сороковой размер обуви в 16 лет. Сапоги на икрах не застегиваются.

А так бы, конечно, ничего, — вглядывалась в себя Лариска. И брови вразлет, и глаза то синие, то бирюзовые. Сейчас вот будут, как костюм, сиреневые. И носик ровный, и губы хорошим рисунком. Но лицо слишком открытое, слишком ясное. Нет в нем тайны, нет загадочности, нет чего-то такого, что есть в лице матери.

Так горевала Лариска, прихорашиваясь в светло-сиреновом, еще ненадеванном костюме, в белых лакированных лодочках, и не заметила, как вошла мать. Вошла и спросила:

— Ты что, совсем?.. — покрутила пальцем у виска.

Та невозмутимо ответила:

— Нет, только немножко... А что, нельзя? — Переодевайся сейчас же.

Оглядела Лариску с ног до головы. Господи! Вымахала. Лифчик на два размера больше, чем у матери. Вся в отца. Здоровая и без царя в голове. Вырядилась, словно на праздник. Кладбищенскую грязь метить да перед взрослыми мужиками покрасоваться.

Лариска надулась, костюм снимать не стала. Туфли — так и быть, а костюм — нет. У Инны Петровны, как всегда, глаза на мокром месте. Директор школы — а со своей шестнадцатилетней дочкой справиться не может. Так и пошли. Мать в темном, строгом, как и приличествует случаю, Лариска в серебристо сиреновом.

* * *

Мужчины уже накрыли стол за оградкой, тесно уселись на низких скамеечках. Инна Петровна достала пирог, котлеты. Витюня улыбался с фотографии.

Когда поставили памятник и стали искать, какой снимок увеличить, друзья выбрали этот. Инна Петровна была против. Ей казалось, что

вот так, во всю ширь улыбаться здесь, у памятника, кощунственно. Кроме того, за год болезни муж изменился до неузнаваемости. Высох, личико стало маленьким, скуластым, глаза странно большими. Фотография казалась чужой. Но они решили по-своему, и Инна Петровна не стала противиться. В конце-концов они, друзья, которые всю жизнь отнимали у нее мужа, которых она не любила тогда и не смогла полюбить теперь, в тяжелые дни все взяли на себя, тут уж трудно грешить против истины. И эта ограда, и памятник из тяжелого мрамора, и круглый столик, и скамеечки вокруг него — все они. Все для Витюни.

А умер он в ночь под самый праздник. Никуда не дозвониться, в магазинах толкотня. А надо было купить черный костюм, белье, материал красный и черный, ленту для обивки, и чего только еще! Хотела приготовить заранее. Не дали: плохая примета. Как будто без примет и так не было все ясно как дважды два. А на другой день, когда Витюня уже лежал дома, за окнами гремела музыка, на ветру полоскались знамена, мелькали транспаранты, и от этого дикого несоответствия можно было сойти с ума.

Инна Петровна не заметила, как Лариска сдернула с волос благопристойно стянутых у затылка, тугую заколку, и они рассыпались по плечам. Как же! Ей надо всем нравиться, — это тоже папино. Нравиться всем. Ишь, как здороваается — подставляет тугую, упругую щеку, встряхивает распущенной гривой и не может сдержать улыбки.

Да и все сейчас выпьют, помянут, начнут анекдоты рассказывать. Правда, с оговорками: «Витюня был парень веселый, Витюня жизнь любил, он бы нас понял».

Все время Витюня — отчества до сих пор себе не заслужил.

Толян, быстро захмелевший, начал:

— Эх, Витюня, друг! Если бы правда, что там жизнь, какая-никакая, и ты бы нас слышал, Витюня... Помним мы тебя, товарищ дорогой, и любим.

«Да, уж вам-то есть за что его любить, — думала с раздражением Инна Петровна. — Вечно мчался сломя голову по чьим-то делам». А ей жди, томись, переживай. Среди ночи приведет компанию, не спросит — как она, устала — нет, не подумает, что встать чуть свет. Вытащит все из холодильника, все, что на неделю наготовлено. И сидят чуть не до рассвета.

Нет, никогда он со мной не считался, — растравляла она себя. Но память подсказывала и другое.

Когда рожала Лариску, он всю ночь так и просидел под окном роддома. А когда в тяжелом состоянии попала в больницу, он узнал об этом там, в горах Памира, и сразу рванулся к ней. Шел пешком километров двадцать по снегу, с обмороженными ногами добрался на путках до города, с температурой под сорок сел в самолет.

Это тоже было. Но едва выздоровела — начал рваться из дому. Тосковал, все поперек делал, сигареты зажженные «вешал» на мебель, она до сих пор вся в подпалинах.

Лариса схватила котлету, кусок пирога, бросила на ходу:

— Я похожу, погуляю...

Хорошо весной на кладбище. Нежно пахнет сиренью, одуряюще — черемухой, волнующе — растревоженной землей. Она шла мимо знакомых памятников, читала надписи, высчитывала, сколько кому было тогда лет и сколько было б теперь. Остановилась возле совсем еще свежего холмика. Памятник пока не поставили, только небольшой постамент на четырех ножках, со звездой, а на нем — портрет солдата в черной рамке. Совсем еще молодой парень. Мальчишка. Вдруг заплакала. Слезы теплым дождичком заструились по щекам, она их не вытирала

Лариске было жаль этого совсем не пожившего парня. Фантазия ее, такая безудержная, тут же выстроила сюжет: она могла бы встретить его и полюбить. Может, именно он и был ее суженым, ее единственным. Кто знает?

Она могла сочинить целую историю про себя и про него, не встретившихся. А вот осознать то, что ее отец лежит неподалеку под каменной плитой, не могла. То, что похоронено там — нечто другое, это не ее папочка. Он где-то... Где? Может быть, вон там... Лариска задрала голову, словно надеясь увидеть в синем небе звездочку.

Когда папа болел, мама изо всех сил скрывала, что у него рак, а он делал вид, что не подозревает ничего такого. Они словно бы играли в какую-то игру. А вот с Лариской папа об этом разговаривал. Он даже сочинил ей сказку про планету великанов, в которую она тогда поверила:

— Жили-были, — говорил он, — на одной из планет очень большие и очень сильные люди. Великаны, одним словом. Посетили они однажды нашу планету Земля, ну, невидимками, конечно...

— На летающих тарелках?

— Да, на тарелках, посмотрели на людей и стало им их жалко-жалко... Маленькие, хиленькие, любая болезнь одолеть может. Да еще злые — оружие выдумывают, воюют. Надо, — решили, — им помочь. А то они как начнут войну, так все и погибнут. Клетки у них такие слабые. Вот и решили их переродить.

— Людей?

— Клетки. Ну, и людей, само собой. Чтоб состояли они из таких клеток, которым ничего не страшно, ни радиация, ни болезни, ничего. Клетки будут разрастаться, человек превратится в великана, которому все нипочем, даже атомная бомба. Спустились на землю, опять невидимками, стали опыты свои делать. Вроде бы все рассчитали, а чего-то не учли. Не получаются пока опыты. Умирают люди.

— Значит, надо перестать такие опыты делать.

— Понимаешь ли... Они как рассуждают: лес рубят, щепки летят. Заболеет чей-то муж, или сын, или мать — горе, трагедия... А им невдомек, они-то человечество спасают. Планету Земля.

— Дураки они все равно, — заключила Лариска. — Мне не надо, чтоб ты был великан.

Инна Петровна, услышав от Лариски про планету великанов, в ужас пришла. Первая мысль — значит, знает? Потом рассердилась — ничего себе, сказочка для десятилетнего ребенка. Хотела Витюне высказать, но в тот день он был особенно плох. Промолчала.

* * *

Николай Николаевич, задумавшись, смотрел на портрет друга. Как не хватало его все эти годы! Взял бы Витюню к себе в управление, сделал заместителем, правой рукой. Свой человек, которому можно довериться даже в наше безумное время дикого рынка, надежный, прочный тыл. Хотя Витюня, возможно, и не пошел бы. Административной жилки в нем не было, коммерческой тем более. Впрочем, о чем рассуждать теперь...

Пять лет учебы в Москве он прожил с Витюней в одной комнате, но и все последующие годы, уже после института, были неразрывно связаны с ним. Самые яркие из них — время работы в Памирской геологической экспедиции. Там он узнал цену настоящей мужской дружбе, полюбил этот горный край, как к родным, привязался к хлебосольным, милым сестрам Витюни, и может быть впервые, просиживая ночами за разговорами с Костей, мужем одной из сестер, почувствовал тягу к поэзии. Даже сейчас, когда стал бизнесменом и выбился в «крутые», не было для Николая Николаевича лучшего отдохновения, чем сборник хороших стихов.

Пристальный, тяжелый взгляд Инны оторвал его от воспоминаний. «Опять она думает об этом несчастном случае, — догадался Николай. — Да так ли он несчастен? Ведь никому, кроме нее, даже в голову не пришло, что одно как-то связано с другим. А если не связано — то таких происшествий в их геологической жизни было пруд пруди. Это просто совпало по времени»...

Ребята тогда были в поле, стояли недалеко от Хаита, того самого, где много лет назад произошло страшное землетрясение. И вот ведь как аукнулось — провалились Николай с Толяном в пустоты, образованные этим землетрясением. В западню, источающую какой-то ядовитый газ. Потом говорили — трупный яд. Может быть: сколько людей навсегда осталось в бесвишних пластах земли, сколько скота... Впрочем, детали тогда Инну не интересовали. Знала только, что выгасил их обоих Витюня. Спустился с подстраховкой, обвязанный канатом. И был-то там меньше всех, но только знает Инна: с этого все началось. Хотя странно: Николай здоров, в «новые русские» выбился, Толян, правда, осип, похоже, на всю жизнь. А Витюня... Витюня сначала покашливать начал, даже курить бросил. Потом стал уставать. Если бы тогда обратить внимание: Витюня — и вдруг устал. А она радовалась, больше дома сидеть будет. Берут годы свое. Хотя какие там годы...

Встревожилась лишь после того, как шли они с рынка, груженные тяжелыми сетками, и он останавливался через каждые пять шагов, а на лбу выступала испарина. Тогда она отняла у Витюни сумки, а он стеснялся идти рядом. Что подумают прохожие: здоровый мужик, а маленькая женщина сумки тащит. Все пытался забрать их назад. Инна Петровна прикрикнула на него, наконец, и он покорился, молча шел сзади.

Вечером уложила Витюню в постель, смирив температуру. Небольшая — 37,3. Утром вызвала врача, предварительно поругавшись с мужем, он уже собрался уезжать в экспедицию. Еле убедила — надо же выяснить, в чем дело. Врач поставила диагноз — ОРЗ.

— Видишь, — сказал Витюня, — ничего страшного. Ерунда.

Но температура держалась, и Инна Петровна, опять силком, заставила его пойти сдать анализы. Что-то врачей насторожило, видно, в этих анализах, и они послали его на рентген.

Через день прибежала к ней в школу участковый врач, бывшая ученица Инны, вызвала с урока, заплакала.

— Плохо, ой, как плохо, Инна Петровна. Опухоль в легких.

Обследование в стационаре подтвердило страшный диагноз. Вот тогда, еще не осознав всей безнадежности, еще не поверив, вспомнила Инна про эти проклятые пустоты, про газ. Сама толком ничего не зная, стала рассказывать врачам. Те пожимали плечами. Вряд ли. Скорее от курева. Ведь он курил?

Инна Петровна взяла себя в руки. Надо действовать, надо что-то делать. Как это так — только обнаружили, и уже поздно? Может, в Москву надо добиться направления. В клинику Блохина?

Ей твердили: не мучайте, поздно...

Вспомнила: Женя, одноклассник Николая, возил свою маму к какому-то старику в Киргизию. То ли травнику, то ли экстрасенсу... Правда, отношения у Вити с Женей в последнее время разладились, но какое это сейчас имеет значение! Побежала к нему. Женя долго не мог понять, поверить, и сильный, тяжелый его подбородок дрогнул от изумления.

— Конечно, — сказал он наконец, — адрес дам, и записку напишу, но мама-то... умерла.

Инна Петровна забрала Витюню домой. Научилась делать уколы, ставить капельницы, мерить давление, спать по три часа в сутки, принимать бесконечную вереницу друзей, приходивших, иногда приезжавших издалека проводить Витюню. Они привозили с собой рыбу — свежую и копченую, апельсины и даже ананасы, — Витюня давно уже ничего не ел, и Инна Петровна кормила всем этим добром очередных визитеров.

Еще помнит она, как Николай привел с собой молодую красивую женщину. Кажется, Лидию. Всем видом подчеркивал, что это его знакомая, его подруга, обнимал за плечи. Но Инне Петровне достаточно только было увидеть, как глянула та на умирающего Витюню, чтобы

понять, что к чему. Не такая уж она дура, как считали ее Витюнины друзья...

* * *

Николай понимал, что Инна недолюбливает его, как, впрочем, и других друзей Витюни, но мирился с этим. Жена — это серьезно. А так никогда никакая тень не омрачала их братских отношений. Со студенческих лет Николай знал, что пошел бы на все ради Витюни. Если пришлось бы — отказался от самой большой любви, если бы та любовь легла поперек сердца Витюни. Он никогда не думал над тем, хорош или плох его друг, его брат. Он его просто любил. И если задумался однажды, то после этой истории, когда провалились они с Толяном. Нет, он не был как-то по-особенному признателен Витюне за то, что он их вытащил. Ну, а кто бы не полез выручать друзей, рискуя даже собственной жизнью? Таких Николай среди геологов не знал.

Но вот там, в этой яме... Толян вывихнул плечо и был, видимо, в шоке. Лежал с закрытыми глазами, хватая ртом ядовитый воздух. У Николая судорогою сводило горло, сумеречный свет становился темно-красным, в нем качались и плыли перед глазами черные шары. Когда появился Витюня, Николай рванулся к нему, почти выхватывая из рук конец каната, уже готовый обвязать себя, уже подтянувший его подмышки, и Витюня, нагнувшись над Толяном, сказал:

— Только давай осторожнее его перевязывай, чтоб плечо не затронуть.

Конечно, конечно, поднимать надо Толяна. Как он мог! Это все дурнота, от которой плавился мозг.

Они подняли Толяна, потом выбрались сами. Но всегда, сколько будет жить, будет стыдиться Николай этой минутной слабости и будет благодарен Витюне за то, что не дал тот ей воспользоваться и что позволил себе вовсе не заметить ее. Но странно — случай этот отделил его от Толяна. Как будто тот мог видеть или знать. В том, что Витюня никому об этом не сказал и даже никогда не вспоминал, Николай не сомневался. Так в чем же дело? Иногда догадывался: мы не любим тех, перед кем виноваты.

Вернулась Лариска, в руках — букет сирени, нарвала по дороге. Бросила на памятник, спросила:

— Вы тут еще не все съели?

«Боже мой, в кого она такая бесчувственная?» — в который раз ужаснулась Инна Петровна.

Толян поднялся, стал уступать ей место. Та замахала руками: «Сидите. Я пристроюсь». Уселась почти ему на колени.

У Толяна перехватило его осипшее, больное горло. Он уже забыл, как пахнут весной молодые, чистые девчата. Захотелось уткнуться носом в эти светлые волосы. Лариска! Витюнина. Родная...

«Если все же из-за этого случая, то почему не я?» — в который раз спрашивал себя Толян. Свою жизнь одинокого алкоголика он ни во что не ставил. Жил по инерции. А ведь когда-то был счастлив. До той самой поры, пока Женя, друг детства, не увел у него жену, Асю. Любимая женщина ушла к другому, любимый друг ушел совсем, туда, в небытие. А он, Толян, живет, чинит чужие унитазаы, зашибает деньги и пропивает их. Вот эту девчонку Витюнину он лобит, дай Бог, чтобы сбылось у нее все, что у них с Витюней не сбылось. Жена его Инна — тоже ничего женщина. Хотя одного Толян ей простить не может. Был такой момент...

Такой момент был. Третий день врач, каждый день навевывавшийся к Витюне, говорил: вряд ли до утра дотянет. Витюня впадал забытье, сознание возвращалось к нему ненадолго, но до утра дотягивал — словно ждал своего дня рождения как некой завершенности. В ту, последнюю ночь, Толян не ушел домой, остался с Витюней. Под утро Витюня стал задыхаться, и он посадил его, подложив под спину подушки. Но вдруг чего-то испугался и позвал Инну.

Инна подошла, наклонилась над мужем, привычным движением взялась за пульс и не почувствовала его.

— Все, — сказала она Толяну. — Давай положим, а то потом будет трудно.

И в этот момент Витюня открыл глаза, посмотрел печально и осмысленно. Они оба остолбенели, а, Витюня сам стал клониться боком, стараясь лечь. Когда Толян помог ему, слабо, то ли в благодарность, то ли прощаясь, кивнул, сложил на животе руки, вздохнул в последний раз глубоко, затажно.

Толян выскочил в подъезд, чтобы там, на ступеньках, поплакать, никого не стеснясь. Но перед этим глянул на Инну Петровну с укором, сказал: эх, вы...

Инна Петровна и по сей день успокаивает себя. Может, показалось им с Толяном. Не мог, не мог Витюня, всю ночь бывший без сознания, услышать ее. Но опять вспоминала ясный, осмысленный взгляд мужа, и казнила себя, ничего не умея поправить.

Женя молча выпил еще одну рюмку и стал думать о превратностях жизни. Они были одноклассниками — Коля, Толян, Женя. Но двое здоровых ребят поступили после школы на геологический факультет московского института. Женя, инвалид с детства стал студентом экономического факультета в университете своего города. К Витюне у него было отношение двойственное. Вроде бы и любил его, и не мог простить, что тот вклинился в их дружбу с Колей и Толяном, вошел, как нож в масло и, быть может, отодвинул на второй план его, Женю. А еще завидовал безмятежной легкости Витюни в общении, — куда бы ни пришел — везде свой, и по сей день удивлялся, что именно он ушел из них, друзей-ровесников, первым. Не он, Женя, которому пьяный отец

в детстве перебил позвоночник, которого мать на горбу таскала в школу до седьмого класса, пока он не окреп и не смог встать на костыли. А именно Витюня, удачливый мальчик из хорошей семьи, всеобщий любимец, которому ничего и никогда не приходилось доказывать.

Десять лет назад он, Женя, отбил у Толяна жену, самую красивую девочку из их класса, изо всей школы. Так считали, по крайней мере, многие. Но не он, Женя. Знает он этих хорошеньких в свои 17–25 лет. Вздернутый носик, светлые кудряшки, осиная талия. К тридцати от них уже ничего не остается. Родила, чуть пополнила — и все. Стертое личико, приземистая фигура. Сейчас ее, Асю, в толпе не отличишь, не выделишь. Бросил искоса взгляд на Инну. Эта, пожалуй, в школе ходила в дурнушках, а с годами все интереснее становится. Такое лицо и в шестьдесят лет будет притягивать к себе.

* * *

Женя отбил Асю не любя. Это началось на вечеринке у общих друзей. Он сидел, не пил и, само собой, не танцевал, и глаза его неотрывно следили за Асей. Она нет-нет тоже бросала на него удивленный недоумевающий взгляд. Толян, Коля, Витюня на днях уехали в экспедицию, и когда закончился вечер, Женя предложил проводить Асю. Когда вышли из такси, попросился на чашечку кофе. Потом обнял ее, охмелевшую, доверчивую, и говорил, говорил... О том, что любит еще с детства, но никогда не смел, не надеялся, не решался... Проклятая закомплексованность от того, что постоянно ощущаешь свою неполноценность... Что он только не говорил! Как слабо она сопротивлялась, как быстро сникла в его сильных объятиях, к утру уже была согласна идти за ним на край света и при этом чувствовала себя декабристкой.

Теперь они несчастны каждый по-своему. Женя оттого, что ненавидит жену и не любит сына, который родился через девять месяцев после того, как он увел Асю. Вот и считай: плюс-минус... И хоть уверяет Ася, что это его сын, он постоянно ищет и находит в нем сходство с Толяном.

Ася тоже несчастна. Женя не слишком-то пытается скрыть свое отношение к ней. А Толян... Тот вовсе сломался. Спился. И ведь даже настолько не хватило его, чтобы руки не подавать при встрече. Вот Витюня не подавал. Они не общались до той поры, как прибежала к нему Инна за адресом фрунзенского старца. И когда Женя впервые пришел к Витюне в палату, сел рядом и взял его за руку, тот лежал, повернувшись к стене.

А ведь и сам не святой. Не святой же! Была эта женщина по имени Лидия. Он тогда все понял, как поняла, кажется, и Инна. Откуда же это право — судить других? Почему перед ним было всегда за что-то стыдно?

Толян только сейчас понял, что все еще держит полную рюмку в руке и кивнул Жене: «Поехали!»

Совсем по-алкашному сморщился, занюхал соленым огурцом, закусьвать не стал и, перехватив взгляд Жени, усмехнулся.

Он ведь считает, что я спился из-за Аси, — думал Толян. — И все, пожалуй, так считают. А эта черная яма, в которую они провалились — лишь хриплый голос. Если бы они знали, что она сделала с ним. Теперь в нем навсегда поселился страх. Страх непонятный, непостижимый и неподвластный его разуму. Впервые он ощутил его, как ни странно, в кинотеатре. Народу была тьма, он сидел в середине зала, и вдруг его охватило беспокойство. Как далеко он от двери. Как трудно будет прорваться к ней, если вдруг... Нет, ни о чем таком реальном Толян не думал, но какая-то сила заставила его пересесть на боковое место в первом ряду, рядом с дверью.

Это было только начало. Страх, переходящий во всепоглощающий ужас, охватил его в самолете. Он понял, что боится не авиакатастрофы, а того, что он заперт в этой железной капсуле. И будь его воля, предпочел бы выброситься вниз, в эти облака, лежащие на горах, лишь бы избавиться, отделаться от этого страха. Больше он не летал самолетом. Но страх приходил к нему ночами, он просыпался в холодном поту с безумным желанием выскочить из сжимающего его пространства, разорвать невидимый обруч. Бросался к двери — вдруг заело замок и он оказался запертым у себя в квартире на четвертом этаже? Распахивал настежь двери и окна и лишь тогда, обессиленный, засыпал.

Он начал пить, чтобы избавиться наконец от этого страха, и поначалу, действительно, чувствовал облегчение. Круг раздвигался, пространство размыкалось. Но только поначалу. Вместе с тяжелым похмельем возвращался страх, еще более уродливый и многоликий. Толян не мог заставить себя зайти в лифт, и если в домоуправлении ему давали вызов на 8–9 этажи, поднимался по лестнице. Трезвый он не мог уснуть, а пьянеть почти перестал из-за непокидающей тревоги в ожидании похмельного утра.

Однажды, взяв бутылку коньяка, он постучал в дверь к соседу — врачу, хорошему, как говорили, терапевту. Поговорив о том, о сем, косноязычно начал:

— Это, слышь! Друг у меня есть. Такой чудик — в лифт боится зайти, в самолете лететь не может. Страх у него, понимаешь ли...

Врач кивнул:

— Клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства.

— А это как... излечимо?

— Лечат по крайней мере. Смотря на какой основе, в какой стадии.

— Так, может, чего посоветуешь? Лекарства какие? А я ему скажу.

— Нет, этим занимаются психиатры. Вот пусть к ним и обращается... твой друг, — чуть запнувшись, ответил врач.

Толян дважды подходил к психоневрологическому диспансеру и ни разу не вошел. Безумная мысль, что его запрут, не выпустят оттуда, парализовала волю, не давала сделать последнего шага. «Самому надо справиться, самому» — твердил он и уговаривал себя не поддаваться страху. Но как ни старался, страх наползал снова, заставлял бешено колотиться сердце — и тогда трясущимися руками он опять хватался за бутылку.

Был бы Витюня жив. Был бы... Ему бы Толян рассказал все без утайки и полбеды сразу бы не стало, а потом и со второй бы половиной справились. Витюня что-нибудь бы придумал. Силком сводил бы его к врачу, прежде сходил бы сам, все разузнал. Нет сейчас такого человека у Толяна, нет.

Николай, правда, тоже друг, тоже хороший парень, но есть между ними какая-то дистанция, не позволяющая приблизиться к сокровенному.

Ася, как всегда, поминала Витюню в одиночестве. Поставила на стол сладкий пирог, открыла бутылку вина, зажгла свечу. Она никогда не ходила на кладбище в его день рождения, ей было невыносимо видеть спившегося, несчастного Толяна в присутствии Жени, говорить с ним. Вот уж кто достоин сожаления, так это Толян. Но однажды она подумала иначе, кинулась к Жене, решила осчастливить... Как тяжело приходится расплачиваться за один легкомысленный вечер! Да если бы только ей! Сын не любит отца, и Ася чувствует: еще год-другой, и он рванет из дома.

Достала старую фотографию. Вот они, все четверо: Толян, Витюня, Коля, Женя. Витюня, как всегда, улыбался. Ася тоже улыбнулась ему, вышла рюмку. Попросила прощения у всех четверых и тихо заплакала.

Инна Петровна глянула на часы. Что, пора? Первым поднялся Николай Николаевич. Лицо его стало печальным и скорбным — но это не было приличествующим моменту выражением: точно так же было у него и на сердце. Прощаясь, как по плечу друга, похлопал он ладонью по памятнику.

Толян пригрелся возле Лариски, и на душе у него было так спокойно, как давно, пожалуй, уже не бывало. И этот покой, умиротворение это исходило от дочки Витюни невидимыми токами.

— Вот они, гены, — нектати сказал он вслух, и все засмеялись его чудаковатости.

Женя не спеша поставил костыли, тяжело навалился на них. И вновь, помимо воли, торжествующая нотка запела в его душе.

Вечером утомленная Лариска укладывалась спать. Инна Петровна собиралась поработать. Уже засыпая, вдруг поднялась на постели и сказала:

— Мам, давай с тобой за Толяна замуж выйдем?

Инна Петровна аж задохнулась от возмущения:

— Что ты мелешь! Какая глупость!

Потом, когда Лариска уже спала, Инна Петровна, выбитая из колеи ее дурацкой фразой, долго еще повторяла: «Какая глупость!». Но чем больше повторяла, тем меньше было в ее голосе уверенности.

* * *

Одного не знала Инна Петровна, — будь при этом сестра Витюни Алина, она совсем бы, как Толян, сказала: «вот они, гены», потому что непременно бы вспомнила, как сама когда-то в детстве предлагала бабушке «взять замуж» нищего инвалида Славу.

ГЛАВА V

Костя стал ходить на работу. Без особой надежды на то, что выйдет в свет следующий номер журнала, вычитывал, правил рукописи. Алина совсем затосковала, и когда позвонил редактор «Вечерки» Джалил, она даже обрадовалась.

— Тряхните стариной, Алина Николаевна! — уговаривал Джалил. — Я слышал, что с отъездом у вас пока притормозилось, а у меня работать некому. Только и осталось всего — ваша дочь, да Роза Бабалян, да фотокор Алим. Обещаю, никаких командировок и ходить каждый день не надо. Будете писать, что сами сочтете нужным. Думаю, вам есть что сказать. А зарплату пока платим, вам сейчас деньги тоже не лишние. Так что выходите хоть завтра.

— А что, и выйду, — решила Алина.

И действительно, вышла, даже успела напечатать два публицистических материала, из тех, что писала для Москвы, но через неделю кончилось затишье.

Опять шли на улицах бои, то захватывали телецентр, то штурмовали Дом радио, где расстреляли в упор четырех журналистов. И опять перестали выходить газеты, люди попрятались по своим норам, город опустел, а исламисты по телевизору «разъяснили», что власть перешла к «молодежи города». Можно, конечно, было бы и посмеяться: такой власти никогда и никто еще не придумывал ни в каком Мозамбике или Зимбабве, и что это значило, никто взять в толк не мог. Скорее всего, в рядах бандитов произошел раскол, и молодые экстремисты решили потеснить духовного лидера имама Тохтазаде.

И опять выли по ночам голодные звери в зоопарке, давило чувство собственной потерянности, неумения принять решение, жалкое подбадривание: «Надо что-то делать»... А потом вновь затишье, но уже без надежды, что что-то устроится. Тушиковый, недолгосрочный покой.

Еще раз только Алина вышла на работу, только на один день, но что это был за день!

С самого утра звонки в редакцию:

— У нас в подвале труп несколько дней лежит, никто не забирает. Помогите, пожалуйста!

— В парке «Дружбы народов» несколько убитых... Слегка землей присыпаны, собаки разрывают. Сделайте что-нибудь!

Алина звонила в милицию, в morgi, ей отвечали: бензина нет, выехать не можем.

Подошла Роза Бабаян, она жила в дальнем микрорайоне, часа полтора добиралась пешком, Лена была в командировке. Алина попросила Розу отвечать на звонки, призналась, что сама просто не в состоянии. Роза отвечала поначалу вежливо и сострадательно, она была одинокая, сентиментальная и жалостливая женщина. Но уже к обеду стала кричать в трубку:

— Так что вы хотите от нас? Чтобы мы пришли и убрали трупы?

Кричать кричала, но потом, обхватив голову руками, сунув пальцы в жесткие завитки волос, раскачивалась из стороны в сторону, и плач ее был похож на мычание долгим, протяжным звуком «м-м-м»...

Фотокор Алим позвал Алину в поселок Южный. Там в мечети исламисты, якобы, устроили склад оружия, сейчас ее оцепили военные, милиция.

— Может, съездим, вдруг что интересное, напишите репортаж, а я потом вас домой отвезу.

— Точно отвезешь, Алим?

— Клянусь. Я вчера бензин достал, почти целый бак.

Ну, Алим! Достать бензин, когда даже у милиции нет!

Алина поехала, но подойти к мечети им не позволили. Даже не то, чтобы не позволили. Милицейский майор с серым, застывшим лицом тихо сказал:

— Там не только оружие, там растерзанные тела, отрезанные женские груди. Вы хотите это снимать?

— Нет, — отшатнулась Алина и, повернувшись, пошла прочь. И тут увидела молодого солдата, совсем мальчишку, который стоял, обняв дерево, и плакал. Потом его стало рвать, он присел на корточки, содрогаясь всем телом. Алина не знала, как помочь солдату, чем утешить. Достала из сумки чистый носовой платок, протянула ему.

Алим дотронулся до ее плеча:

— Пойдемте, Алина Николаевна!

Всю дорогу молчали, но когда подъехали к дому, Алим взял ее за руку. Скуластое смуглое лицо было сумрачно, веки, нависшие над узкими глазами, мелко подрагивали.

— Алина Николаевна! У вас есть своя Россия. А у меня Узбекистан, куда Каримов распорядился не пускать беженцев из Таджикистана, даже таких, как я, этнических узбеков, жена украинка и трое детей-метисов, — невесело улыбнулся узкими губами: — Я вот до сих пор

не знаю, у детей как, должно быть два национальных самосознания или им и по одному не положено? Хотя, признаться, я сам не очень-то понимаю, что это такое, национальное самосознание...

Костя, услышав шум подъехавшей машины, поднялся навстречу, Алина обняла его и долго стояла так, припав лицом, прижавшись всем телом.

— Не знаю, есть ли у меня Россия, но у меня есть любовь, и даже если рухнет мир и кругом насилие и жестокость, — мысленно продолжала диалог с Алимом, — я все еще чувствую себя счастливой.

Вслух сказала:

— Костя, я не пойду больше на работу. Не могу.

Вечером смотрели новости по центральному телевидению. Освещая события в Таджикистане, ведущий — этакий красавец-гусар с пшеничными усами, кумир Алины в первые годы перестройки, рассказал, что в Душанбе русские солдаты осквернили мечеть в поселке Южном, вошли в сапогах и устроили обыск.

Так дожили Алина с Костей до августовского путча. И отдаленность от событий, невозможность как-то участвовать в происходящем, скудость информации и недоверие к ней сделали эти события еще драматичнее. К тревоге о собственных судьбах прибавилась одна общая — тревога о судьбе России.

Но пережилось вроде бы, успокоилось, встало все на свои места. Только однажды увидела Алина странный сон, который не мог привидеться просто так, ни к чему. Что-то в нем было заложено, что-то предсказывалось... Будто смотрелась она в большое круглое зеркало, а оно вдруг пошло трещинами. И трещины ложились замысловато, словно контурная карта. Осколки не падали, оставались в раме — и в них появились изображения. На одном — грустные глаза сестры, на другом лица уехавших друзей, а вот трещина пошла по центру, прочертив линию на отражении самой Алины, прямо по сердцу... Она и проснулась от боли в сердце.

Костя решила пока не рассказывать, хотя он к снам жены относился серьезно. Не раз они оказывались вещими, провидческими. Но если Алина понимала, что ничего хорошего они не предвещали, рассказывала их, как учила когда-то бабушка, бегущей воде, приговаривая: куда вода, туда и беда. И надо же, не было с утра в доме воды. Алина собралась даже сходить к арыку, а то и спуститься к Душанбинке, но не успела.

Костя включил телевизор, чтобы, как всегда, послушать новости. И они узнали, что нет больше такой страны — СССР, и что теперь они живут за границей... «Итак, империя рухнула», — несло с экрана. И, судя по интонациям и комментариям, принимать этот факт народ, без ведома которого он свершился, должен с восторгом, как торжество демократии и свободы. И ни слова о соотечественниках, оставшихся на развалах Союза...

Вот и сбьлся сон, прошла по сердцу трещина. Разделили, разрезали по живому...

Что ж, Россия действительно была империей, хотя империей довольно странной. Больше отдавала, чем брала, и уж те, кто жил в национальных республиках, знают об этом лучше других. Впервые Алина увидела Российскую глубинку, когда они с Костей приехали во Владимир на свадьбу Витюни. Справляли ее в деревне, у родителей Инны, потом еще недельку погостили, и сват на стареньком «Запорожце» повозил их по Владимирской области. Алина была потрясена бездорожьем и нищетой российских деревень. В Таджикистане в кишлаках дороги были асфальтированы, а дефицита с продуктами в магазинах почти не было. Более того, если в Душанбе в самый «расцвет» застоя начинал исчезать, скажем, сахар, договаривались с друзьями и ехали на машине по дальним кишлакам. Там, в магазинах коопторга, можно было купить почти все: от сахара до французских духов и модных туфель на шпильке. Снабжали-то без ума, не учитывая ни спроса, ни традиций местного населения. В Душанбе у Алины не было ни одного знакомого без домашнего телефона, во Владимире телефон был большой редкостью, только у власть имущих.

Так жила империя. Ну, а что касается тягот тоталитарного режима, они были для всех одинаковы. Пожалуй, особый пласт занимали русские в национальных республиках. Недаром был в ходу такой анекдот: «Чем отличается США от Таджикистана (Армении, Киргизии и т.д.)? Тем, что в США черные работают на белых, а здесь наоборот». При всей примитивности анекдота была в нем сермяжная правда.

Алина знала это и по своему литературному труду. В любом московском издательстве была «разнарядка» в разделе «национальная литература» на каждую республику. И переводили русские писатели не только достойных и по-настоящему талантливых, но и посредственных, и вовсе бездарных. Порой переиначивали сюжет, вводили новых героев, мало что оставляя от оригинала. Самим в Москву пробиться практически невозможно, так хоть заработок, хоть фамилия в качестве переводчика... Что уж душой кривить, поступались совестью и те, и другие. Впрочем, бездари зачастую начинали верить в свой несуществующий талант, принимая незаслуженные почести как должное, выходили в маститые...

Ушел из жизни, не дожив до 50-ти лет, так и не пробившись к российскому читателю, хороший, самобытный прозаик — Валерий Гальвик. Уехал в Израиль Миша Давидзон. Перебрался в Рязань мастер детектива Минель Левин. Ему уже под восемьдесят. Успеет ли? Может быть, более счастливо сложится судьба талантливого поэта Анвара Тавובהва, наполовину таджика, который переехал во Владимир...

А ведь многие русские оказались здесь не по своей воле. Когда-то высылали в Среднюю Азию кулаков — крепких, хозяйственных, непьющих мужиков, — от них пошло такое же потомство, генофонд русского народа. Бежали, спасаясь от репрессий, «безродные космопо-

литы», ученые с мировым именем; чтобы помочь молодой республике, отправлялись в дальний путь энтузиасты и романтики, — среди них были родители Алины, в ту пору еще не знавшие друг друга... Жили в палатках, работали под палящим зноем, и превратили Вахшскую долину в цветущий край, где зреют лимоны. Тот, кто читал книгу Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», может представить, что выпало на их долю. Родители Алины хорошо знали писателя и дружили с ним. Отец Кости, кадровый военный, был когда-то командирован в Туркестанский округ... Во время войны некоренное население пополнилось беженцами — украинцами, белорусами, евреями, осетинами, тоже, в основном, работающим, непьющим людом. И, пожалуй, последний наиболее массовый заезд был в 60-е годы, когда в предгорьях Памира началось строительство Нурекской ГЭС. Выстроили и гидроэлектростанцию, и уютный город энергетиков, в котором остались жить, и при въезде в который до сих пор висит огромный стенд: «Нурек строит вся страна!»

Сейчас энергетики отрезаны от всего мира бандами экстремистов и едва ли не умирают, как звери в зоопарке от голода.

Развал Союза толкнул к отъезду тех, кто все еще сомневался, выжидал лучших времен, и даже тех, кто уезжать не хотел вовсе. Квартиры упали в цене до предела, «сами отдадите, бросите, когда убежать будете», — этой расхожей фразой обычно и заканчивался торг.

Прощаясь с друзьями евреями, Алина по-доброму завидовала им. Маленький Израиль устраивал для беженцев бесплатные авиарейсы, а паспорт гражданина страны вручался прямо по прибытии в аэропорту. Немцам самолетов не предоставляли, но, продав за бесценок квартиру, а то и вовсе бросив ее, они знали, что там, на этнической родине, окажутся сразу под крышей.

Кстати, многие из тех и других уезжали с тяжелой душой, но прекрасно понимали, что если России не нужны свои русские...

«Русскоязычных» никто никуда не звал и нигде не ждали. Зато требование вывести из Таджикистана, теперь уже суверенного государства, 201 дивизию стало звучать с удвоенной силой. В километровой очереди за хлебом только об этом и говорили. Пожилая женщина, с тупым от страха и бессонницы лицом, спросила Алину: «Почему они хотят, чтобы нас убили?» Потом, не дождавшись, да, видимо, и не ожидая ответа, перекрестилась и стала читать молитву. Прислушавшись, Алина ужаснулась словам этой «молитвы». «Господи, если войска выведут, сделай так, чтобы дети и внуки тех, кто этого требует, оказались здесь, рядом с нашими детьми и внуками. Господи, сделай это!».

Километровые очереди выстраивались не только за хлебом, но и у российского посольства. «Для того оно и создано, чтоб позаботиться о нас», — убеждали друг друга «русскоязычные» старухи, прикрыв седые головы праздничными платочками, — теперь, глядишь, и с контейнерами порядок наведут, и с поездами, а нам гражданство российское выдадут.

Но никто и не думал наводить порядок. Это ваши личные, не-

государственные проблемы, — объясняли бестолковым старухам. Получить же российское гражданство было тоже практически невозможно из-за бюрократических проволочек и дороговизны.

И возвращались старухи домой ни с чем, вытаскивали из дому последний скарб — старые занавески, ведра, настольные лампы, коврики, и устраивались продавать тут же, у крыльца дома в надежде наторговать на кусок хлеба, потому что с базаров их гнали в шею. Алина, когда проходила мимо этих старух, ускоряла шаг, стараясь не смотреть в их сторону. Дома делилась впечатлениями с Костей и плакала. Он слушал всегда внимательно, не нарушая притом своей сосредоточенной несуетливости. Поэт, он воспринимал время по-другому, осмысливая его в каких-то иных ипостасях. Может быть, ему было легче. А может быть, наоборот — он взваливал на плечи куда больший груз. За долгие годы любви и близости Алина, пожалуй, впервые поняла это, вслушиваясь в строки стихотворения, написанного в эти дни:

...Память, как локоть,
Как далекие до безобразия
Синие звезды Европы
Зеленые звезды Азии.

В УЩЕЛЬЯХ ГИССАРА ДИКИЙ ШИПОВНИК РАСЦВЕЛ

Сегодня ночью мне приснился сон, будто родила девочку, крупную, розовую, хорошенькую. Но столь замечательный ребенок вовсе меня не обрадовал, у нас трое детей, куда еще четвертого? И так вся молодость на них ушла. Даже заплакала. Но, проснувшись, объяснила его себе так, как делала это когда-то бабушка: девочка во сне — приятная неожиданность, слезы — к радости. И действительно, вскоре позвонил преподаватель университета, физик, то ли кандидат, то ли доктор наук Тимур Арипов. Знакомы мы были шапочно, и пока, как положено на Востоке, Тимур спрашивал о моем здоровье, здоровье детей, мужа и желал всяких благ, терялась в догадках о причинах его звонка. И тут он сказал:

— Я, Алина Николаевна, только из Москвы прилетел, в командировке был. Заехал в Капустный Яр, к своему однокласснику, вашему родственнику Саше Евсею, привез от него письмо.

Сашка не был моим родственником, но возражать я не стала. Я и сама долго думала, что он родственник, может быть, двоюродный брат... Потом узнала: моя мама и его отец в тридцатые годы вместе приехали в Таджикистан осваивать Вахшскую долину. Так случилось, что оба мы остались без матери. Но у меня еще брат, сестра, а главное — бабушка, дедушка. Я никак не ощущаю своего сиротства. Маму помню смутно:

строгое и, по-моему, печальное лицо. Печальное и прекрасное — так стало казаться сквозь время. А у Сашки — один отец. И живут они в центре города, в маленькой квартирке, в которой хоть и телефон, и ванна, но разве сравнишь с нашим домиком — у нас даже чердак есть, а еще двор, а во дворе собака, корова и старая раскидистая акация, и маленький огород. Вот поэтому, как только у Сашки каникулы, отец сразу приводил его к нам. Зимой и весной — ненадолго, летом — на целых три месяца. Да и когда еще в школу не ходил, жил у нас с весны до осени. Мы все любили Сашку, а он любил нас, но больше всех был привязан ко мне. Может быть, потому, что мы ровесники. Лет до пяти он и спал со мной. Если его укладывали в другое место, плакал:

— Хитренькие, мне без нее будет холодно!

Был он не по годам умный, очень любил и жалел животных. Никогда не забуду, как мальчишки убивали варана. И как занесло эту пустынную ящерицу в наш огород? Я увидела его, серо-зеленого, с длинным хвостом, — чуть приподнявшись на крепких лапах, варан, не мигая, тоже смотрел на меня. Конечно, они бывают крупными. Но тот показался мне просто огромным. Я заорала. И тут прибежали мальчишки. Что они делали! Забрасывали его камнями, давили лопатой. Не от жестокости, от страха. И Сашка кинулся в эту гущу, вперед острым плечиком, и плакал, и кричал, что варан безвредный, не кусается.

Сашка много читал и много знал о повадках животных. А мальчишки не знали и не слушали Сашку. Забыть бы, зачем держать в памяти эту жуткую картину? Но она врезалась навсегда из-за страшных, ставших темными от ярости и бессилия глаз Сашки и немигающих, застывших глаз ящерицы.

После десяти лет я вдруг стремительно стала тянуться вверх. Сашка отставал. Худенький, кожа прозрачная. Темно-серые огромные глаза. Бабушка заставляла его пить парное молоко, он не хотел, капризничал, вообще ел без аппетита. После четырнадцати стал меня раздражать: ходит за мной, как тень. А мне уже нравятся мальчишки, я влюбилась в красивого парня — осетина Казбека. Мы шушукаемся с сестрой, с подружками. У нас свои секреты. Сашка ревнует:

— Хитренькая, все без меня.

Я ему советую — дружи с братом, с Витюней. Он добродушный, здоровый, Сашку опекает, хоть и младше его, но им вместе неинтересно. Тот гоняет в футбол, уходит на Душанбинку рыбачить. Сашке за ним не поспеть.

— Вот приедет отец, уйду и не приду к вам, — грозил иногда Сашка, обидевшись. Но не уходил никогда до самого первого сентября. Когда я была поменьше, отец его, Алексей Иванович, брал меня на колени и тихо покачивал. До сих пор помню, как неуютно мне было у него на коленях. Может быть, потому, что, покачивая меня, он думал о чем-то своем, молчал, и колючий взгляд его устремлялся куда-то в пространство. Я мучалась, ерзала, ждала момента, когда будет удобно соскользнуть с колен. Мне еще оттого было неуютно, что Алексей

Иванович никогда, при нас, по крайней мере, не ласкал Сашку и не сажал к себе на колени.

В девятом классе мы с Сашей сравнялись ростом. Мерялись — спина к спине, затылок к затылку — одинаковые. Но стоило мне отойти на шаг, как я тут же казалась выше, крупнее. В шестнадцать лет у меня уже было все как надо: длинные ноги, тонкая талия, высокая грудь. Сашка по-прежнему худенький, узкоплечий, лицо бледное, но над верхней губой уже пробивается темный пушок. После девятого класса последнее лето вместе. В десятом почти не виделись. Сашка тянул на золотую медаль, собирался в Московский институт, на физико-технический. А меня закружила моя первая любовь.

Кто сказал, что первая любовь самая главная, самая настоящая в жизни? Ничего у меня от нее не осталось, кроме сына... Но налетела она, как вихрь, и была какой-то неистойвой. Мой избранник был всего на год старше меня — высокий, кудрявый, голубоглазый. Он приехал в Душанбе из Ленинабада поступать в институт, но не поступил из-за меня, как справедливо скажут потом его родители. А я из-за него едва сдала выпускные экзамены. Нам было не до занятий. Целовались за каждым углом, за каждым деревом. Бабушка, моя добрая бабушка, ожидала меня до часу-двух ночи с мокрым полотенцем, чтобы «отхлестать по бесстыжим глазам», но вместо этого только плакала. Дед гонял моего ухажера в буквальном смысле палкой, он увертывался, убегал за калитку и тут же выстукивал мне в оконное стекло... Незлобивый, улыбчивый и, наверное, немного нахальный, снова входил в дом и, как ни в чем не бывало, заговаривал с моими стариками.

За влюбленным приезжали родители, приходили к нам домой, говорили что-то обидное, пытались увезти сына. Черта-с-два! Препятствия только подхлестывали нас. Мы чувствовали себя Ромео и Джульеттой. Наконец, родные смирились, мы поженились, а через год нам не о чем было разговаривать. Но я ждала ребенка, и мы промаялись еще год вместе.

Родители его оказались хорошими людьми, и потом, когда родился сын, старались, как могли, помочь нам сохранить семью. Но мы расстались. А большая любовь пришла ко мне позже, когда мне стукнуло уже двадцать три года. Первая же растаяла без следа. Хотя нет, если быть до конца справедливой... Когда я увидела своего мужа через десять лет после развода, у меня все же защемило сердце. Вдруг вспомнила, как мы мчались по горной дороге на стареньком мотоцикле, я сидела сзади, крепко обхватив его руками, уткнувшись носом ему в спину, прямо в ложбинку между лопатками, и чувствовала себя такой счастливой! Вот этого ощущения бездумного счастья, счастья просто так — со вторым мужем у меня, пожалуй, не было. У меня с ним было другое счастье — трудное. Но оно оказалось для меня дороже...

Саша поступил в университет. Алексей Иванович сказал:

— Теперь я могу позволить себе жениться...

Конечно, не мне сказал, кому-то из старших. И действительно же-

нился. К тому времени я узнала, что мать у Саши не умерла, она ушла от мужа и оставила сына с отцом. Меня это потрясло. Я уже сама была матерью и не представляла, что можно бросить своего ребенка, да еще такого, как Саша, худенького и слабенького. Говорили разное. Конечно, осуждали ее. Но находились и такие, что жалели. Рассказывали, что она была красивая и веселая, но не выдержала тяжелого, деспотичного характера Алексея Ивановича. А Сашку он ей не отдал, после чего она якобы уехала в другой город, запила и умерла чуть ли не под забором. Не знаю, сколько правды в этих рассказах. Наверное, больше других про это знала моя бабушка, но бабушка умерла. Я жила в своем старом доме с дедом и сыном Андрюшкой. Жила трудно: днем работала в редакции корректором, вечерами училась в пединституте. Андрюшку оставляла днем в яслях, вечерами с дедом, который любил его без памяти. С нами был иногда суров, правнука баловал, но силы уходили из него с каждым днем. Даже в самые жаркие дни у него мерзли ноги. Он разувался, закатывал штанины, садился на солнышко во дворе и все пытался согреть их. В такие минуты мне казалось, что дед скоро умрет, и вот тогда-то я точно почувствую себя сиротой, хотя мне уже было за двадцать.

Саша впервые приехал из Москвы после третьего курса. Не знаю, почему не приезжал первые два года. Алексей Иванович ездил к нему с женой, а Саша не приезжал. Так или иначе, прихожу однажды с работы, а дед говорит:

— Сашка был. Тебя не дождался, оставил записку.

В записке было: «Аля! Приходи сегодня обязательно. Отец с женой на даче. У меня соберутся одноклассники. Посидим, потрепемся. Я по тебе соскучился. Какая ты?». И адрес, потому что Алексей Иванович получил новую квартиру, в которой я ни разу не была.

Глянула на деда умоляюще — с Андрюшкой тащиться не хотелось. Дед махнул рукой: иди...

Летом, когда не было занятий, я старалась пореже оставлять сына с дедом. Старалась, но не всегда получалось. Мне было только двадцать два. Хотелось и в кино, и в театр, и просто в город. Поцеловала деда в серую щетину, чмокнула виновато Андрюшку и задумалась. Хотела принарядиться, да особенно было не во что. Распустила волосы по плечам — они тогда у меня были цвета осенних листьев, подкрасила ресницы и пошла, в чем была.

Сашка обрадовался, обнял меня, прижался щекой.

А я молчала, изумленная. Сашка изменился до неузнаваемости, стал красивым. Да и раньше, конечно же, был, только мы такой, тонкой, красоты тогда не понимали. Лицо по-прежнему бледное, ни кровиночки, но иконописные, рублевские черты. И бородку стал носить.

На столе коньяк, разносолы всякие. Это уж Алексей Иванович постарался. Ребят человек восемь, девчонки ни одной. Наблюдаю за Сашкой. Он совсем другой. Но поначалу он всегда другой, к нему всегда надо было немного привыкнуть. Помню, как после учебного

года приводил его к нам отец в городской одежде: шортики, носочки, сандалики, рубашечка с отложным воротничком. А потом, к концу лета — такой же как мы. Те же цыпки на ногах, сбитые коленки и ситцевые трусы до колен, сшитые нашей бабушкой. Только загар, от которого другие мальчишки к концу лета становились похожими на чертенят, никогда не приставал к нему.

Посидели мы славно, съели все, что было на столе, и я еще жарила картошку. Расходились за полночь. Саша идет меня провожать. Он захмелел, да и мне с непривычки коньяк ударил в голову. Вспоминаем разные истории из детства, смеемся. Вот уже и дом мой за поворотом. Саша обнимает меня, наклоняется — теперь он выше, хотя я на каблучках, и вдруг целует меня. Целует не так, как при встрече... Наверное, получилось это нечаянно, но он целует меня еще и еще. И неожиданно для себя поворачиваемся и молча, в обнимку, идем к нему. Переступаем порог и, не включая света, начинаем обниматься.

Раннее и недолговременное замужество не оставило во мне особого следа, и плоть моя была, видимо, еще не разбужена. Но сейчас и мне захотелось мужской близости. Мы молчим и торопливо раздеваемся. Так торопливо, словно боимся опоздать куда-то. Но Саша вдруг отходит от меня и отворачивается к стене. Я в растерянности, мне стыдно своей наготы. Но в тот момент я подумала, что это у него впервые, что он не знал женщины, и решила, подошла к нему, взяла лицо в ладони, повернула к себе. Он почти простонал:

— Нет, не могу. Ведь мы с тобой как родные. Как будто с сестрой...

Одевались молча. И всю дорогу молчали. Возле моего дома он потихоньку поцеловал меня в щеку.

Потом мы оба старались забыть нашу несостоявшуюся близость, но она стояла между нами еще долго, и долго не исчезало чувство неловкости.

После института Саша остался в Москве, все реже и реже приезжал в Душанбе. Иногда писал. Потом и письма, и открытки — редкие, с днем рождения, с праздником, прекратились. Но с отцом его, Алексеем Ивановичем, жизнь сводила меня не раз. И как сводила! Было время, когда я считала его своим врагом, самым черным человеком в моей жизни...

Угрюмый, с колючим невидящим взглядом, он все выше поднимался по служебной лестнице и стал большим человеком в нашей республике, — таких называют обычно серыми кардиналами. По крайней мере наш редактор, которого за глаза все звали Дедом, когда звонил Алексей Иванович, тут же поднимался и говорил с ним по телефону стоя. Конечно, это служило поводом для шуток и острот в нашей редакции.

Только я, пожалуй, не смеялась над редактором. Он был тоже вахшстровец, в молодости любил мою маму, а она предпочла ему другого, то есть моего отца. И ко мне он относился с нежностью, опекал

меня. А иногда подолгу всматривался в мое лицо, словно пытался разглядеть в нем дорогие, полузабытые черты.

Однажды редактор предложил:

— Давай, начинай пописывать понемножку. Пока я жив-здоров и хожу в редакторах. Не боги горшки обжигают. Завтра студенты на пелину уезжают. Сделай репортаж. Чего уж проще...

Так я стала печататься, а через год, когда перешла на последний курс, Дед перевел меня в литсотрудники, так тогда называлась должность корреспондента. В коллективе меня недолюбливали: сослуживцы всегда настороженно относятся к тем, кого особо привечает начальство, но я не обращала внимания. Утром заваривала Деду кофе, кормила его бутербродами. А когда приходила к нему домой, — Дед жил один, бобылем, — убирала квартиру, несмотря на все протесты. А когда умер мой дед, я и вовсе привязалась к редактору, не очень огорчаясь тем, то ребята никогда не приглашали меня на свои посиделки, хотя собирались довольно часто. И даже если я входила в кабинет в разгар громкого спора, тут же смолкали. Ладно, у меня и своих забот по горло. А работой я была довольна. Жизнь текла размеренно и спокойно, пока к нам не приехал новый заместитель редактора Костя Пашков, который и стал впоследствии моей самой большой любовью, моим мужем. Но как трудно и сложно складывались наши отношения...

Сказать, что он сразу поразил воображение всех редакционных женщин, это ничего не сказать... Лобастый, смуглый и оттого неожиданно голубоглазый, с крупными, но правильными чертами лица, с твердо очерченным подбородком, он являл собой эталон мужской красоты. И улыбался Костя широко, всем лицом, и тогда на подбородке появлялась трогательная ямочка, а во всем облике что-то мальчишеское, озорное. Был он также высок, широк в плечах, как потом узнали, играл в водное поло в команде мастеров Узбекистана. Но, быть может, самое главное, писал стихи и уже печатался в журнале «Юность». Говорили, что из Ташкента ему вроде бы пришлось уехать оттого, что стихи его не пришлись по вкусу высокому руководству.

Примерно месяц Костя молча сидел на летучках, подолгу листал подшивки газет и становился все мрачнее и мрачнее. И вот пришел день, когда он, наконец, произнес:

— Разрешите мне...

И все сразу замерли, хотя на летучках обычно никто никого не слушал, и каждый занимался своим делом. Музафар, заведующий промотделом, вычитывал материалы, он никогда не успевал сделать этого вовремя. Зуля Насырова рисовала кудрявые, похожие одна на другую, головки, дядя Гриша, наш старый фотограф, подремывал...

А тут все замерли и уставились на Костю. А что он говорил! Называл газету беззубой, не имеющей своего лица и направления. Выдергивал фразы из материалов, произносил их ернически, а все весело смеялись, будто бы не были сами авторами этих строк. Редактор наш вжался в кресло, очки его испуганно поблескивали. Мне было

стыдно за него: почему не остановит своего заместителя, не поставит на место. Но еще больше возмущали сотрудники. Предатели! Не ценят доброго отношения. Ведь Дед — он какой? Отпуск без содержания по семейным обстоятельствам — пожалуйста. Плохо себя чувствуешь — отпустит домой. Материальная помощь нужна — выхлопочет обязательно. Но нет, загалдели. Поддакивают, бросают с мест реплики. Оказываются, их давно тошнит от такой работы, они просто задыхаются...

В общем, редакция раскололась на два лагеря. Причем, один из них был весьма малочисленным и состоял из редактора, меня да дяди Гриши. И даже наш самый молодой сотрудник Толя Десяткин, или Толя Позвоночник — так прозвали его ребята за то, что он был принят в редакцию по звонку сверху — и писать-то толком не умел, примкнул к лагерю противника.

С этого дня изменился сам ритм работы. Ребята носились по редакции, как угорелые. Тихие наши летучки превратились Бог знает во что — на них орал, ругались, спорили. Редактор наш слег в больницу. Унылый, неразговорчивый дядя Гриша ушел на пенсию. Я осталась одна.

Однажды после дежурства. Костя попросил меня задержаться. Теперь читал полосы и подписывал газету он. Я с независимым видом уселась в кресло напротив. Он начал без обиняков:

— Вижу, что вы не согласны со мной в оценке работы редакции. Отчего же молчите на летучках? Не согласны — спорьте, доказывайте! За свои убеждения надо драться!

Пока я собиралась с мыслями, он опять спросил:

— Вам, видно, нравилось работать так, как вы до сих пор работали? — в его голосе звучала снисходительная усмешка.

— Да, нравилось, — с вызовом ответила я.

Светлые глаза его засветились любопытством. Я решила.

— Если хотите правду, я считаю, что это стыдно — придти и растоптать авторитет, который складывался годами.

— Интересно, — задумчиво произнес он. — Что же это за авторитет, который можно придти и растоптать? И вообще, по-моему, вы ходите по редакции, как спящая красавица и ничего не видите. Нарыв-то давно назрел, я только чуть помог ему лопнуть. Кстати, о редакторе, вы не знаете, почему он такой напуганный?

Я разозлилась, но ничего не ответила. Да и что я могла ответить?

— Собственно, я против таких, как он, ничего не имею, — продолжал Костя. — Бывает, сломался человек. В таком случае, найди себе местечко потише, поспокойней и сиди, дорабатывай до пенсии. Зачем же в газету лезть?

— Нам, наверное, не понять друг друга. Я очень уважаю редактора. Кроме того, у меня перед ним и личные обязательства, это он сделал меня журналисткой.

— А кто вам сказал, что вы журналистка?

Такого хамства я не ожидала. Поднялась, чтобы уйти. Он схватил меня за руку:

— Нет уж, простите...

Кинулся к подшивке и стал лихорадочно листать ее.

— Так-так... Значит, о чем мы пишем? Ага, «В новом 121 микрорайоне распахнул свои двери молодежный клуб «Юность». Прекрасно. Пойдем дальше. «С большим успехом в нашем городе прошли гастроли...». А это... неужели критический? Ой-ой-ой... Киоскера поругала. Подумать надо! А вот опять кто-то «распахнул свои двери» — теперь филиал библиотеки. Поймите, вы только рассказываете о событиях. Это тоже нужно. Но где проблемы? Кому и в чем вы когда-то помогли? Какую «гору» с места сдвинули? Не спорю, пером вы владеете и слово чувствуете. Но честное слово, я лучше всю жизнь буду править Музафара Рустамова, который не совсем в ладах с русским языком, чем читать вашу гладкую дребедень, потому что каждый его материал может стать гвоздем номера.

Как я ненавидела его в эту минуту! А может быть, уже любила?

Утром я пришла в свой отдел писем и задумалась. Нас было двое: я и учетчица писем, славная девочка Юля. Два месяца назад, не сработавшись с редактором, уволился и ушел в таджикскую газету наш заведующий, Коля Ибрагимов, хороший журналист, прекрасно владевший русским и таджикским языками. Нового пока не подобрали, более того, я думала, что Дед просто ждет, когда я получу диплом, чтобы сделать заведующей меня. Ведь до вчерашнего дня я считала, что работаю хорошо, меня действительно никогда не правили, а когда в конце месяца подсчитывали строчки, я нередко выходила победительницей.

Передавая в отдел письма, Дед говорил:

— Критические посылай в соответствующие организации. Пусть разбираются, чего нам лезть в их неурядицы. И я добросовестно на бланке в графе «послано для принятия мер» писала: «в горздравотдел», «в РК профсоюза», «в гороно».

Раскрыла папку с письмами, которую вчера не успели отправить. Взяла верхнее письмо, на котором уже стояла резолюция: «В Минздрав» и стала еще раз перечитывать его.

«Дорогая редакция!

Мне всего двадцать четыре года, а я вот уже пять лет как прикован к постели — инвалид 1 группы. Случилось со мной несчастье вот таким образом. Весной, возвращаясь из военкомата, — через несколько дней должен был уйти служить в ряды Советской Армии, — решил искупаться в пруду, прыгнул, а место оказалось мелким. Перелом шейного позвонка. Лежу совершенно неподвижно. Неоднократно читал в центральной прессе, как в Москве и Ленинграде делали операции таким больным, как я, и они уходили на своих ногах. И сколько ни прошу Министерство здравоохранения дать мне направление, очередь до меня никак не доходит. Было легче, когда была жива мама, но она умерла, наверное, от горя, глядя на меня. Сейчас за мной ухаживает братишка-

шестиклассник, которого скоро выгонят из школы за двойки, да приходит моя девушка, с которой я встречался. Я не хочу, чтобы она приходила, но дело не в этом, а в том, чтобы мне дали направление. Только направление, я поеду за свои деньги, без сопровождающего, с братом. А после мамы остались кое-какие сбережения. С надеждой и уважением Олег Васильев».

Вечером я поехала к Васильевым. В палисаднике перед крыльцом нужной мне квартиры играл с щенком мальчишка. Щенок мурзился, мальчишка смеялся, а я стояла и смотрела на их возню, пока он меня не заметил и не спросил: «Тетенька, чего вам?»

— Мне бы к брату твоему...

— А чего ж стоите? Заходите!

В комнате чистенько, полы протерты, на электрической плитке шумит чайник, Олег лежит на опрятной постели. «Как же управляется этот мальчишка?» — мелькнуло у меня в голове.

— Вы из редакции? — раздался звонкий вздрагивающий голос. — Я так и знал, что вы придете.

Мне стало стыдно — ведь еще вчера я собиралась просто переслать его письмо по инстанции.

— Садитесь. Кешка, завари чай! Пирожки принеси! Это Леночка пирожков напекла, — пояснил он мне. — Знаете, ходит и ходит. А родители ее ругают. Годы-то идут, — Олег закрыл глаза и так пролежал минуту-другую. Потом заторопился:

— Вы уж постарайтесь. Попросите за меня. Только направление. После мамы пятьсот рублей осталось на книжке. Еще можно продать кое-что. Кольцо мамино. Жалко, конечно, память, но она была бы жива, сама продала бы.

«Сейчас расплачусь, и это будет ужасно глупо. Плачущий корреспондент», — мучилась я. Собралась с силами, откашлялась.

— Олег, я вам обещаю: будет направление. И не только направление. И сопровождающий, и оплачиваемый проезд. Я, Олег, все сделаю. — Голос у меня все-таки сорвался. Выскочила на улицу и там уже расплакалась по-настоящему.

На следующий день сразу после летучки пошла к главному нейрохирургу республики. Я его немножко знала, писала когда-то о сложной операции на мозге. Что-то о руках хирурга, о коротких командах: «скальпель», «зажим», о бисеринках пота на лбу...

Джура Джураевич был в своем кабинете. Попросил меня:

— Посидите, пожалуйста, минутку, я сейчас закончу разговор.

— Ну, так вот, — продолжал он, обращаясь к молодой женщине. — Я вам еще раз объясню, почему нужна операция. Опухоль давит на глаза, это очень мучительно.

— Но надежда, какая-нибудь надежда? — потянулась к нему женщина.

— Никакой. Поэтому мы и спрашиваем вашего согласия. Поверьте, мне эта операция ни чести, ни славы не добавит. Она нужна лишь для того, чтобы избавить вашего мужа от лишних мучений.

- А он сам? Как он сам?
- Видите ли, сам он решать уже не может...
- Ну что же, тогда делайте, что же, раз так...

Она поднялась и, окаменевшая от горя, деревянно пошла к двери. Джура Джураевич повернулся ко мне:

— Я вас слушаю, — лицо его было серым, глаза усталыми.

— Я по поводу Олега Васильева. Он лежал у вас. Пять лет назад с ним случилось несчастье...

— Олега я прекрасно помню. Историю его болезни — тоже. Давайте сразу к делу.

— Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, почему он в течение стольких лет не может добиться направления в Москву, в головной институт?

— И не добьется. То, что случилось с ним — уже необратимо. Никогда, никакая операция ему не поможет. Ну что вы на меня так смотрите? — вдруг закричал он. — Не могу, понимаете, не могу сказать я парню: ты никогда не поднимешься и думать об этом забудь! И не надо мне рассказывать про то, что он поедет без сопровождающего, на свои деньги и про мамино кольцо тоже не надо. Мне все это уже рассказывала его девушка Лена.

— Значит, Лена знает правду?

— Знает, знает... И мать знала.

— Но вырезки, эти газетные вырезки, которые он собирает. Там описывались подобные случаи, я читала.

— Вот именно — подобные. А подобные, кстати, я и сам оперирую. Вы поинтересуйтесь, сколько спинальных больных ушли на ногах из нашей клиники.

Джура Джураевич посмотрел на часы. Я поднялась.

— Простите меня, пожалуйста...

— За что? — удивился он.

Но я-то знала, за что. Только не знала, что же теперь говорить Олегу? И зачем, зачем я так твердо обещала ему достать направление?

Не заходя в отдел, отправилась прямо к заместителю редактора Он читал полосу. Спросила:

— Можно я посижу, подожду?

— Сиди, сиди...

— А курить можно? — я к тому времени начала покуривать.

Махнул рукой:

— Что хочешь делай, только не отвлекай.

Я закурила и стала смотреть на него. Смотреть было интересно. Костя то улыбался, то хмурил брови — они у него были густые, лохматые, то приговаривал: «Ну и ну!» и начинал черкать полосу, и я представила, как будут возмущаться корректоры — сама сколько раз злилась, когда исправления вносили прямо на полосу. Редактор обычно правил мало.

Наконец он закончил читку и повернулся ко мне.

— Что там у вас?

Я рассказала. Опять — чуть не со слезами.

— И главное, помочь нечем, — закончила я.

— Ну, это не совсем так. В самом главном, конечно, не сможешь. И все-таки что-то для него сделать мы можем. Квартира, говорите, без удобств? Сходите в райисполком, для инвалидов первой группы существует льготная очередь, ребята могут об этом даже не знать. Где он работал до того, как случилось несчастье? На «Таджиктекстильмаше»?

— Так всего три месяца...

— Неважно. Побывайте там, поговорите с комсоргом. Может, шефство какое над парнем возьмут. И в школу, где учится младший тоже сходите. С Леной встретитесь, девчонка, видно стоящая, если знает все, а все-таки ходит.

Потом посмотрел на меня внимательно — мне показалось, даже ласково, и вдруг перешел на ты:

— А ты ничего. Может, и журналистка из тебя получится. Мне сначала показалось, что ты...

Он помедлил, подбирая нужное слово. Но, видимо, не нашел, и повторил то, что уже говорил однажды:

— Спящая красавица... Ну, ничего, еще проснешься.

Потом продолжил:

— Да, материала тут, конечно, не будет. Сюсюкать вокруг такой беды ни к чему. Но теперь ты, возможно, научишься видеть за каждым письмом человека.

В обеденный перерыв пошла в больницу к Деду. По дороге забежала на базар, купила фруктов.

Дед лежал в отдельной палате, пускали к нему беспрепятственно. Но был не так плох, каким я боялась его увидеть. Мне обрадовался. Я села совсем рядышком и вдруг почувствовала такую жалость к этому ставшему мне родным человеку. Поцеловала его и, не зная, чем еще выразить свои чувства, зачем-то поправила на нем одеяло, натянув его до подбородка, хотя в палате было довольно тепло. А он в ответ взял мою ладонь в маленькие сухие руки.

— Ну что там, рассказывай, как?

Я замешкалась, поняла, что редактор ждет жалоб и возмущений по поводу действий своего заместителя. Дед расценил мое замешательство по-своему. Стал меня успокаивать.

— Ничего, ничего! Это ненадолго. Алексей Иванович ему быстро рога пообломает!

Я боялась поднять глаза. Сейчас глянет на меня Дед — и все поймет. В голове полная сумятица. Ну, почему он надеялся на человека, которого так боялся? Почему они — заодно?

В редакции скоро заметили, что я влюблена в Костю. Только Дед, который вышел из больницы и вновь приступил к своим обязанностям, ничего не замечал, по крайней мере, относился ко мне по-прежнему

доброжелательно, а я по-прежнему кормила его бутербродами по утрам, только от разговоров старалась всячески уклониться.

Перелом в наших отношениях произошел после того, как он снял с полосы мой критический материал. История этого материала такова. В редакцию пришло письмо:

«Поверьте, что не желание отомстить или ответить злом на зло заставило меня взяться за перо в то время, когда каждое воспоминание приносит непереносимую боль и, кажется, нет больше сил жить. Но ведь такое может случиться еще с кем-то. А это страшно! Моя дочь, студентка университета, почувствовала себя плохо — озноб, температура, сильная боль в горле. Пошла в поликлинику, записалась к отоларингологу. Когда подошла ее очередь, врач сказала: «Сначала вам надо пойти к терапевту, а если он сочтет нужным — направит ко мне». Участковый врач уже окончил прием и дочери ничего не оставалось делать, как перенести визит к нему на завтра. Ночью ей стало хуже — лечила ее сама домашними средствами. На другой день предложила вызвать врача — она отказалась, сославшись на то, что поликлиника рядом, и она в состоянии дойти. Однако и терапевт ее не принял, заявив, что как студентка университета она должна обращаться к своему доверенному врачу. Вернувшись домой, дочь почувствовала себя так плохо, что ехать на автобусе к своему врачу не смогла. А я находилась на дежурстве. Прихожу утром — она без сознания, температура выше сорока. Вызвала «скорую». Оказалось, что у нее в горле начался абсцесс, а от него воспалилось ухо, мозговая оболочка. Может быть, по-медицински не совсем грамотно я объясняю. Но спасти дочь врачи уже не смогли...»

Перепроверив факты и убедившись в их истинности, я написала статью, вложив в нее всю душу. Материалы нашего отдела читал Костя. Редактор увидел его уже в полосе и пригласил меня к себе.

— Я должен тебе огорчить, — ласково сказал он. — Материал не пойдет.

— Почему? — удивилась я. — Разве можно молчать об этом?

Дед стал говорить, что «случай из ряда вон выходящий, нетипичный для нашей действительности, и, публикуя подобные материалы, мы порочим высокое звание советских врачей, которые самоотверженно трудятся», и так далее.

— Письму, мы, конечно, дадим ход, — заверил он меня. — Виновные будут наказаны. Но на страницах газеты он не появится.

Я впервые стала возражать своему редактору, и тогда Дед доверительно сказал:

— Послушай, мы с тобой свои люди. Свои ведь? — переспросив, он заглянул мне в глаза. — Так вот, тебе я скажу правду. Главврач этой поликлиники — друг Алексея Ивановича. Он уже знает, что письмом занимались. Был звонок, — редактор уважительно посмотрел на телефон. — Я ему пообещал. Ты что же, хочешь, чтобы у меня были неприятности?

Нет, этого я не хотела. Молча вышла из кабинета. Костя, узнав о том, что материал «зарезали», тут же отправился к редактору, плотно прикрыв за собой дверь. Не знаю, о чем они там говорили, но в конце дня он подошел ко мне:

— Ничего, не расстраивайся. Я сказал метранпажу, пусть пока не разбирает, — и озорно, по-мальчишески подмигнул мне.

Материал вышел через десять дней, когда Дед был в Москве на совещании. Я ждала, что разразится гроза. Но Алексей Иванович, видимо, выжидал. Дед тоже молчал, только от моих утренних бутербродов наотрез отказался.

Тем не менее, работала я с увлечением, даже летала на вертолете санавиации на Памир, чтобы сделать репортаж с места событий. Живо откликалась на все письма, с удовлетворением замечала, что их поток постоянно растет, а содержание становится интереснее. С сотрудниками отношения заметно потеплели. Однажды они даже побывали у меня в гостях. Случилось это неожиданно. У Музафара родился сын. С утра он дежурил около роддома, а к обеду прибежал, счастливый, в редакцию. На вечер стал приглашать всех к себе на плов. Ребята шутили: куда? Музафар с женой жили в семейном общежитии, комнатка маленькая, особо не разгуляешься, и я предложила:

— Поехали ко мне! Дом пустует...

Действительно: сестра с мужем получили квартиру, брат учился и жил в Москве, в домике только мы с Андрюшкой. Сначала я очень боялась, что ребята откажутся, а когда согласились, испугалась другого. В доме у нас вся обстановка — столы и табуретки, сбитые когда-то дедом. Полы некрашенные, бабушка, пока была жива, красить не разрешала. Когда мыли, натирали их грубым веником, и они светились, как яичные желтки.

— Живым деревом пахнут, — приговаривала бабушка после уборки. — А крашенные — они мертвые.

Потом, когда стариков не стало, полы я так и не выкрасила, а вот натирать их веником перестала, и они стали серыми. Вообще дома полное запустение, сын целый день в детском саду, я на работе, да и особого стремления к порядку и уюту у меня никогда не было. Но оказалось, что нашим ребятам это, как говорят, до лампочки. Во дворе, на печке, сделанной еще дедом из старого ведра, которую мы называли мангалка, Музафар и приготовил отличный плов. Посидели хорошо, а я словно впервые увидела в тот вечер, какие интересные люди работают со мной рядом...

Ребята стали понемногу расходиться. Никто не звал с собой Костю, никто не спрашивал, в какую ему сторону, с кем по пути. Молчала и я, в глубине души надеялась, что он останется.

Утром мы вышли из дома вместе — я, Костя и Андрюшка. Не пряча глаз, я здоровалась со своими соседями. Мои бабушка с дедушкой пользовались в поселке большим уважением, да и меня эти люди знали с самого детства, и я была уверена, что они не подумают обо мне плохо.

На работе тоже никто не удивился, что мы пришли вдвоем. Я же вся светилась от счастья, не умея, да и не желая скрывать своих чувств.

Вечером сбегала за Андрюшкой в детсад и опять вернулась в редакцию. Должен же Костя что-нибудь сказать, неужели все кончится одной ночью? И действительно, он предложил:

— Махнем на ночь в горы? Завтра воскресенье, Андрюшку можешь пристроить?

— Могу, конечно. К сестре отвезу. Только как — на ночь? Где же мы там спать будем?

— У меня друг чего-то строит в Гиссаре. Сруб у них на реке стоит. Только захватим Сонечку.

— А кто это Сонечка?

— Его любимая. Пошли?

Собирались бегом. Заехали ко мне, чтобы взять что-то из продуктов, купальник, халат, потом к сестре, оставить Андрюшку, потом в магазин — купить продуктов, потом за Сонечкой. Летом у нас смеркается поздно, но все равно, пока собрались, было уже темно. А нам еще надо поймать попутную машину, а потом идти пешком. Путешествие началось с приключений. Костя на дороге ловил машину, а мы болтали с Сонечкой. Оказалось, я ее немного знаю, она инженер-полиграфист, и я ее, конечно, видела на полиграфкомбинате, куда приходила после дежурства подписывать газету. Костя, увидев нас вместе, воскликнул:

— Ой, какие вы похожие!

И действительно. Она, как и я, высокая, светловолосая. Только глаза у нее синие, а у меня — серо-зеленые. Сошлись мы с ней сразу. Нежная и восторженная, Сонечка читала стихи, причем всегда и везде, знала тогда еще мало доступных Цветаеву и Ахматову, мило картавила, витала где-то в облаках, видела мир голубым и розовым и такой оставалась всегда, до той поры, когда нам пришлось расстаться: одной из первых среди моих знакомых она уехала в Израиль.

Костя, наконец, остановил машину и крикнул нам:

— Девочки!

Мы подбежали, когда он был уже в кузове грузовика. Подал руки, помог нам взобраться, и машина с грохотом помчалась по горной дороге. Когда приехали и стали выгружаться, вдруг оказалось, что сумки в машине нет, мы с Сонечкой, кинувшись к машине, оставили ее на дороге. Я расстроилась, и не только потому, что там были съестные припасы, наши с Сонечкой халаты и купальники. Хотя, конечно, теперь даже не позагораешь, а больше из-за расчески и косметических принадлежностей, — мне теперь хотелось быть все время красивой, а тут ни расчесаться, ни накраситься, но Костя так заразительно стал хохотать, что мы с Сонечкой рассмеялись. А еще он заверил нас, что у Сабира, так звали его приятеля, найдется что-нибудь поесть и расческа, конечно, тоже, так что не пропадем, «а уж без губной помады переживете...»

Пешком прошли километров пять и добрались до деревянного домика, расположенного в ущелье, возле реки. Двери были распахнуты,

на полу лежали ватные одеяла, но мы не застали Сабира. Еще одна неудача.

— Придет, — заверил Костя. — А пока разожжем костер да посмотрим, что нам поужинать.

У входа в дом стоял ящик с помидорами, а Сонечка, которая, как и Костя, не раз здесь бывала, нашла в потемках яму, где Сабир хранил картошку. Пока нарезали салат и пекли в костре картошку, вернулся хозяин. Я увидела его первой и вздрогнула от неожиданности, когда в проеме двери показалась огромная фигура с ружьем и рюкзаком за спиной, а слабый свет коптилки (мы налили в блюдце масла и сделали «свечу» из куска ваты, которую вытащили из одеяла) выхватил из темноты бородастое лицо.

— Сердце мое чуяло, — сказал Сабир и вытащил из рюкзака уже освежеванного дикобраза.

До полуночи жарили мясо. В первый раз я ела дикобраза. Оказалось — вкуснятина. Я даже сравнила:

— Как молодой поросенок.

Сабир пошутил:

— Ага! И главное — мусульманам есть не возбраняется.

Пока поели, уже близился рассвет. Костя предложил:

— Вы ложитесь, девчата, а мы уж досидим до утра у костра.

Мы с Сонечкой завернулись в ватные одеяла. Я уже стала подремывать, как вдруг Сонечка взяла и запела. Я просто обомлела, когда в этой тишине, которую нарушали лишь потрескивание костра да тихий говор мужчин, вдруг зазвучал протяжный русский романс: «Ямщик, не гони лошадей...»

И заслушалась, очарованная прекрасным голосом Сонечки, и этой надрывной, раздольной, прекрасной мелодией.

Также неожиданно, как запела, Сонечка вдруг умолкла. Я полежала минуту-другую, потом наклонилась к ней, она спала тихо и безмятежно. А у меня сон как рукой сняло. Вот только что умирала хотела спать, а теперь — ни в одном глазу. И я невольно стала прислушиваться к разговору мужчин. Оказывается, они старые друзья. Еще по Голодной степи. Только Сабир занимался там строительством, а Костя редактировал голодностепскую газету, жили в одном вагончике.

Теперь я не только прислушивалась, а и подслушивала. Так мне было странно, что до меня, без меня, у него была какая-то своя жизнь. Там, в Голодной степи, он встретил женщину, которую полюбил, но они почему-то расстались. Я мучительно пыталась ее представить, и мне хотелось, чтоб она была некрасивой. Хорошо бы еще и глупой! Не очень благородно с моей стороны, что уж говорить.

Засыпая, думала о чем-то высоком, какой-то параллели: Вахстрой — Голодная степь. О судьбе. Но мысли не становились четкими, а так — плыли — я засыпала.

Чуть взошло солнце, ребята нас растормошили. Было прохладно, как всегда по утрам. И как всегда не верилось, что через пару часов

уже будет за сорок градусов и о прохладе придется только мечтать. А вечером она, желанная и опять неожиданная, вновь спустится с гор.

— Пошли, девчата, пошли! — торопил Сабир. — Здесь рядом серный источник, вода теплая. Только сейчас и искупнуться.

Мы заартачились — не пойдем без купальников. Тогда Сабир серьезно спросил:

— У вас что, под платьем вообще ничего нет, что ли?

Мы рассмеялись и разделись. Ну, ничего, что в белых трусиках и лифчиках. Посмущались немного, потом пообвыкли. Действительно, быть возле воды и не искупаться — это непростительно.

Солнце уже набирало силу. Когда закроешь глаза, оно просвечивает сквозь веки. И не в темноту погружаешься, в темно-красное зарево. Еще с часик можно полежать на солнце, и надо будет бежать в тень. Как все рыжие, я не загораю. Кожа сначала покраснеет, потом отшелушится — и весь загар. Только веснушки становятся ярче, и выступают уже не только на лице, но и на руках, и на коленках. И все-таки я люблю солнце и не боюсь его. Даже не представляю, как можно жить там, где оно не такое яркое, могучее, щедрое... Хотя лето у нас, конечно, тяжелое. Но я и лето люблю. И, если честно признаться, благодарна родителям за то, что когда-то они, молодые энтузиасты, приехали в молодую республику, чтобы помочь ей, и что именно здесь я родилась...

В понедельник утром пришла на работу, а на моем столе лежит лист бумаги с печатным текстом. Взяла в руки, стала читать, и ахнула от радостной неожиданности.

СТИХИ О НЕЖНОСТИ

Жажды припадок — морем, пожаром,
Роем встревоженных пчел —
А потому, что в ущельях Гиссара
Дикий шиповник зацвел,
А потому, что в ущельях зеленых
Шиповник веснушчат и рыж,
Синие молнии бродят по склонам,
Синие льютя дожди,
Звезды гнездятся, роняют осколки
В речку, в ветер, в траву,
В сердце... наверное, диким шиповником
Жажду мою зовут.

День прошел, как в тумане, а, вернувшись с работы, оглядела свое хозяйство и задумалась. Что-то надо было делать, приводить дом в порядок. Конечно, ни извести, ни краски у меня не было. Да и не умела я ни белить, ни красить. Но если всю жизнь живешь среди одних и тех же соседей, да еще таких хороших, как наши, то не пропадешь. Пришла к дяде Хасану. Тот меня похвалил:

— Давно пора, дочка.

Пошел в кладовку. Там, видно, был полный порядок. В баночке с керосином стояла кисть. Дядя Хасан обтер ее тряпкой. Предупредил:

— Ставь в воду. А то засохнет.

Известку взяла у Гульчехры. Та даже обрадовалась:

— Стоит, мешается, а вылить жалко. Думаю — вдруг кому понадобится.

И я, не дождавшись воскресенья, за вечер выбелила стены. Все у меня горело в руках. Сама себя не узнавала.

Утром проснулась и спросила:

— Что со мной случилось?

Потом поняла, что. Может, чуть запоздало, но я, наконец, почувствовала себя женщиной. Домашняя работа, которая висела на мне тяжким грузом и делалась кое-как, теперь превратилась в радость. Приготовить что-нибудь вкусное, испечь пироги, вымыть полы — все наполнилось смыслом и значением. Особенно я любила подавать на стол. Когда Костя ел, сидела, замерев, и следила за каждым его движением — убрать, подать, подсолить... А если не приходил, терпеливо ждала, не обижаясь: не смог, значит, не смог. Зато если ночевал, вставала чуть свет, чтобы успеть приготовить завтрак, подать его горячим, сварить кофе так, как он любит: сначала слегка поджарить, потом залить холодной водой, добавить сахара и немного соли — и главное, уследить, чтобы не успел выкипеть.

Знакомые, встречая меня в городе, спрашивали: ты что так похорошела? Прямо расцвела.

Я пожимала плечами в ответ — улыбалась, наверное, глупой улыбкой, про себя думала: «Да люблю же я, неужели непонятно?»

Часто виделась с Сонечкой, заражалась от нее способностью не думать о дне завтрашнем: хорошо сегодня, и прекрасно, и слава Богу.

Но если я не думала сама, за меня, оказывается, думали другие.

На одной из летучек зазвонил телефон, и по тому, как поднялся Дед, мы сразу догадались, кто звонит, хотя он и не назвал имени, а только произнес:

— Да-да, обязательно. Я тоже так думаю...

После летучки попросил меня задержаться:

— Алексей Иванович вызывает...

— Вас? — спросила я.

— Нет, тебя.

— А по какому поводу такая честь?

— Не знаю, — ответил Дед.

В отделе я рассказала о предстоящем визите. Тут же весть разнеслась по всей редакции. Ребята заволновались. Вспоминали недавние материалы, дежурства — ошибок вроде не было. К чему же он прицепится?

— Ладно, приду, расскажу, — успокаивала я. А сама разволновалась, ничего хорошего не ожидая от этой встречи.

Пропуск мне был уже заказан. Секретарша, нырнув за массивную дверь и тотчас вынырнув, подтвердила:

— Вас ждут...

Алексей Иванович не оторвал взгляда от бумаг. Я не видела его очень давно и заметила, как сильно он изменился. Мышцы щек обвисли, подбородок отяжелел, в лице появилось что-то бульдожье. Постояв минутку-другую и не услышав ответа на свое «здравствуйте», я сказала:

— Алексей Иванович! Это я!

Он поднял глаза и глухо сказал:

— Вижу. Не слепой.

Но, когда заговорил снова, голос его потеплел:

— Садись. Я хочу побеседовать с тобой, как с дочерью. Я между прочим, так к тебе и относился. Хочешь правду? Даже думал, что ты за Сашку выйдешь замуж. И если б ты тогда не поторопилась...

— Это невозможно, Алексей Иванович.

Я вспомнила полумрак его квартиры, бледное Сашкино лицо и повторила:

— Это невозможно, мы с ним — как родные. Как будто брат и сестра...

— Ладно... — согласился он. — Пусть так. Но твоя судьба мне не безразлична. Ты ошиблась один раз. Тогда я не вмешался, были живы твои старики. Но сейчас не могу оставаться в стороне. Если бы он, — (он — это, конечно, Костя), — завел шашни с кем-то другим, я бы знал, что мне следует предпринять. Но тебя я должен предупредить: это не тот человек, который тебе нужен. Ты знаешь, кстати, что он был женат?..

Я знала. Слухи о журналистах доходят быстро. Да, был женат. Но, видимо, неудачно. Развелся, детей у них не было. Квартиру и вещи не делил, уехал, в чем был. Но всего этого я объяснить Алексею Ивановичу не стала. Только сказала:

— Так ведь и я не девочка... А самое главное, Алексей Иванович, поверьте, что это не он, а я проявила инициативу. Я в него влюбилась. Я его, скорее всего, даже люблю.

— А он?

— Не знаю. Наверное, нравлюсь. Может быть, и полюбит со временем. А пока — нормальные отношения между взрослыми людьми: женщиной и мужчиной. Не надо, только не надо лезть во все это, если вы и вправду хоть чуть-чуть хорошо ко мне относитесь.

— Ну что ж! — Алексей Иванович поднялся и вышел из-за стола.

Фигура у него тоже отяжелела, обозначился треугольный гусиный живот.

Теперь он стоял рядом со мной. Дышал тяжело, с присвистом.

— Если ты в самом деле так в него влюблена, то могу предложить два варианта: либо вы поженитесь, и тогда одному из вас придется

уйти с работы, потому что никто не позволит разводить семейственность в редакции, либо вы не поженитесь и уйдете оба, причем с далеко идущими последствиями.

В редакции я никому ничего не сказала. Вернее, соврала: вызывал по поводу последнего критического материала, сделал внушение.

Правду сказала только Косте. Попробовала пошутить:

— Вот злодей, соблазняешь тут, совращаешь невинную девушку...

Однако он шутливого тона не принял, помрачнел:

— Ты же понимаешь, что дело тут не в наших отношениях. Это только повод... — помолчав, спросил: — А что тебе еще сказал Алексей Иванович? Держу пари, предложил жениться. Лицо его стало жестким.

Я молчала. Было больно и неловко.

— Так вот, я все-таки скажу тебе сразу: жениться я не собираюсь. Не именно на тебе, а пока вообще. Тем более по указке вышестоящих товарищей.

Собралась с мыслями, сказала ласково:

— Ничего, Костенька. Ничего. Я ведь и подождать могу, куда торопиться? Какие наши годы? Костя глянул на меня недоверчиво. Потом глаза его потеплели, стали вроде бы чуть даже виноватыми. По моему, он хотел как-то смягчить сказанное, но я поднялась:

— Кость, пойду, а? Голова так разболелась...

В тот вечер Костя не пришел, а я никак не могла уснуть. Обдумывала сложившуюся ситуацию. И так, жениться на мне не хотели. А уходить из редакции я тоже не хотела. Теперь, когда мне стало понятно, почему по статистике журналисты живут меньше шахтеров, я уже не могла жить без этой работы. И решила: будь что будет. Поживем — увидим. Что же касается Кости, я действительно решила ждать. Вбил себе в голову, что он тоже любит меня, и все тут. Просто сам этого пока не понимает. Или боится поверить, а теперь еще этот Алексей Иванович влез. Может, на то и рассчитывал, зная строптивый Костин характер.

Долго зревшая во мне женщина повела себя умно и осмотрительно, даже, пожалуй, расчетливо — не торопила события. Не приходил, никогда не спрашивала, почему. Приходил — встречала ласково и приветливо. Однажды пришел в стельку пьяный. Я даже испугалась, не думала, что он способен так напиться. Но утром не подала вида, стала отпаивать кофе. Уходя, Костя спросил меня:

— Ты вправду такая или притворяешься?

Я серьезно ответила:

— Сама не знаю.

Он засмеялся. Но, по-моему, уже сам понимал, что все меньше и меньше мог обходиться без меня.

Работать мне было трудно. Началась настоящая травля. Я все время мучилась, за что нас так? Костя говорил:

— Ну что ты маешься? У человека такой стиль работы. Думаешь,

он только на нас давит? А самое, главное, ведь не такие страшны, как Алексей Иванович. Такие, как Дед, куда страшнее.

Долго я думала над этими его словами... Над редакцией между тем сгушались тучи, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы...

Утром, во время летучки, зазвонил телефон. Ничего в этом не было удивительного, он всегда трещал без умолку. И Дед, если это не было высокое начальство, тихо отвечал:

— У нас летучка. Попозже...

А тут, ну, честное слово, было в этом звонке что-то особенное. Я точно помню, как все замолчали и как дрожала рука редактора, когда он тянулся к трубке. А потом лицо его сразу сделалось серым, а глаза словно остекленели. И трубку никак не мог положить на рычаг. А мы все встали, и Дед, наконец, еле выговорил:

— Алексей Иванович. От инфаркта...

Я сразу забыла о наших натянутых отношениях. Видела только, как ему плохо. Поехала в аптеку за валидолом, а когда вернулась, застала его в кабинете одного. Он вжался в кресло, стал совсем маленьким, и таким искренним, таким неподдельным было его горе, что я не выдержала (тоже ведь, не пожалела, не нашла другого времени) — сказала ему о том, о чем думала не однажды. Пусть в прошлом у них — вахшстроевская юность. Но сейчас, в нынешней жизни, он ведь не только газету, он его травил прежде всего. А в больницу он к нему когда-нибудь пришел, проведаль? Помог хоть в чем-нибудь?

Дед испуганно замахал руками:

— Что ты! Что ты! Зачем?

Он и мертвого его боялся. Почему? Чего я так и не смогла понять в их отношениях? Не знаю. Только мне вдруг показалось, что Дед и Алексей Иванович — две стороны одной медали, им нельзя друг без друга, и все тут.

Весь день мы ходили взбудораженные. Можно сказать, кроме дежурной группы, никто не работал. И целый день звонки. Целый день: «Вы уже знаете? Слышали?» Слова одни и те же, но как по-разному их произносили! Кто-то с горечью, кто-то со злорадством, но больше — с облегчением.

После шести к нам в редакцию зашел Пулат Гафуров, писатель, книги которого выходили в московских издательствах, но ни одна рецензия на них не появилась в республиканской печати волею Алексея Ивановича, — у него за спиной 10 лет Гулага. Зашли ребята из других редакций. Пулат предложил:

— Поехали в «Заравшон», посидим. Поговорить хочется. Деньги у меня есть.

«Заравшон» — ресторан за городом. Сидеть там хорошо, добираться только плохо. Но ничего, подвез какой-то дежурный автобус.

Сдвинули пару столиков, взяли немного водки и закусить чего попроще, подешевле. Но пили и ели мало. Зато говорили, перебивая друг друга. Каждый оговаривался:

— Конечно, о мертвых или хорошо или ничего, но...

Мы и не заметили, как к нам подседа какая-то пьянчужка. Устроилась рядом с Музафаром, тот разливает всем и ей тоже заодно. Но женщина вдруг влезла в разговор:

— Эй, вы! Журналисты! Напишите про меня. Я первая из женщин-таджичек стала стюардессой. Не верите? Вот я сейчас...

Стала копаться в сумочке. Костя грубовато перебил:

— Слушай, подруга! В другой раз, ладно? А сейчас топай. У нас тут, можно сказать, поминки...

— Сегодня похоронили? — она и не думала уходить.

— Нет, не похоронили еще, — стал объяснять Музафар. — Сегодня только умер.

Тогда она встала, пошатнулась и обхватила руками колонну. В черных глазах ее застыл ужас.

— Это грех! — прошептала она. — Большой грех — поминать, когда тело не предано земле. Это страшно.

И так, пятясь, стала отходить от нас, обнимая попеременно колонны зала. Всем стало не по себе. А меня словно в сердце что-то толкнуло: Алексей Иванович — отец Сашки. И Сашка, конечно же, приехал, и у него — горе...

Подошла к Косте, стала шептать на ухо: «Пойду туда...» Костя не понимал, переспрашивал громко:

— Куда ты?

— Туда, ну, как ты не понимаешь... К Алексею Ивановичу.

В глазах его недоумение. Я добавляю:

— Там Сашка, понимаешь...

Про Сашку Костя знает, и до него доходит. Кивает:

— Иди.

Я все-таки медлю:

— Костя, если тебе неприятно, то я... — пытаюсь поймать взгляд. Взгляд хороший, добрый. — Иди...

Остальное — как в тумане. Помню только, что Сашка обрадовался, прямо вцепился в меня и ни на шаг не отходил. А в квартире суетились чужие для него люди: соседи, которых он не знал, родня жены Алексея Ивановича, знакомые мне, но не Саше, ответственные работники. Всю ночь я с ним просидела возле покойного. Во время похорон Саша тоже стоял, держа меня за руку. А я валилась с ног от усталости. И все-таки из толпы сквозь усталость пробился ко мне недоумевающий взгляд Музафара. Он даже усмехнулся: «надо же, кто бы мог подумать — в числе самых близких, родных...»

Помню также, как выступал наш Народный поэт — тоже вахшстровец, бывший комсорг стройки. Говорил хорошие слова, кажется, плакал.

— Где же правда? — мучилась я. — Где она? В чем?

Но потом совсем отупела. А на кладбище, когда вместе с Сашей наклонилась, чтобы бросить в могилу ком земли, меня вдруг прорвало, и я заплакала.

Похороны твоего отца и были, Саша, нашей последней встречей, а с тех пор прошло... сейчас посчитаю. Да, почти 20 лет. И я стала забывать тебя, думала, что и ты забыл меня. Нет, я этого не думала, ведь я совсем не вспоминала о тебе, как же тогда могла думать... Это я уже поздним числом так решила, когда получила от тебя это странное письмо. Я прочла его раз, потом еще раз, и, наконец, в третий раз — вместе с Костей.

«Дорогая Аля! Неожиданно заехал ко мне школьный друг Тима Арипов. Я ему обрадовался несказанно, так как от меня недавно ушла к другому жена, и я находился в тоске, даже в некоторой прострации. Мы допоздна сидели, пили и вспоминали Душанбе. Я стал просить его по приезду найти тебя, — то, что ты не живешь в поселке, я знаю, последнее мое письмо вернулось, правда, это было очень давно. Тимка сказал, что нет ничего проще, что ты известная журналистка. Рад за тебя!

Аля, я совершенно одинок, мне жаль, что оторвался от вашей семьи, ближе у меня никого не было, особенно ты, Аля, Аленький Цветочек моего детства.

Детей у нас с женой не было, а была собака, которую я любил, как дочку (тебя не коробит такое сравнение?), но жена забрала собаку, просто так, со зла. Она ее никогда не любила, все время ворчала, что от нее везде волосы и грязь. Тоска!

Знаешь, я тоже по-своему известен, но в весьма узком кругу, поскольку я — засекреченный физик-ядерщик, всяческий лауреат, доктор наук и т. д., ладно, перечислять долго и скучно. А вообще-то я больной, немолодой и жутко одинокий. Аля, вот бы нам увидиться, приезжай (или приезжайте, если ты с мужем), квартира большая, денег на дорогу вышлю, у меня их много, А кстати, ты не собираешься вообще перебраться в Россию?

Тимка давно дрыхнет, а меня ни сон, ни хмель не берут, хотя выпили мы будь здоров! Знаешь, я всю жизнь не пил, ну, не то, чтобы ни капли, но очень мало, а сейчас думаю — дурак был, и пью. Но работаю, все нормально, ты не думай.

Пишу тебе и плачу, такой, видно, стал сентиментальный. Или все-таки пьяный? Мы встретимся, и ты расскажешь всю свою жизнь, а я буду молчать и слушать, потому что, кроме того, что написал, мне и рассказывать нечего. А если написал ерунду, сделай скидку на бессонную ночь и пьянку.

Андрюшка у тебя, наверное, совсем взрослый. А ты какая, Аля, очень изменилась? А для меня всегда останешься рыженькой девочкой, Аленьким Цветочком, я буду тебя ждать, ждать, ждать!

Саша.»

Вот такое письмо. Костя, прочитав его, сказал:

— Позови-ка его самого в гости. Сходите в свой поселок, да и

одноклассников своих повидает. Если не сможет, так мы летом поедem отдыхать в подмосковный Дом творчества и завернем к нему. А пока ответь хотя бы коротеньким письмом, встретитесь, тогда уж и наговоритесь. Видно, плохо мужику совсем.

Потом помолчал и, как мне показалось, с оттенком ревности до-
бавил:

— А он лирик, твой физик! Ишь ты — Аленький Цветочек...

Я так и сделала Действительно, рассказать всего в письме невозможно. Это ж какое письмо нужно! Но все время ловлю себя на том, что мысленно разговариваю с тобой, Саша, вспоминая то одно, то другое. Готовлюсь к встрече...

Что касается собаки, Саша, то нисколько меня не покорило сравнение с дочкой. Я сама люблю их как ненормальная, и у меня в жизни тоже были свои собачьи истории. Я потом расскажу тебе про сына, как он любит животных (впрочем, и я, и Костя, и девочки), и поэтому в доме всегда какая-то живность. Коты, хомяки, черепахи, попугайчики, ворон по имени Кварк, даже змееныша сын держал в террариуме. Но с собаками мне, Саша, не везло.

Однажды председатель клуба служебного собаководства, мой постоянный автор — вместе бились за то, чтобы горисполком дал помещение для клуба, принес мне в редакцию щенка-овчарку.

Ребята шутили: надо брать борзыми... В перерыв я побежала домой. Щеночка — за пазуху, он пригрелся, перестал поскуливать. Дома торжественно поставила на пол — вот! Смешной, лапы разбегаются. Дети визжат от восторга. Оглянуться не успели, как вымахал с тельника. Воспитания, естественно, никакого. Мы сами все народ бессистемный, беспорядочный, чему же собаку научить можем? Баловень, любимец. Спать в постель к нам забирался. На улицу через окно перемалхивал, мы тогда жили в микрорайоне, в квартире на первом этаже. Совершенно беззлойный пес. Знакомые малыши верхом катались. Но не все же знали о его добродушном характере. На улице, во дворе — шарахались. Вид свирепый. Стали жаловаться на нас в домоуправление, в милицию. А он ни поводков, ни намордника не признает, к этому ведь приучают с раннего возраста. А теперь что толку — повела раз на поводке, побежал, чуть с ног меня не свалил.

В общем, отравили нашего пса. Жил в нашем доме такой отставник противный. И столько горя было, что я сказала: все, второго пса у нас не будет. И себя преступницей чувствовала: если нет времени, способностей воспитать собаку, значит, заводить ее мы не имели права. О том, что собаку отравили, детям не сказали, объяснили тяжелой формой собачьей чумки. Не хотелось так рано сталкивать их со злом, не были они к этому готовы.

А я, как ни зарекалась, привела в дом еще одну собаку. Случилось это так. Возвращалась с дежурства за полночь. И вот, уже недалеко от дома, встретила мне собака — среднего росточка, в темноте не разглядишь масти. Обнюхала меня и идет следом, хоть ты что. У фонаря

рассмотрела ее — симпатичный лягаш, и, насколько я понимала, породистый. Конечно, не утерпела, присела рядом с ней, хоть поговорить, хоть подбодрить немного — поди, потерялась. И вдруг собака заскулила с такой тоской, что я поняла: все... На улице я ее оставить уже не смогу. Пока шла до дома, уговаривала себя: собака явно взрослая, похоже — выученная. Небольшая, дети во дворе пугаться не будут.

В общем, явилась домой с собакой. Улеглась она в коридоре на коврик — действительно, абсолютно приличная собака. Дети спали, Костя принял ее благосклонно. Охотничьих собак он любил особенно. Погладил:

— Легаш, Легашонок...

Утром я улетела в командировку, а вечером, как всегда, звоню домой узнать, все ли в порядке. Поболтала с детишками, с Костей. Потом спрашиваю:

— Как там Легаш?

Костя вроде как замылся. Я сразу:

— Что, сбежал?

Он:

— Нет, нет, все нормально. Вот он, рядышком. Но чувствую, недоговаривает чего-то.

— Костя, он тебе не нравится?

— Да нравится, нравится. В общем, приедешь — потом.

Что-то с собакой не так, — сделала я вывод. — Может, нечистоплотная? За что и выгнали? Вернулась через три дня. Собака узнала меня, но радость проявляла сдержанно, наш Дик, тот с ног сбивал при встрече. А эта стоит в коридоре и еле-еле хвостиком виляет. Тогда Костя позвал ее:

— Гомер, иди ко мне!

И пояснил:

— Гомером мы ее назвали!

И, прежде чем собака подняла морду и уставилась на меня белыми, слепыми глазами, я уже все поняла...

Так у нас появился Гомер. И знаешь, Саша, слепота его вовсе не была помехой. Что нам, на охоту что ли с ним ходить? Выученный — вот уж это бывший хозяин сумел сделать, ничего не скажешь. Никаких хлопот: ни лая лишнего, ни беготни за соседской детворой. И по своим делам на улицу всегда просится. И хоть казалось мне, что после Дика я ни одну собаку полюбить уже не смогу, к Гомеру очень привязалась. Да и он платил мне тем же. Каждое утро провожал на работу. Дойдем до перекрестка и расстанемся. Пока я бегу через проезжую часть дороги, к автобусной остановке, он стоит на обочине и словно бы смотрит мне вслед. Но вот я уже на остановке — Гомер разворачивается и — домой.

В то утро все было как обычно. Я уже стояла на остановке, но Гомер не уходил. Не знаю почему, но меня это встревожило. Я стала кричать: «Гомер, домой!» А он вдруг кинулся ко мне, прямо в поток

идуших машин. И страшно завизжали колеса машин, а я не смогла даже оглянуться, даже посмотреть на это... Не знаю, как добежала домой. Костя открыл дверь, он был на больничном, увидел мое белое лицо и стал трясти за плечи: «Что, что, что?..»

Но говорить я не могла. Тогда он, видимо, догадался сам. Побежал к дороге. Долго не возвращался. А пришел, молча взял лопату и ушел вновь. И лишь к вечеру я спросила: «Как ты думаешь, он — сразу?»

И Костя кивнул.

Мы опять соврали детям: Гомера нашел хозяин. Очень хороший человек...

Но вот что странно, Саша: в то утро на Путовском мосту произошла страшная автокатастрофа, — автобус столкнулся с грузовиком и, пробив ограждение, упал в реку. В живых никто не остался. Я до сих пор думаю: не в том ли автобусе должна была я ехать? Мой маршрут, мое время...

Так что насчет собаки — тут я пойму, дружище, тут все нормально. Но не о собаках же мы будем, в конце концов, разговаривать? Мне надо будет рассказать о своей жизни, а вот это-то сделать не так просто.

Мы с Костей поженились вскоре после смерти твоего отца. Может быть, она даже как-то поспособствовала этому. (Прости, пожалуйста... Впрочем, этого я говорить тебе не стану). Хотя где-то это меня мучит до сих пор. И в плохие минуты я говорю мужу:

— Еще неизвестно, женился бы ты на мне или нет, если бы Алексей Иванович...

Костя сердито перебивает:

— Что за ерунда!

А произошло это, знаешь, совсем неторжественно и просто. В один из дней Костя сказал:

— Слушай! Пойдем в ЗАГС, распишемся, что ли?

Свидетелей прихватили из редакции, кто-то кому-то позвонил, и нас зарегистрировали тут же. Вечером, однако, собрались друзья, а я так долго ждала этого, что не было сил радоваться. Да и ожидание мое на том не кончилось. До сих пор я не слышала слова «люблю». Даже в самые нежные минуты Костя умел обойтись без этого признания. Зато давал мне смешные и ласковые имена-дразнилки: Ваша Рыжесть, товарищ Веснушкина, Зеленоглазик. Но главного не говорил. И лишь спустя несколько лет, когда у нас уже росли дочери-погодки, в совершенно будничный день — вот, знаешь, ничегошеньки такого не случилось, я была замотана и, по-моему, ужасно выглядела — он сказал, словно бы сделал открытие:

— Ваша Рыжесть! А ведь я вас люблю...

Я спросила:

— Что ж ты раньше-то молчал?

— А раньше я сам не знал. А лгать в этом нельзя...

Что ж, я была рада, что Костя, наконец, понял это, потому что для

меня эти долгожданные слова все-таки не стали откровением. Неужели стихи, которые он мне посвящал, не были признанием в любви? И еще я подумала: какие же мужчины все-таки глупые. Даже самые умные из них...

В чем мы не всегда бывали согласными с Костей, так это в вопросах воспитания детей. Когда они были поменьше, он много с ними возился — читал книжки, таскал с собой в горы, а вот учеба его совершенно не интересовала.

— Ты бы мог быть отличником, — твердила я сыну, а потом и девочкам. Все были достаточно способны, но особым прилежанием не отличались, разве что только младшая, Сашенька.

— А зачем это нужно — быть отличником? — вступал в разговор папа. — Из них ничего путного никогда не выходит.

Я вызывала Костю на кухню:

— Если тебе все равно, как учатся дети, то не мешай мне их воспитывать.

— А их и не надо воспитывать. Надо только по-умному при них присутствовать, подстраховывать, если что — и все.

— Не умничай! — сердилась я.

Сейчас, когда сын уже отслужил в армии — на биофаке университета не было военной кафедры, — старшей дочери пятнадцать, а младшей, соответственно, четырнадцать, я начинаю думать, что муж в чем-то был прав: дети растут такими, какие они есть. Не по образу и подобию, и получаются совершенно неожиданными. Правда, вслух я такую крамольную мысль не высказываю. Но иначе как можно объяснить, что в одной семье растут такие разные человечки?

Сын от своего отца позаимствовал, как я считала, только очень высокий рост, уже сейчас почти два метра, да русую кудрявую голову. А в остальном, мне казалось, походит на меня. Та же, почти болезненная любовь и жалость к животным. Сколько несчастных котят и щенят притаскивал он в квартиру, а я не умела отказывать им в приюте. Но и держать всех было невозможно, у нас и так всегда в доме целый зверинец. И мне приходилось их потихоньку от него где-то пристраивать, потому что выбросить я тоже не могла. А когда мы смотрели фильм с плохим концом, я видела, как у него на ресницах блестели слезы. Тогда я боялась, как он, мужчина, будет жить с таким нежным сердцем? Но где-то лет в четырнадцать Андрей стал себя переламывать. Занялся спортом, отчаянно дрался с мальчишками. Я охала над его синяками и ссадинами, старалась меньше отпускать на улицу, а Костя, наоборот, всячески драки поощрял, если считал их справедливыми.

А вот из армии Андрей вернулся совсем другим. Служил он в самом гиблом месте, в Казахстане, в тех самых песках Сары-Озек, которые описал в своем «Буранном полустанке» Чингиз Айтматов. Процветала дедовщина, офицеры, в основном, штрафники, сосланные, кто за пьянку, кто еще за какие проступки.

— Что же вы с Костей со своими связями не могли подсуетиться и уж если не совсем «отмазать» сына от армии, то хотя бы позаботиться о приличном месте? — спрашивали меня друзья.

Связи-то, конечно, и говорить нечего: я к тому времени уже стала переводить книги писателей, среди которых были и депутаты Верховного совета республики, и министр МВД, который писал плохие детективы, и с военкомом лично была знакома, но вот ведь какое дело: нам и в голову не приходило пристраивать сына в теплое местечко. Воспитание подвело, что ли... Считали, что служба в армии для мужчины — святое дело.

Через день после возвращения из армии Андрей сказал мне:

— Как вы меня воспитывали? Там такие, как я, просто вешались или стрелялись. Я выжил только потому, что, к счастью, силен физически.

Я хотела что-то возразить, но встретила с холодным, жестким взглядом сына и промолчала. И тогда же поняла, что он уже никогда не заплачет над печальным концом кинофильма, что вообще передо мной стоит совсем не тот мальчик, которого мы провожали в армию и что мне еще предстоит узнать его.

Самый необычный, что ли, ребенок в нашей семье — это старшая дочка Лена.

Впервые я озадачилась ею, когда было ребенку лет десять, ходит по квартире с затуманенным взором, как сомнамбула. Рисует, читает и спит. А больше ничего делать не хочет. Рисует очень хорошо, говорят, даже талантливо, но бессистемно, где попало и чем попало. И я просто расшибаюсь, чтобы приучить ее хоть что-то делать в доме, наконец, просто ухаживать за собой, но все мои правоучения оставляют ее совершенно равнодушной. Иногда я бью на жалость — мне тяжело управляться со всеми делами, поэтому столько приходится взваливать на младшую дочку, но и этот номер не проходит. Тогда я прибегаю к крутым мерам. Прячу краски, изрисованные листы бумаги и объявляю: пока не приберешь в комнате и не выстираешь свое белье, никакого рисования и никакой улицы. Она с ужасом и отвращением глядит на ворох белья, на захлавленную комнату и кричит:

— Мама, как ты не понимаешь, я не хочу, не хочу это делать!

Набираюсь терпения, объясняю, что мы далеко не всегда делаем то, что хотим, а больше то, что надо, что иначе жизнь не проживешь.

— Представляешь, если бы мы с папой не хотели работать, то даже краски не могли бы тебе купить.

Вхожу во вкус, привожу один пример за другим, но она уже отсутствует. Сидит на грязном белье и пальцем что-то рисует на пыльном полу...

Но если бы только это! Лена отчаянная врушка, я о таких даже не слышала, не только не видела никогда. Ну, разве что барон Мюнхгаузен. Когда была помладше, чтобы утром не пойти в школу, могла спокойно сказать, что у них вчера умерла учительница, Я спешу на работу,

но по дороге все же решаю забежать в школу, узнать, где жила учительница Майя Ильинична, чтобы выразить свое соболезнование, предложить помощь, и вляпываюсь, конечно, по уши...

Однажды, после выставки детского рисунка, о ней вдруг написали все газеты, поместили снимки ее работ. Меня поздравляли. Талантливый, почти гениальный ребенок. И у меня затеплилась надежда: а вдруг правда? Нет, не для славы... Но, может, это ее и вывезет? Не даст пропасть в жизни, завратясь, просуществовать улиткой?

И откуда тогда в младшей, Сашеньке, постоянное чувство долга? Ей было пять лет, когда она сама стала ходить в детский сад. Расположен он был недалеко от дома, но не по пути на работу, так что где-то полчаса на то, чтобы отвести ее, у меня уходило. И вот однажды, когда я лежала, мучаясь тем, что надо вставать и будить детей, она вошла к нам в спальню одетая и сказала:

— Мамочка! Я одна пойду, там же дороги с машинами нет.

Я тогда не совладала с собой, — хроническое недосыпание делало эти утренние минутки в постели совершенно блаженными. Разрешила ей уйти, но через полчаса вскочила и побежала следом. Вдруг что-то случилось? Оказалось, все в порядке. На работу я опоздала, но с того дня моя младшенькая всегда ходила в садик сама, а сейчас, когда подросла, я знаю, что во всем могу положиться на нее, как на взрослого человека.

А в Россию мы, Саша, переезжать не собираемся. Даже мысли такой никогда не возникало. Вот в Узбекистан, в Ташкент, однажды чуть не переехали, и я тебе расскажу, как это было. Когда наш редактор, наш Дед ушел на пенсию, редактором газеты стал Костя. Только должностью этой скоро стал тяготиться. Знаешь, после смерти твоего отца на его место пришел новый серый кардинал (я попрошу у тебя прощения, если произнесу эту фразу вслух), ничего, в общем-то, не изменилось. Те же согласования, те же запреты, те же вызовы на ковер... Кроме того, Костя мечтал о литературной работе, он же, Саша, — поэт милостью божьей, и тут его пригласили заведующим отделом поэзии в «Звезду Востока». Решили так: Костя один поедет в Ташкент, а я останусь в Душанбе, пока не поменяем квартиру. И знаешь, нашелся неплохой вариант, мы уже стали оформлять документы, как грянула беда. Я дежурила по номеру в газете «Коммунист Таджикистана» (перешла туда сразу, как Костя стал редактором «Комсомольца»), уже подписала его в печать, а во времена Хрущева это всегда было не раньше 12-ти ночи, как вдруг по телетайпу передали: землетрясение в Ташкенте. Не помню, как добралась до дома, где племянница сидела с детьми, девчонки были совсем еще малышками. Денег не было, а я одно знала твердо: утром должна вылететь к мужу. Пошла по друзьям, ночь, гроза, ливень, как из ведра. Разулась и шлепала босиком по лужам, но деньги нашла и в 5 утра уже была в аэропорту. Билетов, конечно, нет, но разве это проблема, если работаешь в главной партийной газете?

Прилетела в Ташкент, такси то и дело разворачивается; завалы, нет проезда, и очень пахнет пылью. Подъезжаю к глинобитному маленькому домику, где жил муж, слава Богу, домик цел, только трещины по стенкам. Все-таки полураскрытую дверь открываю со страхом, и что же? Стоит мой любимый и на керосинке яичницу жарит. Села на порог и заплакала, ноги вдруг стали ватными... Но землетрясение это нам еще аукнулось. Во-первых, квартира, на которую хотели меняться, рухнула, хорошо хоть документы не успели оформить. А во-вторых...

Вышел очередной, третий за 1967 год безгонорарный номер журнала «Звезда Востока» под общей шапкой «Писатели России — Ташкенту», вот после этого и случилось еще одно «землетрясение». Здесь были помещены стихи всех молодых поэтов, которые тогда были на слуху, а также опубликованы небольшие рассказы Бабеля и Булгакова. И разразилась гроза! Номер был изъят. Самый большой гнев вызвали стихи Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Досталось и рассказу Бабеля «Мой первый гонорар», который назвали аморальным, осуждался и сам факт появления рассказа Булгакова.

Сотрудников журнала разогнали, да еще с различными партвысказаниями. Пару лет муж мой перекаптовался в газетах, а потом и у нас был создан свой литературно-художественный журнал. Я тоже ушла из редакции, и хотя время от времени сотрудничаю в той или иной газете, но в основном «на вольных хлебах», занимаюсь переводами.

Очень хочу, Саша, чтоб ты познакомился с моим мужем. После стольких лет совместной жизни я люблю его так же трепетно, как и в первые годы. И рассказать о нем тебе не сумею, потому что сразу становлюсь косноязычной и перехожу на превосходную степень. Самый красивый, самый умный (его даже зовут человек-энциклопедия), самый талантливый и добрый. И так много — мне одной... Можешь представить, какая я счастливая?

...У меня был день рождения, а отмечаем мы все семейные праздники шумно и весело, и гостей за столом собирается немало. Все уже захмелели, и Ваня Максимов, кинорежиссер и бард, пел под гитару песню, которую написал на стихи Кости для одного из своих фильмов:

Девушка плакала в гриву коня,
Черноволосая девушка — в гриву коня вороного,
Маки цвели, и поток разбивался, звеня
Плакала девушка в радужном ореоле...

И тут раздался звонок в дверь. Значит, пришел кто-то еще из опоздавших гостей. Шустрая Сашенька открыла дверь и позвала:

— Мама, там тебя спрашивает кто-то незнакомый.

Я выскочила за порог и увидела высокого худого мужчину, одетого несколько тепло для душанбинской осени: в длиннополом пальто и шляпе с полями. Мне показалось, что на руках он держит маленького ребенка. Вгляделась и закричала что есть мочи: «Сашка!»

А ребенок оказался огромной куклой. Он протянул мне ее со словами:

— Помнишь, я обещал...

И я вспомнила, вспомнила! В наше послевоенное детство все игрушки у нас были самодельные. И только дочка директора мясокомбината, которая училась в нашей школе, играла с огромной настоящей куклой. Однажды Сашка, увидев, каким завистливым взглядом я смотрела на дивную игрушку, сказал:

— Вырасту большим, стану богатым и подарю тебе такую куклу.

Вот и вырос, и подарил... А самое интересное, кукла была очень похожа на девочку, которую я родила во сне. И пусть теперь кто-то скажет, что я суеверная, а сны не сбываются...

ГЛАВА VI

С квартирой все решилось неожиданно быстро и просто. Зазвонил телефон, а когда Алина взяла трубку, низкий бархатный голос представился: с вами говорит министр юстиции.

— С чего бы это? — удивилась Алина, лихорадочно вспоминая, как зовут министра, но не вспомнила.

— Вы собираетесь уезжать из Душанбе? Квартиру продаете? Тогда пригласите хозяина.

Ну, да, Восток есть Восток. Не с женщиной же обсуждать серьезное дело...

Положив трубку, Костя сказал:

— Он сейчас подъедет.

И действительно, через минут 15 подкатила черная «Волга».

Осанистый, вальяжный, министр (ну, настоящий министр!) походил по квартире.

— В общем, так... Завтра же можем оформить куплю-продажу. Билеты на самолет достану, в аэропорт отвезу. Провожу через депутатскую комнату прямо к трапу, там и отдам доллары.

Правда, цену предложил на треть меньшую, чем когда-то собирался дать покойный Шавкат. Но ведь и времена изменились, тогда Таджикистан еще не был границей, сейчас квартиры подешевели. А услуги, которые предлагал министр, были просто неопценимы. На улицах опять постреливают, транспорт почти не ходит, и хоть аэропорт в Душанбе находится в черте города, но все же далековато. Пешком Косте с больной ногой ни за что не дойти, да и Алине тоже, потому что ведь будет еще какая-то ручная кладь, та же одежда.

— На какое брать билеты? — спросил министр.

Алина с Костей на минуту задумались: сегодня понедельник, значит... Лучше на субботу. Лена в командировке, обещала вернуться в среду. Нужно успеть попрощаться с друзьями, да и сыну сподручнее будет встретить в выходной день.

— Ну, вот и все, — сказала Алина, проводив министра — Вот и все...

И что-то как будто оборвалось в груди. Видно, где-то в глубине затаилась, жила еще надежда на то, что уезжать не придется.

— Ну, что ты, Алечка! — Костя обнял жену. — Чего ты боишься? — Мы же умеем с тобой работать, пойдем в ту же газету, если нет — так преподавать в школу. Согласен, таджикский язык не пригодится, и вообще литературным трудом сейчас не проживешь, но у нас хорошая школа выживания, нам всегда приходилось самоутверждаться, доказывать свою состоятельность. И дети, слава Богу, тоже выросли не бездельниками. Обустроимся — заберем к себе Сашеньку, Лена с годик повоюет и тоже приедет. Все будет хорошо. Так что давай беги к Салиму за соком, ставь свою брагу, устроим в пятницу большую пьянку, погуляем на прощание...

Алина, долгое время растягивающая заначку, оставшуюся от денег сына, теперь всю пустила в расход. Не скупясь и не торгуясь, купила на базаре рис на плов, белую муку, из которой Матлуба в тандыре напекла лепешки. А мяса, вернувшись из Тавиль-Дары, Лена привезла целый рюкзак. Разделав подорвавшуюся на минном поле корову, пограничники щедро поделились с ней.

Вместе с Леной пришла вся «Вечерка» — Джалил, Роза и Алим, пришел Ваня Максимов, кинорежиссер, так похожий на артиста Гафта, что по этой причине даже в эпизодической роли не снимался в фильмах. Всегда его иронично-грустное лицо в этот день было совсем печальным: Ваня человек одинокий. С женой развелся еще молодым, в Москве, она давно вышла замуж, сын вырос, стал известным журналистом-международником, но с отцом не общался. Больше Ваня не женился, хотя и один не бывал. Вот и сегодня пришел с очередной подружкой. Как правило, все они были смазливы, длинноноги и глупы, и Алина всегда удивлялась тому, как умный Ваня терпит рядом с собой подобных девиц.

Как вихрь, ворвалась, влетела Оса, «свободная женщина Востока». Вообще-то ее звали Осия, но, по созвучию, все называли Осой, и она действительно походила на крылатое насекомое со своей тонкой талией, роскошными блестящими волосами, огромными, чуть выпуклыми глазами, необычайной подвижностью. Даже когда Оса стояла, вся ее хрупкая гибкая фигура, казалось, была натянута, как стрела: еще секунду, и взлетит.

Об Осе, конечно, следует рассказать особо.

Она была сиротой, росла в Ленинабаде, в детдоме училась в школе-интернате. Однажды из Москвы приехала какая-то высокая комиссия в поисках талантов среди сирот-детдомовцев. И оказалось, что у четырнадцатилетней Осии абсолютный слух и голос, обещавший стать колоратурным сопрано. Летом ее отправили с сопровождающим, — физруком интерната, в Москву. В столичной гостинице сорокалетний физрук в течение недели насильно насиловал четырнадцатилетнюю девочку.

Из-за подавленности и непрекращающейся боли внизу живота она не смогла пойти в музыкальное училище. Вернувшись, физрук сказал, что прослушивание Осия не прошла. Запуганная девочка молчала, и все бы было шито-крыто, но оказалось, что она беременна. Это грозило не только тюрьмой физируку, но и скандалом образцово-показательному интернату. Скандал замяли. Подправив документы, Осию отдали замуж в кишлак за старика.

Через полтора года с двухлетней дочкой Осия сбежала от мужа в Нурек; где только начиналось строительство крупнейшей в Союзе ГЭС, пришла в комитет комсомола, рассказала о своих злключениях и поклялась, что если ей не помогут, бросится со скалы в пропасть. Так начиналась история современной Золушки.

Осие помогли: дочку устроили в ясли, ее — на курсы шоферов, потому что ни на какие другие она не соглашалась, а о музыкальном училище вообще слышать не хотела. Проработав несколько лет на огромном грузовике и внося свою лепту в летопись Нурекской ГЭС, отправилась в Душанбе завоевывать столицу республики и вскоре устроилась водителем такси, что было почти непостижимо: женщин, тем более таджичек, на такси не брали вообще, мужчины устраивались за большую мзду. Вот в те годы и свел Алину случай с Осией.

Пришла в редакцию женщина и рассказала, как стояла с больным ребенком на остановке в одном из только что заселенных микрорайонов. Телефона, чтобы вызвать врача, еще не было, троллейбусную линию тоже недотянули, а тут ливень, как из ведра. Одна надежда — такси, но едва подъедет машина, к ней кидается толпа, а она с малышом на руках, с зонтом и сумкой так и остается на тротуаре. И вот когда очередное такси остановилось и парни уже устроились на сиденьях, водитель, а им оказалась молодая женщина-таджичка, послала их куда подальше, а забрала ее и отвезла в поликлинику.

Посетительница слезно просила написать о таксистке в газете, потому что сама даже поблагодарить не успела, номер машины не запомнила, имя не спросила. Ну, найти ее было совсем нетрудно. Алина позвонила в таксопарк, и вскоре Осия подъехала в редакцию.

Из беседы с красавицей-таксисткой Алина узнала, что та учится на заочном отделении юрфака университета. Так, пройдя огонь и воду, добралась Осия и до медных труб: стала одним из самых востребованных и высокооплачиваемых адвокатов в республике. Что ж, если учесть ее жизненный опыт, острый ум, редкую красоту и способность выживать в любых условиях, рассчитывая только на себя, ничего удивительного в этом не было. Ее дочка унаследовала от матери не только красоту. Окончив школу с золотой медалью, поступила в МГУ на факультет журналистики, вышла замуж за француза и живет теперь в Париже. Так что Осие было куда уезжать, но она тоже все тянула, все не могла расстаться с родиной, которая никогда не была к ней особо ласковой.

Одно немного смущало Алину: уж больно часто меняла Оса своих дружков, причем, со временем они становились все моложе. Ну, ладно, Ваня — мужик, но Оса-то женщина...

Однажды в достаточно деликатной форме Алина пошутила над ее привязанностями, но Оса прямо взвилась:

— Если бы вы, Алина Николаевна, знали, под кого мне только ни приходилось ложиться, чтобы стать такой, какая я есть, вы бы меня не судили. А теперь все, власть переменялась... Полюбить я никого никогда не смогу, а уж попользуюсь мужиками в свое удовольствие, тут уж простите... Теперь я их покупаю.

Неведомо как забрел к ним актер таджикского драмтеатра Азиз, Алина не знала номера его телефона и не звонила ему. Смешной он был парень. Говорил по-русски плохо, но дело даже не в акценте и не в неправильном ударении. Он мог так вывернуть фразу, что все умирали со смеху, и сам он, кстати, тоже. Ну чего, например, стоит такая: «Я по сам себе хорош, он по сам себе говно». Однажды в доме у Алины он с кем-то повздорил и предложил: «давай выйдем и поговорим двоимна-двоим». Раздался такой взрыв хохота, что уже никто никуда выяснять отношения не пошел.

Потянулись один за одним интеллектуальные юноши и девушки из литобъединения, которое вел Костя в Союзе писателей, оставалось их, правда, совсем немного.

Пришла сокурница и подружка Алины Ниночка, когда-то не было веселей и остроумнее ее в компании, но в первый же год войны она впала в тяжелую депрессию, плакала не переставая, и вообще пребывала в некой прострации, и Алина оставляла ее с тяжелым сердцем.

Заходили и уходили соседи.

Посидели славно. Пили и ели, обнимались и плакали, пели песни и рассказывали анекдоты. Каждый грустил обо всех и все о каждом... Говорили красивые добрые слова, но в какой-то момент заметила Алина, что, в основном, обращены эти слова к Косте... То один, то другой вновь и вновь просил его читать стихи, и он читал, читал так, как будто это был его творческий вечер, его бенефис. И поначалу даже кольнуло чувство ревности, а потом что-то такое промелькнуло в сознании, что-то тяжкое легло на душу, чем-то затревожилось сердце, но страх отогнал нахлынувшую волну, не дал додумать и понять до конца: с ней, с Алиной, прощались потому, что она уезжала, а с Костей прощались навсегда... Слишком обнажены были нервы, слишком обострены чувства, слишком, наэлектризован сам воздух общения, чтобы не осознать этого каким-то сверхнаитием...

Министр в точности сдержал свое обещание, и в субботу утром они сидели в самолете. Димка, в восторге от предстоящего путешествия, устроился у окна. Алина с Костей, вымотанные бессонной ночью и эмоциональными перегрузками, вскоре задремали. Но и сквозь дремоту не отпускали Алину тягостные раздумья. Она вдруг вспомнила,

как после убийства Листьева целый день экран телевизора показывал только его портрет...

Листьева было жаль. Но она мучилась вопросом: вспомнит ли кто журналистов, погибших в Таджикистане, может быть, не менее талантливых, но волею судьбы не бывших у всех на виду, не поднявшихся на самые высокие ступени? Сразу всплыл образ Эллы Меламед, собкора «Народной газеты», погибшей в Курган-Тюбе.

Тихая и некрасивая, Элла так и не вышла замуж, а когда ей было лет тридцать, решила усыновить ребенка, из тех, от которых отказываются в роддоме. Ей не разрешали, — не положено, неполная семья, и она пошла на фиктивный брак. До четырнадцати лет растила сына, но, видно, ему на роду написано быть сиротой. В занятом исламистами Курган-Тюбе, откуда посылала Элла острые, смелые репортажи, они голодали. Ночью пошла на поле, накопать мерзлой картошки, и не вернулась. Скорее всего, никогда не будет на ее могиле памятника, да и самой могилы тоже.

Скажут ли доброе слово о Гале Дементьевой? Ее правдивая информация звучала по «Маяку», когда почти все остальные центральные СМИ называли исламистских фундаменталистов-демократами. Это она, Галя, птичка-невеличка, весь портрет которой — челка да очки, остановила кровопролитие в Гиссаре в тот момент, когда ее давний знакомый полковник Махсумов, успешно сражавшийся против исламистов (его потом будут называть мятежным полковником), вдруг взбунтовался против правительственных войск... Бог ее миловал, осталась жива, но сорок дней провела в плену, в заложницах у одного из самых свирепых полевых командиров.

Картины прошлого проплывали в затуманенном сознании, как облака за окнами самолета. Лишь в свое будущее не пыталась заглянуть Алина. Не знала, какой удар ей готовит судьба, — вскоре после приезда остановится сердце ее любимого, и он навсегда останется лежать на тихом сельском кладбище в селе Новом Суздальского района, совсем недалеко от дома, в котором так недолго они пробудут вместе... А если бы знала, то вряд ли поверила бы, что сможет выжить, но ведь выжила... И даже вновь взялась за перо.

Незадолго до смерти Константина Леонидовича переедет к ним Сашенька с десятилетней дочкой, названной в честь бабушки Алей. Вместе проводят они его в последний путь. А вот Лена не успеет. В Душанбе опять будут идти бои: бортом, под охраной автоматчиков, ее отправят пограничники лишь на девятый день, к поминальному столу... Еще через год она переберется во Владимир окончательно. Обе дочери будут успешно трудиться на журналистском поприще, а очерки самой Алины о проблемах беженцев и вынужденных переселенцев сделают ее лауреатом двух всероссийских журналистских конкурсов. Анд-

рей, оставив бизнес, выберет тернистую дорогу правозащитника, и на его долю выпадет немало тяжелых испытаний...

Но ничего этого еще не знала Алина, прильнув к родному плечу, то засыпая под мерный гул самолета, то просыпаясь от его неожиданных встрясок.

Москва

* *Примечание:* все стихотворения, приведенные в романе, принадлежат перу поэта Леонида Пащенко.



Николай КУЗНЕЦОВ

МАЛЕНЬКИЕ СМЕРТИ ПОД АБРИКОСОВЫМИ НЕБЕСАМИ

Повесть

Сегодня это дерево погибло. Пало от хозяйской руки. Было оно не самым старым в роду, лет двадцати восьми, и уж, конечно, не патриархом среди садов и палисадников нашего квартала: высоченный пирамидальный тополь у дома номер 117 раза в полтора старше. Болело, это верно. От него и остался-то всего кряжистый пенёк в осыпающейся чешуей известке да крупная ветка, вытянутая дланью, как в нацистском приветствии, только с растопыренными пальцами – прямо в окно на втором этаже дома Кучковых. Макушка пня – в давно заживших круглых шрамах, полузатянутых наплывшей корой или замазанных краской кирпичного цвета, вымытой и высушенной дождями и солнцем. Из единственной ветви-руки где-то на уровне локтя по капле сочилась карья камедь, собиралась в глянцевою шишковатую опухоль. В последние годы листья на абрикосе желтели все больше и больше, выглядел он бледно и родил скудно. Но умирать ему никак не хотелось. Он упрямо тянулся к окну, просительно тер пальцами по стеклам, когда задувал ветер: «Не убивайте меня. Я еще пригожусь. Честно слово, пригожусь! Вот увидите!» И этим летом, наконец, выполнил свое обещание. Остаток кроны буквально облепили крепенькие оранжевые плоды с дымчатым румянцем. Было их необычно много для этого горемыки. Абрикос даже выше стал от гордости: «Вот! Вот! Я же говорил!..» Целыми днями красовался в оцепенелости зноя своей последней предсмертной прелестью, ничем, в сущности, не выделяясь среди других деревьев квартала, и только мне близко и особо знакомый.

В начале августа за один прием урожай собрали. Получилось, наверное, ведра четыре. Абрикос облегченно расправил мелкие ветки, потряс-помахал ими на первом осеннем ветру в полной уверенности, что теперь-то его оставят жить, хотя бы еще на год.

Но сегодня, в из субботних сентябрьских вечеров, когда я торопился к закрытию универсама за сигаретами, в кроссовках на босу ногу и застиранном домашнем спорткостюмчике, из ворот Кучковых вышел Женькин зять Константин. Загорелый под мореный дуб, без майки, в пляжных шортах, с оцетинившимся пухлым пузом и волосатыми руками в изношенных рабочих рукавицах. Он держал на весу бензопилу в аккуратном красном кожухе. Рванулся шнур, прирученно взревел мотор, туго задул голубой дымок, лесовальню хлынуло из-под летящих зубьев – и в полчаса все было окончено. От взрослого дерева, еще вчера верившего в будущее, остался торчать лишь мертвый пенек, обрубок четвертованного тела, да куча свежих чурбаков на цементе тротуара, усыпанном листьями, рванью коры и остывающими кремовыми опилками. Вечерело, и над заурядностью события, над местом маленькой трагедии садилось до завтра солнце. За ровным рядом неподвижных орехов, в треть неба бесшумно бушевал красивейший оранжево-алый закат.

Хорошо помню, как его сажали, кучковский абрикос. Мне было тогда почти пять лет, и это событие стало одним из первых моих осмысленных воспоминаний. Я был тогда маленьким, таким маленьким среди огромной одноэтажности домов, уходящих ввысь заборов и шумящих где-то наверху деревьев! Я был таким маленьким – по колено всем улыбающимся сверху вниз взрослым. На неохватно-широкой и долгой улице меньше меня был только наш щенок-дворняжка Тимка. Я как раз гнался за ним, косолапящим и потягивающим жалобно, чтобы снова с жестокой лаской ухватиться за висячие уши, когда из калитки недостроенного дома шагнули навстречу разбитые кирзовые сапоги почти с меня размерами и слева от них блеснул наточенный штык лопаты. День был апрельский, теплый, серый, поэтому блеск получался тускловатым. Так же блестели вчера шпильки алюминиевой проволоки, которыми взрослые мальчишки кромсали из деревянных самоделок (вырезанный из доски силуэт винтовки, натянутая поверх ствола авиамодельная резинка-венгерка, спусковой механизм из гвоздя и того же волоченого алюминия) бумажную мишень на заборной решетке, а я глядел на них, страшно завидовал, но так и не решился попросить разок выстрелить. Этот блик опять заморозил меня; я остановился, обозрел носителя сапогов и лопаты. Дядя Федя, Федор Алексеевич Кучков, улыбнулся мне небритым скуластым лицом, подмигнул и позвал сажать дерево.

Он, не торопясь, с перекурком, копал яму возле тротуара, недалеко от ворот дома, а я то визил за уши звонко упирившегося Тимку, то следил за гладкой сталью, с непререкаемой силой режущей бурую землю. Дядя Федя вспотел и расстегнул телогрейку; куча грунта росла. Наконец, когда глубина достигла примерно метра, он скомандовал себе: «Шабаш!», воткнул лопату в осыпавшийся террикон и отправился за саженцем.

Дерево меня не впечатлило вовсе: стебель-ствол толщиной в ка-

рандаш, мокрый и грязный корешок, похожий на дохлого дождевого червяка, пяток тонюсеньких веточек. Разочарованный, я понес Тимку домой. А дядя Федя все носил ведрами откуда-то со двора смешанный с перегноем торф, сыпал и сыпал в яму: чтобы деревце сразу же вошло в силу.

Оно так и сделало. В первую свою весну хрупкое, невзрачное, чуть выше ярко-фиолетового колыханья ирисов вокруг, подвластное всякой внешней силе, в том числе и моей пятилетней, во второй год жизни оно кинулось расти. Оно росло и росло, тянулось вверх и вширь. Я и появившиеся к тому времени друзья жили рядом с ним со своими крикливыми играми. Мы задевали его во время беготни, иногда хватались за тонкий ствол во время поворотов, ненароком сбивали с него цвет, вытаптывали землю под ним до пластилиновой вязкости, но так и не смогли в беспорядочной своей быстроте угнаться за его медленной скоростью. Наверное, потому, что дерево было усидчивее и целеустремленнее любого из нас.

Нельзя сказать, чтобы в эти и последующие – до шестнадцатилетия – годы кучковский абрикос играл в моей жизни какую-то особую роль. Он был обыкновенным абрикосом, не выделялся из общего ряда. Наша улица, окраинная улица частных усадеб, вообще зеленью богата. Перед каждым домом между ухабистой дорогой с двумя глубокими колеями и цементными тротуарами вдоль сплошной линии заборов посажены по 3–4 дерева, а иногда и больше. Почти у всех – цветы: те же «петушки»-ирисы с пугливыми нежными лепестками, простонародно долговязые мальвы, розовый густой шиповник, россыпь измельчавших – на вино – хризантем, календула и пламенно-росистые настурции. Только у 117 номера вымахал метров на 35 тополь, всех выше, стройнее и прекрасней и всех бесполезней – как голос скопца; все остальные деревья – плодовые: вишни, сливы, абрикосы, груши и грецкие орехи. Каждый мальчишка или девчонка с улицы пользовались этими дарами крымского лета и судьбы совершенно бесплатно, лишь в меру пропускной способности желудка. Приязнью исключительной пользовались у нас черешня и абрикос сорта «Ананасный». Черешня вообще ягода красивая и вкусная, без вишневой кислинки, а ее вызревающие в конце мая ранние сорта, когда из ягод на столе – одна редиска, были предметом нашей неумной хищной страсти. Правда, на весь квартал приходилось только два свободных черешневых дерева, остальные хозяева предусмотрительно укрыли от ловких детских рук и ненасытных ртов за заборами, в садах. Так же любили мы и ананасные абрикосы. Удлиненные, крупные, сливочно-желтые и сладкие, они поспевали первыми из своих собратьев, красиво смотрелись в темной зелени листьев, были слабо едомы червями – и потому служили постоянным объектом наших лихих налетов.

Кучковский «Краснощекий» созрел в середине лета, вместе с другими подобными сортами. К тому времени мы уже утоляли особенно острый витаминный голод и «Краснощеки» пользовались на об-

щих основаниях, вместе с вишнями и каплевидными темно-синими сливами «Изюм Эрик», по своей величине и твердости очень напоминавшими мушкетные пули. Так, с ленцой, неторопливо, аккуратно объедались нижние ветки дерева, а те абрикосы, что наливаются выше – бог с ними, пусть достанутся хозяевам. Если год был урожайным, много плодов осыпалось. Они падали в траву, на разваленную песчаную кучу под деревом, марали джемом тротуар. Над расквашенными абрикосами кружились осы, возле них маковым семенем пересыпались черные муравьи. Пятна высохшего сладкого сока надолго, до сентябрьских дождей, оставались на бетоне дорожки, навевали грусть о минующих беззаботных днях каникул.

Однажды мой Тимка, уже выросший в кудлатого беспородного кобеля с вечными репьями в шерсти, загнал на это дерево котенка Кучковых. Чего он так взъярился на маленькое ушастое существо – непонятно. Может, потому, что до этого три дня просидел на привязи за какую-то провинность перед отцом. Освобожденный мною, он с торопливой благодарностью пару раз лизнул меня прямо в губы и вылетел в раскрытую калитку. Я еще утирался брезгливо, когда услышал его надрывный лай на конце квартала. Кучковский котенок, безобиднейшее создание, очень чистое, белое, домашнее, может, впервые выбрался в большой мир, вне своего двора – и надо же, такая неприятность! Тимофей ненавидяще сверлил кота взглядом и голосил, стоя на задних лапах и, упершись передними в ствол, как заправская лайка. Снежок тарачил глазенки, в ужасе озирает громяхующее и смердящее существо внизу, сам мяукал что было сил. Страх его подогревало то, что ветку он выбрал явно неудачно: хоть и пологую, но тонкую – не развернешься, проходящую слишком высоко над столбом забора – не прыгнешь. На лай выбежала Женька с пластмассовым ведерком в руке и заплакала испуганно. Я с трудом отогнал пса. Снежок пищал все истонней и жалобнее, теперь умоляюще глядел на нас. Но мы ничем не могли помочь глупышу, его ветка была слишком тонкой. Пришлось звать дядю Федю. Он вынес раздвижную дюралевую стремянку и только так снял кота. Тот с таким отчаянием вцепился малюсенькими крючочками когтей в протянутую ладонь, что поцарапал ее до крови.

Как-то раз в мае я сильно переел еще совсем зеленых плодов с кучковского дерева. Мальчишками мы практиковали подобные дегустации. Незрелая слива была чересчур кисла, в вишне вовсе не чувствовалось мякоти, лишь одна горькая, как цианид, косточка. Зеленые абрикосы для борьбы с авитаминозом подходили больше. Мы и пользовались ими нашу жажду лета, а после мучились бывало, животами. Не являлся исключением и я, однако тот случай оказался нешуточным. На целых полтора дня я оказался во власти сардонической силы, заставившей понуро оседлать унитаз в новеньком, недавно пристроенном к дому туалете. Родители испугались, собрались вызывать «скорую»: уж не долгожданная ли это гостья дизентерия, давно накликаемая на голо-

ву неслуха? Однако все обошлось. С этого случая я стал относиться к собственному желудочно-кишечному тракту куда бережливее и уважительней.

Вот так, чуть-чуть соприкасалось абрикосовое дерево с моей удлиняющейся жизнью до тех пор, пока в один прекрасный день я не распрощался под ним со своим детством.

Случилось это на каникулах, после девятого класса. Мои сверстники уже разбились на пары, ссорились и мирились, компаниями ходили на Чатырдаг и Демерджи, ездили с ночевками на море, а я все еще был записан в две библиотеки и продолжал дружить с Ильей, Игорем и двумя Валериями, своими соседями по кварталу. Мы устраивали велосипедные гонки по дремлющему в неге предместью – только спицы сливались в туманные круги, со звоном перемешивались инструменты в кожаной сумке и билась о щиток предохранителя прыгающая на кочках цепь (у всех одна и та же модель, грузноватая «Украина» черного лака с противоударным ободом, с раскуривающим люльку запорожцем, намалеванным на нижней стойке рамы). Ездили купаться на далекие загородные пруды. Еще совсем недавно я вдохновенно играл с ними в войну. У меня была восьмисотграммовая физкультурная граната и отличный гэдэровский автомат на батарейках, с мигающей алой лампочкой в стволе и частым громким треском выстрелов; я разил ими без промаха из-за углов-засад, из водопроводных ям-окопов. Мы хвастались друг перед другом игрушечными автомобилями, индейцами и солдатиками, в особенно знойные дни устраивали водяные битвы с применением брызгалок – мнущихся пластмассовых бутылок из-под жидкого мыла с прожженным в пробке отверстием. Мы с криками, на пари, сражались в настольный хоккей и футбол, увлеченно лазили по скелетам возводимых окрест многоэтажек, шарили по замершим до утра стройплощадкам, воровали паклю, солярку и липучий гудрон для факелов.

Все это было еще прошлым летом. Теперь же на мою vacationную долю остались только совместные велосипедные прогулки и одинокое чтение, часто за полночь, алчное и довольно бессистемное. Каждый из четверых соседей-приятелей был младше меня на целых два года. Переходный возраст все-таки брал свое, и мне становилось с ними неинтересно.

В ту июльскую неделю я читал с особенной охотой. Случилось так, что Илья и Игорь уехали с отцами на рыбалку, один – ловить бычков на мыс Казантип, другой – таскать карасей из Донузлава; одного Валерия отправили к бабушке под Черкассы, а второй лежал в инфекционном отделении с желтухой. Мне не с кем было не только прокатиться в Чистенькое, но даже просто перекинуться словом. Правда, томило это не сильно. Случайно увлекшись, я методично, с неослабевающим интересом штудировал содержимое длинной библиотечной полки с надписью «Литература о Великой Отечественной войне». Читалось очень легко, интересно. Фантазии и ассоциации возникали на голом

месте самые бурные и красочные. Степень воздействия этих книг на меня была куда сильнее, чем той же «Войны и мира», с грехом пополам законченной на весенних каникулах, перед итоговым сочинением по творчеству Льва Толстого. Наташа, Пьер, Николай Ростов, княжна Марья, старик Болконский – все оставили меня холодными, только князь Андрей рассердил своими малопонятными метаниями. После «Времени» вдруг показали «Горячий снег» по бондаревской повести. Я раньше видел этот фильм. Он всегда мне нравился мужественно стиснутым лицом актера Бориса Токарева и достоверностью раскаленного грохота пушек в завьюженных сталинградских степях. Теперь же, взвинченный бесконечными описаниями завывающих воздушных боев и дымно-пламенных танковых атак, коварной и кровавой работы диверсантов, я сам решил смоделировать нечто подобное.

Уже давно в памяти моей, как-то отдельно от всего главного, уроненной блестящей мелочью среди других подобных мелочей лежала фраза из забытого романа Жюль Верна: «бросал конические бомбы». Относилась она к корабельной артиллерии. Ну, корабля у нас нет, артиллерии пока – тоже, а вот конические бомбы, пригодные для огнепального метания, наличествуют. В углу нашего сарая, среди гнутых ржавых гвоздей-«пятерок», полосок оцинкованного железа и сухих сосновых стружек давно и забыто валялся целлофановый пакет с обрезками болтов на 12 мм. На токарном станке у них были срезаны головки, а оставшаяся резьбовая часть с одного конца заточена под конус. Насчитал я их ровно пять десятков. Зачем они понадобились отцу – не знаю. Скорее всего, теперь уже ни за чем. Сколько себя помнил, столько и перекидывали этот пакет по всему сараю и отец, и мама, и я с братом, вечно на него наступали в потемках, ругались, а выбросить жалели: так компактен и увесист был ненужный пакет.

Теперь болты пригодились. Порох у меня имелся: полтора десятка винтовочных патронов времен войны, с высокой гильзой и мощной закраиной. Вначале было больше, но часть их весело оттрещала в костре с пекущейся картошкой, а эти после злых подзатыльников брата упакованы в банки из-под растворимого кофе и мстительно припрятаны в сарае. Патроны пришли ко мне через пятые мальчишеские руки, скорее всего, с тайных раскопок; я отдал за них охотничий бинокль с треснувшей правой линзой. Дело было за стволом. Долго рылся в деревянном, стеклянном и металлическом барахле, прежде чем разыскал связку длинных латунных трубок разного диаметра. Хорошо помнил, что было в нашем хозяйстве и такое. Подобрать нужный калибр труда не составило, трубок было много. Конечно, мой жакан скользил внутри латуни не как плунжер в велосипедном насосе, посвободнее, но это даже хорошо: пороха можно положить побольше. Ножовкой я отмахнул самые ровные тридцать восемь сантиметров, обработал спил надфилем. Пользуясь слесарными тисками и молотком, заклепал и аккуратно завернул один конец несколько раз вокруг поперечной оси, отточил и загладил острые углы. Казенная часть орудия готова. Деся-

ток движений напильником-трехгранкой – и на солнце зазолотилось краями затравочное отверстие. Ствол есть.

Два следующих дня я провозился с его установкой на всамделишный орудийный лафет. На поверхности аккуратного букового бруска накаленным добела в огне паяльной лампы стальным штырем так же аккуратно была выжжена продольная бороздка, которую затем я тщательно выбрал круглым напильником из детского набора «Сделай сам» и любовно зашлифовал наждачной шкуркой. Так готовилось ложе орудия. Кучу времени потратил на сооружение самого лафета. В ход пошли рубанок, стамеска, лобзик, мелкие гвозди и клей «Момент», сосновые рейки, оси, колеса и другие детали с моего самого большого игрушечного грузовика. Потом устанавливал на него ложе с намертво прижатым четырьмя жестяными хомутами стволом, мучился с установкой прицела: вынесенного на жестком деревянном кронштейне сбоку и параллельно стволу пластмассового прозрачного корпуса от японской авторучки. Очень просто все: смотришь правым глазом в большое отверстие корпуса, двигая лафетом, нащупываешь цель отверстием маленьким, подносишь горящую спичку к затравочному отверстию, выстрел – и ваши не пляшут!

Орудие получилось на славу: массивное, ладное, крепко схваченное бережно вогнанными гвоздиками и клеем. С многозначительным блеском ожидающей латуни и мятых колпаков на солидно скрипящих колесах. С широко раскинутыми сошниками из увесистой березы, со стальными пластинами-лемехами на концах, чтобы крепче врезаться в землю при стрельбе. С настоящим прицелом. Ствол орудия вместе с ложем перемещался при неподвижных колесах в горизонтальной плоскости градусов на 20, а в вертикальной – на целых 80. Перезарядка пушки происходила при положении ствола «вверх» как обычного старинного ружья: банником очищаются стенки канала от порохового нагара после предыдущего выстрела, потом насыпается порох, опускается «коническая бомба», осторожно трамбуется шомполом, потом шомполом же забивается ватный пыж, ствол опускается, и затравочное отверстие набивается спичечным фосфором с одной головки. Все: орудие готово к бою. В комплект к нему входят: два одинаковых куска проволоки, только на один намотана марля – это банник, а на конце другого – вата, это шомпол. Боевой запас составляют: пятьдесят снарядов, порох на энное количество выстрелов, но не менее, чем на 15; пыжи.

Два дня подряд, вздрагивая от нарастающего предвкушения, я строгал, пилил, шлифовал, клеил и сбивал. До сего времени втайне я смиренно считал себя белоручкой. В работе по дому меня особо не напрягали: отец и брат, пока не ушел служить на Балтику, все мастерили сами. Моим делом была учеба, и делал я его неплохо. Я, конечно, мог собрать и разобрать свой велосипед, разбортировать колесо, заклеить пробитую камеру, но ни к чему большему душа у меня не лежала. На занятиях в учебно-производственном комбинате я тоскливо осваивал

профессию слесаря, с монотонным шиканьем и ширканьем возил сжеванной драчовкой по заготовке для молотка. Судьба будто издевалась надо мной, подсунув ту самую работу, которую я возненавидел еще на уроках труда в школе.

Наш учитель по трудовому воспитанию Василий Павлович Острецов, или просто Васяка Палкин, энергичный сорокалетний мужчина с зачесанными назад светлыми прямыми волосами, больше всех не любил, когда в мастерских нарушали правила техники безопасности. У него в руках часто бывала длинная и широкая металлическая линейка, и он хлестал ею по верстаку, где ножовка была на минуту оставлена в заготовке или лежала зубьями к проходу, опасно торчала стамеска или напильник. Он плашмя лупил гнущейся сталью о дерево и начинал кричать на нас. Василий Павлович никогда не обзывал нас, не оскорблял, но всегда расходился все сильнее и сильнее в добродетельном гневе, так, что было уже не понять в конце, за что он больше боится: за наши глаза, руки и ноги или все-таки за свою подсудность. После очередной тирады учитель быстро склонялся над журналом и, не задуываясь, ставил «двойки». «Двойки» – за все: за «неправильно стоишь», за «криво сидишь», за «неверно держишь», за «не так кладешь». А я не любил, когда мне ставили «двойки», безразлично по чему: по алгебре или по пению, и потому в конце концов стал бояться этих крикливых уроков труда. Я стал бояться сделать лишнее движение, так как оно могло быть неправильным. Я, почти отличник, отказал себе в праве на ошибку – и ничего не познал с любовью и интересом на уроках Острецова.

Теперь же я страстно хотел сконструировать пушку, точно представлял всю технологию изготовления, не страшился за расплющенный молотком ноготь получить еще и глупую двойку. И у меня, обладателя откровенно стоеросовых рук, все получилось. Ко второй ночи орудие было полностью готово. Давно пришел с завода отец и мама из своей бухгалтерии. Из раскрытой кухонной форточки доносилось аппетитное шкворчанье, плыл в медленно остывающем воздухе аромат жареного мятая с томатной подливкой. Включенную белую лампочку под слесарным столом упрямо таранили две шелковистые толстые бабочки, распущенные фрагменты серых теней. Я привалил изделие стружками и заторопился ужинать.

Боевые стрельбы начались на следующий день, где-то в часу в двенадцатом. Город снова душился в загадочных объятиях африканской жары. Рискованные мероприятия лучше всего было проводить в полдень: к этому времени солнце сгонит с огородов поливальщиков-соседей, какие сейчас дома, никто не помешает моей затее. До испытаний осторожно вывернул плоскогубцами пули из зажатых в тиски патронов. Образовалось 15 маленьких емкостей с порохом, годным к употреблению. Встал последний вопрос, очень важный: величина боевого заряда. Мне поначалу хотелось всыпать в ствол сразу целую гильзу, потуже забить болт и пальнуть, поглядеть, что будет. То-то

грохнет, пожалуй! Благоразумие все-таки взяло вверх, и я остановился ровно на половине. Высыпал не тетрадный лист огненное зелье, похожее на толченый графит, аккуратно разделил на две равные кучки. Отрезал ножницами часть листа с одной кучкой и с лабораторной щепетильностью высыпал порошок в задранный зев ствола. Потом проделал все необходимые манипуляции зарядания, навел свою пушечку на валяющийся метрах в четырех блок ракушечника. Для производства выстрела на первый раз решил воспользоваться самодельным бикфордовым шнуром: вымоченным в керосине шнуром от старых кед. Приладил его к затравке, дотянул до угла дома, поджег, а сам спрятался за выступ стены. Насосавшаяся жидких углеводородов, мокрая черная пиявка занялась друженько, фитильно задымила в духоту неба. Я терпеливо ждал выстрела. От моего конца шнурка оставался только остывший сетчатый пепел да желто-бурый ожог на бетоне, мне уже начинало надоедать сидеть на корточках, я только собирался выглянуть, когда за углом лопнуло упруго и звонко. Вскакиваю и бросаюсь к своей игрушке.

Пушечка была целой и невредимой, только откатилась с края тротуара, где стояла, к самой стене дома, уперлась в нее сошниками. Снаряд поразил цель: в пористой грани блока виднелось аккуратное отверстие, похожее на нору большого насекомого. Я померил его глубину щупом: болт ввинтился в рыхлый камень сантиметров на десять, не меньше! Здорово! Класс!

Вторым был тест на дальнобойность. Снова зарядив орудие, я установил его теперь прямо на землю, чтобы не бить сошниками о стену, и стал искать подходящую цель. У соседки на колу забора висела трехлитровая бутыль. Бок ее ослепительно сверкал на солнце, но сверкал далеко: метрах в шестнадцати впереди. Без особых надежд, так, интереса ради принялся наводить ствол на солнечного зайчика. Пыхтел я довольно долго, пока, наконец, нестерпимый блеск, умноженный гладкостью внутренней поверхности прицела, не уколол правый глаз. В этот раз я уже почти не боялся, что ствол разорвет, интуитивно норма пороха была выбрана правильно, и все же фосфор поджигал при помощи длинного прута с клочком прокеросиненной ваты. Довольно долго тампонировал отверстие, шевелил прутком и так, и сяк. Опять начал терять терпение, только думал подойти проверить капризную затравку, как снова ударило.

Зрелище было незабываемым. Пушечка моя, заветный плод вдохновенного труда, подскочила, как деревенская молодуха, которой заполз под сарафан уж: сначала правым колесом, потом левым – и откатилась назад, загребая сухую землю лемехами. Из ствола выхлестнуло бледное пламя и сизый дымок, который тут же рассеялся в июльское марево. А солнечный зайчик в шестнадцати метрах впереди, мозолящий зрительные нервы белый блеск вдруг исчез мгновенно, со звоном осыпался прозрачными осколками в завитки хмеля: половину бутылки на-

прочь снесло выстрелом, на колу остался висеть издевательский стеклянный черепок.

Охваченное все вот так, в долю секунды, одним взглядом, повергло меня в состояние экстаза и испуга одновременно. Я со страхом ждал, когда на звук выстрела и звон разбитой посуды выскочит соседка – знал, она дома, возилась утром с поливочным шлангом на капустных грядках. Выбежит сейчас, переваливаясь, как гусыня, и закатит скандал; женщина она хотя и не злая, но довольно громкоголосая. Быстро закидал орудие сохнувшим сеном, стал ждать неприятностей с разбегающимся сердцем. Однако минуты шли и шли, а все оставалось по-прежнему сонно и спокойно. Зной спеленал землю, все живое спряталось от солнца и затихло. Лишь переговаривались в темноте нашего курятника несушки, порхались в пыли да высоко-высоко в небе, между бесноватым солнцем и болью прищуренных глаз, огромными кругами тянулся в сторону невидимых гор орел. Тетя Ира так и не появилась. Отлично!

Но вставала проблема: где проводить стрельбы? Знаний о механизме действия пороховых газов, об убойной силе огнестрельного оружия, о дальности прямого выстрела и разном другом, чем на уроках начальной военной подготовки нас терпеливо напитывал представительный седоглавый «воевода»-отставник, мне хватило, чтобы понять: сконструированное мной – вовсе не детская пистонная трещотка, это даже не пугач, безобидно пыхающий спичечной серой. Это настоящий самострел, из которого можно убить человека, хоть и примитивный, хоть и смешно оформленный. С такой же легкостью, как бутыль, с восьми, с десяти метров горячий жакан болта может разнести и человеческий череп или пробить брюшину и остаться остывать в клубке чьих-нибудь кишок. Шутить с этим ни в коем случае нельзя, а потому стрельба в собственном огороде категорически прекращается: в любой момент в любом месте могут невзначай появиться соседи. К счастью, понять это ума мне хватило.

А вот то обстоятельство, что ствол может разорвать при очередном выстреле, так как совершенно неизвестно, сколько он выдержит, то обстоятельство, что секущие осколки латуни могут сочно нашпиговать мне глаза, а то и глупые мои мозги, я воспринимал головой, но как-то отдаленно. Теоретически оно могло произойти, но уж конечно не сегодня, в такой обыкновенный день, каких были тысячи в моей жизни. Да и не может со мной произойти такая неестественность! Ведь как волнующе пахнуло настоящим сгоревшим порохом, как грозен и правдив получившийся звук! А само орудие, само орудие сработало и откатилось, как в любимой батальной сцене из военного фильма. (Это сейчас мальчишки с открытыми ртами глядят американские боевики. Для моих же ровесников их полноценно заменяли «Четыре танкиста и собака», тот же «Горячий снег» и «Освобождение»). Мною все больше овладевало никогда ранее не испытанное возбуждение, при котором снова и снова хочется втягивать пощипывающую ноздри пороховую

гарь, снова подносить прут-запальник к затравке, командовать себе: «Огонь!» – и видеть, как бьет и неукротимо скачет мое орудие. Мне хотелось ощущать под пальцами массивную крепость созданной конструкции, видеть, как раскаленный винт со слепым упорством дробит и крушит все на своем пути. Сейчас мне кажется, я слушал внутри эхо своего будущего: мне все это еще пригодится, еще понадобится впереди. Нет, о прекращении стрельбы не может быть и речи! После недолгих колебаний я отправился на пустырь.

Наш квартал упирается в него. Огромная поляна с земляными буграми, с кучами ломаного и крученого железобетона, хозяйственного сухого мусора по краям, заросшая травами, с вытопанной в центре плешью. Для моего брата и его друзей, парней постарше она служила футбольным полем. Потом футболисты поуходили в армию, переженились – и поле оказалось заброшенным. Мы не приняли от них эстафеты: нас было гораздо меньше, и мы интересовались только велосипедом. Давней зимой на размякшей плешу застрял случайный груженный панелевоз. С передышками, в натужную злую раскачку он пробуксовал весь световой день. К ночи при помощи запоздалого бульдозера его все-таки извлекли из грязи. С того случая осталась на пустыре великодушная лужа: по колено теплой воды и юркие черные головастики каждым летом.

Эта поляна срезала наш квартал наискосок. Кучковский дом по четному ряду был к ней самым ближним. Напротив него, по ряду нечетному, домов уже не было, только плоская, залитая солнцем пустошь. По противоположному ее краю, за желтой пестротой сурепкой и алыми пятнами маков, раскопали глубокую траншею под газовую магистраль, да так и оставили. Ряд ровных горбов из глины и колотого известняка порос хилым разнотравьем и кожистыми кустами дурмана. За его прекрасными белыми люстрами, над сорными макушками горбов иногда виднелся плывущий в пыли блик – это горела на солнце крыша легковой автомашины; с той стороны траншеи пролегалла другая улица. В левой части пустыря, самой дальней от Женькиного дома, сейчас покинуто бродили рабочие, громоздилась на мазовской платформе туша гусеничного экскаватора с поджатым ковшом.

Под кучковским абрикосом играет в машинки на песке малышня. Она любит это место. Дядя Федя все время что-нибудь строит и перестраивает у себя во дворе. Тонны три светлого речного песка ему привезли и сбросили у ворот давно. Часть он использовал для раствора и штукатурных работ. Остальное лежит себе нетронутым в тени дерева, разве что соседи иногда позаимствуют ведро-другое с разрешения хозяина. Летом уличная мелкота постоянно топчется босыми ногами по этой куче, возится и копается в ней. Стройматериал развален и разнесен по довольно обширной площади, бархан давно превратился в песчаную линзу, но Кучковы мелкоту не гоняют: они любят детей, у них самих – четверо.

Я не смог одолеть искушения. Кучковский дом – самый после-

дний по этой стороне квартала, место довольно глухое. Дальше – только строгая кирпичная будка трансформаторной подстанции, с черным черепом на крашеной серебрином, всегда запертой двери, и поле. У их соседей вроде бы тихо, наверное, все на работе. В доме если кто и есть, то только глухая бабка и Евгения с младшими сестрами, они не помешают. Мне хотелось поделиться своей радостью хоть с кем-нибудь.

– Пацаны, хотите покажу фокус? – торжествующе опускаю на песок старую хозяйственную сумку со своей игрушкой и всем снаряжением.

Разумеется, пацаны желали фокуса.

– Тогда гоните на помойку, тащите сюда какую-нибудь банку или бутылку. Можно кастрюлю дырявую. Живо!

Пока мальчишки, побросав машинки, втроем шныряли по кучам мусора в поисках посуды, я разворачивался на боевой позиции. Оружие заряжено, ствол опущен, набита затравка. «Расчет к стрельбе готов!» Теплый цвет латуни, принявшей крещение огнем, живописно гармонирует с цветом песка и упавших абрикосов. Предчувствия испытываю самые приятные.

Примчались мои зрители. Бутылок-банок не нашли, приволокли избитое ведро без дужки. Ладно, годится. Пока устанавливаю его в нужном положении на краю песчаной россыпи перед пустырем, Виталий, Вовка и Толька напряженно созерцают. Они благоговеют молча, пока я работаю с прицелом. Наконец все готово. Отгоняю их подальше в сторону, осматриваюсь. Кругом ни души. Только нестерпимый свет солнца, пропаленная местами тонкая тень абрикосового дерева и далеко впереди – мелькающий каурым султаном хвост собаки, рыщущей зачем-то по кучам глины в такую жару. Так, можно. Зажигаю вату на пруте, осторожно подношу к отверстию и... Мне кажется, орудие бьет еще до того, как пламя касается фосфора. Оно взбрыкивает вверх и назад. Разлетается песок, а звук выстрела сливается с тупым коротким ударом: в днище ведра, ближе к центру уже красуется ровное отверстие.

Я продолжаю торжествовать. Мальчишки же, которым давно наскучила возня с машинками, просто замирают от восторга. Они робко касаются орудия, разглядывают его из всех положений, даже снизу – лежа на песке. Виталька приносит и подает мне ведро. Дно слегка вмялось, у отверстия загнутые внутрь острые края, в него легко проходит первая фаланга мизинца. Как же все-таки безглаза и неоспорима эта проморгнувшая сейчас сила! На шум выскакивает со двора быстрая Женька и узнав, в чем дело, качает головой неопределенно, но домой не возвращается, остается. Я жажду боя.

– Ну, шпана, кому своей машинки не жаль?

Не жаль Вовке. Он с готовностью отдает мне для испытаний грузовичок вроде ГАЗ-66, без задних колес и со спаренной зенитной установкой на вращающейся платформе вместо кузова. Я быстро устанавливаю его на место ведра. Готовлю орудие, долго прицеливаюсь.

Выстрел – мимо. Повторяю операцию, выстрел – опять мимо! Публика начинает нервничать. Я упрямо готовлю пушку. Выстрел – и снова промах! Болты бесследно тают в пустырных даях. Публика просто на глазах превращается в презренную толпу, в ней зарождается насмешка. Продолжаю упорствовать, но во мне тихо зреет печаль непонятого поэта. Евгения на нас не смотрит, повернулась спиной, пишет мелом на своем заборе, левой рукой поправляет волосы под затылком. Ах, так! Хорошо!!

В этот раз особенно долго и тщательно целюсь. В зрачке прицела застывает часть капота машинки. Я все-таки высоко брал раньше, это верно. Выстрел – и четвертым снарядом с шаловливо промчавшимся треском игрушку разносит на части. Расколота передняя панель, стекло треснуло пополам и вывалилось. Сорвана и отлетела в сторону одна зенитка, а крышу кабины отбросило на песок вверх обломками креплений. Я стою от законченного совершенства картины. Женька смотрит на меня и улыбается. От избытка чувств стонет теперь и публика – в лице Толика и Виталия. Вовка же внезапно затих и начинает подозрительно посапывать.

– Владимир, – я трясую его плечи, как побратима. – Ты что, плакать собрался? Брось! Ты же сам мне зенитку отдал. Она же без колес!

Вовка глядит под ноги и тихо начинает объяснять, что папа обещал приделать ей колеса. У-у-у, папа – это плохо.

– Вовка, не реви! Сейчас мы все исправим. Чья это молоковозка?

– Его, – Виталька указал на голопузого медлительного Анатолия,

– Женька, воды у вас наберу, – я кинулся во двор к Кучковым.

Их колонка выгибалась возле самых ворот.

Я совсем поглупел, тронулся глупой радостью щенка, наконец-то вонзившего зубы в любимую куклу своей маленькой хозяйки. Я парил на незрячего крыльях восторга и счастливо, турманом, кувыркался в лучах восходящего эгоизма. Бессмысленный азарт ребенка овладевал мной; лет десять скинули плечи. Со стороны я смотрелся дураком – можно и так сказать.

Цистерна «зилка»-молоковозки, примерно на литр, была наполнена. Машина торжественно водружена на лобное место, обломки зенитной установки без лишней помпы убраны.

– Смотри, Вовчандр, – вопил я. – Смотри, брат, как мы ее сейчас.

Я торопливо снаряжал пушку, целился и совсем не замечал вполне осмысленно наблюдавшего за нашими приготовлениями бессловесного Анатолия. «Огонь!» Э-э, опять не повезло, опять снаряд ушел черт знает куда. Ничего! Маленькую накладку в нашем балаганчике мы исправим. Гляди, Владимир, гляди, друг! Орудие отработано прогарцевало в седьмой раз, за калиткой послышался приближающийся кашель древней бабушки Кучковой, а из громко прошитого вдоль игрушечного бака слабнувшей струей уходила в песок вода.

Тепло засветились мокрые Вовкины глаза. Виталий уже не мог говорить от полноты ощущений и только подвывал. Высунула на ули-

цу голову в платочке бабушка Паша, посмотрела на нас бессмысленно и затворила дверь. А Толик, маленький чумазый Толик в сандалиях и свободных синих трусиках молча подошел к расстрелянному молоко-возу, поднял его, горестно прижал к выпуклому детскому животу в пятнах засохшего абрикосового сока. Остатки воды полились ему на живот. Он спохватился, дернулся, но уже были мокры и трусики, и по ногам текла вода, и в коричневые сандалии. И вообще немногословный Толик просто набрал побольше воздуха в легкие, очень громко сказал: «А-а-а-а!» – и с этим неиссякаемым звуком на устах двинулся прямо домой, к маме, больше уже ничего вокруг не замечая.

Я застонал и схватился за виски: «Идиот!! Сейчас же скандал на весь квартал будет. Меня же самого из этой пушки расстреляют!»

– Толик, Толик, постой! Постой, не кричи... Женька, что ты стоишь? Успокой пацана! – я лихорадочно искал выход из тупика. Внезапно блестящая мысль шевельнулась в дальней извилине. – Мальчишки, ждите меня здесь. – Спрятал оружие на дно сумки, а ее приставил к дереву. – Ничего не трогать, поняли?! Толик, не реви, я сейчас принесу свой танк вместо машины. Женья, задержи его. Смотри, чтобы они пушку не трогали. – Я понесся домой.

Шесть лет назад, на десятилетие, мне была подарена замечательная игрушка: самодвижущийся танк с электромоторчиком. Был он весь из стали, как и полагается грозе пехоты, с пластмассовыми катками, с резиновыми гусеницами. Защитного цвета, с маленькой лампочкой в белом пластмассовом чехле на самом конце орудия, внутри сетки дульного тормоза – огонек ее вместе с легким щелчком имитировал выстрел. Включенная игрушка двигалась по заданному зигзагу, с вращением башни и стрельбой. Вместо системы фрикционов машину разворачивали два штыря, попеременно выходящие из днища. Вылезет такой штырь слева, упрется в землю, приподнимет на сантиметр половину танка; гусеницы при этом работать не перестают, правая забегает вперед – и машина поворачивает влево. Потом настает черед штыря правого, затем снова левого, одновременно внутри горизонтального сектора градусов в 60 перемещается пушка, идет безобидная пальба – и так до бесконечности, пока не сядут батарейки. Своей ладной собранностью, наклоном брони корпуса мой танк весьма напоминал бессмертный Т-34-85, громивший осколочно-фугасными рейхстаг. Только башня подгуляла: была более приплюснутой и округлой, да тормоз на конце стволы изменял истине.

Надо ли говорить, как завидовали мне в свое время Илья, Игорь и оба Валерия! Танк участвовал в бесчисленном количестве боев, преодолевал рвы и ямы, печатал резиновыми траками по пыли дорог и даже пытался форсировать водные преграды, если позволяли дно лужи и клиренс машины. В сумме он проехал, наверное, не меньше километра и одних батареек обесточил с дюжину. Позднее и у друзей появились равноценные игрушки, но мой красавец все равно был первым. В конце карьеры я произвел ему капитальный ремонт: с помощью отца поста-

вил новенький электромотор, и он занял почетное место на полке облезлого шифоньера в сарае. Первый среди того немногого, что нам остается от детства.

При виде игрушки глаза малышни загорелись давно знакомой мне завистью. Анатолий даже всхлипывать перестал, верная Евгения все-таки его утешила, прикрыла рот и вытерла слезы. Ему первому я отдал любимца в руки. Он, а потом и остальные крутили и вертели его так и сяк. Не было батареек – Вовка слетал домой, принес два бочонка «Салюта» от карманного фонарика. Я вставил их в пазы на днище, захлопнул крышку-люк, опустил броненосца на цемент, включил. Танк двинулся вперед, перемешивая гусеничными рубцами абрикосовую кашу и распугивая нахальных мух. Совсем как в доброе старое время! Все также вздрагивал от неудобства при поворотах, двигал башней. Только пушка давно уже не действовала, немного рассохлась резина и антенна-пружинка заржавела. А так – все в порядке, даже маскировочная краска не оббита.

Я глядел на Вовку, Виталия и Анатолия, забывшего на время о молоковозке. Голова к голове, они склонились над новой забавой, толкаются, мешают друг другу, комментируют сдержанные броски машины. Ведь все уже было. Со мной и друзьями было, недавно совсем... Мое детство держало меня за руку. Я отворачивался, а оно все заглядывало в глаза и улыбалось, улыбалось насмешливо. Впервые за этот день и в какой раз за последний год трезвая мысль посетила мою горящую голову: «Остановись, слышишь? До каких пор ты будешь играть, а не жить? И с кем?.. Сенька Ревин, твой ровесник, уже кандидат в мастера спорта по боксу. Танька Дорохова с Василием после десятого пожениться обираются. Вся школа, все учителя в курсе. Одноклассники давно институты себе примеряют, а ты... Один из лучших в учебе, а возишься с замурзанными восьмилетними плаксами. Стыдно, стыдно, Жорка! Евгения вон еще на заборе написала «Аненский недоросль»... Дернувшееся рябью платье сбоку, построжавший девчоночий голос – уже ссорились Вовка с Толиком: Толик хотел, чтобы игрушка наехала ему на сандалету, Вовка же толкался и совал свою невымытую исцарапанную ступню. Они вернули меня в реальный мир. «А мы ее сейчас прикончим, мою глупость!» Я выключил моторчик. Женька ухмылялась. Стараясь не смотреть в смелые ее глаза, команду:

– Пацаны, тащите танк к краю песка! Ставьте его вон там... Все, нормально. По моей команде заведете.

Я упал на колени в абрикосовую тень, подтянул сумку, достал оружие и принялся его заряжать.

Итак, баки залиты, пополнен боекомплект, экипажам дана команда: «Форвертс!»... Из оперативной сводки штаба N-ского фронта за 25/07 – 194... года: «Срочно! Строго секретно! На 13 часов 35 минут на участке боевых действий 118-ой гвардейской стрелковой дивизии сложилась крайне угрожающая обстановка. После почти непрерывных

шестнадцатичасовых атак танковый полк дивизии СС «Рейх» силами до батальона при поддержке незначительного числа пехоты (до двух взводов) прорвал полосу нашей обороны и вышел в тылы 9-й армии. На ликвидацию прорыва были брошены все способные держать оружие, в том числе личный состав штаба дивизии, ходячие ранбольные медсанбаты. После тяжелейшего кровопролитного боя место прорыва было блокировано, но полностью восстановить и выпрямить линию обороны не удалось. Смертельное осколочное ранение получил командир дивизии Герой Советского Союза генерал-майор Хвостов. Пропал без вести начальник политотдела подполковник Посунько. Командование дивизией принял начальник штаба полковник Абдужапаров. В данный момент ведется спешная переброска частей с других участков фронта с целью полной ликвидации прорыва.

Прорвавшийся батальон противника, не встречая сопротивления, на полном ходу устремился по направлению к полустанку Луговому. Цель противника очевидна: перерезать и оседлать рокадную железнодорожную магистраль Волчанск-Хлуново, чтобы воспрепятствовать переброске наших резервов на юго-западный участок фронта для подготовки и нанесения контрудара согласно плана операции «Бора». Для пресечения замыслов немцев из района полустанка Лугового снят с марша и с максимальной быстротой выдвинут в заслон 202 отдельный противотанковый дивизион 76-миллиметровых орудий под командованием майора Горчилова. На данный момент дивизион вступил в бой.

На путях Лугового задержаны три санитарных эшелона и эшелон с боеприпасами вследствие нанесенных авиацией противника повреждений магистрали Волчанск-Хлуново приблизительно в 2,5 км к северу от полустанка. Сам Луговой обороняет только четыре зенитных пулеметных установки с женскими расчетами. Отделение коменданта полустанка придано арtdивизиону. В настоящий момент принимаются все меры для скорейшей отправки эшелонов к местам назначения...»

«Вот он ползет, «тигр» последний... Вон башня в лещине виднеется. Сейчас на поляне появится...» Включенный танк двинулся на меня, мальчишки порскнули в стороны. Ему трудно идти по песчаным буграм, не хватает мощности двигателя. Он жужжит и пыхтит, но по-прежнему, как и годы назад, упорно ныряет в сыпучих складках, только антенна на башне дрожит упруго. В целом выглядит он достойно, если не считать поворотов. Штырям механизма не на что опереться, они тонут в песке, и сам поворот выполняется неуклюже и не до конца. В эти секунды игрушка похожа на зарывающееся в песок огромное насекомое вроде муравьиного льва. Наверное, таким его и воспринимает обеспамятевший от ужаса пластун-муравьишка, уносящий из-под рубчатых траков свою маленькую жизнь. Нет, что ни говори, танк, даже игрушечный, остается танком. Он опасен. Настоящий «тигр»! С десятисантиметровой лобовой броней и 88-миллиметровым орудием. Вот он, возникает на песчаной поляне из кустарника, громадный, рычит

надсадно. «Мощности движка немного ему не хватает, броня тяжело-вата. А так – грозен! Смертельно...»

И я снова не вижу упавших с веток и полусасыпанных светлым песком золотисто-оранжевых абрикосов с малиновыми конопушками румянца. Их нет, я высокомерно абстрагируюсь от них. От Виталия, Вовки и Толика. От своей пушки, внешне похожей на средневековый «единорог» или в лучшем случае напоминающей орудия бесславной франко-прусской войны – для франков. Я отлетаю от времени, от возраста и стараюсь не слышать за спиной участливого Женькиного вполголоса: «Надо же! Такой здоровый, такой здоровый, а дурак!» Я растянулся в полный рост у своей самоделки и молча, с нешуточным напряжением морщу лоб: ловлю в прицел медленно движущуюся цель. Сейчас я наводчик времен войны на коленях у орудийной панорамы.

«...Давай-давай, ближе давай! Последний ты остался. Вон дружки твои горят кругом. Двадцать три штуки, как один, любо-дорого посмотреть... Но и от моих вы ничего не оставили, сволочи! Ты, гад, по позициям ходил, додавливал, что еще шевелилось. Меня только не заметил. В сторонке наше орудие стоит, а то бы тоже пропало». Я вращаю маховики наводки, влип потным лицом в резиновый наглазник панорамы. В оптике, за перекрестием прицела, повисшим в солнечном воздухе, над мирным пляжным фрагментом, вдруг плывет, покачиваясь, башня махины с вынюхивающим опасность стволом. Измученные танкисты еще не могли поверить, что остались живы в аду полуторачасового боя. Бешено крутится командирский триплекс, ищет врагов и уцелевших камрадов. Антенна готова лопнуть: с таким напряжением выкликает экипаж помощи. Последний, двадцать четвертый «тигр» прорвавшегося батальона дивизии СС «Рейх» дисциплинированно следует к Луговому.

«Все никак не успокоишься, гадина. Сейчас мы тебя пощупаем...» И впустив в сознание монотонный голос контуженного комбата над головой: «Огонь, Георгий, огонь, огонь...», скандовал себе с резкой злостью: «Пли!» – и дернул ручной спуск. Сунул горящую спичку в затравку.

Пушка ударила оглушительно, снова брызнула песком, откатилась. По задней округлости игрушечной башни сквозь уплотнившийся зной порохового дымка молнией скользнула синяя искра. Танк остановился на секунду, затем с прежней энергией двинулся дальше. На мгновенно освобожденном от краски металле остывает глубокая вмятина от прикосновения снаряда. Я взвизгнул от детского счастья: «Рикошет! Черт меня побери, настоящий рикошет!»

Подскочивший из-за спины Виталька выключил игрушку. Я занялся перезарядкой. Из соседнего дома вышла тетя Оксана, мать Вовки, постояла на солнцепеке, посмотрела из-под полной руки на спящего сына и неторопливо вернулась во двор с виноградными шпалерами. Евгения скакала на одной ноге, встряхивала подолом платица в лиловый горошек: преодолевала полустертую схему «классиков» на троту-

арном бетоне. Мы ее больше не интересовали. Я опять разлегся возле орудия.

«...Рикошет! Черт меня побери, рикошет!.. Но пронесло, кажись... Да, пронесло! Не засекли вспышки выстрела танкисты. Но как башня завертелась, как завертелась! Почуяли, что не одни на этом поле живы остались. Ничего, во второй раз я не смажу!»

Я ловлю теперь окуляром авторучки левый бок танка. Борт, теперь мне нужен только борт. Конечно, пробитая башня смотрелась бы эффективнее. Но и аккуратная дырка в моторно-трансмиссионном отделении навеки замершей машины – тоже неплохо. Неизвестно, сколько еще раз срикошетит болт, башня слишком закруглена. А представлению пора завершаться. Мое веселое бешенство вот-вот достигнет апогея, повлажневшие руки трясутся от азартного нетерпения. Да и прохожие стали появляться, труднее выгадывать время для выстрела. Отверстие в боку, сокрушительный металл в сердце... Мне жаль любимой игрушки. Но я не хотел больше ставить ее на полку воспоминаний. Теперь она должна умереть вместе со всеми искушениями – и я готовил ей славную смерть.

Я опять ощущал себя белобрысым мальчишкой-наводчиком в кастрюльно грюкающей каске. Среди июльского светогрома, на краю песчаной пустоши с одиноким фашистским танком. В высоких кустах, возле 76-миллиметрового полкового орудия. С нависшим надо мной, трясущим пораженной головой комбатом чуть меня старше и целехоньким дядькой-заряжающим из чужого расчета, с распоротым во всю длину засаленным рукавом гимнастерки – возле казенника, только что проглотившего бронебойный снаряд. Наша пушка хорошо укрыта зеленью, командир «тигра» проморгал выстрел. После настороженной десятиминутной заминки машина вновь упорно тронулась к полустанку. А я сноровисто приклеиваю линзами тонкий черный крест к ее дефилирующему слепому и глухому борту, к беспорядочным пятнам камуфляжа: красно-коричневым, бежевым и зеленым. «Все! Конец тебе, гад проклятый!..» Уходяще рокотал танковый мотор. Канючит оглушенный командир: «Не промахнись, Георгий, сейчас нельзя промахиваться, понимаешь, не промахнись...» Я кладу правую руку на спуск. Течет пот по грязным щекам, гимнастерка жмет плечи. И в самой-самой глубине, перед самым-самым выстрелом шоколадно капнула мыслишка: «Медаль тебе выходит, Гошка, за этот «тигр». Потому как последний он, решающий. А то и орден! Звездочка Красная светит...»

– Огонь! – мемориально закаменев лицом, командовал я себе.

Стоя на коленях, решительно подношу воспламененную спичку к затравочному отверстию – и в тот же миг что-то очень мягкое, сочное, узнаваемое с силой шлепается о мой левый висок. Дернувшись от неожиданности, я слишком сильно тычу спичкой в затравку. Пушка тут же задирает ствол и горячо бьет, едва не отшибая мне пальцы при отдаче. Взлетаю на ноги в полном смятении и испуге. Снаряд ушел в белый свет, как в копеечку. Об орденах с медалями можно позабыть

навсегда. Самое время крепко призадуматься о расторопном сталинском трибунале: приказ командования – «Остановись любой ценой! Стоять насмерть!» – не выполнен, танк безнаказанно уползает к забитому ранеными Луговому. А по моим волосам гадко растекается сиропом расквашенный переспелый абрикос.

– Кто-о-о?! – исторг я, как Создатель, узревший первое грехопадение. Малышня цепенеет в немоте, пораженная внезапным страхом. А по дорожке, прочь от калитки своего дома мчится с хохотом, с высоко и быстро подпрыгивающим ситцевым драже на коленках мерзавка Женька.

Евгения Федоровна Кучкова, отроковица 14 лет, жила со мной в одном квартале и была ровесницей Ильи, Игоря и обоих Валериев. Она не принимала участия в наших милитаризованных играх. У нее была своя компания, девичья, с куклами, гномовскими мебельными гарнитурами и сервизами. Если они и присоединялись к нам, то только с «брызгалками» или для совместного печения картошки в случайных вечерних кострах, где меланхолично горели обрезки веток из садов, палье листья и дровяная занозистая мелочь. Я частенько болтался с друзьями возле ее дома: опускаясь в глубины газовой траншеи, исследовал новорожденные кучи мусора на пустыре, поэтому в теплое время года виделись мы чуть ли не каждый день. Всегда имелась возможность отнять мимоходом у Женьки дутощекого пупса или сказать ей какую-нибудь обидную ребяческую гадость. Училась она с обоими Валериями в соседней, 17-ой школе, в параллельном с ними классе. Училась так себе, средненько. Очень любила кошек, мармелад «Лимонные дольки» и терпеть не могла геометрии и грызущих собственные ногти.

Девчонкой она росла пригожей, но не самой красивой среди подружек. Года три назад Евгения довольно регулярно стала навещать секцию легкой атлетики, и к возрасту Джульетты просто на зависть похорошела. Уж не знаю, спорт ли тому причиной, дающий верное направление росту каждого организма, или безукоризненное состояние генов. В молодости дядя Федя не пил вовсе, был веселым, шумливым и здоровенным, в полтополя у 117 дома, каменщиком-красноярцем, а в чернобровой и пышной тете Марьяне, западенке с Тернопольщины, крови смешались самые разные, однако с отменным вкусом. Женька и походить стала на Джульетту! Личико – совершенный овал, прозрачная смуглость беспорочной кожи, жестковато-курчавые, особенно на висках, темно-пепельные, как у мамы, волосы и, как у мамы же, глаза – оживленно перекатывающиеся вишни из варенья. Вздернутый носик с плавным прогибом переносицы, остаточного-худощавая быстрота движений. За три года секции ее тело явственно окрепло и раздалось вширь, на ногах уверенно обрисовались мускулы. Но самой замечательной деталью портрета Евгении стал к этому возрасту рот. До того четко обрисовались две припухлых – даже чуть-чуть сверх меры, полных розового пламени губки, так ровны и хороши оказались одинаково

крупные зубы за ними, что хотелось Женьку все время забавлять и задорить, чтобы почаще любоваться ее улыбкой.

Но это все я понял совсем не сразу. Ну, Женька и Женька, целую жизнь знаю ее. Она оказывалась для меня слишком молоденькой, как и ее одноклассники, недавние дружки-приятели. Я бесповоротно увязал в библиотечных трясилах. Это отдаляло меня от них, еще способных наслаждаться посещением близкой городской свалки. Евгения всегда больше общалась с одношкольниками – Валериями, Игорем-очкариком и долговязым Ильей. Этим летом почти все оставалось по прежнему. Иногда ей с подружками приходилось удирать от пыльно топающих следом мальчишек, теперь – гораздо успешнее, чем раньше. Когда ее все-таки удавалось загнать и окружить, как антилопу, она вовсе не по антилопьи визжала и орала, отбивалась от жадных рук наотмашь, поженски, и раздавала направо и налево «дурака» с «идиотом» за лопнувшие швы и оторванные пуговицы. Пожалуй, только в мой адрес ее отношение несколько изменилось. С недавних пор Евгения обращалась ко мне только «Гоша» и «Жорик», больше никаких «Жорок», никаких «болванов». Однажды в сумерках, подходя незамеченным к сидевшей на сосновых бревнах компании, я услышал, как она вполне серьезно за глаза величает меня Георгием. Мне показалось это вполне логичным: в облавах на нее и остальных девчонок я теперь не участвовал. Тянул домой полученный в читальном зале под клятвенные заверения, всего на два дня, увесистый томик Стругацких или Пикуля. Девчонки были еще младше Женьки. Она же действительно очень хорошо бегала, я просто опасался иногда за свой авторитет квартального аксакала.

Но теперь мне было плевать на авторитет! Я несся что было сил вслед ей с одним желанием: настичь и как следует, по-взрослому, оттаскать за патлы. Абрикосовая мездра залепила волосы на виске и жгла, как пощечина. Столь вдохновенно проводимые стрельбы – чистая поэзия, виолончельная соната души – оборваны так ничтожно, так сатирически! Фантазия как жертва надругательства вопияла лебедью об отмщении.

Евгения уже не хохотала. Она просто летела впереди меня по ровному длинному тротуару, и ее собранное тело в развевающемся домашнем платице попеременно окатывало тенью крон и слепило белым гневом солнца. Она летела впереди меня, как богиня Ника, прелестная дева с мраморными крыльями за спиной тайтанки, и звякающие цепями псы во дворах позорно запаздывали с лаем.

Мы переполошили весь квартал. Домчались до перекрестка. Со смехом, с переживаньем глаз она все-таки от меня увернулась и понеслась обратно. Локти вразлет, не по-спортивно, зато спринтерский вынос бедра. Если б не ее теннисные тапочки, мне бы ее не догнать. Нет, я не догнал бы ее и в тапочках, если б перед самым своим домом она резко не сбавила скорость. Вот я тянусь к ее ключице, я торжествую: она почти во власти моего оплеванного самолюбия. А Женька

вдруг, как в фигурном катании, обернулась ко мне всем телом, показалась сияющим разгоряченным лицом, назад отклонилась, притиснулась к забору – и пальцы вместо плеча охватили упруго вздрогнувшую, ласковую выпуклость юницы.

– Ай-ай, – громко прошептала Женька, часто вздыхая и напрочь позабыв о пивлившихся во все гляделки Витальке, Вовке и пузане Анатолии. Улыбнулась мне прямо в округленные глаза. Подыграла себе головкой: тик-так, тик-так. И руки не оттолкнула.

После лишь дважды в жизни я слышал этот ожидающий и усмешливый, этот растворенный в спящем счастье голос. Обоих женщин я любил, с обеими был близок. Оба раза я раскрывал глаза на минуту раньше их, на шелестящем в окно рассвете...

Так закончилось мое детство. То, что закурилось потом, после абрикоса, между мной и Евгенией иначе как сладким безумием определить нельзя. О нашем романе в течение целого года судачили златозубые кумушки всего квартала. О нем мне и теперь изредка напоминает кто-нибудь из соседей, добрея при этом.

Я, десятиклассник, раза четыре предлагал Женьке сразу же после окончания школы пожениться, на что она только смеялась и отрицательно мотала головой. Я же ходил с рельс совсем. Почти перестал читать. Сильно сдал в учебе. Засыпал, вставал утром, ел, шел, сидел на уроках, говорил – все это я проделывал, будучи нанизанным, как на вертел, на одну мысль, на одно сомнение: «Верна ли она мне? Так ли она любит меня, как я ее, или забавляется мною только?..»

Иногда я сбегал с последнего урока, чего раньше никогда не случалось, спешил к 17 школе, выслеживал: кто будет провожать Евгению домой. Валерки доложили мне однажды: она вовсю флиртует, вертит какими-то двумя моими ровесниками-спортсменами. Я изнемогал от жажды разрешить сомнение. Оказывается, я страстно желал унизиться! Крепыши-волейболисты утолили мою жажду. В ответ на косноязычно-робкие попытки расспросов довольно безжалостно набили мне морду по очереди, отдельно друг от друга, да еще при своих девчонках-одноклассницах. Хорошо, Женька не видала.

Были заброшены все книги, оставлены только нехотя листаемые учебники. После недели раздумий, маминых сетований и пятаков из морозильника на удручающих бесславию гематомах я, краснея, обратился к Семену Ревину – и он привел меня в секцию бокса. Как же все-таки тверда и массивна эта цилиндрическая набитая дура, как мало общего у нее с достославной грушей! Я просто отлетал от нее, ударясь: ударю – и отлечу, ударю – и отлечу. В первом же полушутливом спарринге мне раздробили хрящи левого уха. Больно было до слезного мыка.

Месяца через четыре, в конце зимы, средь бела дня перед дверями 17 школы классическими прямыми ударами я с чваканьем расплющил нос и дней на шесть приклеил к губам Кольки, первого и самого противного волейболиста, брезгливо-недобрую ухмылку, с которой тот по-

тянул меня за курточный рукав «пойти поговорить». Вскоре кровавые сопли разбрызгивал по сугробам и ухарь Вениамин, рыча и оскользаясь на гололедице от моих хуков. Румяные и очень похорошевшие на морозе одноклассницы с охами и ахами зрели их позор. Я оттаивал душой. Поправившись, они вдвоем накрыли меня возле моей школы. В этом бою я понес потери и проиграл по очкам. Но никого из них вместе с Евгенией больше не встречал.

Была, была у Женьки одна повадка, которой она сводила с ума, и я почти уверен, что уже тогда – не одного меня. Обнаружилась эта склонность к милым шалостям летом, в первые дни наших встреч. Прощались мы всегда в сумерках, чаще всего у ее ворот. Целовалась Женька самозабвенно: запрокидывала личико в курчавом обрамлении, крепко смыкала очи и подставляла рот с такой страстной обреченностью, будто со скалы кидалась. Так продолжалось и две минуты, и пять. Пока внезапно я не чувствовал ее пальцев на своем животе. Они начинали погуливать по застывшей коже – рубашка, оказывается, уже была растегнута. Тихонько кралась – щекотали слева направо и справа налево, а мускулы пресса отзывались на их прикосновения невольным перебегающим напряжением. Пальцы опускались все ниже и ниже. Начинали трогать резинку плавок: изучали, оттягивали, осторожно знакомились, а потом проникали под нее, но неглубоко, примерно на длину мизинца. Здесь Евгения всегда отлипала от моих губ, переводила дыхание. словно просыпаясь, молча глядела в глаза с нарастающей властной строгостью. Левая ее рука продолжала обнимать мою шею, а правая уже путешествовала по внутренней поверхности предчувствующих бедер, касалась ткани брюк так же скользяще, как и живота. Пальцы вспархивали все выше и выше, у меня сдавливало горло.

А в Женькиных зрачках вдруг загорался огонек. Нельзя было понять, из чего он состоял, что питало его блеск: детский ли еще азарт или вполне взрослая хищность. Блеск скоро сливался со светом уличного фонаря над воротами. Одновременно моя подруга начинала выпячивать губки – мужчина так делает иногда, выбривая по утрам подбородок. Прелестная их складка по-скоморошьи сминалась и кривилась, превращалась в желанный розовый бутон. Просто созерцать его полнокровную красоту было выше человеческих сил! Я наклонялся, чтобы покрыть его новыми поцелуями – и тут же она останавливала меня совершенно бесстыдным движением снизу: плотно охватывала ладонью то, что давно уже не нуждалось ни в каком уплотнении. Воздух внутри меня отвердевал в этот миг и дыхание прекращалось, поясничный шарнир отказывал. Сердце изнутри сотрясало грудную клетку, рвалось на волю. Я – остальной деревенел в довольно неудобной позе.

Сколько это всегда продолжалось – не могу сказать точно. Я ничего не видел, теперь глаза были закрыты у меня; ничего не слышал, кроме собственного сердца. Думаю, недолго. Кончалось это всегда одинаково. Чуть не с медвежьей мольбой я все-таки обрушивался на

Евгению, но хватал в ожившие объятия одну пустоту: моя смуглая Джульетта уже смеялась из-за калиточной решетки. Кирпичный столб ворот бросал тень на ее лик. Только зубы матово светлели.

Вот после первого такого свидания я и предложил первый раз Женьке замуж. Что я думал тогда – не знаю, но своего будущего без этой девчонки я больше не представлял. Раз за разом я повторял предложение, а Евгения, смеясь, отнекивалась или сердилась. Сейчас уж не помню, какие доводы выдвигала она против. Кажется, ничего серьезного. Сводила все к шутке: «Мы еще маленькие, маленький Жорик», а если я слишком досаждал аргументами – раздражалась. Но ласки свои продолжала. Совершенствовала и разнообразила.

Я был влюблен слепо и страстно. Э-э-э, да что много говорить! Я ведь вешался из-за нее. На этом самом дереве вешался! В апреле это случилось, в конце учебного года. Я натужно заканчивал свой десятый, Женька – восьмой класс. Она еще похорошела к весне, стала превращаться в маленькую женщину. Больше не носилась по улице, только ходила, вырабатывала степенность. Окончательно бросила легкую атлетику. Бегать ей становилось все тяжелее из-за растущих, как на дрожжах, сдобных маминых форм. Она почти сравнялась со мной ростом. Навсегда повынимала заколки с божьими коровками из волос и обзавелась новой школьной сумкой – такой, как у ее молодой «француженки», хаживавшей по Парижу.

Опять была ночь, лунная, изначальная, когда в четвертый раз Евгения отвергла мое предложение. Ночь с отцветающим абрикосом и затерявшимся в небе сонливым редким лаем. Из-за спины, с пустыря, несло сыростью. По тротуару надолго, до самого рассвета протянулись – перепутались тени пушистых веток. Каменный забор вставал на их пути, и все они разом взмывали вверх. За забором, за калиткой, на середине узкой дорожки к веранде клочковского дома стояла Женька в распахнутом плаще и весело плескалась рукой в воздухе: прощалась. Фонарь ясно освещал ее улыбку, всю фигуру. Вдоль дорожки до самого крыльца росли два рядка желтых нарциссов. Евгения уже так долго болтала рукой, что ближние нарциссы, казалось, сейчас закивают поникшими головками от поднятой ею прозрачной ряби.

– Женька! – вскричал я вполголоса, взорванный изнутри отчаянием. Я едва переводил дух после очередного прощанья и все никак не мог поверить, что она опять ускользнула от меня. Ведь я уже плащ расстегнул и кофточку! – Женька, если не подойдешь, я на нем, – потряс пояском от плаща, – сейчас повешусь. На этом абрикосе повешусь!

Евгения оставалась на месте, и безоглядная злая решимость внезапно овладела мною целиком. «Да что она, в конце концов, за половую тряпку меня держит, что ли? Да я зуб из-за нее потерял. Да ради нее...» Я сделал петлю, вдев свободный конец ремня в проем пряжки, и привязал нейлоновую постромку к нетолстому, но крепкому по виду сучку над головой. Стоял на ящике для стеклотары из ближайшего

пункта приема; на нем подремывала у ворот на весеннем солнышке бабушка Паша в телогрейке и валенках с галошами. Не думая, сунул голову в петлю, расправил скользящую ткань по шее. Потрескивала древесина под ногами. Потусторонней ледяной печатью приложилась пряжка под затылок. Мне было и больно, и смешно в эту минуту. Дальше продолжать расхотелось.

– Женька! – глубочайшая жалость к себе бросилась в глаза, затмила мир горячими потеками, – Женька, гадина, гляди, что сейчас будет...

Я стоял на самом краю ящика, на ребре. От осознания нелепого правдоподобия ситуации – «а вдруг еще рейки сейчас проломаются?» – у меня задрожало под коленями. Дрожь быстро разбежалась вверх и вниз по мышцам ног. Больше всего ее пролилось в ступни. Кроссовки внезапно и неодолимо бросились отбивать степ. Ящик со скрипом вывернулся из-под пяток, стукнулся дном о бетон – и я провалился в пустоту.

Больше я ничего не помню. Мягкая податливая синтетика с такой неожиданной удавчье силой стиснула горло выше кадыка, что голова отнялась мгновенно. Она просто отскочила в сторону, а куда – покати-лась ли по пыльному тротуару, подпрыгивая, как в булгаковском романе, или унеслась в звездное небо – было без разницы. Все равно ничего не слышала и не видела моя голова.

Спас меня сук. Он оказался сухим, на ражеи омертвевшей ветви. Повешенным я пробыл какие-то секунды, после чего сук обломился, и тело мое шлепнулось спиной о дорожку. Я совершенно не ощутил удара. Я вообще ничего не мог чувствовать, поскольку пребывал в состоянии абсолютного обморока вследствие молниеносного спазма сосудов мозга – так объяснил мне потом врач. Трусиха-Евгения, все еще продолжавшая быть единственным зрителем в театре одного актера, видела все сквозь решетку. От ужаса она завизжала что есть силы – это в одиннадцать часов ночи! – и понеслась. Понеслась не меня из петли вынимать, а домой. Родители и сестры ее уже улеглись спать. В доме не горело ни огонька, только на веранде лампочка оставалась включенной специально для блудной дочери (отец с матерью знали, с кем она встречается-провожается). Пока она вырывала из постели дядю Федю и тетю Марьяну, пока взмахнул, на грани истерики объясняла, в чем дело, пока они накидывали пальто и совали ноги в шлепанцы, бежали к воротам и отмыкали калитку, пока выходили на улицу соседи из дома слева, потревоженные криком и топотом у Кучковых – мое тело продолжало лежать на камне. Если бы все это время оно провисело, если б не сук, конец мог быть куда печальнее. А так...

Очнулся от затапливающего холода и каких-то частых звонких импульсов. Холод растекался по лицу и шее, все дальше отвоевывал грудь. Прерывистый звон нарастал исподволь, паузы стирались. Он становился все навязчивей, колеблемой струной проникал сквозь барабанные перепонки, пока не заставил раскрыть глаза. Оказывается, от-

летевшую мою голову поймал дядя Федя. Поймал, наверное, в прыжке, как вратарь мяч, и упал с ней на корточки за моими плечами, сжал за виски. Голоногая Марьяна Андреевна, с мясистыми, редко поросшими икрами, в зимнем пальто с неровно торчащим краем ночной рубашки, одну за другой отвешивала мне пощечины. Самым бесцеремонным образом хлестала обеими ладошками по щекам, причитала только: «Ёй, божечки, ёй, божечки, ёй, божечки, ёй божечки...» Зараженная страхом взрослых девятилетняя Танька, сестра Евгении, онемело цедила на мой лоб, глаза, губы, шею воду из белого ковшика с оббитой на боку эмалью. Струя становилась все толще, грозила вот-вот превратиться в поток. И первым, что я осмыслил после фарса самоубийства, было написанное на Танькиной симпатичной мордашке поглощающее желание выплеснуть на меня остатки воды, брякнуть ковшом о дорожку и удрать отсюда подальше. Вокруг стояли еще взрослые, соседи Кучковых. Женька отсутствовала. Соседи что-то взволнованно говорили тете Марьяне, а она продолжала бить и тормошить меня.

Затем разом с выныривающими, все убыстряющимися ударами сердца и обильной испариной чувства насовсем вернулись ко мне. Я ощутил, что лежу в сотворенной старательной Танькой луже. Начинали тупо ныть отшибленные ягодицы, лопатки и особенно – голова, затылок. Из-за неудобства в горле с хрустом глоталось. Но все это несущественно, так, мелочи. Главным же было то, что я видел поверх все еще отчаянного лица Марьяны Андреевны, поверх всех плечей и растрепанных голов: в полную силу цветущее абрикосовое дерево. Бесстрастно полыхающее электричество просвечивало сквозь отдельные лепестки, как сквозь молочные брызги, и мне наконец вспомнилось, чем пах этот цвет: прибитой дождем дорожной дымчатой пылью. Понадобится еще масса сил, чтобы дожить до них, до ухабистых пыльных проселков и слепых июньских дождей, до пронизанных черным солнцем стрижиных петьель. «...И до настоящего тепла». Судорожно перевернулись плечи; я произнес, как мне тогда показалось, в полный голос, на самом же деле просипел только: «Мне холодно...»

Так завершилось, умерло сумасбродное мое отрочество. Со скрипом сдал я выпускные экзамены и получил аттестат зрелости, худший, чем хотел. Поступал в университет на исторический факультет, но не прошел по конкурсу. Баллов хватило лишь для подготовительного отделения, за него я и уцепился. Работать меня взяли, учитывая кое-какие боксерские навыки, вахтером в общежитие строительного профтехучилища. Дежурили мы вчетвером, по 24 часа, сутки через трое. Оставалась еще масса времени для постижения казуса Мильерана.

Евгения все кудрявилась и наливалась. Строжайшей мягкости овал – взгляд с него мог соскользнуть только в еще большее обожание. Скатная радость улыбки, ровный флер смуглоты. Она теперь будто сошла с портретов века девятнадцатого, будто наследовала всем этим княгиням волконским и графиням муравьевым, подхватила и достойно, без надменности, понесла дальше их красоту. Только носом Женька

отличалась: был он у нее вздернут кончиком и капризен, никакой не греческий, никакой не римский. Да ртов таких, как у нее, в чахоточном и золотушном добролюбовском веке просто не вызревало. Что же касается фигуры, то скоро, очень скоро ей предстояло без стеснения надевать любое платье с любым декольте: в ней кипела и распирала кровь извечно-буйного малоросского юго-запада.

Наши отношения к концу лета вроде бы наладились. Мы опять стали встречаться и гулять по вечерам. Но скоро эти свидания оборвались. По моему почину. Женька смеялась как ни в чем не бывало и снова пыталась бескорыстно распалить меня, как в минувшие добрые деньки. Я же в такие минуты постоянно видел перед собой серебряные зерна редких звезд, фиолетовое небо в неподвижном абрикосовом цвету и кучку одетых кое-как, испуганно суетящихся людей. Среди них не было Евгении. Не ее руки сжимали мне бесчувственные виски, не ее губы жалели и сокрушались о моей глупости. Я уже знал, что нелюбим. Что она шлюха и всю кружит головы еще нескольким парням. Я отстал от беспечного Женькиного бега по жизни с долгой грустью, но без сожаления.

А весной, через год после «повешения», все это вообще перестало иметь значение: после досрочной сдачи экзаменов на подготовительном отделении и зачисления на первый курс исторического меня забрали в армию. После учебного центра «Десна» в звании младшего сержанта и со специальностью механика-водителя боевой машины пехоты я оказался в Афганистане.

... Тот придорожный кишлак наш батальон оцепил еще до рассвета, в темноте. Ждали солнца, чтобы начать операцию по зачистке. Согласно данным разведки, именно в нем укрылось крупное, до 250 стволов, бандформирование, сильно потрепанное вчера соседями. Перед нами стояла задача: не допустить ухода противника обратно в горы. Я с командиром машины сержантом Лешкой Крюковым и наводчиком-оператором Пашкой Емельяновым сидел в БМП. Бойцы курили снаружи, прятались за броню, чтоб из кишлака не ударили на огоньки сигарет. Прапора и офицеры кратко переговаривались по рациям. Все напряженно ожидали сигнала комбата: трех красных ракет.

Пунцовый шар солнца успел оторваться от степи, а ракеты все не загорались. Зато на противоположной окраине кишлака, ближней к горам, вдруг сразу, без вступления, часто, сухо и автоматом затрещало. Забухали гранатометы. Дважды ударило безоткатное орудие.

– Ого, – жевавший с ножа тушенку Крюков, наверное, потянул себя за небритую губу по привычке. Душманы явно пошли на прорыв. Из открытого люка мне была видна бледная путаница трассирующих, вставшая над плоскими крышами. Не успел Лешка отправить в рот последний кусок и выкинуть вон банку, как из рации сквозь писк и треск донесся возбужденный голос взводного, прапорщика Штыревого:

– Крюков, Крюков!.. Слышишь меня? Идем в кишлак, в кишлак

идем. Твоя задача: пролом в этом ё... дувале. Быстро мне его проделай! Отделение остается на месте... Приказ ясен?

Лешка подтвердил получение приказа, отогнал бойцов от гусениц, суматошно задраил башню и скомандовал:

– Аненский, вперед давай! Емельянов, приготовиться к стрельбе!

Я натянул шлем, прыгающими руками задвинул свой люк, надавил на газ – и мы вынеслись к окраине на дистанцию шагов в двести.

Кишлак с этой стороны отделялся от полей сплошной глинобитной стеной-дувалом. Дувал был в два с лишком метра высотой, глухим, без ворот и калиток, и виднелся над ним только крыши да макушки цветущих деревьев. Внутрь мусульманского гнезда мотострелки могли проникнуть только через бреши.

Бээмпэшка стояла на прямой наводке. Емельянов быстро сделал шесть выстрелов осколочными, затем еще девять. Над стеной клубилась серая пыль и дым, из вспышек летели куски и комья, но хорошей дырки все не получалось: наша тридцатимиллиметровая 2А42 малоэффективно действовала против толсто сбитого слоя глины. Между тем бой снаружи закручивался все упорнее. Это хорошо чувствовалось по сплошной матерщине Штыревого в наш адрес. Алексей рывкнул мне из-за спины:

– Вперед, Аненский! Таранить будем!

Я вжался в сиденье и снова придавил педаль газа. Машина рванулась, задирая нос, и понеслась к мешавшей ограде. Левее нас туда же кинулись еще две бээмпэ.

Сейчас я в который раз прокручиваю в памяти этот бой и снова задаю себе вопрос: все ли правильно я тогда сделал? Ведь от меня, начальника движения, в те минуты зависели жизни двух человек, а я не сберег их. Дай я задний ход – и может, они уцелели б, хотя бы один! Справедливо ли я получил свою «За отвагу»? Нас посчитали храбрцами. И мы, наверное, действительно ими выглядели: на подбитой машине выполнили требование командира. Но внутри себя я так ни разу и не уверовал в окончательность собственной смелости. Неужели два слова – «пролом» и «приказ» – раскатом своих рычащих и звенящих согласных способны так загнипотизировать ногу на педали, что она привела меня к подвигу? Получается так. Получается, что к своей медали я добрался на одной ноге. И... по головам двух человек?..

Я уже отчетливо видел в прямоугольнике триплекса подпрыгивающий и ныряющий на мелких ухабах дувал, я уже знал, куда ударю стальной переносицей курганца – между двумя тутовыми деревьями. Одно росло возле самой стены снаружи, другое выдиралось сквозь нее изнутри, со двора; оба дерева еще спали и сами были словно вылеплены из глины. Между ними – метров семь. В этот промежуток я и метил послушно взрывающимися 14 тоннами, когда нам в десантное угонила граната из духовского РПГ.

Сзади вдруг блеснуло, грохнуло яростно и рвано. Горячий воздух

омыл лицо. Вслед за его жаром, сквозь звон, прорвался в уши Лехин голос:

– Горим, Жорка! Жорка, горим!.. – и дальше шла совершенная нецензурщина.

Я же затвердел до последнего мускула, как при удалении зуба, давил сок из рукояток рычагов и вжимал газ. Я не уверен даже, правильно ли представляю теперь все, что случилось внутри машины за эти секунды. Барабанные перепонки мелко-мелко дребезжали от взрыва, издавали одну слитную высокую ноту. В памяти звучал только голос Штыревого из рации, доносившийся сквозь помехи частоты, чужие позывные и обрывки переговоров. Голос не упоминал позывных нашей машины – «Пенза-107», он обращался к командиру по фамилии – такое не всегда бывало. Выделял четко: «Приказ... пролом...» В глаза мне дергано летела стена, в которую так хорошо, так точно я прицелился между шелковицами. Дизель по-прежнему преданно послушен – и хотелось поскорее все закончить.

Дувал буквально взорвался под ударом брони. Сквозь вздувшуюся пыль, кроша гусеницами саман, мы по-носорожьи ввалились в довольно просторный сад. Подмяли с разгону одно молодое дерево, другое. Кажется, это были персики: цвели розовым. Я сбросил газ. Остановились, наполовину вывернув из земли третье: высокую сливу. Ни о чем не думая, с механической поспешностью только начал сдавать назад, как вторая граната нам пробила башню.

Я так сейчас думаю: «пробила башню». На самом деле, точно не знаю, куда было второе попадание. Просто сзади слева и, как показалось, сверху рвануло так всепоглощающе, так громоподобно, что перепонки едва не лопнули. Спас шлемофон и случайно раскрытый в этот момент рот. Меня с размаху накрыло дубовой крышкой саркофага, повторяющей каждый изгиб растянутого в кресле тела. Крышка была тяжелой, только для вида обшитой изнутри вонючим и прохудившимся ватным одеялом. Она убить меня могла, эта крышка! Но все-таки не убила. Дернулась голова, как от заветного прямого в подбородок. Ладонь тяжеловеса по азартной дуге приложилась к носу, размазывая его по лицу. Из ноздрей потекло горячее. Хлынуло из глаз. Заглох двигатель. Все.

То, что было дальше, я помню смутно и урывками. Прозвучал из-за спины, пропорол жаркую упругую пелену крик:

– А-а-а-у-у!..

Никогда больше не слышал в человеческом голосе столько ужаса и физической боли. Крик включился сразу, на полную мощь связок, и так же неожиданно оборвался, утонул в пелене. «Надо выбиратья отсюда... Ведь горим же...» Кто кричал, Алексей или Павел, я разобрать не смог.

Помню, с ненормальной старательностью натискивал складывающимся указательным на кнопку пуска дизеля: пытался завестись. Верный курганец молчал убито. Потом тянулся к люку, до всхлипа удив-

ленный ржавой непослушностью тела. «Надо выбираться отсюда... Горим ведь, горим...» Соляровым дымом не пахло. Пальцы беспомощно и долго возили по броне, прежде чем отпихнули в сторону стальной блин. Жерло открылось – на дне колодца посветлело. А вылезти из колодца сил у меня не осталось.

Я сгорбился в своем кресле, весь мокрый от трудов. Жутко тошнило. Помню, сглатывал, мычал и постанывал, жалуясь кому-то на собственную беспомощность. Я уже не ощущал ни крови, ни слез на коже лица, и голова моя готовилась вот-вот отбыть в беспамятство – скорее всего, навечно, как вдруг меркнувший свет из горла колодца на секунду затмился вовсе. Безжалостные руки схватили за комбинезон на плечах, грубо прищемили вместе с хэбэшными погонами мясо – и одним рывком выдернули меня вверх, на броню.

Солнце, свежий воздух и звуки нахлынули потоком и почти смыли омерзительную тошноту. Дыхание заработало часто-часто. Бесхребетным манекеном тело мое протащили по замусоренной броне, скинули на землю, поволокли дальше. «Я помню такие манекены! У соседей в борцовском зале два их было. Брезентовые болваны с человеческими силуэтами, а внутри опилки с песком. Броски через бедро на них хорошо отработывать...»

Кругом, по всему саду, по всей окраине кишлака шел бой. Стремясь зайти в тыл прорывающей кольцо группе, наша рота столкнулась с сильным заслоном на подготовленных позициях. Автоматы трещали слитно и непрерывно, пока без передышки. Сбоку неразборчиво слышались крики команд. Частили орудия бэмпэшек, рванул гранатомет. Спаситель выпустил мой комбез, я мягко ударился шлемом о сырую землю. Он стоял рядом, и я видел только кондотьерски расставленные ноги в зашнурованных грязных ботинках и камуфляжную ткань брюк до середины бедра, с лоснящимися коленками. Выше ничего увидеть не сумел, мешал сбившийся на бок шлемофон. «Это же сам Штыревой! Это же он так стреляет!..» Человек над моей головой бил из «калашникова» частыми – один за другим, один за другим – одиночными выстрелами куда-то. Это был стиль командира нашего взвода старшего прапорщика Штыревого. Мы так его и окрестили: «стиль Штыря». Прапорщик с раздраженным малословным упорством доказывал, что при таком способе ведения огня прицельность и кучность даже выше, но мы все равно предпочитали очереди. «Стиль... Штырь... Прапорщик Штыревой...» Меня снова бесцеремонно схватили и поволокли дальше по холодной земле, мимо бурых и светлых стволов деревьев, мимо шершавых серых стен чужих построек. Наконец под одну такую стену меня уронили. Сухощавое лицо военного многоборца с блекло-голубыми, как васильки в сене, глазами под русской мокрой бесформенностью бровей на секунду склонились, закрыло небо, крикнуло: «Жив?.. Здесь лежи, придут за тобой...» – и пропало.

Я лежал вдоль стены, а в головах у меня мощно и ветвисто высился старый абрикос. Дерево цвело, и я долго и бездумно глядел

сквозь его свадебную красоту в чистую лазурь наступающего мартовского дня. С десятков пчел кружилось меж ветвями, неуверенно седлало цветки. Нечего и говорить, что миролюбивое их жужжание полностью тонуло в мешанине боя, и оттого казались они здесь лишними, случайными. Внезапно земля подо мной едва ощутимо вздрогнула, все остальные звуки на мгновения поглотила волна басовито-емкого взрыва. «Что это еще?..» Я с трудом приподнял голову. Там, откуда меня притащили, над глиняными стенами и заневестившимися макушками сада непроницаемым черным клубом-осквернителем закружился в небо нефтяной дым. «Бээмпэ!..» Стукнулся обессилено затылком. «Это же моя машина горит... Лешка... Павел!..»

Я опять уставился в абрикосовую крону. Пчелы исчезли. Зато теперь облюбовал ее душман-пулеметчик. Издалека, так что дробь пулемета едва высypалась из огромной давящей погремушки, он повел огонь по какой-то ему одному ведомой цели. Пули проносились метрах в трех надо мной. Сначала несколько их туго увязло в стене с обратной стороны, но дух поправился, взял выше, и дело пошло на лад. Редкие малиновые стрелки трассеров одна за одной пронзали ветвистую путилицу. Их завлекающего жаворонкового посвиста слышно не было. Только мгновенным треском ойкали ветки при соприкосновении с несущимся металлом да сыпались вниз белыми мотыльками сбитые цветки. Цветки падали на землю, на пропахший маслом и соляркой комбез, изредка – на мокрое от крови лицо. Я ловил взглядом единственный их полет, следил за смертоносным мельканием трассирующих. И мне до слез стало жалко себя, потому что по-прежнему лежал кулем и толком не мог шевельнуться. До слез стало жалко машины, моей БМП-2 в 300 лошадей, моего безотказного курганца, который пылал вон там, дымил бесполезно и жарко, горел-догорал. «Что с Крюковым? С Пашкой что?.. Вытащили их? Успели?..» – я жалел Алексея и Павла, но уже меньшей жалостью, чем себя и даже машину. Крюков был дембелем, а Павел – дедом; в свободное от войны время они часто становились невыносимы.

Длинная ярко-розовая искра промелькнула, прожгла толстую ветку, исчезла. Тотчас же та обломилась с хрустом, величаво повисла на остатках волокон и лопнувшей коре. Я созерцал ее плотное нутро кековского цвета, и удивлялся, и ужасался слабо инородной быстроте и неодолимой жестокости, твердости той силы свинца, против которого нас, созданных из ломких костей и податливой плоти, бросала чужая воля. «Прапорщик Штыревой!.. Он опять воевать отбыл... Он же мне жизнь спас!!» – и мне стало жаль комвзвода, больше всех на свете, даже больше самого себя. Я думал о Штыревом, глядел на древесный кекс – и побежал, запетлял по извилинам опаловый огонек оживающей памяти. «Ведь уже было абрикосовое небо надо мной. Только фиолетовое, не такое. И сила эта была. Я ее видел уже!.. Когда?.. Песок светлый с оранжевыми пятнами, дети кричали...» И настигаемый игрушечным своим прошлым, а еще быстрее – внезапно появившейся и

растущей стремительнее вдоха острой болью в груди, я наконец блаженно потерял сознание.

Так, под изборожденным стволом, на околице афганской деревеньки с несущественным названием закончилась моя юность. Я стал бесповоротно взрослым человеком. Мужчиной.

В ташкентском госпитале с контузией я пролежал два с половиной месяца. К счастью все обошлось. Отделался пустяками. Только регулярные головные боли остались на перемену погоды, так, терпимые, да говорил первое время после выписки с трудом. В Ташкенте я получил свою «За отвагу». В Ташкенте же узнал, что старший прапорщик Штыревой Александр Михайлович, спасший мне жизнь, погиб примерно через месяц после того боя в кишлаке. Во время очередного рейда его бронетранспортер подорвался на радиоуправляемом фугасе.

Сержант Алексей Крюков и ефрейтор Павел Емельянов сгорели в боевой машине пехоты с бортовым номером 107. Посмертно награждены орденами «Красной Звезды».

В одну из бессонных палатных ночей после известия о смерти комвзвода я не выдержал, включил ночник и до самого рассвета строил письмо домой. Не родителям, не брату, нет – очкарику Игорю, самому умному из всех друзей детства. Я сумбурно, горячо описал ему бой и смерть, и чужую смелость, и свою вину. Последний лист, восьмой, я озаглавил: «Строго конфиденциально» (с неожиданным удовольствием употребил слово, которым давным-давно не пользовался), подчеркнул двумя нервными взмахами и подробно расспросил его о Женьке: как она сейчас живет, чем дышит, с кем крутит романы. «Правду, пожалуйста, только правду, Игорь, теперь все вынесу, любое известие...» Потом уже при солнечном свете, когда соседи скрипели коачными сетками и беспокойно двигались под простынями перед подъемом, я перечитал все письмо. Медленно, лист за листом, порвал первые семь, запечатал в конверт последний, надписал адрес и оставил тоненький прямоугольник на тумбочке. По коридору выплывала дежурная медсестра – седая Лола, рука в кармане; заглядывала в палаты: «Просыпайтесь, молодые люди, просыпайтесь» Я измученно свалился в кровать и заснул почти мгновенно.

Ответ не заставил себя долго ждать. Он был длинен, довольно беспорядочен, небрежно-грамотен: из знаков препинания стояли одни точки. После изумлений и восторгов по поводу моего возникновения из времени и пространства – до этого я с ним переписки не вел, Игорь общался с нескрываемым (и неосторожным) презрением к той, о ком я его спрашивал: Евгения превратилась в настоящую потаскуху, вечерами толчется в баре гостиницы «Москва» и уже несколько раз не ночевала дома, из-за чего у нее случились громкие скандалы с матерью. Отцовской власти теперь над ней не было: дядя Федя полгода назад умер от второго инфаркта. Женька совсем забросила десятый класс и, кажется, спит с мужиками за деньги. Во всяком случае, один привод в милицию у нее уже был.

После выздоровления мне полагался отпуск. Я от него отказался и попросился опять в Афганистан, в свой полк. Моему поступку удивились, пробовали отговаривать, предлагали не глупить и ехать домой пить водку. Но я стоял на своем. Я тогда вообще крепко подумывал о сверхсрочной. В конце концов мой рапорт подписали.

В полку же, вновь оказавшись регулярным свидетелем увечий и смертей, я быстро остыл и на звездочки прапорщика больше не зарился. Мне оставалось служить еще почти год, в глубине души я даже пожалел, что часть его не отгулял в отпуске. Ротные деды, узнав о моем торопливом добровольчестве, разделились на две части: одни одобрительно и крепко пожали руку, другие со стоном обзывали дураком. Мне было все равно. Я старался ни на кого не обращать внимания. Я знал, что прав. Я пошел на безмолвный призыв Штыревого, а он не мог ошибиться.

Дослужил благополучно. Опять гонял на БМП, участвовал еще в пяти боях и вышел из них целым и невредимым. В конце срока получил «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись, пришел сразу на первый курс университета. Был комсоргом группы, затем всего курса, находил в этой работе смысл и даже удовольствие. До мечтательных бессонниц зачитывался поляковским «ЧП районного масштаба»... Вуз окончил в год, когда гнусные седовласые куртизаны и чмокающие плешивые упыри, торжественно именующие себя демократами, разрушили огромную страну, в которой я жил. Подлые и злобные русскоязычные журналоги оглумили и оглушили всю кровь, пролитую за нее. Мой Афган сразу же перестал существовать. Я не надеваю теперь своих медалей на военные праздники. Более того, гибель людей, которых я хорошо знал, некоторых уважал, а некоторых даже любил, потеряла всякий смысл и значение.

Я женат на своей однокурснице Наде. Детей у нас пока нет. Живем у меня, родители выделили нам полдома. Работаю учителем в 17 школе, преподаю историю в старших классах, деяния гетманов и президентов. Со старательной увлеченностью пересказываю то, что не так давно перестало быть историей. Потому что не бывает прошлого без будущего. Прошлое отмирает без будущего, превращается в пыльный и подслеповатый архивный подвал, набитый пожелтевшими бумажками, которые грызут тощие ученые крысы и которые рано или поздно сожгут без остатка.

Каждое утро я иду знакомой до микроскопических подробностей дорогой. Из калитки – направо и по узкому тротуару, вдоль всего одноэтажного квартала – его теперь заасфальтировали. Мимо хором Кучковых, мимо бывшего пустыря на соседнюю улицу, под длинный свод грецких орехов, и по ней дальше, прямо к школе. Целый день хожу по коридорам и аудиториям, где когда-то ходила, бегала, строила глазки, смеялась и дрожала перед опросом учителя Женька. Да-да, Евгения! Разговариваю со старшими коллегами, которые вызывали ее к доске и ставили оценки. (Забавно: о некоторых с ее слов я знаю

куда больше, чем они могут себе представить, общаясь со мной. Знаю, что пожилого математика Юрия Мефодьевича Сеницына с припорошенными мелом и перхотью бостоновыми плечами кличут Синусом, а литератор Зинаида Павловна Горбенко, давно махнувшая рукой на собственный вес старая дева, в порыве ярости может оттащить за уши любого верзилу-Спартака школьных задворок). Последний год я все чаще вспоминаю свою подругу. Ее прелестно вылепленный рот, греховно обольстительную улыбку, лукавую сладость ее глаз и ошеломлявшую меня, теперь заставляющую только покачивать головой смелость. Она действительно стала проституткой. Живет теперь в Мюнхене, довольно состоятельна. У матери бывает редкими, почти тайными наездами.

Особенную боль причинила мне память о Женьке в заключительную оттепель этого февраля. Я возвращался из школы в потемках, после долгого пятничного собрания родителей. В доме Кучковых почему-то не горела ни одна лампа. Все окна двухэтажного особняка под оцинкованной крышей были непроницаемо-мертвы. Зато окна пятиэтажного дома напротив, на бывшем пустыре, оживились особенно, в предвкушении выходных. Их свет долетал сюда, к заборам частного сектора, слабо впитывая небесную черноту: виднелся отлогий сыроватый цемент тротуара, разбухшая от истаявшего снега земля под деревьями. Мокрую грубую шкуру кучковского абрикоса облепили электрические блики, будто ее долго дубили, а потом достали из чана с темнотой, на поверхности которой эти блики плавали. Большая часть ветвируки все же уходила в невидящую начинающейся ночи, отчего дерево казалось мощнее. Я остановился возле него. Останки былой песчаной кучи запроминались под ногами, плотно осевшие, промытые многими водами минующей зимы. Вот здесь стояло когда-то мое орудье. Оттуда вон напознал-переваливался танк. А выпущенные мимо снаряды летели прямехонько в стекла нерожденной пока новостройки. Гладкая древесина шрамов, крепкая еще, полная тайно бродящих соков ветвь. Почва, насыщенная влагой до предела. Ангорская мохнатость туч, в которую кутается низкая луна. Тишина на улице. С ничтожной разболтанностью хлопнула дверь подъезда в сорока шагах.

Пройдет каких-нибудь три-четыре недели, и этот абрикос выдохнет после долгого сна белым цветом. За ним последуют другие деревья вокруг. Снова нахлынет весна, омоет душу утренним скворечьим щебетом, высушит ее южным ветром, разлинет шатающимися пушистыми тенями. Она даст мне перо в руки и, как умный педагог, властно предложит написать на получившемся листе сочинение «Как я собираюсь жить дальше». Меня никогда раньше не пугала эта работа. Я увлеченно строчил, прикусив губу, и в завершении с удовольствием ставил многоточие. Я рос, понимал, мудрел. Ежегодная работа становилась все меньше по объему, но гораздо глубже по смыслу. Из многоточия в конце уверенно исчезли две точки.

Но за последние лет шесть произошло что-то тягостное, страшное

даже. У меня не выходит больше этот труд. Несколько оборванных, полувывмаранных фраз начерно после томительного сидения над душой, зло кривляющаяся рожа, наштрихованная рядом – и все.

Теперь же я просто боюсь весны. Чувствую: мне незачем брать перо. Я не напишу ни слова.

Засунув в карман пальто немеющую кисть, потоптался, прошелся по песку. Мягкость его успокаивала. Свежело, и мерзла голова без шапки. Но идти домой не хотелось. Надежда опять накормит борщом с разварившимся картофелем. Перед сном, уже в ночной рубашке, привычными и сильными движениями штангиста с пригоршней магнезии будет втирать в кожу рук женьшеневый крем. Потом уляжется наконец в постель, будет устраиваться, длинно обовьет меня пахучими и холодными от крема руками, как змеями, и заснет успокоенно. Заснут млечные пятна витилиго на сгибах ее локтей.

Я повернулся лицом к кучковскому дому. Окна по-прежнему не горели: наверное, Марьяна Андреевна, Татьяна с мужем и младшие сестры Евгении пошли куда-нибудь в гости. Поглядел на абрикос – и он показался таким старым, так много запомнившим.

И внезапно мне до крика захотелось, чтоб не было ни зимы, ни ночи, никого и ничего вокруг. Пусть исчезнет мой Афганистан. И университет. И я, тридцатилетний, исчезну. Пусть не будет мюнхенской путаны Эжени, пусть не будет даже моих школьных свиданий. А останется только обласканный зноем ситец в лиловый горошек, его вздымающаяся скользкая упругость – и пальцы, прикоснувшиеся к огромной тайне. Вяжущий блеск любимых глаз, вызывающая и поощрительная девичья улыбка – и сокровенное: «Ай-ай...» Ожидающим всего и все обещающим шепотом. Под солнцем. Под этим вот абрикосом... «И пусть после этого все заново будет! Но только прошу, умоляю вас, умоляю: не так! Не так!!...»

А сегодня это дерево погибло. Пало от расчетливой трезвой руки. Еще одна маленькая смерть... Да полно, разве бывает смерть маленькой?!

Симферополь



Володимир КОРОТКЕВИЧ

КОРОТКЕВИЧ Володимир Семенович (1930–1984) народився в м. Орша. Закінчив Київський університет ім. Т. Г. Шевченка, згодом — Вищі літ ерат урні і Вищі сценарні курси в Москві. Зроблене рано померлим письменником унікальне за обсягом і різнобічністю: збірки віршів, романи, повісті, оповідання, есе, п'єси, сценарії кінофільмів. Найбільш відомі романи «Дике полвання короля Ст аха», «Христ ос приземлився в Городні», «Чорний замок Ольшанський», повісті «Дзвони в глибинах озер», «Зброя»...

Пропонуємо оповідання в перекладі з білоруської Данила КОНОНЕНКА.

МАЛЕНЬКА БАЛЕРИНА

Оповідання

Її любили всі. Маленька, тоненька, чимось схожа на дівчинку в свої вісімнадцять років, вона викликала у кожного чоловіка, навіть слабого, бажання захистити її. Не було на світі нічого більш обманливого за таке бажання, тому що в цьому гнучкому тілі жив у потенції мужній дух борця і майстра. Кожен людинознавець міг би помітити в її серці майбутні якості справдешньої жінки: бажання кохати і бути коханою, тонкий розум, рідкісну для жінок дотепність, уміння відшукати найближчий і вірний шлях до свого щастя.

Та все це ще дримало в надрах її істоти, як невиразна тінь того, що повинно було прийти у майбутньому. Безжарність і беззахисна ясність ніби закликali кожного приборати камінці з дороги цього слабенького кошеняти.

І чоловікам було приємним це: відчувати себе сильними, справедливими і красивими поруч з нею.

Вона ще не знала гроз. Це відразу можна було помітити по виразу сірих очей, які широко і довірливо дивилися на світ, по ширій, трохи нестриманій, скоріше юнацькій, ніж жіночій посмішці. Уся вона була суцільною відданістю людям, і душа її розкривалася назустріч кожній людині з очікуванням одного лише добра.

Це було так очевидно, що навіть керівник хореографічної студії при оперному театрі, грубий, як буйвол, і товстий, як морж, Нісов-

ський, народний артист республіки, ім'я якого ще зовсім недавно гриміло по всій Європі, скликав якимось танцюристів «чоловічої статі» і зробив ім «накачку», він, який цілими днями тільки й робив, що торохтів лайкою, як пузир з горохом.

— Щоб ви у мене знали, з ким маєте справу, фанфарони. Дівчисько усім вірить, тягнеться до всіх... як соняшник... І якщо хтось спробує цю віру... Голову тому відкручу. Все одно у вас ноги розумніші за цей придаток... А ви чого там посміхаєтеся, Клявін? Я цю вашу бридку приказочку знаю: «поживемо – побачимо». Так ось, перший крок у цьому напрямку буде вашим останнім кроком по моїй сцені. Утішайте Лідовську, вона після третьої пластичної операції зустріне це не без приємності... І вам, у сенсі майбутнього, буде корисно. І додав:

— Ми повинні берегти її ілюзії. Вона – талант.

А затим вибухнув:

— Чого лики відвертаєте? Ніби я вас не знаю. Занадто у вас бурхливе, м'яко кажучи, вирування гормонів... Банда павіанів, а не студія.

Клявін образився. Образилися й інші. Тому що ніхто і без слів Нісовського не міг покритикувати «маленьку». Але Нісовський у новій іпостасі був такий незвичайний, що всі, остовпівши, не виказали навіть поглядом своєї образи.

Потім всі розійшлися. Нісовський пішов у буфет і, сидючи за келимом шампанського, бурчав своєму товаришу по чарці:

— Не в тому справа, що таких талановитих, можливо, з часів Рамо не було... Річ у тім, що вона так швидко, так віддано дивиться на світ... І це в наші часи... Нестерпно!

А Клявін, стрункий юнак з дуже гарними ногами і дуже, поки що, вузькими грудьми, Клявін, якого підозрювали в тому, що він великий «бабник», пішов плакатися в жилетку своєму другу, скаржитися на грубість «талановитого і розумного» наставника. Потім він попрямував до виходу, зустрівся в коридорі з «маленькою» і мовив їй тремтячим голосом:

— Бачте, маленька, вилаяли мене за вас. Наш мегопотам гадає, ще коли він всім «грубить», так і ми можемо грубощі вам говорити.

Потім він несподівано заспокоївся. Глибоко й уривчасто зітхнув. Запропонував:

— Давайте, Ніно, я хоч валізку вам до трамвая піднесу. А то ви щось сьогодні бліденька. Стомилися, певно.

Він ішов поруч з нею, довгоногий, незграбний, незважаючи на всю танцюристську грацію, і тільки тут стало ясно, що не така вже вона й маленька, – звичайний жіночий зріст, – що враження мініатюрності – від тендітності і ніжної тонкості її постаті.

На вулицях Москви двірники згрібали в люки коричнево-брудний, схожий на розталу горіхову халву, сніг. Із-під заметів текли струмки, і сонце грало в них, попадаючи інколи гострим промінцем в очі перехожого і змушуючи його весело чхати.

— Ви любите весну, Вітю? – запитала вона.

— Дуже, – він почервонів. – Вона мудра... і легковажна.

— Як Моцарт, – сказала вона.

Клявін ішов з нею, погойдуючи валізкою, скоса позирив на пасемце волосся, що вибілося з-під берета, на примружені від сонця очі, і йому, вперше за останні місяці, було гарно жити.

Ветошним провулком вони вийшли на Варварку (вирішили іти пішки) і аж заплушили очі, так нестерпно яскраво, яскравіше від сонця, палала перед ними в блакитній високості баня церкви Івана Великого.

Навіть бруднувата Москва-ріка сьогодні здавалась голубою, увібравши в себе стільки блакитного неба, скільки могла умістити.

На розі одного з будинків перед Великим Кам'яним мостом висів намальований на полотні плакат: рука в колючій рукавиці тримала за глотку маленького плюгавця з надзвичайно підлою пикою. Плюгавець сіпався рученятами, даремно намагаючись визволитися.

Незрозуміло було тільки, для чого на такого миршавця вся рука: вистачило б одного щигля – і з духом святим.

Проходячи повз плакат, Клявін тяжко зітхнув і опустил очі. Вона почувала це, зиркнула краєм ока на плакат і сказала:

– Справді жакливо, Вітю. Що ми їм такого зробили, що вони кожного дня ідуть на диверсії, навіть у селах отруюють колодязі?

– Не знаю, – уникаючи розмови, сказав Вітько.

– Стільки радості довкруг. Світла. Весни. А вони... хоч би один зрозумів, що люди хочуть, аби їх залишили в спокої.

У легковажного Вітька поповз по щоках бурий рум'янець. Він підняв підборіддя і, певно не втримавшись, суворо сказав:

– Дядька Івана заарештували... Три тижні тому.

– Що?! – Очі її зробилися широкими. – За що?

– Не знаю. Знаю тільки одне: він завжди любив дітей. Як ніхто.

Так, вона знала це й сама. Приїжджав дядько Іван – і у Вітьковій квартирі стояв розгардіяш. Діти і він перевертали все догори ногами. Він умів бути тигром, співати солов'єм, голосно сміятися, привозити дітям подарунки, – всім, хто дружив з Вітьком або був його сусідом, – умів швендяти з дітьми по садах, зоопарках і кондитерських, умів малювати карикатури на самураїв. Та й чого він тільки не вмів? Життя в ньому було – на десятьох.

– Не знаю, – суворо сказав Вітько, – але він брав Зимовий, був організатором повстання у Смоленську, служив у Першій Кінній. Він всій Чукотці ніс освіту. Якщо він не керівник, то хто ж тоді керівник?

– Заспокойся, – попросила вона. – Він хороша людина. І я нікому не повірю, що він хотів віддати Далекий Схід японцям... Ось що... А якщо ти віриш – йди далі одна і не смій зі мною більш розмовляти. Вітько помовчав і додав:

– Я майже довів тебе додому.

Він був вихований хлопчик.

– Вітю, – тихо мовила вона. – Людина може змінитися. Але ти заспокойся. Я не вірю, що Іван Миколайович міг зробити це. Стосовно інших повірю, але щодо нього – ніколи. Тут очевидна судова помилка. В ній розберуться.

Клявін опустил вії.

– Так, – мовив він, – звичайно, розберуться.

Він не сказав, – та й не міг сказати, – що дядько помер у тюрмі тиждень тому. Від запалення легенів.

Він не сказав. «Маленьку» всі жаліли.

– Ти не хвилюйся так. Все буде добре.

– Прощавай, – сказав Вітько.

— Ти не зайдеш до нас?

— Ні, — сказав він, — прощай.

Вона дивилася йому в спину і дивувалася: постать у Вітька була зовсім дорослою, не такою, як місяць тому.

Вона вірила в те, що все обійдеться: адже на дворі була весна, а життя у всіх було попереду. І тому, підходячи до свого дому, вона почувалася так, ніби майже нічого не змінилося на землі.

Їхній будинок здіймався над будівлями Замоскворіччя семи-поверховим громадям. Колись один з Тит Титовичів зрозумів, що дво-поверхові особняки немає сенсу будувати навіть у цій частині міста, що майбутнє — у прибуткових жмарочосах. Так з'явився на світ будинок Ніни: зелений фасад у стилі «модерн», високий дах, фігурні вікна.

На решту три стіни модерну не вистачило, вони були з червоної цегли, потемнілої від кіптяви і часу.

І зовсім темним був внутрішній двір, куди виходило одне з вікон їхньої квартири. Темний, схожий на колодязь, двір.

Вона ішла двором. Проміння надвечірнього сонця падало на її постать, на попелясті коси, закручені довкруг голови, на валізку, затиснуту в худенькій руці.

Біля парадного ходу стояв Антон Набатов, мужчина років під сорок, в капелюсі набакир, покурював, дивився на «маленьку» вузькими веселими очима. Ніна знала: Антон чекав дружину — шовечора вони разом ішли кудись, бо Антон любив музику, сміх, гостей, взагалі життя.

— А, Терпсихора, — незлобно мовив Антон. — Ну, як там пострибується?

— Нікого, дядьку Антоне, танцюємо.

— Під чію дудку?

— Під дудку Нісовського.

— Ну, це ще не найгірше.

Дружина Антона вийшла з парадних дверей, на ходу розглядаючи в люстерко ніс.

— Глянь, Ніночко, — пошепки сказав Набатов, — далі носа нічого не бачить.

«Маленька» посміхнулася. Вона любила Антона.

А дружина Набатова вже помітила їх і заговорила якоюсь незвичною, співучою говіркою (вона була з півночі, поморка):

— Ніночко, голубонько. Так це ти тут з моїм лобурякою розмови точиш? Приходь завтра до нас. В Антона день народження. Буде твій улюблений струдель з маком.

— Прийду.

І каблучки маленької балерини зацокотіли по сходах, злегка затихаючи в кінці кожного прогону.

Дома вона роздятнулася, відкраяла собі шматок хліба з сиром і з ногами всілася на підвіконня. Надходили гарні дні. Зараз ще не дозволяють тримати вікна відчиненими, а через місяць вона буде ось так сидіти на вікні, вітер дихатиме в скроню, а з двору долинатимуть голоси дітей. І вітер гортатиме сторінки книги, засипатиме рядки білими квітами бузку, що стоятиме у вазочці тут же, на підвіконні.

Господи, швидше б! Швидше б життя!

На колінах у неї лежала книжка Етьєна Боссі («маленька» гадала, що їй ліпше читати серйозні книги), але вона зараз не дивилася в неї.

Сонце спустилося зовсім низько, пофарбувало Замоскворіччя в помаранчевий колір, прикрасило навіть найстаріші, найбільш облуплені будівлі. Червоні стіни барочної дзвіниці налили густим багряним полум'ям.

Загримкотів трамвай у Климентовському провулку.

І все це було Замоскворіччя, батьківщина, любий куточок, де влітку так квітуть липи, де в напівкруглих вікнах мансард іде своє життя, де граються діти біля будиночку Островського.

Все ще повинно було бути: музика, яку вона любила над усе, книги, які з такою ніжністю беруть тебе за руку і ведуть у свій світ, море, яке вона неодмінно побачить.

І, можливо, кохання. Одного разу під цим самим вікном зупиниться увечері Поет. В нього буде довге золотаве волосся, блакитні, як море, очі. Він буде зодягнутий у чорний строгий костюм. Він буде ставний і в десять разів гарніший від Блока. З'ясується, що він побачив її в театрі і цілих два місяці ходив вулицями Москви, аби натрапити на її слід. І ось знайшов. Він візьме її за руку і скаже... Що він скаже, «маленька», по молодості літ погано уявляла собі, але вона знала: це буде щось таке прекрасне і тепле, що буває на землі раз у сторіччя.

Вона дала собі слово, що не кривдитиме його. Тільки спочатку трішки повагається, щоб він написав про неї і про себе найкращу на землі поему.

Чомусь вона ніколи не ловила себе на думці, що наділяє Поета деякими рисами Вітька. Вітько був дурничкою, Вітько був свій, домашній, йому можна було вкинути за комір сніжку (це називається «море Лаптевих»), покелкувати з нього в компанії... Пізно ввечері вона, вже вклавшись у ліжку, знов згадала про Вітька. Сон підкрядався до її очей, і тому все денне здавалось простим, легким, не вартим уваги. Вона засміялась, підтягнула коліна ближче до підборіддя, згорнула, як кошенятко, у своєму затишному ліжку.

— Все, все, все добре. Все буде, обов'язково буде добре.

І вона провалилась у м'який світ, де жили сни.

Вона не бачила, як побігли на стелі відблиски фар автомобіля, не почувала, як він зупинився біля парадних дверей (і світло зупинилося на стіні, неподалік від узголів'я «маленької»), не бачила, як з авто вилізли люди і увійшли до під'їзду. І ще не бачила вона того, як люди вийшли з під'їзду і разом з ними вийшов Антон Набатов. Обернувся до дверей і ніжно мовив комусь:

— Я скоро повернуся, любка... Не плач...

Вона нічого не чула. Вона спала.

...Антон поїхав у далеке відрадження. Але життя не змінило свого плину. Були маленькі прикросі, були маленькі радощі. Радощів було більше.

А невдовзі прийшла і велика радість. Нісовський повідомив їй, що за виняткові успіхи деякі юнаки і дівчата одержали право брати участь в концерті, що відбудеться у Кремлі...

Це були дивні дні, всі ці дні підготовки: метушня, безладні звуки музики в різних кінцях будинку і, нарешті, збирання.

У машині Ніна опинилась поруч з Вітьком. Пахло пилом і духами, плівла назустріч гомінка вулиця, ревли клаксони зустрічних машин. Але Вітько все більше і більше змурнішав, спостерігаючи за веселим потоком людей.

— Як справи з Іваном Миколайовичем? — запитала вона.

Вітько глянув на її обличчя і помітив на ньому такий сяйливий, такий щасливий вираз, побачив такі довірливі очі, що тільки глухо кашлянув.

— Відпустили, — похмуро мовив він.

— От бачиш, я ж казала тобі.

«Маленьку» всі жаліли.

...Концерт був у Георгієвській залі, великій, білій з золотом. Всі стіни були в прізвиськах: тут записували імена повних георгієвських кавалерів. Певно, тут було і прізвисьце діда, аби лиш тільки був час пошукати його серед тисяч інших. Але часу на це не було... Часу взагалі ні на що не було. Тому що треба було виступати. І Нісовський нервував через те, що у когось щось не ладилось з костюмом, і ще тому, що в цій чортовій залі поганий резонанс, звуки глухнуть, набігають один на одного, а дівчата молоді і можуть збитися.

Глядачів було не дуже багато, і «маленька» майже не хвилювалась, тим більше, що виступала вона в кордебалеті, вела танок Кави з «Лускунчика». Вести, щоправда, тяжко, але все ж це тільки кордебалет.

І раптом серце її впало від радості і, одночасно, від неймовірного страху. З дверей, що ліворуч від тимчасової сцени, вийшов Він, тисячу разів знайомий по портретах і все ж зовсім не такий.

Він тихо сів у найближче крісло і приготувався слухати.

Дівчата, як відзначила «маленька», нічого не помітили. І це могло їй взяти себе в руки, пересилити тремтіння в колінах.

«Дівчата не повинні помітити, — подумала вона, — інакше зіб'ються, хвилюватимуться, все вийде гірше».

Вона перехопила погляд Нісовського, зрозуміла, що він думає про те ж саме, і непомітно кивнула йому головою.

Перші звуки вступу, вабливо-солодкі, щемливо-млосні, розлилися під склепінням зали. І «маленька», повагом, знаючи, що у подруг, як у всіх, хто уперше виступає, стоїть перед очима рожевий туман і вони нічого не бачать, повела на сцену гнучкий, коричневий із золотом ланцюжок.

Сама вона, на відміну від них, бачила все. Вона могла бути надзвичайно розсудливою і вольовою, ця маленька балерина.

Вона знала, що накладна смоляна коса буде звиватися так, як забажає господня, що її тоненькі, як стебелинки квітів, руки зараз вигинаються у знеможі і здаються справжніми жіночими руками, що шоколадні з золотом шаровари не приховують рухів її ніг.

І справді, видавав її хіба що живіт, вузеньку смужечку якого було видно над шароварами, зовсім ще дівчачий, худенький живіт.

Чоловік — вона бачила це — дивився на сцену «звичайними» очима.

Але потім прийшло захоплення танцем, яке можна порівняти тільки з натхненням поета, і вона не помічала вже нічого. Вона не побачила,

що саме з цієї хвилини змінився погляд чоловіка, що сидів у кріслі, змінився, став зацікавленим, розчуленим і якимсь незвично добрим.

А Нісовський захоплено дивився на неї і шепотів сам собі:

— Розумниця... Не розгубилася... Розумниця моя.

А сам думає:

«Вона буде більш, ніж Тальйоні, більш, ніж Істоміна... І все ж, це не амплуа, їй би Одетту, Лебеда».

Коли вони зникли зі сцени, коли їх тричі знов викликала на сцену овація, маленька помітила, що чоловік аплодує і дивиться на неї. Сумнівів бути не могло. Саме на неї.

Вона не знала, що була зворушлива у своїй молодості і сонячності, що вона танцювала надзвичайно добре. Вона знала тільки, що все прекрасно, усе як мусить бути.

Коли вона передягнулась вже у звичайний, дуже строгий англійський костюм і стояла осторонь сцени, до неї підійшов широкий чоловік з невиразно-мужнім обличчям, яке усе, здавалося, складалося з випираючого підборіддя і глибоко провалених синіх очей.

Він поклонився їй і, важко рухаючи вилицями, проказав чотири слова, ніби каміння вергав.

— З вами хочуть поговорити.

І вона здогадалася, хто хоче поговорити, і зраділа цьому до піднесеної, радісної хвилі у грудях

Нічого не помічаючи довкола, — ось коли з'явився рожевий туман, — вона пішла поруч з широким чоловіком у задні ряди крісел, звідки посміхався їй вождь батьківщини. Ближче. Ближче. Ближче.

— Добридень, дівчинко, — сказав він.

— Здрастуйте, — беззвучно відповіла вона.

— Сідайте тут, — він указав їй на місце поруч.

— Дякую.

Він був найкрасивіший і найприємніший від усіх. Навіть те, що (як вона помітила раніше) ноги в нього були коротші за тулуб і, сидячи, він здавався більш монументальним, ніж насправді, подобалося їй. «Як Гете», — міркувала маленька. В нього було сивіuche волосся, прямиий ніс, обличчя, злегка побите віспою, і примружені очі, біля яких тривко лежали гусячі лапки зморшок.

— Як вас звати?

— Ніна.

— Ніна... Гарне ім'я, Ніна... Наше.

— Я знаю.

— Ну, як вам подобається тут?

— Дуже.

Вона нічого не помічала, окрім цього обличчя зліва. І вона була така щаслива, що, здавалося, ще мить — і серце розірветься, не в змозі витримати цього.

— Ви знаєте, що ви дуже талановита?

— О... що ви! Мені просто хотілося станцювати якомога краще.

— Чому?

— Мені хотілося, аби вам було веселіше і легше. Мені здалося, що ви трохи сумні, і мені стало жаль. Ви, напевно, дуже стомилися на роботі.

Його обличчя ще більш пом'якшало. Він начеб уперше помітив її.

— Ви, напевно, добра, Ніно?

— Не знаю.

На сцені почалося «Болеро» Равеля, у якому Вітько вів головну партію, ревнивця. У полум'яно-червоних відблисках мчали по сцені постаті, палко-тривожний іспанський танець звучав смертною пристрасстю.

— Гарно танцює, — мовив він.

— О, .. ви не знаєте, який він талановитий, найталановитіший від усіх.

— Ви танцюєте краще.

— О ні, ні. Він найкраще.

— То ви ще й заздрощів позбавлені, — задумливо мовив він. — Що ж, можливо, й так.

І раптом по-змовницьки підморгнув їй.

— А що, коли по закінченні танцю ми утечемо від них? Тут зараз скучно буде. Вийде Тоболевський і почне товстим голосом про вино співати.

— Як хочете, — тихо сказала вона. Вони справді утекли. Встали і нечутно вийшли із зали, попрямували кімнатою, в яку, як на двір, виходили сходи старого г'танку, прикрашені двома левами.

— Хочете подивитися палати старожитних царів?

— Дуже. Я ніколи не бачила.

Вони попрямували сходами вгору. Нагорі маленька озирнулася і помітила широкого чоловіка, який теж вийшов із зали і дивився їм в спину, засунувши руки в кишені сірого пушистого костюма.

Він зробив вигляд, що вийшов просто покурити.

Потяглися тереми, низькі, з малесенькими вікнами, з темними розмальованими склепіннями стелі. Все пахло нежилим: грубки з кахляними сидіннями, крісла, оббивка яких здавалася покритою пилом.

— Ну як, — посміхнувся він, — хотіли б ви жити «по-царськи»?

— Що ви, — здригнулась вона, — тут, напевно, ніколи не провітрювали, а я люблю повітря, сонце, люблю ходити босоніж по луках. І щоб нікого не було довкола.

— Авжеж, — зітхнув він, — це добре... босоніж.

— Приїжджайте до нас, — загорілась маленька, — у нас дача напівпорожня, сад і річечка тече така прозора, всі камінчики видно. Ви любите козине молоко?

— Гм... колись любив.

— До нього треба тільки звикнути. І потім уже навіть найкраще коров'яче молоко здається несмачним... Справді, приїжджайте.

— На жаль, це не завжди залежить від мене, дочко.

— Чому? Зібратися й поїхати. Це кожний може.

Він посміхнувся.

Тепер вони йшли колишньою царською опочивальнею. Смішно було бачити крісла і ляльково-маленьке ліжко під балдахіном.

— Мабуть, і ноги простягнути не можна було, — сказала маленька.

— Так, жили не дуже.

У самому настрої цих покоїв, у вузьких переходах поміж ними, у низьких склепіннях було щось тривожне. Маленька зітхнула:

— Їм, певно, дуже страшно було тут жити. Кажуть, в Івана Грозного кілька дружин отруїли.

Вона не помітила здивованого виразу його очей і продовжувала:

— І знаєте, мені його жаль. Такий сильний, всі перед ним схиляються, а жив завжди в таких покоях. Довкола змови, довкола вороги. За кожним вигином коридору може підстерігати людина з кинджалом... Бр-р...

Помовчала:

— І для чого усе це було їм — незрозуміло. Краще за все жити, коли нічого не хочеться, окрім роботи і мистецтва. Та ще щоб усі тебе любили.

— Це правда, — тихо сказав чоловік.

Коли вони знов спустилися сходами, широкий мужчина у сірому костюмі все ще стояв там.

— Це мій Сторов, — сказав супутник маленькій, — бачите, стоїть, боїться, як би хто не відкусив від мене шматка.. Ну й остогид він мені.

— А він нічого собі, здається добрим.

— Він? — супутник хмикнув. — Ну, це ви вже від занадто великої довіри до життя.

Він зупинився перед дверима зали.

— Ну ось ми й прийшли. Я гадаю, ви не востаннє тут, побачите ще усе. Ви дуже хороша, Ніно, і, мені здається, ваша доля — радувати талантом і ширістю людей.

І сказав Сторову:

— Запишіть. Ця дівчинка буде тепер теж виступати у нас.

Подивився на маленьку добрими очима:

— Прощайте. До скорої зустрічі.

...Потекли дні. Чоловік не забув своєї пропозиції. Тепер маленька виступала майже на всіх концертах. І він завжди знаходив час поговорити з нею, запитати, як вона живе, які в неї успіхи. Одного разу навіть поклав їй руку на голову і лагідно погладив попелясте волосся.

Маленька стала помічати, що в студії ставляться до неї більш уважно і насторожено, з підкресленою лагідністю, їй це було неприємно. І лише один Нісовський, як і раніше, навіть більш грубо, стукав ціпком об підлогу через найменшу її помилку.

— З вас нічого не вийде, коли так піде далі... Помрете під тином. Як начеб це був цілком природний кінець для жінки: смерть під тином.

Нісовський лаявся даремно. Він і сам відчував це. Маленька вступала у розквіт таланту. Талант і вона здавалися тепер одним поняттям. Вона танцювала так, що навіть у бувалих і тому скептичних знавців з'являвся теплий вогник в очах

Від концертів була і ще одна користь: на очах повеселішав похмурий останнім часом батько. І все ж вона дуже стомлювалась від них і якось навіть спробувала відмовитися від запрошення. Тоді батько уперше в житті, нагримав на неї. Ображена і здивована, вона поїхала, а потім, вночі, батько просив у неї прощення ледь не з сльозами на очах.

Більше вона не відмовлялася, хоч там її цікавив лише один чоловік з гусячими лапками біля очей, до якого вона, незважаючи на майже безмежну любов і повагу, відчувала інколи невиразне почуття

жалю. Вона не знала, звідки це. Він був просто найкращою людиною у світі, і їй було його шкода. А на концертах були завжди майже одні і ті ж самі люди. І всі невдовзі уже знали її і зустрічали усмішками.

Маленьку всі любили. Так минув рік. Вся та ж сонячність відзначала її, і вона не стомлювалася радувати своєю щирістю людей. І кожному хотілося, побачивши її, розчулитись і бодай хоч чимось допомогти. Очевидно, бувають люди, які однією своєю присутністю каталізують у оточуючих добро.

Була у маленької і образа, її почав уникати Вітько Клявін. Під час зустрічей стримано кивав головою, а якщо міг – намагався завернути кудись убік. Вона не розуміла, в чому справа, гнівалася, кілька разів пробувала поговорити з Вітьком, але він відповідав одне:

– Що ти! І не думав. Тобі здалося. А в очах його був майже фізичний вираз образи і туги.

Можливо, тільки зараз маленька зрозуміла, як не вистачає їй Вітька, його відданих очей, його мовчазного кохання, його не завжди дотепних жартів. Зрозуміла, але нічого не могла змінити.

Якось вона – уже вкотре – брала участь в концерті. Цього разу вона танцювала «Умираючого лебедя» Сен-Санса. І знову чоловік сидів збоку, на своєму звичайному кріслі, і дивився на неї.

Вона відчула, що танцює краще, ніж будь-коли. І як тільки почали умирати останні звуки, коли вона схилилась і почала никнути, вона краєм ока помітила, що він підніс хусточку до очей.

Білі пишні пачки закрили їй ноги, тужливо і безвольно схилилась її худенька оголена спина. Схожа здалеку на білосніжну квітку, вона «умирала», і коло світла, звужуючись, освітлювало нарешті тільки дивної краси кисть руки, яка ледь ворушилася і здавалася опалою пелюсткою білої троянди, в якій зникає життя.

Аплодисменти цього разу ледь не розірвали стриману залу. І цей Чоловік аплодував їй разом з усіма, не намагаючись стримати сліз.

Після концерту, після банкету, на якому він сидів поруч з нею, він сам вийшов провести її до машини.

Було пізно. Москва засинала. Безсонно горіли червоні зірки на шпильках веж. Зрідка долинали із-за стін гудки запізнілих автомобілів. Ніна ішла поруч з ним і думала чомусь про Клявіна. Вони були теплими, ці думки. Захотілося взяти кучеряву Вітькову голову, притиснути до грудей і сказати нечутко кілька слів утіхи, щоб дитяча образа зникла з його очей.

Вони підійшли до машини, і тут чоловік здивував її:

– Сідайте... Мабуть, і я з вами сяду, проведу вас додому.

– Що ви, – сказала вона, – нащо я відбиратиму у вас дорогоцінний час?

Він посміхнувся:

– Що ж, ви гадаєте, я ніколи не сплю і не відпочиваю?

І хоч маленька, вихована на хрестоматіях, думала саме так, вона сказала:

– Ні, звичайно. Але ми вже на дачі, це дуже далеко.

– Тим краще.

Він сів з нею і почав розкурювати ляльку, відому всій країні.

У першу машину сів суворий Сторов, з ротом, схожим на вузьку щілину; в задні машини теж сіли люди.

Кортеж рушив. Вузька чорна машина, в якій сиділи маленька і Він, вилетіла з брами Боровицької вежі і помчала по Волхонці, м'яко зашурхотіла шинами по асфальту.

В червоних спалахах люльки вона бачила його жорсткуватий профіль, зсунуті брови, холодний вираз очей. Потім він подивився на неї, і цей вираз відразу змінився, став якимсь особливо м'яким, майже зворушливим.

— Більше ніколи не танцюйте лебеда, — глухо промовив він, — вам не можна.

— Чому?

— Вам не можна гинути. Навіть на сцені. Ви сповнені життя, сонця, ви відкриті цьому небу і цим людям. І я не знаю, чи приходять коли-небудь погані думки у вашу голівку.

— Часом приходять.

— Не вірю, — сказав він.

Вони їхали по Великій Пироговській. Тьмяно червоніли в темряві стіни Новодівочого монастиря і важко білів силует собору.

— Колись ви будете великою, маленька балерино. Але я не думаю, що навіть тоді ви будете неширою... Мені легко з вами... як з небагатьма... Старому добре бути серед таких, як ви.

— А якщо старші? — запитала вона.

Сусід спохмурнів:

— Їм мало кому можна вирити, Ніно. Людині не можна вірити після двадцяти п'яти. Але ви не така. Ви не будете такою. І я дуже жалкую, що в мене нема ще однієї дочки. Такої, як ви.

— Чому жалкуєте?

— Тому що ви пробуджуєте у кожному віру в людей.

Довкола вже мигтіли переліски, світилися в п'ятмі, як свічки, стовбури беріз. Пругкий вітер, насичений добрими пахощами ночі, бив у обличчя.

— Добре, — сказав він.

— Ви знаєте, — мовила маленька, — позавчора я прокинулась вночі і думала про вас. За вікнами були дерева і ніч, і мені стало жаль, що ви не бачите цього, сидючи в тих старих стінах. І мені так чомусь стало жаль вас, що я навіть трішки поплакала.

Чоловік огустив важкі брови, ніби намагачись сховати за ними очі.

Машина завершила до дачного селища, швидко промчала сонною вулицею, проминула березовий гай на узгір'ю і зупинилася біля хвіртки.

Тут було лише п'ять дачок, на відшибі і кожна на певній відстані від іншої. Дача батьків Ніни була углибині, за садом; по стежині до неї було метрів триста.

На її подив, супутник теж вийшов з машини.

— Я проводжу вас до гтанку.

— Що ви?! — злякалась вона. — Не треба. Ви й так були такі добрі і грені.

— А якщо вас тут хтось покривдить на цій стежці?

— Що ви, тут і берези свої.

— А я все ж проводжу.

Він ішов поруч з нею, і вона боялася так, що падало серце, боялася за нього. Хіба ще мало залишилося тих, недодушених колкочою рукавицею? А раптом щось трапиться? Тоді вона не простить собі.

Але супутник, здавалося, нічого не помічав, ішов і з насолодою дихав теплим нічним повітрям, настоящим на лагідному запаху беріз.

— Який світ, — мовив він. — А втома все сильніша, дівчинко.

— Вам потрібне море, багато повітря, добрих людей довкола.

— Людей? Можливо... Коли б ці люди всі були, як ви.

Він помовчав трохи і несподівано запитав:

— Чи є у вас жених?

— Є, — несподівано для себе сказала вона.

— Йому пощастило. Хто він?

— Той хлопець, що тоді танцював «Болеро».

— Гарний хлопець... Хороший?

— Хороший. І дуже дурненький. Наївний, — з ніжністю відповіла вона.

— Це добре. Наївні не носять в серці зла... Будьте щасливі з ним. Я допоможу, щоб ви були разом... І, якщо запросите, прийду на весілля.

— Обов'язково... обов'язково, — сказала вона, я навіть не знаю, за що, за що ви такі добрі до мене.

— Облиште, — мовив він, — ніякий я не добрий.

Вони зупинилися перед дачею. Вікна уже всі були темні. Над садом, над дахом будинку панувала тиша.

— Ну, давайте попрощаємось, — сказав він. — Я не буду заходити. Не треба турбувати людей.

Маленька вже зовсім було пішла, але раптом обернулася до нього:

— Я вас прошу, я вас дуже прошу, — схвильовано сказала вона, — не думайте, що людям не можна вірити... Адже ви не думаєте цього широко, ви не можете так думати!

Чоловік стояв і дивився на неї з прихованою посмішкою.

— Так можна? — спитав він нарешті.

— Можна, — упевнено видихнула вона. — Вони добрі.

— Добре, — сумно мовив чоловік, — до побачення, дочко, спи спокійно... І не плач по ночах за старих людей.

Він обернувся і пішов до хвіртки. Маленька дивилася на нього, і жаль до цієї людини, яка ішла в ніч, знову стиснув її серце.

А чоловік вийшов з хвіртки і зіштовхнувся зі Сторовим. Той стояв, стиснувши вузький, як шілина, рот.

— Район досить підозрілий, — сказав Сторов.

— Що, не нажерлися? — досить добродушно мовив чоловік.

Сторов подивився на нього з відданістю і сухо — цей тон, як він вважав, найбільше відповідав його місії вірного охоронця — сказав:

— Справа, звичайно, не в тому, щоб арештувати. Справа в охороні. Ви знаєте, вони завжди раді учинити зло тим...

Тоді чоловік теж звужив очі і насторожено обвів поглядом сусідні будинки.

— Так, — сказав він і додав за Сторова, — тим, до кого я добре ставлюся... — Роби, як вважаєш за потрібне, придивися... І щоб з цієї голівки — жодна волосина не впала від чиеїсь руки. Зрозумів?

Машини рушили. Він сидів на задньому сидінні і тяжко думав. Потім думки перейшли на спогади. Пригадалася Грузія, якою вона була п'ятдесят років тому, коли він, десятирічний, уперше по-справжньому відчув весну. Вона була прекрасна. Вона була такою і потім, коли він був юнаком. Пригадався Горі, плин Ліахви, буйне квітання ткемалі на схилах гір.

Светицховелі постав перед його очима, ясний, піднесений до небес у місячному сяйві. Серце летіло назустріч йому... Так, тоді теж була весна. А зараз вона для інших, для цієї дівчинки і для її хлопця.

На мить він подумав, що віддав би всю владу за кілька років молодості. Влада не приносила щастя. Навіть любов людей була від невідання... А ця, як соняшник, вся для життя, якого в нього скоро не буде. Дівча повинне жити і бути щасливим, і тоді, можливо, ще один з небагатьох згадає його добром. Чоловік їхав нічними перелісками, потім міськими околицями, чоловік, якого влада піднесла до неймовірних вершин, влада, яку він проміняв би в цю хвилину на просту хату в березовому гаю і на таку ось доньку. Він знав, що хоче цього тільки цієї миті, але йому не хотілося думати, що це так.

Зі скверика біля воріт Новодівочого монастиря виїшла парочка. Машини промчали повз них.

Так, весна. Щастя всіх. Він не залишить дівчинку з її хлопцем. Він знав: долі багатьох на його совісті. І на мить неспокійна думка ворухнулася в його голові: «А може, я взагалі наробив зайвого?»

Але він відразу пригасив цю думку: «Нічого. Для інших мое ім'я — стяг. І за нього вони підуть крізь вогонь і воду... Задля майбутнього».

Думка потішила, і він задрімав у машині, цей важкий, дебелий чоловік, схожий в цю хвилину на сонного сапсана, чоловік, який не мав уже ні щастя, ні кохання, ні віри, ні радості віддатися добрим почуттям інших, ні довіри до людей — нічого. Окрім безмежної влади, рівної якій ще не було на землі. Він не знав, що володарють і над ним, штучно переконуючи в зловмисності навколишнього світу, підтримуючи страх перед усім і віру в те, що чужу руку відведуть від нього десяток єдино вірних, єдино відданих.

Він дрімав, опустивши на груди обважнілу голову.

...У липні маленькій дали партію Одетти.

Стривожена таким швидким злетом, нічого не розуміючи, вона спробувала запитати у двох подруг, чому вони не дивляться їй у вічі, але під час розмови, уникливої і слизької, раптом зупинилася, зрозуміла. І тоді вибухнув скандал. Вона примчала перед світлі очі Нісовського і на повний голос почала кричати:

— Не хочу! Не треба!

Нісовський, зрозумівши, в чому справа, завів її до свого кабінету і уперше в житті нагримав.

Він грюкав ціпком об підлогу і репетував, весь червоний, налятий кров'ю люті:

— Цього зажадав я... я... Я!!! Розумієш?! І лише негідник може подумати, що я зробив це на угоду комусь! Я нікому не хочу догод-

жати, я нікого не боюся! Я старий, і в мене нікого нема, окрім вас. Невже ти думаєш, що я дав би тобі партію, коли б вважав, що ти бездарність?! Геть з перед моїх очей, невдячне дівчисько!

Він затупотів ногами і раптом повалився в крісло майже непритомний.

Вона плакала, просила вибачення, стоячи перед кріслом на колінах, цілувала його старечі руки, укриті біля зап'ястя ріденькими веснянками.

Він прийшов до тями, взяв її голову за скроні, погладив попелясте волосся.

— Не треба, не треба, моя дівчинко. Я знаю, тебе теж образили. Які дурепи, які несосвітєнні дурепи... І як ти могла так образити себе і мене?

Маленька говорила, давлячись схлипами:

— Нестерпно, Петре Петровичу... Він дуже добрий зі мною. Як з дочкою. Але що робити, коли він усіх, хто навколо, робить нещасними. Тільки тим, що він поруч.

— Нічого, нічого, — гладив Лісовський попелясту косу.

А що він міг ще сказати?

— І Вітько мене уникає, — вирвалось у неї.

Нісовський підняв її голову і пильно подивився в очі.

— Так... Йому гірко. Іван Миколайович помер у тюрмі. А він був йому як батько.

— Помер? Коли?

— Тоді. Навесні. Він недавно випадково довідався про подробиці. Вже не плачучи, вона тихо сказала:

— А мені — нічого. Нема, значить, довір'я.

Старий витирив їй очі своєю хусточкою. Скінчивши з цим, він тихо запитав:

— Ти покохала, дівчинко? Ти вся світишся ним. А я, дурень, погрожував відкрутити йому голову. Іди. Все буде добре.

Коли вона вийшла, старий постояв хвилину мовчки і раптом стиснув ціпок.

— Об Вітька я, здається, переламаю коли-небудь палицю. На тріски.

...З Клявінім вона якийсь час не розмовляла, уникала його. Ходила по студії холодна, і зовні спокійна. А в самої гаряче палало серце, коли вона бачила хлоп'ячу постать Вітька і його сумні очі. А потім, коли образа минула, образився він.

Нісовський лише головою хитав, дивлячись на це.

А в маленької розривалося серце. Жажливо, звичайно, те, що трапилось з дядьком. Але той, той, що проводжав її до дверей дачі, хіба він винен у цьому, хіба він підписав цей жажливий наказ? Ні, він не міг знати цього.

...В грудні у Великому театрі повинен був відбутися ювілейний концерт. Номерів було багато. Маленька вела свій номер у парі з Клявінім-Зігфридом. На концерт повинен був приїхати і Він: вона знала, що Вітько знов дивитиметься у бік ложі злими очима, і їй це було неприємно.

Вітько стояв уже за кулісами в білому з золотом убранні Зігфрида.

Смішний хлопчисько Зігфрід з довгими красивими ногами, худий і сумний.

І несподівано вона зважилась. Вона підійшла до нього і з усмішкою зазирнула у вічі. Він відвернувся, відкопилівши нижню губу. Нікого не було навколо, і тому вона не образилась.

— Поговоримо, Вітю.

Він мовчав.

— Ти що, геть не хочеш бути зі мною?

Він мовчав.

— Ну промов хоч слово.

Вітько сказав це слово, тремтячи від стриманого обурення:

— Я не можу пробачити йому Івана. Я його ненавиджу.

Маленька доторкнулась рукою до його чуба.

— Вітю, — благально мовила вона, — він нещасний, як тільки може бути нещасна людина.

Віктор мовчав. І тоді вона сказала:

— Вітю, я кохаю тебе. Дуже. До кінця. Дуже вірно і віддано. І покірливо.

Він не міг більше стриматись.

Обійняв її за стан, сповз униз — ні, не сповз, упав, як підстрелений, і затрявся біля її ніг від сухих стримуваних ридань.

— Не можу, не можу без тебе. Вона присіла навпочіпки, поклала долоню йому на голову.

— Ну що, мій рідний, ну що, мій коханий.

І все зникло. Лишилися тільки куліси та білява голова, що здригалася від горя, принижши до її ніг.

...Концерт ось-ось мав розпочатись, коли маленька за аплодисментами, що вибухнули в залі, здогадалася: приїхав Він.

Вона відразу ж приникла до вічка, зробленого у малиновій завісі, і побачила червону з золотом залу, строкату юрму людей і його, саме навпроти себе. Він появився у ложі і з посмішкою обводив очима яруси.

Зала вирувала. Овація стрясала стіни. Збуджені вигуки линули під стелю, до сяючої люстри. Не аплодував лише ланцюжок людей у сірих, як у Сторова, костюмах, що сидів в останньому ряду партеру.

Овація гриміла в залі. Маленька крізь вічко дивилася на цей триумф, і тепло наростало в її грудях.

— І такого можна ненавидіти? Чому ж тоді аплодують люди? Ні, доки він тут, добрий до неї і до Віті, великий, щиросердий, все ще буде добре на землі.

Овація нарешті вщухла. І майже відразу на авансцені, залитій вогнями, заспівав багатоголосий хор. Могутньо залунали голоси.

Співали про нього.

Співали про те, як широко розлилася його слава, як співають пісню про нього усі народи землі, як тремтять перед його іменем вороги.

Урочисті звуки, подібні до язичеського хору перед статуєю невідомого бога, наповнювали залу, а він сидів у ложі і з гідністю дивився на сцену.

Зринали вгору голоси. Співали про велич. Про силу. Про славу, якої вже не може умістити земля.

Чарівні звуки цієї музики здатні були витиснути з очей горді сльози. І маленька відчула їх, і пишалася, що вона тільки часточка цієї сили, яка притягує людей до цієї людини. До самісіньких вершин мажору зринали голоси. Пісня билася в стіни і стелю.

Гримів язичеський хорал.

Маленька здатна була зараз кинутися до нього, щоб у єдиному вигуку вихлюпнути свою любов.

Гримів хорал.

І тому вона зовсім не подивувалася, коли хор замовк і весь на-товп, всі, хто заповнював партер, кинулися до ложі.

Вигуки захоплення злилися в ревище, ні, не в ревище, в стогін, який виривався з сотень грудей, як з грудей однієї людини. Здійняті руки, закинуті голови, долоні, що аж тремтіли в повітрі. І над усім цим стогін захоплених вигуків.

Вона не відразу зрозуміла того, що трапилось далі. Назустріч тим людям, які кинулися до ложі, устав ланцюжок із сірих костюмів.

Наелектризована музикою, охоплена масовим психозом юрма налетіла на нього.

Рев. Вигуки. Сльози захоплення.

Напевно, сльози захоплення і порив не були передбачені інструкціями. Можливо, навіть люди у сірих костюмах злякалися. Вони, які сіяли страх перед замахами, самі нарешті повірили в свою примаду. Серед тріумфуючого натовпу міг знайтися один з «гарматою» в кишені. Вибух ентузіазму міг бути небезпечним.

Маленька зрозуміла це потім. Зараз вона тільки бачила крізь своє вічко руки, простягнуті до ложі.

І тому вона не повірила своїм очам, коли побачила, що ланцюжок сірих людей став відтісняти тих, що поривалися наперед.

Передні, можливо, і раді були б зупинитися, але ззаду напірали інші. Вигуки захоплення котилися над головами. І тоді сірі, зрозумівши, очевидно, що стримати натиск буде важко, почали бити передніх, відганяючи їх назад.

Почали незлобно, але потім запах бійки вдарив у ніс.

Передні здивовано кричали, затуляючи обличчя руками, але їхні крики губилися серед загальних вигуків захоплення.

«Зараз він заступиться, – хвилювалася маленька, – зараз він скаже. Він не може дивитись на це».

Вона бачила гидливу складку під його вусами, знала, що він, зараз... зараз припинить цю огидну сцену.

Маленька заплющила на мить очі, а коли знов підвела пухнасті вії, його не було, він зник із ложі.

Але люди не бачили цього. Крик рвався з глоток, і невідомо було, чого галасують передні: від болю чи від захоплення. Незрозуміле було, чому течуть по їхніх обличчях сльози: від тріумфу, чи, можливо, від того, що їх б'ють.

І тоді маленька, відчуваючи, що трапилось непоправне, що увесь її маленький світ любові до цього чоловіка дав трішину, раптом стисла долоньками скроні і розридалася так гірко і безутішно, як можна ридати лише на зорі юності, коли життя уперше покривдить тебе.

Вона плакала в куточку так, начеб душа її розривалася на шмат-

ки. І це було справді так. І по-справжньому жакливо було дивитися на її мокрі вії. Вона плакала за цих людей, за нього, померлого в її серці, за Вітька, який так страждає. І за себе плакала, за свою довірливість і чистоту.

Здригаючись у риданнях, вона відчула спиною чийсь пильний погляд і обернулася.

Неподалік стояв Сторов і дивився на неї холодними жорсткими очима. Стояв і дивився, більше нічого.

Але вона не могла втриматися і плакала, і це було як прощання з юністю.

Сторов дивився на неї крижаними прозорими очима. Потім дивна, уперше за весь час, що вона його знала, посмішка розщепила його вузький, як щілина, рот. Розщепила і згасла.

— Іди, дівчинко, — сказав він. — Іди. Тобі не можна дивитися на це. Це не для твоїх очей. Іди в убиральню, виплачйся там... Ну!

Вона повернулася і пішла, як поранена, відчуваючи спиною холодний погляд його очей.

Рев радості і захоплення стояв у залі.

А в порожній убиральні гірко плакала, поклавши голову на гризерний стіл, маленька балерина, яка перестала бути маленькою.

Ридання глухо відбивались у порожній кімнаті.

...В жовтні сорок першого, через півтора року після цих подій, вона добровільно пішла на фронт і героїчно загинула під час атаки ополченців на танки. Міна вибухнула занадто близько від її маленького серця.

1961 р.

Переклав з білоруської
Данило **КОНОНЕНКО**.



НОВАЯ ЖИЗНЬ

Рассказ

Ранняя погожая осень, начало сентября. Деревья в саду Кирпичевых еще зелены, но листва уже вялая, тусклая, а блестящие ветки по-осеннему сухи. Сух и прозрачен сплутавшийся малинник, протянувшийся от соседской межи со склизкой бочкой, в которой плавает желтый лист, до зеленого деревянного дома Анны.

В самом доме на застекленной веранде вечером холодно и сыро. Обедали во дворе, на припеке.

Двор у Кирпичевых маленький, — не двор, а тесный проход в цветнике от веранды до крашеной белым, косо распахнутой на кривую ухабистую улицу скрипучей калитки. В конце прохода желтеет, сквозит на солнце сплошная стена засыхающего винограда. Солнце поблескивает в мелких, лимонного цвета листьях. Лиловые кисти свисают тяжело, как коровьи сосцы, и Анна, пообедавшая и сидевшая без дела, отщипывает ягоды и слушает гостя, убогого дурачка Сашку.

Рядом, на низенькой скамеечке, скучает Марьяша, долговязая пятнадцатилетняя с длинной челюстью полудевочка-полуподросток в коротком платье.

Анна, сорокалетняя увядшая блондинка с прямым носом и дряблой кожей, сидит задумчиво и прямо. В молодости она славилась редкой красотой и горделивой осанкой. Еще в школе была у нее связь со знаменитым спортсменом, чемпионом по боксу, а затем с подпольным миллионером, вечно засаленном пиджаке и рваных брюках. Он ей быстро надоел своей неухоженностью и отсутствием интереса к жизни. Недостаток молодости и физических дарований миллионер восполнял несметным количеством бриллиантов и украшений из золота. Анне это нравилось, так как позволяло уверенно держать себя в любом обществе, но потом надоело. И миллионер тоже надоел... Унылого господина Левена из Скуратова сменил подакший надежды ученый-химик в тяжелых очках и джинсах. Но он вскоре уехал в Израиль, чтобы там полнее раскрыть свои творческие возможности, и Анна опять осталась одна. Некоторое время она скучала и томилась, жалуясь некрасивой, веснушчатой, однако же замужней подруге Тамаре на слиш-

ком очевидную несправедливость судьбы. Тамара вздыхала и поддакивала, а сама тайно радовалась любовным неудачам известной в городе красавицы. Спустя полгода Анна пережила бурный роман с театральным актером, исполнителем роли Родриго в спектакле местного театра по пьесе Корнеля «Сид». Антон Зворыкин был статен, черноволос и красноречив. Его голос, когда он признавался в любви мучимой между отцом и возлюбленным Химене, потрясал до глубины души. Спектакль с его участием Анна смотрела не менее пяти раз. И каждый раз плакала, в том числе и от умиления и трепета перед классической мускулатурой рук и мощных ляжек своего кумира. В жизни «Родриго» оказался обыкновенным пьяницей, любителем копченой колбасы и еврейских анекдотов; Анна бросила его после первой же близости, получив на прощанье синяк под глазом и обидное прозвище потаскухи.

И вот осенью выскочила она замуж за инженера Кирпичева, маленького неприметного человечка, как принято говорить, исключительно по необходимости: то ли из жалости за его безответную любовь, то ли из-за беременности от Антона Зворыкина. Мало кто догадывался, что замуж она пошла от отчаяния, осознав неотвратимость уходящей молодости...

Родив Марьяшу, Анна, так же внезапно, как и вышла за Кирпичева, бросила его и двухмесячную дочь и сбежала на Сахалин с молодым артиллерийским офицером, даже не объяснившись с мужем, не оставив записки.

Но, спустя год она вернулась к Кирпичеву, он простил ей все ее грехи, как давно и покорно смирился с ее молодостью и своей преждевременно наступившей старостью.

— Ты у меня, папуля, самый лучший, — чмокнула она его в раздвоенный подбородок.

И он обо все забыл...

Однако вскоре после возвращения Анны инженер Кирпичев, упав со строительных лесов, разбился насмерть.

Со смертью мужа для Анны началась новая жизнь. Вспыльчивая и страстная, она как-то сразу успокоилась и присмирела. Редко теперь выходила из дому, коротая долгие дни и скучные вечера за картами с угрюмой Марьяшей или с книгой в руках. Будто и сама готовилась к смерти. Весной же, после Пасхи, уехала с дочерью на дачу в Луговое и осталась там до осени, наезжая в город по делам наследства или за продуктами.

Всех знавших Анну стала удивлять ее пробудившаяся набожность. По воскресеньям, повязав платочком гордую, все еще красивую головку, она спешила к заутрене в церковь Петра и Павла, где крестился и венчался еще ее дед, пышноусый казачий старшина.

Церковь была за городом, на отшибе. Вокруг зеленели поля, в темной синеве неба проносились юркие ласточки и дул свежий, негородской ветер.

Анна шла пешком. Бескрайние степные дали рождали в ней чувство безотчетного счастья. Жизнь открывалась ей заново, в еще и неизвестном ей качестве.

В церкви было хорошо, все радостно. А сухонькие старушки, сдержанно восхвалявшие молодого, недавно назначенного отца Владимира за его ученость и строгость, умиляли и трогали. Она во всем старалась на них походить — темной одеждой, истовостью в молитвах и даже возрастными повадками. Молодость, вся ее бурная неудавшаяся жизнь казались чем-то далеким и безобразным.

Анна со старушками вела длинные обстоятельные беседы о грехе и покаянии, подолгу говорила о Боге. Думала о нем не только в церкви, но и дома, засыпая в пустой постели, и летом на даче. И чем больше думала, тем яснее он ей представлялся. Воображение рисовало облик молодого человека с черными строгими глазами и курчавой бородой, похожего на отца Владимира. Являлся он ей в странном белом одеянии, заставляя болезненно и сладко сжиматься сердце. Она рассказывала старушкам и, неухоженным, видно, давно не мывшимся краснощеким старцам, боязливым и коричневым от худобы, о своих чудесных видениях. Старушки и старцы умильно и бестолково рассуждали по этому поводу, предрекали таинственные и важные события.

Один из таких толкователей, красивый и рослый дурачок Сашка, сидел перед ней на скамеечке и доедал вареную картошку. Запихнув в рот картофелину, он вытер толстые масляные пальцы о штаны и ткнул в соль молодую белоснежную луковицу. Вид у него был суровый и мрачный.

В женском церковном кругу Сашка приобрел известность своими страстно-убедительными речами, полными мрачных пророчеств, грядущих бедствий. Рассказывали, что Сашка не сразу стал божьим угодником. В юности он разводил, воровал и перепродавал голубей, выстроил огромную, крытую зеленым цинком голубятню и, будучи во хмелю, свалился с нее на камни, сильно зашибив голову. С тех пор начались Сашкины пророчества. Отец Владимир объявил на проповеди, что Сашкино падение было велением Господним. Богу угодно было превратить корыстного и лукавого мужа в неразумного младенца, исцелив его от лжи, сребролюбия и гордыни. «Уста праведного каплют премудрость, и се — перед вами дитя, плаголяще истину, ибо духом святым очистилось от скверны,» — рокотал сытым басом отец Владимир, указывая на моргавшего и блаженно улыбавшегося Сашу.

Анна вспомнила умершего мужа, маленького белобрысого офицера, свою странную, несчастную жизнь, и от слез, скорбного голоса отца Владимира и детски-радостного лица Сашки, приятного и теплого запаха восковых свечей в душе ее поднималось чувство облегчения и обновления. Она стремилась чаще находиться рядом с Сашкой, чтобы слышать его голос, смотреть в яркие, безмятежно-чистые глаза.

А он топтался на посыпанном желтым песком церковном дворе, переходил, бормоча, от одной кучки прихожан к другой. Здоровый, свежий, в чистой белой рубашке, широких новых, топорщившихся в поясе брюках, он выглядел обычным набожным красавцем-малым, из тех, что во множестве обитают при наших церквах. И Анна с тайным восторгом следовала за ним, ловила каждое его слово.

— Все под Господом ходим, — нараспев, назидательно, в подражание старушкам, вещал тенорком Сашка.

Служба заканчивалась, и пестрая толпа из белых косынок и черных мужских непокрытых голов, растекалась по сторонам.

— Все под Господом ходим... Человек предполагает, а Бог располагает. Несть числа его милостям... Молитесь, люди добрые! — рьяно выкрикивал Сашка и, внезапно затихнув, широко и тупо крестился, глядя на мелкие купола. — Срам!.. Срам кушать в храме! Бог накажет за гордыню, — вдруг переходил он на бормотание и начинал громко по-детски рыдать.

Старушки, нищие и церковные калеки вздыхали, крестились и шептали истово и боязненно: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!..»

И Анна тоже принималась неумело и застенчиво креститься, стыдась собственной робости и греховности.

Ее тянуло к Сашке. Утром, собираясь в храм, она с радостью думала, что снова увидит его крепкую молодую фигуру и счастливое, словно солнцем озаренное лицо. В виду открывающихся полей и знакомого оврага она чувствовала, как бывало во сне, что где-то рядом с ней находится сам Бог...

Особенно запомнилось светлое Вербное воскресенье.

День был жаркий и солнечный. Пахло разогретой землей и молодой, только что пробившейся на свет зеленью. Слепило глаза. В ожидании службы лица были дружелюбны, по-весеннему возбуждены. В небесную высь взлетали стайки голубей и серебристой тучкой парили над заново побеленным храмом, над зацветающей степью.

Народ толпился с вербными веточками. Лицо у Сашки было благостное, вдохновенное. Он теребил руками на животе смятую кепку, и ветер ковылем шевелил его волосы.

Появился отец Владимир. Благословляя всех коротким движением руки, так, что обнажилась из-под широкого рукава его рясы женственная кисть, он пошел в храм — переодеться, подготовиться к службе. И, глядя на его тонкий стан и стремительную походку, Анна думала, что так, должно быть, легко и красиво входил в стародавние времена в храм Божий в сопровождении учеников Иисус Христос....

В тот яркий праздничный день она первая поздоровалась и заговорила с Сашкой. А спустя несколько дней позвала в гости, пить чай с пирогами. И не заметила, как видеть и слышать его стало для нее потребностью. То обстоятельство, что Сашка, как и некогда ее Кирпичев, упал с высоты и расшибся, казалось ей Божьей волей, предзнаменованием, велением свыше к искуплению грехов.

— Расскажи что-нибудь об Иисусе Христе, Саша, — попросила Анна. — Правда, что иудеи не любили его, и он отправился с учениками к грекам, чтобы открыть им истину?

— К грекам ходил святой Павел, — буднично ответил Сашка.

Он перестал жевать, выпрямился и чмокнул языком, высвободив зубы от застрявших крошек. Толстые губы его лоснились. Он утер их и зыркнул на Марьяшу.

Она сидела, поджав колени, напряженно и пристально вглядываясь за межу, в далекую золотистую степь. Небо становилось бледно-зеленым, стеклянным.

— Надень рубашечку, Саша, — ласково сказала Анна, оглядывая

нежным, затуманившимся взглядом белую спину и жирную грудь юридического. — Холодно, простынешь ведь...

— Ничего, я привычный, — сплюнул Сашка.

— Может, чаю выпьешь? — робко спросила Анна. — Так я закипачу. Она поднялась и затремела чайником.

В полусумраке тверже и утробнее казалось лицо Марьяши.

— Вот и хорошо, — вышла Анна и накинула на Сашку старый пиджак Кирпичева. — Сейчас будем чай пить и на звездочки глядеть.

Сашка закутался, сидел, ссутулившись и сердито, как нахохлившийся воробей.

В саду, в темной туманной чаще, свистнула птица, ей ответила другая. Шевельнулась ветка на яблоне и зашелестела мелкими листьями...

Было сыро, пахло садовой гнилью.

— Пойду, посмотрю чай. Марьяш, а может, ты сходишь? — застенчиво попросила Анна.

Марьяша холодно повела плечом.

— Ну, хорошо, я сама, — вздохнула Анна.

В сумерках высветились ее длинные ноги и теплая вязаная кофточка. А вскоре на веранде вспыхнул огонек.

Анна вынесла чайник и керосиновую лампу, красновато осветившую лица. Марьяша смотрела задумчиво, а Сашка щурился и прикрывал веки.

— Тихо-то как, Гоподи! Вот Божья-то благодать, — подделываясь под церковный тон, вздохнула Анна.

Сашка поднял голову и блеснул круглыми, горящими от огня глазами.

— Господи, сохрани ея и помилуй, — забормотал он горячо. — Послал Господь блаженство душе ея и страдания мои упокоил. Будь, жена, блаженна вовеки... Пришел Иисус в Капернаум приморский и обступили его язычники, говоря: «Чур, чур тебя, нечистая сила!» И ответил им Иисус: «Не я нечистая сила, а вы, проклятые! Прочь с дороги, пока не побил вас огнем-молоньей!» И пошел с учениками, говоря: «Прочь, с пути моего, нечистая сила!..»

Он всхлипнул и забормотал что-то совсем уже невразумительное.

Анна смотрела с испугом, а Марьяша с тупым изумлением. Она впервые слышала Сашкины вещания, и они поразили ее своей силой и зловещим смыслом.

Больше он не проронил ни слова. Только вздрагивал и мелко, подетски, глотал чай без сахара.

Анна притушила фитиль в лампе, и внутри выпуклой стеклянной трубки крошечным язычком задрожало, затрепетало оранжевое пламя.

— И без лампы-то видно, как днём, — сказала она, пряча руки в рукава кофты.

Марьяша сидела в оцепенении, и казалось, что она спит.

Из-за четко выделявшихся на дымчатом небе деревьев вышла луна. А вскоре вся она, большая и белая поднялась над похолодевшим садом. Длинные косые тени легли на дорожки, перекрестья окон. Летучие мыши проносились быстрыми испуганными тенями.

Анна совсем погасила лампу и встала.

— Пойду стелиться, — сказала она, зябко пожимая плечами. — Ты ляжешь со мною, Марьяша, а Сашу устроим на веранде.

Марьяша хрустнула веткой, вставая.

В доме Анна зажгла висевшую на стене керосиновую лампу. Заходили, запрыгали длинные тени.

Ловко и быстро она разобрала постель, а Марьяша разложила старый диван.

Сашка протопал мимо и остановился подле Анны.

— Что тебе, Саша? — обернулась она.

Он сбросил пиджак, обнажив голое дряблое тело.

— Чего тебе, Саш? — повторила Анна.

Но Сашка шел на нее, бессмысленно улыбаясь и протягивая толстые, по-обезьяньи длинные руки.

— Ты. Э-э... ..ма.. — мычал он.

— Что ты, что ты!.. — пятилась Анна.

Сашка обхватил ее, притянул к себе, и она хотела, да уже не могла сопротивляться...

Марьяша, вошедшая за подушкой, остановилась и жадно, с окаменевшим лицом наблюдала за происходящим.

Ухмыльнувшись, Сашка схватил, заломил в талии и повалил и Марьяшу на пол. Та охнула, будто дотронулась до горячего, а потом лишь вздрагивала и дергалась. А под конец испустила такой пронзительный, душераздирающий крик, что Анна, наконец, очнулась...

После, лежа без сна и глядя в голубовато-мутный квадрат окна, она испытывала странное чувство покоя и облегчения.

Рядом дышала, уткнувшись в подушку Марьяша, а на веранде мычал и всхрапывал во сне Сашка.

Мариуполь



ЦВЕТЫ

Рассказ

1.

Она никогда не плакала. Может, потому, что боялась показаться слабой. Она мало смеялась. Но когда веселилась, окружающие невольно тянулись к ней, восхищенные непритязательной силой и откровенной радостью молодой женщины. И угрюмой она не была, ибо ежедневно внушала себе: жизнь и печаль понятия несовместимые. Все находили ее странной, но прелестной.

Ее муж — высокий и бледный мужчина — отличался чрезмерной жизнерадостностью. Но шутки его, которыми, казалось, он был начинен и которые рождались мгновенно, носили характер какой-то невесомой грусти. Так порой в безоблачное утро, когда лучи солнца мягко освещают землю, вдруг начинаешь замечать, что прозрачный воздух дрожит, одеваясь в подсиненную дымку.

За несколько лет супружеской жизни они хорошо изучили друг друга. И теперь могли часами молчать, изредка роняя бесцветные слова, значение которых было известно лишь им одним.

Жители маленького городка всегда любовались этой парой. Сначала, только поженившись, он и она чувствовали себя неловко. И это состояние вызывали прежде всего маленькие высохшие старушки, которые заранее выползали из подслеповатых домиков к забору, чтобы подсмотреть торпливость молодых людей, опаздывающих, как всегда, на работу. А потом старушки долго молчали, жадно выедавая глазами поворот улицы, за которыми затихла отчаянная дробь каблуков.

— Эх, — вздыхала одна из них.

— Что, завидки берут? — шамкала другая.

— Я тоже так бегала, — с сожалением лепетала третья, вплетаясь в разговор соседок.

И тогда они медленно выплывали из дворов и направлялись к Екатерине Гурьевой, своей сверстнице, у которой, удобно расположившись в беседке, полностью отдавались воспоминаниям.

Они вспоминали легко и живо. День за днем. Как будто листали страницы уже известного романа. Это вдохновение появилось давно, с первыми признаками старости.

Екатерина Николаевна, толстая старуха с маленькими выпуклыми глазками на лоснящемся лице, была плохой собеседницей. Но не потому, что ее жизнь пролетела быстро и незаметно и ничего приятного не оставила в итоге, а по обычной причине: она не любила и, пожалуй, не умела вот так просто говорить о себе. Только длинные темные ночи, такие же одинокие, как и она, располагали ее к откровенности.

Когда приходили подруги, она ненадолго оставляла их, а сама спешила к большой клумбе, на которой раскачивались тяжелые головки георгинов. Женщина выбирала самые красивые цветы и, осторожно срезав несколько штук, возвращалась в беседку. Сочные, алые лепестки необычно волновали женщин, отражались теплыми искорками в их глазах.

Может, поэтому и любили старушки иногда собираться у Гурьевой. А Екатерина Николаевна, слышшая человеком необычно жадными, с радостью, без просьб, на которые, кстати, она не обращала никакого внимания, приносила стеклянную банку с цветами.

Ее скупость действительно не знала границ. Однажды юноша, спешащий на свидание, пробрался к ней во двор и стал рвать цветы. Но ему не удалось подарить их своей девушке. Разъяренная старуха, с развевающимися рыжими волосами, выскочила из-за угла, размахивая длинной кочергой. Юноша убежал, а цветы остались лежать на земле. Старуха осторожно стряхнула с них пыль, а потом расплакалась.

Ее любовь к цветам не была простой привязанностью, которая часто делает человека рабом его прихотей. Она выросла в семье пьющего сапожника и взбалмошной прачки, для которых вся красота жизни представлялась звоном и шелестом денег. Правда, сделать ее такой отцу так и не удалось. В дни очередного запоя он ухитрился спустить все скудное состояние. Мать была более бережливой. Вскоре отец окончательно спился. В одной из драк кто-то проломил ему бутылкой голову. Он не мучился: умер сразу, не приходя в сознание. А через неделю Катя похоронила мать, высушенную чахоткой.

В доме родителей Гурьева прожила всю жизнь. Сначала она пугалась своего одиночества. Постепенно свыклась с ним, успокаивала себя: «приглянись какому-нибудь хлопцу и выйду замуж». Но на ее рябое лицо и долговязую фигуру так никто и не позарился.

Как-то, возвращаясь с поля, она нарвала букет маков. Недалеко от дома ее обогнали женщина и подвыпивший мужчина. Он что-то тихо сказал и рассмеялся. «Какое мерзкое лицо, — брезгливо сморщилась его спутница, глядя на Катю, — таким цветы не дарят». Екатерина вспыхнула, но сдержалась, а дома наплакалась вдоволь. Однако с цветами по улицам она никогда уже больше не ходила. Выпросила у соседки семян и посеяла их на клумбе.

Из года в год у нее расцветали прекрасные цветы, но срывать их она никому не позволяла.

2.

Последний день сентября выдался теплым. После недавнего похолодания земля начала согреваться. К обеду выпрямилась полегшая и пожелтевшая трава. Взъерошенные воробьи барахтались в пыли. Тонкие паутинки плавали в разомлевшем воздухе. Наступило бабье лето.

По тротуару неуверенными шажками торопилась старушка, одна из соседок Гурьевой. Она сначала щупала землю палкой, наклонялась вперед, а

затем передвигала ноги. Так она доковыляла до небольшой веранды и через полуоткрытую дверь заглянула в дом.

— Ганна, шо я тебе скажу, — затараторила она. — Оце глянула третьего дня в окно — бежит...

У Ганны сгорела рыба. И она, размахивая тряпкой, пыталась выгнать на улицу дым. Концы тряпки мелькали над полом, и непонятного цвета кот, с явным нетерпением ждущий еду, бегал за ними глазами.

— Брьсь, холера. — Ганна притопнула ногой. — Щоб ты здох. Кто там бежит? Кот?

— Да нет. Она. Дивчина, — выдохнула старушка. — Ну та с мужем...

— А-а-а, — протянула Ганна и сразу заулыбалась, вспомнив красивую пару — высокого мужчину и его юную супругу.

— По отдельности ходят. А вчерась он даже пьяный был.

— Помиряется, — Ганна сняла с плиты сковородку с подгоревшей рыбой и чуть не прослезилась. — Присела отдохнуть и заснула...

— Побегу, — заторопилась старушка. — Надо Кате рассказать.

Екатерина Николаевна лежала на диване и листала книжку. Она нехотя отложила ее в сторону, не поднимаясь, выслушала соседку и, повернувшись на спину, опять принялась читать.

А вечером она стояла у калитки.

Быстро темнело. Вяло шел крупный дождь. Но старуха не уходила. Она смотрела в конец улицы и думала, что наверняка простынет и ночью не сможет спать. Она чувствовала, что-то давит грудь и трудно дышать.

Но вот она встрепенулась и заволновалась. Вблизи ее дома показался тот высокий красивый человек, поссорившийся с юной супругой, которого она выглядывала. Когда он поравнялся с ней, Екатерина Николаевна робко окликнула его и, попросив подождать, убежала.

Мужчина безразлично остановился и, пожав плечами, посмотрел ей вслед. Она быстро вернулась. В ее протянутых руках был букет георгинов.

— Возьми, — предложила она. — Подари ей.

От неожиданности он смутился, но цветы взял.

...Его жена уже была дома. Она низко склонилась над вязанием. Когда он зашел, даже не подняла головы.

— Люда, — тихо позвал он.

Она посмотрела на него — спицы выпали из рук.

— Какое чудо! Это мне!

Он неловко сунул ей букет. Она уткнулась лицом в мокрые лепестки.

Он нежно обнял ее.

— Не надо, не плачь, родная... Ведь все хорошо, правда?

СПЛЮШКА

Рассказ

1.

Эта история произошла ранней осенью прошлого года. Признаться, за это время я о ней не вспоминал никогда. А недавно, уступив настоятельным просьбам моей восьмилетней дочурки, отправился с ней в лес, за грибами, где

и произошла та неожиданная встреча, которая уже не забудется или, по крайней мере, запомнится надолго. И эта встреча стала, — так нам хотелось обоим, а возможно, все это действительно так и было, — продолжением прошлогодней истории. А началась она в один из ненастных дней...

Еще вчера мягкий, перебродивший за лето воздух был прозрачным и ласковым. Невесомые, пожелтевшие листья непринужденно и легко струились над просыпавшейся улицей и теплой, но уже сонной землей.

Наира, перепрыгивая через лужицы и то и дело поправляя на ходу ремешок ранца, сползавшего с левого плеча намокшей куртки, раньше меня оказалась у перекрестка и теперь, нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу, глазела по сторонам.

Школа была уже рядом, но поскольку на работу мне было по пути с ней, мы всегда шли вместе. Сегодня я замешкался, и теперь всем своим поведением Наира поторапливала меня.

Неожиданно, указав рукой в сторону полуоблетевшего клена, она пронзительно закричала:

— Папа, папа! Смотри...

Неподалеку полугодовалый щенок, вылизанный до такой степени, что казалось, вот-вот размокнет совсем, смешно и неуклюже подпрыгивая на месте, мотал из стороны в сторону головой. Зубы его сжимали крыло какой-то птицы, другое ее крыло, изредка вздрагивая, бессильно болталось. Не сговариваясь, мы бросились к щенку.

Он был настолько занят своей добычей, что наше приближение заметил слишком поздно. Не оставляя птицу, он прижался к забору и зарычал.

Наира остановилась в нерешительности, а потом достала из ранца бутерброд и, разломив его пополам, присела возле щенка. Он долго и тупо смотрел на тоненькие кружочки колбасы и наконец выпустил птицу.

Это был дикий голубь. Он дрожал всем своим хрупким измятым телом, а глаза смотрели тускло, но живо. Я посадил его на ладонь и засунул под плащ.

Дочка, скормив щенку весь бутерброд, внимательно посмотрела на меня:

— Что будем делать с птичкой?

— Наверное, отнесем домой.

Щенок недовольно тявкнул и заскулил.

2.

К вечеру голубь освоился в нашей квартире настолько, что позволил себе, прихрамывая, поминутно останавливаясь, чтобы клювом привести в порядок подохшие перышки, недолго прогуляться по серванту, где мы отвели ему место. Затем, присев к тарелочке с пшеницей, так и не притронувшись к ней, заснул.

Голубь не притронулся к еде и на следующий день, большую часть времени спал.

— Папа, почему он не ест? — волновалась дочь.

Этот вопрос не давал и мне покоя до тех пор, пока Наира не купила немного гречневой крупы.

— Я не голодная, — поспешно объявила она, предупредив мое негодование по поводу того, что в школе осталась без обеда. Насыпав на ладонь немного крупы, она протянула ее голубю: — На, Сплюшка...

— Почему, Сплюшка? — удивился я.
— Потому, что все время спит, — резонно ответила Наира. — На, Сплюшка, — повторила она.

Голубь раскрыл бусинки глаз и покосился на ладошку. Потом нехотя клонул раз, второй... А затем, вскочив на лапки, стал жадно хватать зернышки. Наира счастливо засмеялась.

Насытившись, голубь сгорбился и снова заснул. Его сон был коротким и тревожным. Вздрагивая, он издавал какие-то непонятные звуки, которые, натываясь на предметы, сразу растворялись в тишине комнаты.

— Сплюшка плачет? Да, папа?
— Не знаю. Может, что-то снится...
— Как мучила собака?

Наира жалобно смотрела на серенький вздрагивающий комочек, и в ее больших потемневших глазах заблестели капельки искреннего сострадания.

— Сплюшка, Сплюшка, — позвала она.

Голубь задрожал еще сильнее и вдруг, расправив крылья, полетел навстречу солнечным лучам, которые, проникнув через огромные стекла, протянулись к серванту. Удар был резким и сильным. Наира подхватила голубя и заплакала:

— Папочка, давай выпустим Сплюшку.
— Но где? В городе?
— Не знаю...

3.

Голубь прожил у нас несколько дней. В комнате теперь был постоянный полумрак. Наира держала окна зашторенными. И голубь летал только под потолком. И все-таки в один из выходных дней мы решили отнести птицу в лес, подальше от города.

Портфель, в который я посадил голубя, на протяжении всей неблизкой дороги Наира мне не доверяла. И только на поляне, где я остановился, она в изнеможении опустилась на вытканый ветром ковер из лимонного цвета листьев берез и раскрыла портфель. Голубь не пошевелился. Но когда Наира посадила его к себе на колени, встрепенулся и тяжело взмыл в вязкую настороженную осеннюю тишину. Легкие взмахи крыльев уносили птицу все дальше от нас. И вскоре мы потеряли голубя из вида.

4.

Как чисто и светло в лесу! В такую пору всегда дышится легко и спокойно. Паутинки бабьего лета непринужденно летят откуда-то сверху: то ли с упругих ветвей деревьев, начинающих неохотно и стыдливо обнажаться, то ли с молчаливого неба, подернутого едва заметной тенью предчувствия начинающегося одиночества. Вот соберется последняя стая птиц-путешественниц, вытянется в привычный для глаз человека клин и, прочертив до сладкой щемящей боли синеву остывающего неба, с тревожными криками устремится в неизвестность.

В осеннем лесу не перестаешь удивляться увиденному. В засыпающей природе столько еще сокрыто нерастраченных сил! Вот среди беспомощной

желтизны листьев, весело прошелестевших когда-то на ветру, а теперь безропотно прижимающихся к земле, упрямо раскачиваются колокольчики. Их совсем мало. И до того неожиданно они встретились нам с Наирой, что я, склонившись к ним, осторожно притронулся пальцем к голубому чуду. Настоящие!

— Мы их сорвем, папа?

— Нет. Пусть растут. Самые лучшие цветы — несорванные... Может, еще кто-то увидит.

Дочка поставила корзинку, наполненную опятами, и опустила перед цветами на корточки.

— Пора возвращаться, — неохотно напомнил я Наире о том, что мы тут всего-навсего гости...

— Папа, смотри. Что это?

Я посмотрел в направлении вытянутой детской руки и, кроме лысеющего орешника, ничего не заметил.

— Ну как же ты не видишь... — от огорчения, а возможно, и от волнения голос у Наиры сорвался на глухой шепот. — Вот. Совсем рядом. Да это, это...

И она, минуя куст орешника, бросилась к березке, наполняя отрешенную тишину леса торжествующей детской уверенностью:

— Сплюшка! Сплюшка!

И действительно: на одной из веток, возле самого ствола, сидел дикий голубь. Он смотрел на ликующую Наиру и не улетал.

— Папа, ведь это же наша Сплюшка! Правда? — Наира захлебывалась словами и поспешно глотала их. — Она услышала наш голос... Прилетела... Она нас давно искала, а мы только сейчас пришли в лес... без подарка... Даже хлеба нет... Что же делать? Сплюшка, я тебе в следующий раз обязательно принесу... Папа, что же ты молчишь? Скажи что-нибудь...

Я не был уверен, что это тот самый голубь, которого мы выпустили в прошлом году. Да и какая могла быть уверенность, если по оперению все дикие голуби одинаковы. Правда, еще никогда ни один из них при встрече не подпускал к себе так близко, как этот. Но все-таки...

А тем временем голубь опустился еще ниже, не выказывая при этом особого беспокойства.

— Теперь ты веришь, что это Сплюшка?

— Верю, Наира, верю.

Мне действительно хотелось в это поверить так же безоглядно, как ребенку. Но я был намного старше. И вот сейчас вдруг ясно ощутил: чего-то не хватает моей понимающей и тоскующей душе. Но ведь раньше все было иначе! Было. Осталось в детстве. Как будто взрослея, мы оказываемся в другом мире, в обществе иных людей, оцивилизовавшихся настолько, что в конце концов считаем зазорным смотреться в зеркало забытого времени, чтобы не увидеть на лице, а может, и в душе того, что невыгодно выставлять на показ.

— Верю, Наира. Верю, — повторил я и протянул руку к птице.

Голубь соскользнул с ветки, промелькнул возле самого лица. Исчез.

Колеблющийся воздух дохнул чем-то знакомым и далеким. И снова все замерло. И если бы не ветка, которая продолжала раскачиваться, можно было поверить, что птицы никогда и не было.

У ПОДНОЖИЯ КАРПАТ

Рассказ

О чем думает тишина, когда все уgomонится.

Может, о себе?

А что она сама?

Спрашиваю, спрашиваю, а вопросы теряются в ночи и остаются без ответа.

Встрепенулся и задержал дыхание ольховник, робея перед величием тишины. И напрасно: у нее чуткая и ранимая душа.

Стою под открытым небом. И сентябрьские звезды прижимают меня к горам. Опираюсь на плечо тишины и чувствую себя уверенней.

Костер укрылся толстым слоем пепла. Изредка проклонется крохотный уголек, наткнется на мой взгляд и опять спрячется.

Надо сходить за дровами. Не хочется. И не потому, что их можно найти только у Черной реки, — уютнее чувствую себя в этом размякшем круге остывающего тепла.

Невольно ловлю себя на том, что жалею ребят. Спят! А что увидишь или почувствуешь во сне, кроме сна?

Ночью совсем другое восприятие мира, окружающего тебя.

Вот за спиной кто-то робко захлопал в ладоши.

Вздрагиваю от неожиданности. Осматриваюсь. Никого. Что это? И тут же улыбаюсь: да это же белая ольха. Местные жители нарекли ее трепётой.

Трепета. Какое емкое и точное название! Это трепет листьев напоминает звук неуверенных аплодисментов.

Но что это?

Откуда-то сверху оборвался дикий выкрик. Вот он вонзился в ели, рассыпаясь на глухие стоны. И по ущелью поползло зловещее: «У-у-ух».

И уже воображение рисует жуткую картину: что-то жестокое овладевает миром.

Тычу в пепел палку. Сколько еще сохранилось жара! Огонь жадно выплеснулся — и палка досталась костру.

Ну и пусть.

Прикосновение огня вернуло к реальности.

За полночь.

Палатка у подножия Карпат.

Огонь снова прижимается к земле.

Небо просело и наткнулось на ели — заморгали звезды.

И снова зловещее: «У-у-ух».

Кажется, рядом.

«Да нет, — успокаиваю себя, — это далеко. В нескольких километрах отсюда. На ферме выбивается из сил глубинный насос».

Но все-таки оглядываюсь. Мрак прижимается к лицу, и ничего нельзя рассмотреть.

Из палатки доносится успокаивающее посапывание.

Пора и мне.

Симферополь

Валентина СЕЛИВАНОВА

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Рассказ

Марина на кухне что-то замурлыкала себе под нос. Слов не разобрать. Но сам факт, что она запела, обрадовал и обнадежил ее старшую сестру Ольгу Сергеевну. Со времени приезда Марины с Крайнего Севера после пережитого несчастья это было первым проявлением чувств. Еще вчера прозрачная глубина ее голубых глаз являла полное равнодушие ко всему, вокруг происходящему. А сегодня запела...

Стоит ли брать ее с собой на презентацию выставки в частной галерее? Хотя это романтическое безумие не совсем подходящий случай для первого выхода в свет. Но когда-то надо ей в него возвращаться. Ведь до трагической гибели мужа Марина была очень веселым существом с цепкой жизненной хваткой. Пора выводить ее из состояния «постоянного расковыривания ранки», окончательно решила Ольга Сергеевна, объявив ей о своем намерении. Презентация привлекала тем, что художница привезла ее из Благодатного. Первый год после института Ольга отработала в школе именно этого села. И теперь, уже бывшая учительница, все собиралась туда поехать. Наверное, ничего там не узнать после прошедших двадцати лет.

О приезде сестры Ольга Сергеевна знакомым не говорила, чтобы не объяснять причину ее приезда. Ждала, когда Марина выйдет на люди. По себе знала, как ей нелегко. Правда, ее собственные расставания с мужчинами были не с таким печальным концом.

Новость о походе на презентацию Марина восприняла без энтузиазма. Но все же вытаскала из чемодана, который за месяц так и не распаковала окончательно, несколько нарядов, одеваемых, как говорится, и в пир, и в мир.

Публика в галерее состояла из завсегдаев. Все друга знали. Ольга Сергеевна надеялась на встречу с Павлом. Он всегда лез целоваться и сыпал комплиментами. Женщины, как известно, любят ушами, и такое публичное обласкивание хотя и бесперспективно, но приятно. Павел был разведен и свою свободу ценил. Она ни на что и не надеялась. Во-первых, большая разница в возрасте, во-вторых, каждый мужчина, по ее убеждению, не что иное, как троянский конь. Поди сразу разберись, что у него внутри. Сестру же решила привести сюда с тайной надеждой, что Павел заметит молодую незнакомку и обласкает взглядом и словом. Новое лицо среди примелькавшихся

лиц тусовки должно бросаться в глаза, как перламутровая океанская раковина на фоне прибрежной гальки.

Все так и вышло. Павел «припарковался» к Марине молниеносно. Сыпал анекдотами, перемежая их комплиментами, даже не выяснив, кого Ольга Сергеевна привела с собой. Но душа Марины еще спала. И все брошенные им крючки ловили только воздух. Единственное, что ему удалось, так это возратить Марине ленивые движения светской львицы. Она раньше этой манерой во времена своей молодости притягивала взгляды мужчин. И на том спасибо. Значит, Марина понемногу оживает.

Виновница торжества безумно волновалась. На ее первую персональную выставку пришли «акулы пера» и околоискусствоведческая публика. Вот ее-то художнице стоило бояться больше всего. Эта толпа накидывалась на авторов, как слепни на овец. Художница держалась молодого мужчины, приехавшего с ней, которого называла по имени-отчеству. Он распоряжался фуршетом.

— Ольга Сергеевна, — вдруг обратился он к ней, как к знакомой, — хотите кофе с коньяком?

— С удовольствием. Люблю двойной эффект. А откуда вы меня знаете?

Но услышать ответ не дал Павел. Потасил в зал, где готовились выступать местные «шаманы», не нашедшие удовольствия в скромном фуршете. Критики отговорили свое. Народ рассредоточивался, задерживался у работ. Они были хорошими. Особенно портрет мужчины лет сорока пяти, написанный под явным влиянием авангардизма. Он ей смутно кого-то напоминал. Распорядитель фуршета подошел к Ольге Сергеевне.

— Помните школу в Благодатном?

— Господи, это было так давно, как в другой жизни. А вы какое к ней имеете отношение?

— Я учился в классе, в котором вы не преподавали. Я — «скалолаз».

Так вот почему он узнал ее. Значит, не очень изменилась. В школе в Благодатном завуч умышленно составлял расписание таким образом, чтобы городским учителям выпадали ранние первые уроки. Хотел приучить к селу, чтобы не ездили туда-сюда. Ольге Сергеевне и еще одной учительнице даже выделили для ночевки раздевалку при спортивном зале. Окна ее были на приличной высоте, но желающих заглянуть, что делают молодые учительницы вечерами, нашлось немало. Кто-то из них соорудил подставку из нескольких инкерманских камней, оказавшихся поблизости, потому что в школе делали пристройку.

— Вспомните, меня поймали на подглядывании в окошко, где вы жили. Потом кличку дали «скалолаз».

Бывший подглядывавший рассказал, что увидел висящую в жилище учительниц на стене икону. А за такую вещь в то время можно было вылететь с работы, тем более учителю. Слух об этом дошел до ушей директора. И он явился к ним «с ревизией». Даже человек не очень сведущий в искусстве, взглянув на «икону», сразу мог понять, что перед ним всего лишь фоторепродукция «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Позднее Ольга Сергеевна, увидев подлинник этого шедевра в Дрезденской галерее, вспомнила тот случай.

— А помните, Ольга Сергеевна, как приехавшая однажды комиссия вышла из класса через шкаф?

Еще бы не помнить. Школа в Благодатном была новостройкой. И к первому сентября еще не обустроилась. Член комиссии из двух одинаковых

белых дверей выбрала для выхода дверь шкафа. Но надо было видеть ее лицо, когда она поняла свою ошибку. Урок был сорван, Ольга Сергеевна смеялась вместе с детьми, упав лицом на учительский столик. Об этом приключении на перемене узнала вся школа. Такие шкафы были в каждом классе.

— Мы недавно вспоминали тот шкаф с Игорем Григорьевичем. А он не забыл, как вы иногда брали велосипед у кого-то из нас и носились на нем вокруг школы после уроков.

— Вы с ним встречаетесь? Где?

— Живет он в Керчи. Но сейчас находится в России. Попросил опекать его дочь. Она в Благодатном преподает рисование и черчение, а я — математику. Его портрет вы видели на выставке?

«А у Игоря, оказывается, такая взрослая и талантливая дочь! А могла быть и моей», — подумала Ольга Сергеевна и вздохнула.

На Игоря, тогда молодого физика, обращали внимание все учительницы школы. Но он уезжал в город каждый день, сколь поздно ни заканчивались уроки второй смены и педагогические советы. Ольга Сергеевна ему очень нравилась. Каждая женщина это чувствует. А ее он просто очаровал. Что помешало им встречаться? Кажется, была причина.

Помнится, как надо было передать ему срочный вызов в районный отдел образования. Дверь его квартиры была открыта. Ольга Сергеевна вошла и остановилась, как вкопанная. Посредине комнаты в инвалидной коляске сидела пожилая женщина, а вокруг нее вились пять или шесть кошек. Стоял тяжелый запах обитавших в доме животных и человека, не выходящего на свежий воздух. Вот почему он уезжал каждый день!

Узнав о посещении его жилища, Игорь сразу замкнулся и стал ее избегать. Стеснялся, видно. Она обиделась. Так прошла неделя. А тут вдруг срочно, в один день ее перевели на комсомольскую работу и сразу послали учиться. Она думала, что это хорошо, все уляжется, и они почувствуют, как дороги друг другу. Но жизнь распорядилась иначе.

Она потом очень жалела, что потеряла то состояние души, когда могла радоваться простым отношениям и верить в лучшее. А у них так и было. Выходит, иногда приходится прожить полжизни, чтобы понять, что счастье было рядом.

— Ольга, делаю тебе подарок. Это шедевр, — сказал Павел, — тебе понравится. Ведь не случайно, не зря же ты так долго возле него стояла, — иронизировала Марина и протянула портрет.

Тогда, двадцать лет назад, она убедила себя: впереди у нее много знакомств, увлечений, интересной жизни. А если бы пошла навстречу первой любви, то, как знать, что было бы. Но уж точно: не появилось бы устоявшегося мнения, что каждый мужчина — троянский конь. Ей на них везло...

Уходя из галереи, Ольга Сергеевна прислонила подаренный портрет к стене и оставила там. Была уверена, что его тут же заберут. Это была прекрасная работа. Марине решила сказать, что потеряла картину в транспорте. Зачем держать перед глазами постоянный немой укор, хоть и в художественном воплощении? Видимо, ее судьба — троянский конь. А от судьбы не уйдешь.

Симферополь

N

«НА ЗОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ...»

Стихи о Крымской войне

Крымская война 1853–1856 годов вошла в учебники по мировой истории еще как Восточная. О ее «роковых минутах» написано немало достоверных страниц в России и Франции, Великобритании и Турции, в странах Балканского полуострова... Эпицентром драматических событий тех лет стали героические события Севастопольской обороны 1854–1855 гг. Бои за город русской славы между англо-франко-турецкой коалицией и Российской империей шли полным ходом. Борьба велась с нарастающим ожесточением. Дерзкая отвага осаждающих столкнулась с мужественной стойкостью осажденных. В Европе это противостояние на крымской земле стали сравнивать с осадой Трои. В России же впервые осознали, что далекий экзотический полуостров – тоже российская земля. Именно тогда, в дни героической обороны Севастополя, произошло духовное присоединение Крыма к России.

Стремление осмыслить произошедшее в ходе Крымской войны объединило лучших поэтов того времени. Петр Вяземский, Алексей Константинович Толстой и Аполлон Майков, Афанасий Фет и Николай Некрасов... люди разных взглядов и убеждений как в искусстве, так и в политике. Но каждый из них склонил голову перед подвигом героев-севастопольцев, откликнувшихся на «зов отечественной славы» и освятивших крымскую землю своею кровью.

Автор знаменитых «Севастопольских рассказов» и малоизвестной «Песни про сражение на реке Черной...», будущий классик русской литературы Лев Николаевич Толстой, а тогда – подпоручик Толстой, потрясенный увиденным в Севастополе, писал брату Сергею в ноябре 1854 года: «...Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства, Корнилов, объезжая войска вместо «здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска отвечали: «Умрем, Ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а ВЗАПРАВДУ, и уже 2200 исполнили это обещание...».

Три десятилетия спустя, лирик, представитель «чистого искусства» Афанасий Фет напишет одно из самых ярких стихотворений на гражданскую тему – «Севастопольское братское кладбище»:

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов...

Крымская война нашла свое отражение и в творчестве Иннокентия Анненского. В августе-сентябре 1904 года он пишет стихотворение «Братские могилы». Под стихотворением дата – 1904, Севастополь...

Шла русско-японская война 1904–1905 гг. Прошедшее и современность соединились в одно:

*...Это – братские могилы,
И полней уж нет забвенья.*

Стихи о Крымской войне писали и малоизвестные литераторы – Евдокия Ростопчина, Михаил Розенгейм, Василий Немирович-Данченко (брат известного театрального деятеля Владимира Немировича-Данченко), Александр Нивин (Жиркевич)...

Сегодня к чувству гордости и восторга неизменно примешивается чувство печали: недалекие и корыстные политики разыгрывают Крым, словно козырную карту, подтасовывая исторические факты, разрывая кровные узы людей, ссоря народы. Но Крым – не арена для политических интриг и амбиций, а колыбель культуры, где поэты, живописцы, музыканты, архитекторы разных национальностей и вероисповеданий творили, пораженные природною красотой и восхищенные героическими страницами истории древней земли.

Владимир КОРОБОВ

АПОЛЛОН МАЙКОВ

Из цикла «1854 год»

* * *

Бывало, уловить из жизни миг случайный
И в стих его облечь – блаженство для меня!
Меня гармонии тогда пленяли тайны,
И сам своих стихов заслушивался я.
Я ими тешился, их мерно повторяя
Украдкой, как скупец, который по ночам,
Червонцы по столу горстями пересыпая,
Как бы неведомым внимают голосам.

Теперь не служит стих мне праздною забавой.
Он рвется из души, как отклик боевой
На зов торжественной отечественной славы.
Широкий горизонт открыт передо мной.
Рукою верною берусь теперь за лиру,

И, обновленная, приветствует она
Нам новых дней зарю... Ударила война,
Россия вызвана на созерцанье миру,
На суд Истории: да гордый мир поймет,
Что тот же мощный дух и доблесть в нас живет,
Которые мы чтить умеем в иностранцах –
В защитниках Креста, в римлянах и спартанцах!

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростию узкой!
Что с гордостью я всем сказать могу: я – русский!
Что пламенем одним с Россией я горю!
Что слезная о ней в душе моей забота!
Что тот же мощный ветер расправил парус мой,
Которым движимы неслися под грозой
Громады кораблей Нахимовского флота!

7 декабря 1854

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Песня про сражение на реке Черной 4 августа 1855 г.

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать.

Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда подшофе.

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу».

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-Кок.

Полицмейстер Плац-бек-Кок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать.

Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу.

Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить...

Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На Большой редут.

Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду.

Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю...»

Вдруг Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру».

Веймарн плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал.
«Нет, уж пусть идут».

Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков:
Всё чего-то ждал.

Он и ждал да дожидался,
Пока с духом собирался
Речку перейти.

На уру мы зашумели,
Да резервы не успели,
Кто-то переврал.

А Белевцев-генерал
Всё лишь знамя потрясал,
Вовсе не к лицу.

На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!..

Наше войско небольшое,
А француза было вдвое,
И сикурсу тьма.

Ждали – выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал.

А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице.

И пришлось нам отступить,
Р..... же ихню мать,
Кто туда водил.

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

Из поэмы «ТИШИНА»

Свершилось! Мертвые отпеты,
Живые прекратили плач,
Окровавленные ланцеты
Отчистил утомленный врач.
Военный поп, сложив ладони,
Творит молитву небесам.
И севастопольские кони
Пасутся мирно... Слава вам!
Вы были там, где смерть летает,
Вы были в сечах роковых
И, как вдовец жену меняет,
Меняли всадников лихих.

Война молчит – и жертв не просит,
Народ, стекаясь к алтарям,
Хвалу усердную возносит
Смирившим громы небесам.
Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!

Молчит и **он**... как труп безглавый,
Еще в крови, еще дымясь;
Не небеса, ожесточась,
Его снесли огнем и лавой:
Твердыня, избранная славой,
Земному грому поддалась!
Три царства перед ней стояло,
Перед одной... таких громов
Еще и небо не метало
С нерукотворных облаков!
В ней воздух кровью напоили,
Изрешетили каждый дом
И, вместо камня, намостили
Ее свинцом и чугуном.
Там по чугунному помосту
И море под стеной течет.
Носили там людей к погосту,
Как мертвых пчел, теряя счет...
Свершилось! Рухнула твердыня,
Войска ушли... кругом пустыня,
Могилы... Люди в той стране
Еще не верят тишине,
Но тихо... В каменные раны
Заходят сизые туманы,
И черноморская волна
Уныло в берег славы плещет...
Над всею Русью тишина,
Но – не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

28 декабря 1856 года

Из цикла «КРЫМСКИЕ ОЧЕРКИ»

* * *

Приветствую тебя, опустошенный дом,
 Завядшие дубы, лежащие кругом,
 И море синее, и вас, крутые скалы,
 И пышный прежде сад, глухой и одичалый!
 Усталым путникам в палящий летний день
 Еще даешь ты, дом, свежительную тень,
 Еще стоят твои поруганные стены,
 Но сколько горестной я вижу перемены!
 Едва лишь я вступил под твой знакомый кров,
 Бросаются в глаза мне надписи врагов,
 Рисунки грубые и шутики площадные,
 Где с наглым торжеством поносятся Россия;
 Все те же громкие, хвастливые слова
 Нечестное врагов оправдывают дело...

Вздыхнув, иду вперед; мохнатая сова
 Бесшумно с зеркала разбитого слетела,
 Вот в угол бросилась испуганная мышь...
 Везде обломки, прах; куда ни поглядишь,
 Везде насилие, насмешки и угрозы –
 А из сада в окно вползающие розы,
 За мраморный карниз цепляясь там и тут,
 Беспечно в красоте раскидистой цветут,
 Как будто на дела враждебного народа
 Набросить свой покров старается природа;
 Вот ящерица здесь меж зелени и плит,
 Блестя как изумруд, извилисто скользит,
 И любо ей играть в молчании могильном,
 Где на пол солнца луч столбом ударил пыльным.
 Но вот уж сумерки; вот постепенно мгла
 На берег, на залив, на скалы налегла,
 Все больше в небе звезд, в аллеях все темнее,
 Душистые цветы, и запах трав сильнее;
 На сломанном крыльце сажу я, полон дум, -
 Как тихо все кругом, как слышен моря шум!..

Лет о 1856-1858

В СЕВАСТОПОЛЕ

Здесь есть святыня, русская святыня,
Великих жертв, великой скорби край,
Но торжеством вещественным, гордыня,
Пред скорбью сей себя не величай.

Богатыря на поединок честный
Расчётливый враг вызвать не посмел,
На одного клич поднял повсеместный,
И на него ордами полетел.

Насильством враг венчал свою гордыню,
Над камнями победу одержал,
Он разгромил бездушную твердыню,
Но русский дух в паденьи устоял.

Здесь понесла свой тяжкий крест Россия;
Но этот крест – сокровище для нас;
Таятся в нем страдания нам родные,
Страдал и Тот, Кто мир страданьем спас.

Сей крест облит великодушной кровью,
Прославлен он духовным торжеством,
И перед ним с сыновнею любовью
Склоняемся мы набожным челом.

Целуем мы сии святые раны,
Живые мощи доблестных бойцов;
И пепел сей и мертвые курганы
Красноречивей всех похвальных слов.

На нас от сих развалин скорбью веет,
Но мужеством воспаляет грудь,
И молча путник здесь благоговеет,
И падших он дерзнет ли упрекнуть?

Нет, не кладбище здесь народной славы:
Из камней сих в сиянье восстает
Алтарь любви нетленный, величавый,
Отечества святыня и кивот.

Из рода в род помянем эти бои,
Вас, мученики, жертвы злой судьбы,

Вас, павшие, как падают герои
В последний час отчаянной борьбы.

Тень и твою, наш Царь многострадальный,
Встречаем мы средь славных сих могил,
Отселе грудь твою осколок дальний
Глубокой язвой смертно поразил.

Здесь за тебя и за Россию пали
Бойцы, которых Бог к себе призвал;
Под жгучей болью доблестной печали
И ты за них и за Россию пал.

Ты лепту внес в кровавую годину,
Твой каждый день был беспощадный бой,
И тихий одр, где встретил ты кончину,
Царь-богатырь, был Севастополь твой.

Здесь при тебе чета твоих героев,
С Корниловым Нахимов и при них
Весь светлый лик христоробивых воев,
Которых прах лежит у стен родных.

Мир вам с небес, вам, труженикам битвы,
С венцом терновым славы на челе,
Вам вечные и память, и молитвы
В сердцах родных и на родной земле!

А ты могучий град – теперь обломки,
Свои преданья набожно храни,
И тризною достойною потомки
Отпразднуют развалины твои!

1867

АЛЕКСЕЙ АПУХТИН

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ О СЕВАСТОПОЛЕ

Не веселую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.

Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималось облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей
И пришли к нам, и нас победили.

А и так победили, что долго потом
Не совались к нам с дерзким вопросом;
А и так победили, что с кислым лицом
И с разбитым отчалили носом.

Я спою, как, покинув и дом и семью,
Шел в дружину помещик богатый,
Как мужик, обнимая бабенку свою,
Выходил ополченцем из хаты.

Я спою, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали,
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали!

Как красавицы наши сиделками шли
К безотрадному их изголовью;
Как за каждый клочок нашей русской земли
Нам платили враги своей кровью;

Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым,
Под немолчные тяжкие стоны
Выходили редуты один за другим,
Грозной тенью росли бастионы;

И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов ее смелых.

Пусть нерадостна песня, что вам я пою,
Да не хуже той песни победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.

1869

**СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ**

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов.

Они и под землей отвагой прежней дышат...
Боюсь мои стопы покой их возмутят,
И мнится, все они шаги живого слышат,
Но лишь молитвенно молчат.

Счастливыцы! Вышею пылали вы любовью:
Тут что ни мавзолеей, ни надпись – все боец,
И рядом улеглись, своей залиты кровью,
И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

4 июня 1887

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

Волны тяжки и свинцовы,
Кажет темным белый камень,
И кует земле оковы
Позабытый небом пламень.

Облака повисли с высей,
Помутнелы – ослабелы,
Точно кисти в кипарисе
Над могилой сизо-белы.

Воздух мягкий, но без силы,
Ели, мшистые камни...
Это – братские могилы,
И полней уж нет забвенья.

1904

Севаст ополь

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты стихотворений печатаются по изд.: «Прекрасны вы, берега Тавриды: Крым в русской поэзии». М., 2000.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт, переводчик, критик. Стихотворение «Бывало уловить из жизни миг случайный...» открывает цикл «1854 год». Цикл был издан отдельной книгой (СПб., 1855).

Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910) – прозаик, драматург, критик. Участник Крымской войны, награжден орденом Анны с надписью «За храбрость» и медалями «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853-1856 гг.». В «Песне про сражение на реке Черной...» Лев Толстой в сатирических тонах рассказывает об одном из эпизодов Крымской войны. Лица, упомянутые в песне, — высшие чины русской армии.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — поэт, прозаик, критик, издатель. «Свершилось! Мертвые отпеты...» — 3-я глава поэмы «Тишина».

Побывал в Крыму в 1876 году. Жил в Ялте в гостинице «Россия», лечился у С.П. Боткина.

Толстой Алексей Константинович (1817– 1875) — поэт, драматург, прозаик. Цикл «Крымские очерки» — поэтический дневник путешествия А.К. Толстого по Крыму в мае-июне 1856 года. «Приветствую тебя, опустошенный дом...» — в Крыму (в Меласе) находилось имение дяди А.К. Толстого – министра уделов Л.А. Перовского.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт, критик. Посетил Крым в 1867 году. Стихотворение «В Севастополе» вошло в цикл «Крымские фотографии 1867 года» (Сборник «Складчина», СПб., 1874).

Апухтин Алексей Николаевич (1840– 1893) — поэт. Дебютировал в печати стихотворением «Эпаминонд» («Русский инвалид», 6 ноября 1854 г.), посвященным герою Крымской войны В.А. Корнилову.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820– 1892) — поэт, прозаик, переводчик. В книге «Мои воспоминания» (1890) Фет подробно описал свои впечатления от путешествия по Крыму осенью 1879 года. Побывал в Ялте, Бахчисарае, Севастополе...

Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909) — поэт, переводчик, драматург, литературный критик. В 1904 году поэт приезжает в Саки для лечения грязями. В августе-сентябре вместе с семьей переезжает в Ялту, где останавливается в доме известного писателя и врача С.Елпатьевского.

С Крымом связаны стихотворения: «Черное море», «Тоска белого камня», «Сирень на камне» и др.

*Составление, примечания –
КОРОБОВА Владимира Борисовича,
Москва*

Федор ТЮТЧЕВ

СЛАВЯНАМ

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!

Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, —
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство,
За тяжкий первородный грех!

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья

* Публикация посвящена 200-летию со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчева.

В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: — Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как Божья кара, их страшит!

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян,

И то, что длилось веками,
Не истоцилось и поднесь,
И тяготеет и над нами —
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронута Косово поле,
Не скрыта Белая Гора!

А между нас — позор немалый, —
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим Провиденью —
Ему известны день и час...

И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрет груди,

Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив — Верховный Промыслитель,
И суд Его не оскудел,
И слово Царь-Освободитель
За русский выступит предел...

Май 1867



СЛАВЯНЕ

Что за грех на Петре, Иване,
Над Миколиной головой?
Словно фильм на большом экране,
Смотрит мир, как братья-славяне
Засобачились меж собой.

И рядиться пошли, делиться,
Гнать друг друга из хаты вон.
Удивляется мир, дивится:
Тут — граница, и там — граница!
За таможей — опять кордон!

Вместе сеяли, вместе жали
Не понравилось. И, смотри,
В буйстве гонора не сдержали,
Из великой одной Державы
Сотворили несчастных три.

И лежат они, эти страны,
Вроде б рядом, а далеко...
До смешного не иностранны:
Там — Иваны, и тут — Иваны,
В той — Григорий, а в той — Грицко.

И такая она другая
Жизнь пошла, и такой разлад
Заграница моя родная,
От Миколы до Николая
Не доехать за пять зарплат!

Всё смешалось — и ввоз, и вывоз,
Только гонор неукротим

Все в упадке, а гонор вырос:
«Мы вам газ не дадим!»
«А мы вас морем Черным перештормим!»

И стоят три славянских стана,
Терпят порознь беду одну.
И уверенность их обманна,
И морочит Иван Ивана,
И морочат свою страну.

Эта смута пройдет с годами,
Только б муть прошла в голове
У радетелей наших с вами
Со славянскими именами
В Минске, в Киеве и в Москве.

1998

ТАМОЖНЯ

«Чи можно, чи не можно?» —
С вопросами глаза.
Под Харьковом таможня,
Скрежещут тормоза.

Такой тяжёлый скрежет,
Такой гнеущий гуд,
Как будто душу режут,
Как будто сердце рвут.

Родимая чужбина,
Проклятая пора...
Отныне Украина
России — не сестра.

Не выразить словами,
Куда нас завели.
Мы больше не славяне —
Хохлы да москали.

И поезд, словно в зоне,
Такой вот оборот.
Как шмон, идёт в вагоне
Таможенный досмотр.

Таможня, мало толку,
Глаза свои протри!
Да что ты на кошёлку,
Ты в душу мне смотри!

Ты видишь речку детства,
Голодный видишь год?
Ты видишь там, у сердца
Грохочущий завод?

Рабочие бараки,
Пол-улицы — родня,
И танцплощадку в парке,
И тополь у плетня

Смотри хоть через силу,
Увидь, в конце концов,
И батькину могилу,
И мамино крыльцо,

Днепровские пороги,
Лодчонку на волне,
И дальние дороги
По всей большой стране.

Смотри, смотри, таможня,
Насколько я нечист
Я просто невозможно,
Какой контрабандист!

И думай, что нам делать
В безвременье, когда
Отчизну нашу делят
Паны и господа.

БЕЛАРУСЬ

А в Бресте... В Бресте — всё на месте!
И в Минске держатся, как в Бресте,
И в Могилеве, и окрест —
Куда ни смотришь — всюду Брест.

Нелепость? В чём же тут нелепость?
Стоит республика, как крепость,

Как тот бесменный гарнизон,
Что обойдён со всех сторон.

Со всех сторон — распад, разруха...
А тут, на бастионах духа,
Народом всем — и стар и млад —
Сябры отважные стоят.

Стоят бесстрашные славяне,
Стоят делами и словами.
И слышит мир благовую весть
Про независимость и честь.

Здесь братство славят в полный голос,
Здесь не посмеет пикнуть Сорос —
Не тот расклад, не та пора,
Чтоб порулить из-за бугра.

Всё по-людски здесь. Сеют, пашут,
На праздниках поют и пляшут,
И, молча головы склоня,
Стоят у Вечного огня.

В стране, как в Бресте — всё на месте!
Есть место долгу, место чести.
Мы тоже встанем, но уже
За ней на этом рубеже.

ОЧАРОВАННЫЕ МОИ

И под Харьковом, и под Жмеринкой,
И в херсонской степи седой
Очарованные Америкой
Вы стоите ко мне спиной.

Вы стоите с обманом под руку,
За добро принимая зло.
Дружба — побоку, братство — побоку...
Заколдобило. Занесло.

Всё вам видится даль просторная,
Всё мерещится, что сейчас
Та страна, за буфом которая,
В омут бросится ради вас.

Я в обиде стою и в горечи:
Соблазнились... И на тебе —
Отвернулись! Уже не родичи —
Ни по крови, ни по судьбе...

Вы из этого мрака выйдете,
Будет ясным, как в Храме, свет,
И побачитэ, и увидите,
Кто наваял вам этот бред.

Но и горько еще поплачете
Над развалом большой семьи.
Вот увидите, ось побачитэ,
Очарованные мои!

* * *

Жизнь бушует, кипит, колобродит,
Только сутью по кругу идет
И извечно мужчина уходит,
А любимая женщина ждёт.

И чем мужества больше в мужчине,
Тем и ближе прощания срок,
Тем и легче возникнуть причине,
Что уводит его за порог.

Мир огромен, неясен, непрочен,
И судьбою уже решено —
Только женщине, любящей очень,
С этой болью смириться дано.

Шар земной словно вздрогнул и замер,
И дорога уже началась,
И большими, как небо, глазами
Наши милые смотрят на нас.

И глядишь в эти ясные очи,
И как будто теряешься в них.
Только очень любимые, очень,
Объяснений не ждут никаких.

ПОЭЗИЯ

Разгул огней, а ночь черна, как уголь.
Любовь пошла на бартер и в кредит.
И как сиротка, загнанная в угол,
На эту жуть Поэзия глядит.

Глядит, как люд разврату предается,
Как колетса, какую гадость пьёт,
Как за жратву и шмотки продаётся
И как её в упор не узнаёт.

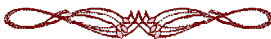
Так горько ей от этих душ продажных,
Поэзии... И память из глубин
Ей возвращает рыцарски бесстрашных
И нежных до безумия мужчин.

Она чиста, она почти воздушна,
В ней тайна есть, невысказанность есть.
В ней всё — душа. А жизнь вокруг бездушна
Когда пройдёт безумие — Бог весть!

Она глядит, страдая, как на сцену —
На мир, где поднимая шум и гам
Пустились люди в страшную измену
Своим сердечным чувствам и мечтам.

Она глядит, как люди, оскотинясь,
Меняют лица, нравы, голоса.
И по щеке лирической скатилась
Лирически бессильная слеза.

Москва



Владимир КОРОБОВ

Коробов Владимир Борисович (р. 1953 г.) – поэт, литературовед. Член Союза писателей. Родился в городе Тобольске Тюменской обл. С 1955 по 1988 жил в Крыму. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького и аспирантуру при нем. В 1983-1988 гг. работал научным сотрудником Дома-музея А.П.Чехова в Ялте. Автор сборника стихов «Взморье» (М., 1991). Автор-составитель книг: «Путь едет вие к Чехову» (М., 1996), «Прекрасны вы, берега Тавриды: Крым в русской поэзии» (М., 2000).

Стихи публиковались в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Грани»; еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия».

Постоянный автор «Берегов Тавриды».

Лауреат премии журнала «Литературная учеба» (1991) и премии «Артиада России» (1996; 2000 гг.).

Живет в Москве.

НА КРАЮ ПУСТОТЫ

* * *

Давай с тобой поговорим,
Повспоминаем, посудачим
Или поедем летом в Крым,
На пляже полежать горячем.
Давай с тобой поговорим,
Судьбу отечества оплачем.
Вранье, что все дороги в Рим
Ведут... Еще мы что-то значим.

Все это шепчешь в пустоту
Морозную,
не созная,
Что речь – как птица на лету,
Замерзла, с губ твоих слетая.

* * *

Последнее лето двадцатого века,
Бесславьем увенчанный Крым.
И волны на скалы взлетают с разбега,
В стеклянный развеяны дым.

В стихии разгульная есть еще сила,
Бескрайняя хлябь глубока.
Отныне великой державы могила
Прописана здесь на века.

Разбойные ветры кочуют с Босфора,
Молчит виновато Форос.
И к даче злосчастной, как месту позора,
Путь горькой польнью порос.

Последнее лето двадцатого века,
Наследная наша вина...
Кровавым пятном, что на лбу у генсека,
Ты стала, родная страна.

2000

* * *

Л.

И море остыло. И лодки забыты.
И пляжи до лета фанерой забыты.

Так, значит, как раньше, так, значит, как прежде,
Вдвоем не бродить на пустом побережье,

Так, значит, уже не сбежать нам с тобою
К веселому морю веселой тропею,

Не плыть, не лежать на заброшенном пляже,
Касаясь волны, словно пенистой пряжи...

Что было – прошло. И все реже и реже
Мне верить погоде и верить надежде.

То хрупкое лето волною разбито.
И море остыло. И гавань размыта.

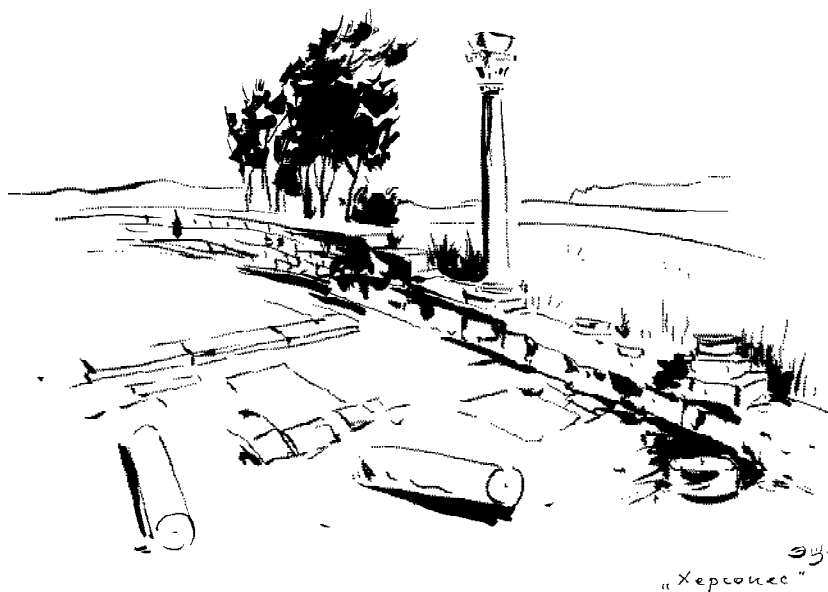
Ржавеют в воде ненадежные сваи.
Кричат о беде перелетные стаи.

Я выйду на зов. Постою на причале.
Прочнее, чем эта, не будет печали.

Пройдет теплоход и вдали растворится.
Ничто не вернется и не повторится.

* * *

Постояли у башни Зенона,
Не спеша обошли Херсонес,
Но с высокими волнами звона
Не сошли к нам преданья с небес,
Не встревожил нас колокол медный,
Не навеял прошедшего нам,
И казался чужим этот бедный
И разрушенный временем храм.



Графика Элеоноры Щегловой. Тушь, кисть.

То ли боги от нас отступились,
То ли нам наплевать на богов,-
Только стерлись слова и забылись
И нельзя разобрать этих слов...
Но на выкрики: «Зрелищ и хлеба!»
Над пустым нашим, жаждущим ртом
Вдруг однажды откроется небо
С золотым и нетленным крестом.

ПОЭТЫ

Кричали с эстрады о вечном,
Горланили спьяну стихи,
А сами, как стадо овечье,
Пугались любой чепухи.

Метались, толкаясь в загоне,
Терпели и стужу, и грязь...
Им снились крылатые кони,
Что мчали их к славе, клубясь.

Но время, листая страницы,
Развевало многое в прах,
Лишь слов золотые крупницы
Лежат на Господних весах.

ПАМЯТИ Н.Б.ТОМАШЕВСКОГО

Жили вы так, словно с Господом спорили,
Черт вам не брат,
То ли – профессор из «Скучной истории»,
То ли – Сократ.

Так и запомню вас умным, язвительным,
Резким на слух.
Был в наклонении лишь повелительном
Гордый ваш дух.

Смерть где-то рядом плутала, маячила,
Стучала в дверь.
В темном саду ни застолья, ни дачника –
Где он теперь?

Верю, душа его, тайно ранимая,
Плоть отряхнув,
Вновь прилетит на крылах серафимовых
В милый Юрзуф.

И загрузит, красотою окрестною
Поражена.
Встанут любимые рядом над бездною
Мать и жена.

Я помяну вас в шалмане запущенном,
Слезы сглотнув,
Где не однажды мы пили за Пушкина
И за Гурзуф.

Боготворили вы край сей таинственный
Ранней весной.
Что же, прощайте навеки в единственной
Жизни земной.

* * *

Всё, что осталось от прошлого лета, —
мертвые бабочки писем, кассета

видеофильма, засохшие осы
на подоконнике, наши вопросы

к Господу Богу, а также друг к другу...
Милая, дай на прощание руку!

Так и замрем на краю пустоты —
испеленные зноем листы.

ГРОЗА НАД МОРЕМ

Мелькнувшая чайка уколет — как спица,
И, вскрикнув тревожно, вдали растворится.
Залив расплывется сквозь линзы слезы,
И сдавит мне горло волнение грозы.
Тогда я увижу как будто впервые:
Морские валы и холмы вековые,
Вознесшихся скал ножевые зубцы
И молний жестоких на небе рубцы.

Поднимется буря! И моря громада
Обрушит на берег безумное стадо,
И ветер завяжет в седые узлы
Непрочные узы волны и скалы.

А там, где воздвигнулись горы высоко,
Прокатится эхо грозы одиноко...
И море покроет туманная хмарь.
И дождь, как шарманка, навевает печаль.

ДРУГУ

Н.А.

1

В Москву! В Москву!
А что в ней делать?
Москва такая ж глухомань...
Заря за окнами зарделась –
Больная чахлая герань.

Об этом грезилось нам разве
В лугах, где травы и цветы?
В столице суетной погрязли
Провинциальные мечты.

Нет, лучше бы, чем здесь скитаться,
Лысеть и стариться, друг мой, —
В цветущей юности болтаться
В петле курчавой головой.

2

Ни слова про вино,
Налей еще вина...
Душа идет ко дну
И в том ничья вина.

Нам плыть не суждено,
Храбриться не резон.
Волшебное руно
Без нас добыл Язон.

И если что-то нам
Осталось, старина,
Так это – двести грамм
Янтарного вина.

КОКТЕБЕЛЬ

Поселок дачный Коктебель
Оплакал ливень.
Скамья и жесткая постель
За восемь гривен.
В пристройке слепенькой в саду
У злой старухи,
Где, словно демоны в аду,
Роятся мухи.
Жаровни и шашлычный чад
На побережье.
Но вина крымские горчат,
Не то, что прежде,
Когда пустынен был залив
И не загажен,
И набран мелко курсив
За ближним кряжем –
Прошитой золотом волны
Вдоль горизонта,
Как будто грезы или сны
Ночного понта.
Здесь пели музы двух столиц,
Царил Волошин,
А ныне – скрипы половиц
И Дом заброшен.
Он, как ракушками, оброс
Лотошным хламом,
И жарит скумбрию пиндос*
Заезжим хамам.
И только моря сердолик
Таит такое,
Что оживает хоть на миг
В душе бывшее.

* Строка из стихотворения А. Масалова
Пиндос – грек.

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ*

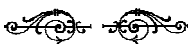
На братском кладбище цветы
Завяли все в столетье прошлом.
Стоим у каменной плиты
И говорим о чем-то пошлом.

Нет ни имен, ни скорбных дат
На обесславленной могиле...
Прости, матрос, прости, солдат,
Живые, мы – мертвее пыли.

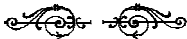
Счастливей нас, кто здесь лежит
И помнит времена святые,
Он за Россию был убит
До поругания России.

Москва

* Братское кладбище солдат и матросов, погибших во время севастопольской кампании в 1854–1855 гг.



*Правление журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют своего коллегу
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА КОРОБОВА
с юбилеем, желают новых творческих свершений!*



Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

ЯЛТА В ДЕКАБРЕ

(Акростих)

Ялту в декабре приезжий хаает:
Льют дожди на стынущей земле,
То гудит от шторма, то стихает
Акватория в промозглой мгле.
Высыхают во дворе дорожки,
Дым из труб кудель свою прядет.
Если загрустится у окошка,
Кто-то обязательно придет.
А вдали, как будто на картинке,
Белая гряда, в снегу на треть,
Реют одинокие снежинки,
Если в небо пристально смотреть...

ШТОРМ

Декабрь. Норд-ост. Кварталы Ялты.
Дарсан во мгле. Начало дня.
Разрывы волн, их рев, их залпы
гипнотизируют меня...

Волна отвеснее, чем катет,
взметнется под прямым углом,
опав, с урчаньем в море катит
кипящим, взвихренным узлом,
и исчезает в злой лавине
другой волны среди валов
с рычаньем, что намного львиной
рычанья африканских львов...



ДАТА 29.
"Гетункас унока"
Трун, куча
Д. Ибермова
Г. Даса

Когда иду к себе домой я,
внезапно поражаюсь тем,
что мне близка печаль изгоев,
непонимаемых никем...

СЧАСТЛИВЫЕ СКИТАЛЬЦЫ

О.И.

Зима. Но на душе весна-то,
сосульки пахнут, как сирень;
в порту штабной корабль НАТО
стоит у пирса третий день.
Ужели море не могло б
Эвксинским стать для нас де-факто:
полсвета охватил озноб,
полсвета еще терпит как-то.
И все-таки, и все ж, и все же,
как наваждение, опять
две льдинки маленьких сережек
я так хочу поцеловать.
Идем — счастливые скитальцы,
в порту качаются суда;
дай отогрею твои пальцы
своим дыханьем, дай сюда...

БЕЗУМНЫЕ ВАЛЫ

Безумные валы слизнули пляж, размыли
песок, и никому их не дано сковать.
Подумаем давай, хотим еще раз мы ли
поссориться опять и снова тосковать.
На море и в душе шторм сутками лютует
и все же легче здесь, где морок, дикость, страх,
вдруг, выйдя из пике, здесь чайка салютует
гортанным криком нам, промчавшись в двух шагах.
Несутся облака за край небес и дальше,
срываясь с дальних гор, с их южного торца,
не с ними ль занесен неверия и фальши
тот пакостный микроб, съедающий сердца.
Давай войдем домой, умерим раздраженье,
зачем стоим одни на грозном берегу,
под левым я соском испытываю жженье,

когда тебя понять уже я не могу.
Безумные валы, безумный век, безумье
моё, твоё, его, кто следующий? кто?
Испепеляет мысль проснувшийся Везувий,
который в сердце спал, пригревшись под пальто.
И все-таки давай подумаем с тобою,
как всё, чем жили мы не скомкать, не сломать:
безумные валы не назовешь прибоем,
как хаос валунов уж пляжем не назвать...

ВРЕМЯ НЕ С НАМИ

В бедной душе то потемки, то зябко,
время то спит, то заводит кадрили,
строгой уборщицей с влажною тряпкой
смерть нас смахнет мимоходом, как пыль,
В шуме реклам, среди стенаний и визгов,
всё забывается, будто во сне;
друга предать было подло и низко,
ныне другие идеи в цене.
Вот и подумай над этим стаканом,
что же нам делать, — ответ сотвори;
капает в полночь водица из крана
и убегают секунды твои
да и мои, — но об этом не стоит
напоминать среди невзгод и рутин,
в этой стране без потерь даже стоик
долго не выживет, как ни крути.
Я не сгущаю, — но ангел с рогами,
в черном, опять померещился мне:
били друзьями — стали врагами,
и чей-то хохот, как кашель, во тьме...
Я не боюсь помрачений и скуки,
я не боюсь клеветы и пинков,
что же мне снятся скулящие суки,
словно бы я утопил их щенков?
Ты оглянись! Это время не с нами,
если в нем тяжело душе и уму!
были друзьями — стали врагами,
и не сказать никому — почему...

ГОСПОДИ, НЕ ОТВЕРНИСЬ!

Господи, не отвернись!
Вновь восславляю день я!
Если подарить высь,
обереги от паденья.

Господи, не оставь!
Наперекор злословью
небыль судьбы и явь
благослови любовью!

Господи, помоги!
Сам не могу, не чаю:
пусть мне простят враги,
Господи, я их прощаю.

Господи, каюсь опять,
грешен я: тем не менее
даже веселых опять
гложет червяк сомнения.

Господи, Боже нежный,
страждущих всех утешь:
души людские те же,
беды людские те ж.

Не без небесных виз
с рифмами звонкими рос, поди!
Господи, не отвернись!
Что без Тебя я, Господи!..

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Поэзия и проза! В чем различие?
Подвластна явь им
и подвластны сны.
И та и та — глупы до неприличия
бывают, но бывают и умны.
И так они порой переплетаются,
и грань меж ними так порой тонка...
А облака в бездонной сини тают всё
и снова возникают облака.
И я под ними за судьбиной топаю,

я прозу дней поэзией пою,
Пою, пою! Я, может быть, не то пою
и не о том, а все-таки пою!
Пишу стихи, в них пробиваюсь к душам я
больным от чванства, скепсиса, грехов,
а рядом проза — верная отдушина,
где можно оклемасться от стихов...

* * *

Ан. М.

Предателей — не выношу!
С пекущей горечью в душе я
комок презренья к ним ношу,
что ненависти пострашнее.
Особенно, когда корысть
их на предательство подвигла,
мне омерзительнее крыс
они, — дешевое повидло!
Их бесталанность, тупость, злость,
змеи лукавство — вдруг сказались,
успех чухой им — в горле кость,
и зависть, зависть, зависть, зависть.
У нас всегда так. Фронт и тыл!
Но в оккупации, намаясь,
кто в партизаны уходил,
кто в полицаи, усмехаясь...

Ялта



Константин КИНЕЛЕВ

* * *

Чистый лист засеваю словами,
Как целинное поле зерном!
Ах, слова, как уютно мне с вами,
Вместе с вами — душой и умом.
Если сердце забьется в тревоге,
Закружится в страстях голова, —
Значит, вы появились, как боги, —
Озаренные сердцем слова.
Может статься, строка оборвется
И не будет у песни конца.
В чьих-то душах она отзовется,
Чьи-то чуткие тронет сердца.

БЕРЕЗКА

В краю, где в веках без умолка
Морская стихия шумит,
Одна, вне родного околка,
Березка в стесненьи стоит.

Ее окружили экзоты,
Любители южных утех.
Им чужды иные широты,
Им чужды морозы и снег.

А ей тут живет несносно —
Без ширей, метелей лихих...
Отбилась от стаи березка,
Горюет — одна средь чужих.

* * *

О, если б вы знали,
Где было дано мне родиться!
Во время горячей,
Повальной колхозной страды.
Под куполом неба,
Лишь только зарделась зарница,
Раздался мой крик
Средь мучнистой густой лебеды.
Прикипел пуповиной
К родимому отчему полю —
Здесь такая святая
Под солнцем родильня моя.
Мать украдкой крестила,
Просила хорошую долю,
Сберегала от сглазу
И молилась, тревогу тая.
Героиня моя,
Моя милая Мать-героиня!
Она жницей была
И впрягалась постромками в плуг.
Очень рано покрыл
Ее мудрую голову иней,
В ее темных очах
Вечно прятался ломкий испуг.
Я спустился с небес,
У нее был последним я ангелом.
Было место у всех
Под ее материнским крылом.
Видно, сердце ее
Польхало негаснущим пламенем,
День и ночь напролет
Неземным согревая теплом.
И омытый росой,
Освященный живую природой,
На любом перекрестке —
И в городе, и на селе —
Я всегда и везде
Отвечаю охотно и гордо:
Я в Сибири рожден,
Я рожден на раздольной земле.

* * *

Этой ранней порой, я прошу наперед,
Ты меня поутру не тревожь:
Я лоблю, как шумит, я лоблю, как идет
Законный молитвенный дождь.
Может, в светлых мечтах я к березкам умчусь,
Что от радости плачут, светясь.
И махнет мне крылами приветная Русь
В этот ранний божественный час.
Как бросать тебя, Русь, как себя мне делить,
Где найду я последний приют?
...Хочет дождик лихой показать свою прыть,
А дождинки, как слезы, текут...

* * *

Навязчиво снятся дороги,
Которыми в жизни плутал,
А то, в непонятной
тревоге, —
Такие, которых не знал.
В бору, среди сосен
кондовых,
В разливе степных
ковылей,
В теснинах каких-то
суровых,
Вдоль плотной гряды
тополей.
Уходят они к горизонту, —
А он, словно вымытый,
чист.
Душа так светла,
беззаботна,
Как ручкой
нетронутый лист.
Так разве что в детстве
бывало.
Но соткана жизнь
из тревог.
Ах, сколько падений
бывало
На скрытых ухабах дорог!
И все же, начни я сначала,

Любоваться бы мне без утайки
Красотой набежавшей волны...
Раскричались неистово чайки,
А я слышу кипенье страды.

Набегает волна, угасая,
Буруны, как валки, у неё:
А мне кажется: вьюга седая
До весны замедляет жнивье.

... Вот живу в неладах и раздоре,
Сам себя приковавши на цепь:
Я гляжу на широкое море,
А ковыльная видится степь.

* * *

Не надо так бежать.
Не надо.
Ведь есть конец пути:
Всех ждет ограда.
Скажи, спешишь куда?
Летит все мимо,
Летят остатки лет —
Лета и зимы.
Несчитанное зло,
Святого — крохи.
А на исходе лишь
Бесчестья вздохи.
На цыпочках стоит
Она у входа.
Стареть, но и мудреть бы
Год от года.
Учиться отдавать
И жить приветно.
И если уж любить,
То беззаветно.
Пусть хлебное зерно
На радость всходит
И не голодный люд
Стремиться к моде.
Пускай продлится род,
Пускай продлится.
Пускай душа поет,
Светлеют лица.

Коль жалуется еще
Нас мир подлунный,
Помедленней ходи,
Побольше думай.
Не надо быть вчерашним,
Нет, не надо.
Всем надо чисто жить.
Всех ждет ограда.

В ОДНОМ ВАГОНЕ

Неторопливых мыслей вязь
Ведет от отчего порога,
Длинна, длинна была дорога:
Звезда уж поздняя зажглась.

Зачем мельчаем на бегу?
Зачем другим хотим отмщенья?
Ах, всяк молил себе везенья
На неизвестном берегу.

Да, нелегко платить добром,
Теплом делиться и любовью.
Но подлость отзовется болью,
Злой рок придет к тебе потом.

И чем-то странен был и дик
Тот всплеск шального упоенья,
Теперь — в душе успокоенье,
И в жизни дорог каждый миг.

Остановись и осмотрись:
Где твой маяк на небосклоне?
Мы едем все в одном вагоне,
У всех своя в дороге высь.

Эх, фантазер я отродясь!
Простую истину глаголю.
...Пойду к засеянному полю.
Вот снова осень.
Снова — грязь...

ДОРОГА ДОМОЙ

Летят, как опавшие листья,
Летят в Неизвестность лета.
Огнями калиновой кисти
Горит и зовет Высота.

И кажется тяжким похмельем
Царящая вокруг суета.
И мнится, что там, в Запределье,
Блаженная есть Чистота.

Нас тешили долго вершины
Заманчивым маревом в зной.
Ах, знать бы средь горькой чужбины,
Какая дорога — домой.

НЕ ГАСИТЕ СВЕЧУ

Вот зажгу я свечу, вот поставлю свечу
И в святой тишине растворюсь.
И в тревожных мечтах я туда улечу,
Где не ждет меня милая Русь.

Мне б туда, где рожден, где кипела страда,
Чтобы горькую чашу испить.
Посмотреть бы куда?
Ты, Россия, летишь... И свечу до конца не гасить.

Вот сумятытся яркие блики вокруг, —
Бесшабашного детства излет.
И мне грезится свыше неведомый Дух, —
Может быть, мой последний оплот.

У горящей свечи я смиренно молчу,
Обретая душевную твердь.
Не тушите свечу, не гасите свечу,
Дайте ей до конца догореть.

ПЕСНЯ

Пела в поле овсянка,
Заунывно так пела,
Занялась спозаранку, —
Тишина занемела.

Будто горы печали,
Будто воли ей мало.
Ковыли замолчали,
Степь неслышно дышала.

Помолчи же немного,
Не зови в лихолетье.
Может, чья-то дорога
Нынче ляжет в бессмертье.

Кто же знал, кто же ведал
В той полынной глубинке,
Что уйдут наши деды,
Не придут из чужбинки.

Кто погиб, не вернется,
За зимой будет лето.
Хлеб стеной колыхнется.
Где ты, певчая, где ты?

Спой, овсянка, с задором,
Спой нам песню во поле.
Не накличь нам разора,
А накличь лучшей доли.

Ялт а



Александр РУДЬ

Асланмурзе Шахиеву, бывшему управляющему от делением в селе Ст орожевом

Он на рынке стоит, друг мой Асланмурза —
Он владелец лабазного ряда.
Я хочу вам немного о нем рассказать,
Но не знаю, вот только ли надо?

Сын Кавказа. Черкес. Резок нрав, как батут.
Непростую в жизнь выбрал тропинку:
Не торговый закончил — сельхозинститут
И уехал работать в глубинку.

Он хозяином был в дальнем крымском селе,
А на суржике сельском — «управом» .
На политой слезами и потом земле
Был известен он разумом здравым.

Он карал и мирил и был вхож в каждый дом,
Не скупился на брань и награды.
Если б знамя ему, то на знамени том
Был девиз очень короткий:
Надо!

Не любил говорить он красивых речей,
Свою правду отстаивал грубо...
Доверялись ему дубликаты ключей
От сельмага,
От почты,
От клуба.

Куда надо с рассветом ползли трактора,
Детским смехом подворья звенели.
Ах, как крикали утки на фермах с утра,
Ах, как в поле хлеба зеленели!

Он горяч был, товарищ мой, Асланмурза.
И, конечно, в разгул беспредела
То ли денег не дал, то ли что-то сказал —
И лишен был любимого дела.

Он на рынке — скалой... Но как плачут глаза
По садам в теплых пальцах подвоев!
Ты ответь мне, пожалуйста, Асланмурза,
А вернулся бы в Сторожевое?

ЛАПТА

Л. Панасенко

Я не помню точных правил,
Той игры, что ходит в сны:
На пригорке снег расплавил
Первый ветерок весны.

На полянке, где коряво
Для лапты расчерчен круг, —
В одежоночке дырявой
Две команды с улиц двух.

Второгодник-переросток
Бьет с размаху по мячу.
Как картофельный отросток
За его плечом торчу.

Я с противником не спорю,
Рвусь, как в бой, в любой прожект —
Я сегодня не фаворю,
Заполняю некомплект.

Наступив на «блин» коровий,
Талый снег топчу в углу.
Наши дамы хмурят брови,
Как дворянки на балу.

Я под шорох их оборок
Мяч хватаю на лету...
В запасных хожу лет сорок
Чтоб еще сыграть в лапту.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

А.А.

Прохудились сапоги у поэтессы.
Нет других сапог
Для слякотной зимы.
И у мужа, стихотворца и повесы,
Денег тоже нет.
И негде взять займы.

Есть читатели, хороший есть издатель,
И полным-полно
Прекраснейших стихов,
Но за них давно никто монет не платит,
В книготоргах —
Смакование грехов.

Диктор врет о потребительской корзинке,
Мисс-Урюпинск
Глупо скалится в экран.
Не печатная, а швейная машинка
Не смолкает
Здесь частенько до утра.

Эй, правители, в угаре политизма
Превратившие
Страну в большой местком!
Прохудились сапоги у поэтессы,
Сколько можно же
Пророку босиком?

НЕ УХОДИ!

Л.Л.

Машет пурга фонарем,
Как кадилом,
Бьются снежинки
О форточку молью.
Я не хочу,
Чтобы ты уходила,
Даже к соседке напротив
За солью.

Я не хочу,
Чтобы ты уходила,
Дернув в сердцах
На ботинках замочки.
Поцеловать ты меня
Позабыла
И не проверила
Ранец у дочки.

Если уйдешь,
Мне до боли — полвздоха,
Стану мишенью,
Расстрелянной в тире.
Мне без тебя
Оглушительно плохо
В гулкой толпе
И холодной квартире!

Не уходи,
Не спеши попрощаться,
Ты ведь умеешь,
От счастья немея,
Не уходя никуда,
Возвращаться,
Теплой лозою,
Повиснув на шее.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДЛИННАЯ!»

На улице Пархоменко (ныне Караимская) в Симферополе эта надпись на стене дома красными полукруглыми буквами несколько лет вызывала у прохожих светлые улыбки.
П.Макуха

Мальчик маленького роста,
С неба не хватавший звезд,
И девчонка — переросток:
Метр восемьдесят рост.

Жили в доме, по соседству
И в один ходили класс.
Вместе распрощались с детством,
Оглянувшись как-то раз.

И любовь, ну что тут сделать;
Их сплела, к руке рука!
На него она глядела
С высоты, не свысока.

И он был готов за это
Хоть в огонь,
Хоть в полымя!
Зря шумели педсоветы,
Кондуитами гремя.

Раз с командой баскетбольной
Свез ее в Москву экспресс.
Не вернул назад град столичный
Чемпионку в город «С».

Зря он ждал ее два лета,
К вящей зависти врагов,
Да и денег для билета
Не имелось у него.

Ее мама, взгляды пряча,
На карьер меняла шаг —
Жесткий баскетбольный мячик
Мальчик выбросил в овраг

И кричащей красной краской
Написал он на стене,
Словно кровью ярко-красной
На огромной простыне:

Я люблю тебя, длинная!!!

Он простою фразой этой
Ей бессмертье подарил,
Только охнули поэты
От Бобруйска до Курил.



Вилиор БУХАРЦЕВ

СЧАСТЬЕ ЗЕМНОЕ

Даль заветная,
Сердцу близкая.
Радость светлая
Материнская.

Зелень деревьев.
Высь янтарная
Зыбка месяца
Лучезарная.

Шелковистая,
Хлебосольная
Степь волнистая.
Степь раздольная.

В ней шумливая
Рожь колышется.
Рядом с нивою
Песня слышится.

Самобытная,
Чудодейная.
Песня тихая
Колыбельная...

АКВАРЕЛЬ

Лазурь. Лазурь и зелень. Приземлилась ива
У родничка, что прянул из-под ряски.
Искрист пленительный морской простор залива.
В работе — удивительные краски.

И длится, длится жизнь!.. Мыс дюнами увенчан,
Прибой — вихрами вешнего цветенья.
Усеян россыпями бликов сельский вечер.
Всесильно время — время вдохновенья!

И вновь работа: берег, глиняная хата.
Мир парусов первопроходцев смелых...
Часы бессмертья. На палитре циферблата
Две кисточки неутомимых стрелок...

ДРЕВО АДАМА И ЕВЫ

В росах поздние цветы,
Сеть суглинистых тропинок.
Над ключом живой воды
Нити сивых паутинок.

Ширь земного естества.
В стылом воздухе рассвета
Беспокойная листва.
В райских кущах — бабье лето.

В роздыми фруктовый сад.
Точно с майским медом блюдца,
Яблоки с ветвей летят
И о землю бьются.

Там и тут от яблок тех
Травушка примятая...
Так замаливают грех,
На колени падая.

ВОСПОМИНАНИЯ

Заря жар-птицей вдалеке
Роняя перышки, всплывала.
С холма тернистого к реке
Тропинка резвая сбегала.

О, молодость моя!.. Теплом
Объят дол, выстуженный выюгой.
Рубил отбойным молотком
Я в шахте уголь.

Весна!.. Как светел каждый миг
И пламенны сирени гроздья.
Мозоли в пятернях моих —
Впрямь вбитые по шляпки гвозди.

Вскипая, пот ручьями тек,
Но я не уставал трудиться.
Гремел отбойный молоток.
Изнашивались рукавицы...

В лучах безбрежности прекрасной
Грань дня былого. Окоем
С цветущим райским уголком
Пред бирюзою ночи ясной.

Свет вешних звезд — в земном поклоне.
Звон соловьев. Природы новь...
И я зову свою любовь,
Сложив шалашиком ладони!

В ГОСТЯХ У ДЕДА

Отзолотилась древняя
Дорога на заре.
Мне не унять волнения
У деда во дворе.

Петух, крылами хлопая,
Приветствует меня.
Веду под крону тополя
Я своего «коня».

Сегодня я на празднике
С тобой, велосипед.
У теремочков пасеки
Меня встречает дед.

В садочке принаряженном
Беседка над прудом.
Шаг — и в сияньи радужном
Мы с дедом за столом.

По кругу — яства дивные.
В центре стола — нектар.

Да лампой аладдиновой —
Старинный самовар.

Ярчайшие мгновения
День расточал степной.
Мгновенья незабвенные.
Но... мне пора домой.

От солнышка медового
Не меркнет склон небес.
О чаша чар огромная!
О магия чудес!

Клевали тропку голуби.
Сидел поодаль кот.
И колесом проколотым
Шипел гусь у ворот...

Бахчисарай



Адольф ЗИГАНИДИ

* * *

Мне только двадцать, всё ещё во тьме,
Светлы лишь фантастические дали,
Бурлит шальная молодость во мне —
Пока ещё по жизни не кидали.
Ещё трава зелёная вокруг,
И лепестки не считаны ромашек,
Наивен я ещё среди подруг,
И поворот судьбы пока не страшен.

На игрищах бравада, торжество
Мужского самолюбия над женским,
Лукавство, горлопанство, озорство
И донкихотства приторные всплески,
И трепет ощущения побед,
И леность в завершении удачи,
И страх признаться самому себе,
Что ты не муж пока ещё, а мальчик.

.....
И вот уже седая голова,
И но ночам бессонница-подруга,
И те же самые, по существу, слова,
Но их насквозь пронизывает выюга!..

ОЖИДАНИЕ ДНЯ

Чёрные тени на серой стене.
Ночь. Скоро рассвет.
Что-то не спится и холодно мне.
Бред!
Жутко и холодно, ветер в окне
И невозможно уснуть,

Холодно телу и холод в душе —
Жуть!
Ветер качает фонарь на столбе —
Сотни фонарных утроб
Свет, словно камни, швыряют во тьме —
В лоб!
Воет за окнами стенами ран,
Душу мне рвёт этот вой.
Чёрная сила идёт на таран —
Стой!
Дрожь накрывает, её не унять,
Воля растерзана в прах.
Что-то не хочет светило вставать —
Страх!
Кто-то отважился — против встаёт,
Но в одиночестве — крах!
Злоба всегда ниже пояса бьёт —
В пах!
Где ты, Светило? Ну же, вставай!
Чёрную тень разгони!
Души живые убить не давай —
Стонут они!
Дня ожидание — жизни завет,
С солнцем повязан судьбой.
С чёрною силой выходит Рассвет
В бой!

КАКОЙ ДЕНЁК!

Какой денёк! —
С небес веселье льётся,
Смеётся солнце,
Листья шелестят,
И облачко над головою
Вьётся,
И в голове
Мелодии звучат.
И я танцую,
Проходя тропую,
И напеваю,
И свищу порой,
И ветви раздвигаю
Головою,
И рыжик замечаю

Под сосной.
Мелодии
Роятся и роятся —
Не ведаю,
Откуда всё идёт,
Корзина продолжает
Наполняться —
И я уже грибам
Теряю счёт.
Блеснувшую
Мелодию рифмую,
И стих уже
Рождается вчерне,
К машине приближаясь,
Я танцую
И ликование
Плещется во мне!

ЛЕТНИЙ ШТОРМ В ЯЛТЕ

Блестит под солнцем моря гладь,
В лучах ласкается игриво,
Вдруг ветер вздумал поиграть,
Вода отозвалась бурливо :

Она вскипела — вал крутой,
Разнузданным играя нравом,
Расвирепев, как зверь морской,
На берег бросился стоголаво.

И содрогается земля,
Осаживая волн громады,
Взлетает веером струя
У стенки Городского Сада.

Искрится радугою свет —
Такого не увидишь в штиль,
Блестят умытый парапет
И тамариск от водной пыли.

На пляже — страхи и восторг,
Лишь смельчаки с волною спорят,
На волнолом, как на порог,
Легит, споткнувшись, ярость моря.

* * *

Блаженство у камина —
Мечтать, глядеть в огонь,
По-дружески, интимно
Тянуть к нему ладонь
И, протянув другую,
Поленья ворошить,
Зимы чтоб вьюгу злую
В уют свой не пустить,
Трепать собачьи уши,
Согревшись, сбросить плед,
Молчание нарушить,
Нести собачий бред...

Зашторено оконце
(мороз острее стекла),
Камин — мой щедрый спонсор
В дарении тепла.
В сосновом аромате
Яснее мысль пошла —
И стала суть понятней
Причин добра и зла,
И сам уже добрее,
И злости нет к врагам,
И в голове светлее,
Когда тепло ногам.

* * *

Путь мысли — неисповедимый:
Зигзаг и сполох, проблеск-блик —
То вижу волжские картины,
То гор кавказских снежный пик,
То слышу мерный рокот трассы
Среди украинских степей,
Иль шорохи зелёной массы
Кубанских спеющих полей,
То грохот Терека в Дарьяле,
То снежные отроги Татр,
Костра отсветы на привале
И углей ворожейный жар.

Ах, сколько сердца замираний!
Подъёмы, спуски, серпантин,
Росы сверканье утром ранним
И вот ... сверканье седин!



Татьяна ЗЫКОВА

Уходит день
 в заснеженную ночь
(Один из тех,
 что будничны и серы,
Непримечательны),
 и гонит память прочь
Такие дни,
 хоть много их без меры.

Из этих дней
 и состоит вся жизнь,
А ярких дней;
 как праздники, так мало!
Но почему
 стареет и от них,
От дней,
 в которых сердце ликовало?..

* * *

Всё обман,
 кроме этого светлого неба,
Кроме спящих деревьев,
 кроме белого снега,
Кроме этой земли,
 дорогой и терпящей,
Кроме ярких лучей,
 о весне говорящих.

Мне обид и тревог
 позабить — не измерить.

Разучилась любить —
научили не верить.
Мне кричать бы и плакать,
видя счастья потерю,
Но я небо люблю,
в его просини верю!



Владимир КУЛИКОВ

НА ЗАРЕ

Яснее даль лазурного восхода.
Предутренняя млеет тишина.
Под куполом божественного свода
Все замерло в объятьях властных сна.

Проснулись птахи, утро возвещая.
Легонько ветер пробует разбег.
На горизонте зорька молодая
Румянится, готовясь выйти в свет.

И как легко дышать: все чувства живы,
И силы жизни набирают вес
Теплом весны, надеждою счастливой
И светом брызг с чарующих небес.



Виктория ПРОКОФЬЕВА,
кандидат филологических наук, доцент ОГПУ

СТОЛП СВЕТА

О новых романах В. Бахревского «Столп» и «Тихон»

Владислав Бахревский, много лет проработавший журналистом в Оренбургской области, знаком читателю как автор исторических романов. В конце 2001 года в московском издательстве «Центрполиграф» вышли в свет два его романа о переломных эпохах России – «Столп» и «Тихон». И хотя, как говорит автор в предисловии к первому, «каждый век для России по-своему ключевой», В. Бахревский рассматривает под историческим микроскопом времена для нас особенно непростые, события которых, с одной стороны, активно освещаются учеными, с другой – имеют неоднозначную трактовку.

«Столп» – роман, завершающий работы о XVII веке. «Тридцать пять лет я жил страданиями и счастьем наших прашуров» – говорит о себе автор, и в результате – художественное осмысление XVII века: три повести о различных его событиях, эпопея из четырех романов о воссоединении Украины с Россией, еще пять – о царствии Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. «Столп» – последний из этого пятикнижия, в нем выведены все главные его герои на склоне лет. Шесть сотен страниц – о трех последних десятилетиях допетровской эпохи. Масса исторических личностей: кроме царя и его окружения, боярыня Морозова с сестрой Евдокией Урусовой, низверженный патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин, Симеон Полоцкий, князь Юрий Долгорукий, Мазепа...

Заглавие романа неоднозначно. «Столп, – читаем в словаре В.И. Даля, – опора, крепость, сила, поддержка.» Но это еще и «столб, башня, колонна», и – название выдающихся деятелей. Слово это не раз встречается на страницах, «кивая» то на православие, то на монархию, то на человека, исполняющего историческое предназначение. В начале романа друг царя Артамон Сергеевич Матвеев показывает иконописцу Егору иконы в своих покоях, и тот находит образ Симеона Столпника собственной кисти. Артамон сообщает, что часто стоит перед этой иконой: «Лик строг, но кругом столпа его свет, радость». Столпниками на Руси называли отшельников, творящих молитвы, стоя на небольшом столпе или затворясь в тесной башенной

келье. Парадоксально, но и цари – своего рода столпники, творящие историю страны в стенах Кремля. «На царстве стоять – все равно что на столпе. Нынче сладко, а завтра – закрыть бы глаза да бежать не оглядываясь, пока смерть не возьмет...» – вздыхает о своей судьбе Алексей Михайлович, зачавший со своею второй женой Натальей Кирилловной Нарышкиной будущего Петра Великого – в день Симеона Столпника (первое сентября). В этот же день через несколько лет венчают на царствие после скорой кончины Тишайшего его сына от первого брака Федора.

Писать исторические романы легко и сложно одновременно: характеры заданы и сюжет известен, но за сухими документами и летописными хрониками надо угадать нюансы, найти причины событий, творящихся людьми, а значит, познать их изнутри, «реконструировать», как сказал бы ученый, их помыслы, душевные колебания, наконец, выбор того единственного пути, который уже известен. И темы – человек и история, власть и человек, человек и его предназначение, личное и общественное – пусть даже не решенные, но поставленные в очередной раз, брошенные, как камень, в сознание берущего книгу в руки, заставляют нас реагировать как-то на потревоженное спокойствие – размышлениями ли, эмоциями...

Два важных события в истории последних лет правления Тишайшего представлены в романе, два бунта – Степана Разина, пожелавшего сделать всех вольными казаками, и боярыни Морозовой, не принявшей церковные реформы Никона.

Страницы, посвященные «вольному» движению Степана Разина, и художественны, и публицистичны. Начав рассказ о нем с размышлений из дня сегодняшнего («две с половиной сотни лет Стенька Разин слыл разбойником, душегубом. Но вот с кремлевскими часами поигрались – и появился памятник народному герою Степану Разину. Семьдесят лет был в героях и опять разбойник»), автор показывает крупным планом две сцены, характеризующие и народное движение, и человека.

Для первой – о «честном суде» разинцев над боярами – главным действующим лицом выбран «царевич Нечай», казак, поставленный Разиным на «царство», явленный для народа «добрый и справедливый царь». В стремлении «быть вольным и дать другим волю» в очередном взятом селе, Большом Мурашкине, самозванец со сподвижниками собирают народный суд над боярами и «их прислужниками». Все злодеяния припомнили воеводе, но рубить голову никто не решился. Вызвался только один, из числа подсудных, думая перейти после содеянного на службу к бунтовщикам, но те брезгливы до перебежчиков:

«– Я – ваш! – кричал он «царевичу». – Любую службу сослужу! Смилуйся!

– Ты – ихний, – сказал казак-глашатай, посматривая на «царевича», но указывая на толпу.

Казак толкнул с чурбана тело воеводы, подтащили Фрументия. Несчастный выл, корчился.

– Тятенька! Тятенька! – крикнула девочка, выскакивая из толпы.

Казак торопливо ткнул бывшего подьячего Тайного приказа ли-

цом в воеводскую кровь, тотчас и сабля свистнула. А девочка-пятилеточка уже вот она, схватила голову тятеньки и кинулась в толпу, к матери, к братьям, к сестрам. Мураши в ужасе рассыпались, побежали.

Пришлось казакам девочку догонять, голову отнимать, кровью вымываться.»

Вторая — казнь Разина, и опять — контраст характеров, рядом со стойко и молча переносящим пытки Степаном — визжащий и молящий о пощаде брат его Фрол: «Телега была крестьянская, да вместо сена — помост, а чтоб не лънули — дегтем вымазана. Виселица дубовая, веревка на Стенькиной шее с комьями засохшего навоза — из-под воловьего хвоста. К столбу Стеньку прикрутили не плотно, и, когда телегу трясло на выбоинах, он хватался одною рукой за веревку, другою за столб. Фрол, как собачонка, трусил за телегой». Появляется в романе Степан в осенний день Симеона Столпника и заканчивает жизнь свою — на столбе: отрубленную голову его палач нанизывает на специальный столб-спицу, и долго не убирается с Лобного места сия призванная устрашать народ картина.

Вторая линия темы «человек и власть» развивается уже на примере человека, не просто к этой власти приближенного, но породнившегося: боярыня Морозова — дальняя родственница Алексея Михайловича. Некогда богатая и знаменитая, но не принявшая новых церковных укладов, она вместе с сестрой становится узницей Боровской тюрьмы и умирает от голода со словами: «Будет русский человек в правде, будет и в силе. Верю, придет к Богу. В последней немочи, в ничтожестве, но придет, и будет ему награда — цвет весны благоуханной». Еще одна иллюстрация брошенных как-то слов Алексея Михайловича: «А царь-то, он ведь лев. Жажнет лапой — и мокрое место». Слово оживает перед нами суриковское полотно, рисующее выдворение Морозовой из дома, «бывшего в великой почести, соседа государевым палатам, — хуже пепелища, коли на него пал гнев великого царя». Вот знакомая благодаря художнику сцена — боярыня на дровнях: «Все молчали. Приставы сели на верховых лошадей, дровни тронулись. Везли мимо Чудова монастыря, под царские переходы. Лошадка едва трусила. «Царь победу своей желает насладиться», — осенило Федосью Прокопьевну, и она, звеня цепью, подняла десницу и сложила перст к персту и три совокупно. Алексей Михайлович и впрямь пришел поглядеть на униженную, на раздавленную его самодержавным гневом и увидел: всесильна, супротивна. Боже ты мой! Каким взором опалила переходы. Слава Те, Господи, что его-то не углядела! И какая неистовая сила в сложении перстов ее, в ее цепях, в ее крестьянских поганеньких дровеньках — Духом Святым вызолотило низверженную.»

В.Бахревский мастер изображать сильные характеры в экстремальных ситуациях; это не только Разин и Морозова, это и отстраненный от государственных дел в Ферапонтов монастырь некогда всесильный патриарх Никон, и протопоп Аввакум, годами сидящий и в зной и в стужу в земляной яме, полуголый и голодный, но не перестающий думать и писать. Это и цари, Алексей Михайлович и его сын Федор, процарствовавший после смерти отца всего несколько лет и умерший

юношей, — решающие внутренние и внешние судьбы России, налаживающие отношения с Украиной, Польшей, Китаем. Кроме поступков, автора в героях (во всех смыслах) интересуют их мысли, чувства, переживания, особенно в минуты переломные. Заглянуть «внутрь» психологии исторических лиц помогают их сны и видения, которые еще более «оживляют» персонажей. Степану Разину, Морозовой, ее сыну Ивану, Никону видения, объясняющие их предназначение, приходят перед смертью; Федору снятся вещие сны перед коронацией (о том, что освобождается он от шапки Мономаха и уходит по воде с ангелом) и решением о возвращении Никона: «В ту ночь Федору Алексеевичу приснилась великая церковь. Слепящие белизной стены уходили за облака, и сначала показалось, что у храма-то вместо купола — солнце, но солнце сдвинулось, и он увидел пять куполов, и от куполов этих исходили лучи, достигая самых окраинных стран и земель».

Перу автора подвластны и лирические сцены, описания любовных отношений обоих царей со своими избранницами (чего стоит, например, сцена «романтического ужина» Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной, готовящей для своего возлюбленного!), ожидания и рождения сыновей, семейных радостей и проблем. Личные пристрастия «царственных» персонажей часто оборачиваются культурной вехой в истории страны. Так произошло с увлечением Алексея Михайловича, который, увидя в Немецкой слободе представления на религиозные темы и желая развлечь свою молодую жену, по сути, способствует развитию театрального искусства.

История дарит разные типажи. Кроме характеров сильных, есть и те, к которым отношение порой — ироническое. Таков наставник царевичей и поэт Симеон Полоцкий, чьи «вириши тяжелей вериг». Это второстепенный персонаж, но несколько штрихов дают представление и о нем: «Симеон Полоцкий изобразил на лице глубочайшую задумчивость, он давно уже открыл для себя: поражают слушателей не знания, не мудрость, но облик мудрости».

При историческом повествовании неизбежно возникает вопрос: как соединить разнообразные события и найти между ними художественную связь? Не редко автор следует традиции А.С. Пушкина, давая историю «домашним образом», прибегая к проверенному приему: изображению исторических событий глазами обычных людей. Такова в романе семья Малаховых — старший Малах, отец, его сыновья Егор и Федот, дочь Енафа с сыном Малашеком и мужем Саввой. Каждый из них является соучастником событий: корабельщик Савва вынужден отдать свои струги Разину, а после разгрома бунта Юрием Долгоруким Савву ссылают в Пустозерск, где сидит в яме Аввакум; Енафа, собираясь к мужу, встречается с боярыней Морозовой; Егор, иконописец, в начале романа встречается с Артамоном Сергеевичем, пишет иконы для царской семьи (кроме упомянутого образа Симеона Столпника, на день рождения Федора Егор пишет образ святителя Феодора, в финале романа, будучи царем, Федор с царицей любят иконой; у изголовья беременной Натальи Кирилловны стоит постоянно икона Настасьи Узоразрешительницы, писанная Егором). Один только Малах не покидает своего села, Ръженькой, которое по наследству принадлежит боярыне Морозовой, а после лишения ее всех

земель переходит к Егору и Федоту, мастерам Оружейной палаты. Малах с внуком пахут землю и любятя российскими просторами, о которых точно говорится: «В Европах люблю страну за неделю проскачешь... В России же неделю проехал, а все еще на околице».

Россия – главный исторический персонаж романа. Россия православная. Изображая картины русского быта, писатель уделяет большое внимание вещной конкретности, которая составляет неотъемлемую грань словесно-художественной образности. Так, житейская повседневность передается через описания еды, постной и скромной, длинные перечисления бытовых принадлежностей, дарованных или присланных; колорит эпохи создает и приурочивание сюжетных вех к православному календарю (события происходят «на Антония Великого», «в прощенный день Масленицы», «в Медовый Спас», «на Фоминой неделе», «на Василия-исповедника», «на второй неделе поста» и т.п.). А описания православных обрядов даны не только талантливо, но и с любовью: «От пения язычки огня припадают, а потом – устремляются вверх, отточенные, как перья писарей. Свечами-то небось и пишется огненная книга, какую Бог читает на Небесах».

Еще два чисто русских символа книги – зима и сказки. Зима, снежная, лютая – частый фон для событий. Зима да печь – неизбежные декорации русской истории: «Печь – крепость. От зимы, от снежного засилья. Как таракашечки в печурках, так люди по избам. Зима на то послана православному человеку, чтоб Богу молился да сказки сказывал. Долгая зима – долгая молитва, крепкая жизнь.» А сказки – и развлечение, и поучение, их слушают и цари, и крестьяне, и беременная Петром Наталья Кирилловна слушает сказки, и Енафа рассказывает Малашеку: «Жили-были три брата, три ветра. Старшего звали Буран, среднего Ветрюга, младшего Ветерок. Пошли они жен искать себе. Бурану приглянулась Зима. Зима снег сыплет, а Буран этот снег по земле разносит. Ветрюга взял в жены Осень. Вот и осыпает с той поры листья с деревьев, морщит воду в реках, студит. Выдувает тепло из худых изб, путников до костей пробирает. А Ветерок так и ходит холостым. Зимой выюги гоняет по замерзшим рекам, Осенью облака, Весной – ручьи, а Летом – прохладой веет. Три брата, а добрый один. Так и среди людей. Добрый человек редкий, зато желанный.»

Второй роман Вл. Бахревского продолжает тему православной России на другом временном срезе – рубеже XIX – XX веков. «Тихон» – о трагической и светлой судьбе патриарха Тихона, причисленного ныне к лику святых. Упраздненное при Петре I патриаршество было восстановлено осенью 1917 года, и Тихон был первым патриархом в России после долгого перерыва.

При той же стилистике повествования, заданной той же целью – представить Россию изнутри, исследовать ее православную душу, меняется «способ наблюдения» и большая роль отводится документальным фрагментам – статьям, запискам, письмам, официальным бумагам, позволяющим ярче представить ежедневную жизнь человека и эпохи. В романе один главный герой и его жизнь, от первых дней до последних. Композиция романа двучастна: первая – «Пастырь» – повествует о детстве Василия Белавина, о его семье, учебе, выборе пути и принятии в монашестве имени Тихон, восхождении по служеб-

ной лестнице до чина митрополита. Автор создает образ не простого человека, но избранного (или обреченного) совершить духовный подвиг. Уже в детстве он – не просто мальчик, но отрок, стремящийся познать Слово Божье, даже название главы – «Детство патриарха» напоминает о неординарности личности, пусть еще юной. Наше предварительное знание о судьбе главного персонажа позволяет по-другому посмотреть на его выбор: кажется, неверность девушки, не дождавшейся окончания учебы Василия, его разочарование и уход в монашество – не случай, а закономерность. Сколь легка оказалась карьера священника, столь тяжело было в жизни обыденной, отбравшей у Тихона братьев, родителей, друзей. Служба в российских провинциях, на Аляске, снова на родине, избрание митрополитом Московским – вот, практически, и все «внешнее содержание» первой части, но за каждым шагом физическим – долгий путь духовный, ибо «ответ за нынешний день приходилось держать перед будущим России». Размышления, сомнения, чтение, писание статей и проповедей, разговоры с близкими и собой и – сны и предзнаменования, порой пугающие и волнующие Тихона, составляют содержание первой части. Вот в начале романа отцу троих отроков Ивану Беллавину снится сон о богоизбранности одного из сыновей, и вся семья пытается разгадать видение. Вот уже после возвращения Тихона из Америки и назначения его начальником епархии является ему во сне затворник Ириарх: «Тихон увидел спеленатого младенца, лежащего поверх высоких трав, не пригнувшего ни единой былинки.

– Возьми.

Тихон взял, и пот прошиб его. Показалось, держит саму землю.

– Се – душа России, – сказал Ириарх. – Твоя ноша. И все исцелю».

Вторая часть книги – «Крестный путь» – об избрании Тихона патриархом в роковое время – ноябрь 1917 года. Происходящее в стране оценивается церковью как преступление против России и безбожие: «Россию хотят расколоть, как зеркало, чтоб Божий лик, отобразившийся в новые времена в сей стране, исказили осколки». И выход видится только один – в укреплении церковных основ. Восстановление патриаршества в России описывается как всенародный праздник: «Кремль стал бьющимся сердцем державы, все были счастливы, ибо видели – вот она, Святая Русь, поднялась, как единый человек, единая душа, и встала перед Богом, ожидая милосердия», а патриарх – как спаситель: «Патриарх, вчера еще чуждый для многих, становился единственной надеждой на спасение самого имени «Россия», «русские». Все поняли наконец, патриарх нужен не ради правильного церковного канона и не ради украшения торжественных богослужений, но ради жизни, здесь, на равнинах России, на всех ее просторах от края и до края. Ради жизни.»

Избрание Тихона происходит по жребию: старец Алексий, затворник Зосимовой пустыни, из трех кандидатур, написанных на листочках бумаги, выбрал один и прочитал: «Тихон, митрополит Московский». Еще одно доказательство неслучайности происходящего в жизни (точнее – в житии!) Тихона. Интронизация Тихона в Успенском соборе 21 ноября 1917, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы свя-

зывает века и книги: патриарх облачается в клобук Никона – «XVII век дивно послужил XX».

Но происходящее в стране, представленное в книге как противостояние божественного и дьявольского с постепенной победой последнего, не дает развитию праздника. Первая служба патриарха в январе 1918 начинается словами «Россия в проказе». Через несколько дней – ленинская декларация прав трудящихся и декрет об отделении церкви от государства: «мы в миру как в меду. Горьковат, правда, медок, а мир подобен льву людоеду...», – вздыхает Тихон и записывает на листке: «Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого».

После петроградских служб начала 1918 года патриарху снился сон: «он в Клину, на зеленом бугорке, усыпанном золотыми цветами, на розовом камне, похожем на рыбу. Сладко быть ребенком, и он вкушал эту сладость, но какая-то тревога мешала ему. Хотел домой убежать – и вдруг понял: у него нет дома. И тотчас увидел: толпы людей, заполонив землю, потоками вливались в море. И море было вместо неба. И каждый, каждый смотрел на него, и те, кого уносило, – молили его глазами, а он – ребенок, пробудившийся от снов младенчества». И начинается «Восхождение на Голгофу» (так называется одна из глав). Непослушание ГПУ: Тихон против нового календарного стиля и многого другого, о чем не боится оповестить народ письменно. Его арестовывают, допрашивают, отпускают, опять арестовывают, переводят из тюрьмы в монастырь, пытаются лишить полномочий. Боясь расправляться с самим патриархом, в отместку «кого-нибудь арестуют, где-нибудь отберут храм», вскроют святые мощи или просто убьют какого-нибудь рядового священника. Тихон в отчаянье молит Бога о смерти, а потом видит сон: «Приснился храм. Он вошел в него озябший, скрылся от ледяного ветра. В храме было тепло, горело множество свечей. Его стали облачать в архиерейские ризы и возложили на плечи брамы. Почувствовал страшную тяжесть, но ему сказали: – Носи. Ты – избран».

Трижды в сновидениях говорится об избранности Тихона, в одиночестве молящегося за православную Россию. Вдали от дома, теряя родных, оставаясь в организованном новом правительством одиночестве, он все более напоминает столпника, уходя в молитвы, жития, видения: «И вижу – вот она, Россия: столп света среди крошечной тьмы...». О том, что это впечатление не случайность, говорит и еще одна композиционная особенность романа – периодическое включение маленьких главок, данных курсивом и с неизменным заглавием – «Отступ», которое в контексте романа звучит неоднозначно. Эти вставные главки – фрагменты из жизни другого столпника, чья рука определила ключевую роль в жизни Тихона, – старца из Зосимовой пустыни Алексия.

Пытаясь не допустить дальнейших гонений на служителей церкви и стремясь сохранить ее единство, Тихон идет на уступки новому правительству, это продляет его шаткое положение на несколько лет, но все равно он оказывается обреченным: такие люди не нужны «безбожникам», они обзаваются своими «обновленцами». В 1925 году Тихон умирает в больнице при неясных обстоятельствах, и автор в послесловии прямо говорит о насильственной смерти патриарха, всю

жизнь посвятившего России и имевшего для нее свое заветное слово: «Проще того слова нет, но как же велика его чудесная сила: «Господи, помилуй!»».

Шестьдесят лет, прожитых Тихоном, проходят перед глазами читателя. Его внутренняя жизнь органично связана с православной жизнью всей России, подробности которой патриарх знает весьма хорошо: «Вот мы говорим: безверие, интеллигенция в лучшем случае ищет своего Бога... Но как страстно веруют в святую силу, в заступничество Богородицы крестьяне, казаки! Табынскую икону Крестные ходы носят круглый год по всему степному краю: от села Табынского и Богоявленского завода до Троицка, Орска, Оренбурга, Самары...». Тихон сочувствует судьбам многих священников, он переживает радости и печали многочисленных прихожан и до конца своих дней сохраняет высокое звание духовного пастыря.

Оба романа В. Бахревского, с одной стороны, о русской истории: они энциклопедичны, воссоздают атмосферу прошлых лет с ее сюжетами и характерами. С другой – о пути России, который не может быть понят, если что-нибудь забыть, пусть даже такую «мелочь», как судьба одного человека.



Владимир КОРОБОВ

В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Размышления о прозе Станислава Славича

Последняя книга Станислава Славича, которую держал в руках, называлась «ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО», и вышла она в московском издательстве «Советский писатель» в далеком уже 1989 году. Помнится, тогда же подумалось: надо написать рецензию. Имя автора «Дождливого лета» в литературных кругах Москвы было хорошо известно, его прозу и публицистику печатали лучшие столичные журналы и «тиснуть» рецензию в общем-то не представляло особого труда, да и сама книга мне искренне понравилась: была в этой прозе свобода – в описаниях «положений и лиц», в увлекательном, хотя и незамысловатом, сюжете, в ироничном и пристальном авторском взгляде на жизнь. Да и перемены в обществе, кажется, способствовали тогда тому, чтобы говорить обо всем, что наболело, открыто и свободно... Но действительность превзошла все ожидания, а литературная – тем более: редакционные «шлюзы» внезапно прорвало, и стремительным водопадом, сметая все на своем пути, хлынула в наши души со страниц газет и журналов обжигающая правда, и полуправда, и замаскированная под правду, ложь... Пепел и лава! Гибель коммунистической Помпеи!! И понеслось – литература русской эмиграции (первой, а за ней и второй волны), отечественный самиздат, прославленные наши диссиденты, и примкнувшие к ним демократы и т.д. и т.п. Взлетевшие (до миллионных!) тиражи газет и журналов, небывалый до этого спрос на печатное слово в начале 90-х годов прошедшего века – не знают себе равных в отечественной истории (этот феномен еще будет проанализирован и изучен!). Существовавшая до этого расстановка литературных сил, как столичных, так и региональных, была «до основания, до корней» разрушена. Все смешалось и в доме... Писателей. Возникший на книжном рынке ажиотаж, правда, быстро поутих, тираж «Нового мира» и «Знамени» к концу все тех же 90-х сократился, например, до 10–15-ти тысяч! Пошел откат литературы серьезной и – «наезд» (почти бандитский) литературы коммерческой – желтой. Да, «дождливое лето» подтянулось... и не только для замечательного писателя-фронтовика Станислава Славича, но и для других литераторов: в этой давяще-давке многие просто сгнули. Тут было уже не до выхода новых книг (ни прежней «Таврии», ни «Советского писателя»); не до литературной карьеры (кому она стала нужна?); не до

внимания критики к собственной персоне (критики – пошли в политику). Оставалось – «уйти в себя» и писать, писать, писать... О чем? Тема на все времена одна: жизнь. О ней – с тревогой и болью – последние (по времени публикации) рассказы, повести, романы писателя Станислава Славича.

* * *

Главный герой романа С. Славича «ОРЁЛ И РЕШКА, или ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» («Берега Тавриды» № 2–3, 2002; № 4–5, 2002) Леонид Михайлович Забродин (Реш) находит смерть «в полосе отчуждения» – погибает от рук стайки «отморозков»: *«И двое других, приподняв т ело, выбросили его из вагона. На лет у оно, хряст нув, ударилося о ст олб конт акт ной сет и и покат илось с от коса насыпи, пока не заст ряло в припорошенных снегом куст ах полосы от чуждения»*. Так трагически заканчивается очередная командировка Лёни Забродина в Москву. Смерть главного героя повествования, вроде бы, кажется случайной, даже нелепой, произошедшей в тот момент, когда и самому «герою», и читателю могло показаться, что самое худшее – уже позади: и слезка, и кровавая «разборка» с молодчиками из КГБ (время действия: 1979 год!), и предательство «подруги», и самоубийство друга молодости – Захара Орлова, физически беспомощного, прикованного к постели человека, но прозревшего духовно и нашедшего в себе силы сказать горькую правду о времени и власти, поплатившись за это жизнью... И все-таки, по прочтении романа, приходишь к мысли, что «случайная» смерть Забродина совсем не случайна, что и он, и его московские адресаты – Захар Орлов, его мама – Анна Аркадьевна и бывшая аспирантка Захара Орлова Анечка-Марианна, угодившая в постель «женского угодника» Лёнички, и запутавшаяся в житейских страхах Жёня Виноградова, и вроде преуспевающий литературный функционер Тофик Мовсесян, и жена Забродина – Софочка со своим одиночковым братцем Сергеем Петровичем, – все они, в силу различных жизненных обстоятельств, оказались в п о л о с е о т ч у ж д е н и я, кто – в переносном, а кто и – в буквальном смысле. Да что «герои» романа! Все мы, авторы и читатели, на своей «шкуре» в полной мере ощутили эту самую п о л о с у о т ч у ж д е н и я цензуры, идеологических догм, старческого ма-разма, царившего во времена «застоя», бесконечных очередей, вынужденной «внутренней» и «внешней» эмиграции, унижений, бесправия – и много чего еще... Холодом мертвецкой веет от маленьких главок «Из газет», которыми то и дело прерывается сюжетная канва «...Игры без правил». Вроде бы – скупой официоз, мертвые газетные слова, но, по прошествии времени, они лично у меня вызывают чувство страха, будто читаешь не газетную информацию, а некролог – по живой жизни, времени (и мои молодые годы пришлись именно на эту «полосу отчуждения»!). Иные, прочитав роман, могут задаться вопросом: полноте, не перебарщивает ли автор, так ли уж страшен был этот пресловутый КГБ? Ведь книги писателя Славича выходили именно в эти годы и в Москве, и в Крыму, а вот сейчас, что-то не видно... Все так. Потери последнего (перестроечного) десятилетия XX-го века ощущаются обществом острее, чем, скажем, в 70-80-е годы. Но художник, по словам поэта, «вечности заложник», у времени он – в плену. Его писательский долг – видеть за отдельными деревьями весь лес, уметь обобщать. И писателю Станиславу Славичу это зрение дано от Бога. Его проза последних лет – это проза и о конкретном времени, и о Времени – как категории философской.

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек...

(Владимир Соколов)

Когда это было сказано? Конкретно – в 80-х, о тех же – 70-х – 80-х годах, что и в романе Славича. Усталость, чувство тревоги и страха от «игр без правил», таят (как яд!) в своих душах герои «Орла и Решки...»: Женя Виноградова, ищущая забвения в наркотиках и «случайных связях»; «непредсказуемый» Лёничка (из «слабых людей»), несчастная и перепуганная Анечка; «беззащитный» в своей болезни Захар Орлов... Это чувство – тревоги, «душевного дискомфорта», кстати сказать, возникает с первых страниц «Игры...»: *«Душевный дискомфорт – вот чт о он (Леонид Михайлович – В.К.) испыт ывал. Только когда был чем-т о занят , ст ановилось легче...»*. Как тень страшных и неизбежных перемен, которые произойдут с героями романа, – промелькнувшая крыса, каким-то невероятным образом попавшая в сумку жены Забродина: *«...В первый момент не понял, что это, и только на лестнице разглядел, как скачет, торопится вниз крысы. Ей приходилось прыгать со ступеньки на ступеньку, и при этом она вскидывала задние ноги. Леониду Михайловичу показалось, что на повороте крыса подняла голову и посмотрела на него красными глазами»*. «Пустячный эпизод» задает тональность всему роману, сюжет которого – «тривиальная история жизни Леонида Михайловича», но «строит» эту историю автор мастерски, непринужденно и художественно точно. Станислав Славич в своей прозе последних лет сумел соединить, казалось бы, трудно сочетаемые компоненты: остросюжетность и психологизм, публицистичность и добротный художественный уровень; «старомодность» и «современность». Нет в его прозе, что называется, старческого брюзжания, поучений, сведения счетов. Автор – жаден до вечно меняющейся жизни во всех ее проявлениях – высоких и низменных. Поэтому, наверно, и «постельные» сцены романа воспринимаешь не как дань моде – всеобщему помешательству на сексе, а как нечто само собой разумеющееся. Естественно и органично вписываются в ткань повествования лирико-философские отступления и исторические экскурсы, данные в романе, они – «обостряют игру», придают ему содержательность и масштабность. Жаль, что читатель, так остро нуждающийся сегодня в Крыму в серьезной вдумчивой литературе, не имеет возможности прочитать роман в виде отдельной книги... Но и журнальная версия – спасибо «Брегам Тавриды!» – горько и беспощадно напоминает, откуда и с чем мы пришли в день сегодняшний, какой тяжелый социальный и нравственный ущерб был нанесен обществу и каждому человеку, как невероятно сложно в полный «человеческий рост» войти в будущее под «прицельным огнём» прошлого.

Публикация повести Станислава Славича «МАЛЬЧИК ДИМА И ЕГО ЖЕНЩИНА» («Брега Тавриды» № 2–3, 2001; № 4–5, 2001) состоялась ДО «Игры без правил», хотя события, описанные автором в повести, могут рассматриваться хронологически как некое продолжение романа. Речь в ней идет о десятилетиях «реформ», точнее – том психологическом надломе, который произошел со всеми нами и, соответственно, с «союзом нерушимым», под обломками которого оказались и герои повести – милые, симпатичные, на первый взгляд, люди: «добрый мальчик» Дима, ироничный, образованный, но в силу обстоятельств «нового» времени, ставший «лишним человеком» и в род-

ном городе, и в жизни вообще; его колоритный дед — фронтовик Прокофий Семенович Новосадов; «новый русский», читай — украинский — Макс, подавшийся в бизнес и политику, а точнее — в «оруженосцы» авторитета по кличке Кирпич; не испорченная нравственно, вопреки времени и родительской опеке, «инфанта» — дочка Кирпича и по ходу действия — «женщина» мальчика Димы; хитрован-журналист Багдасарчик... — обитатели небольшого приморского городка, где жить бы и радоваться морю, южным пейзажам, ароматным крымским винам, любви и пр. Но...

Прежде рискну поделиться с читателями некоторыми наблюдениями, касающимися, впрочем, и Станислава Славича. У «гостей курорта» бытует расхожее мнение: что местные жители, чем бы они ни занимались в обыденной жизни и профессиональной деятельности, только и знают, что купаются в море, загорают, кушают фрукты и овощи, что, мол, ни заботы, ни напряженный труд, ни душевные смуты, ни творческие прозрения им попросту не ведомы — эдакие счастливые экзотические травоядные; что настоящая жизнь где-то там, за горами, — в больших городах, в столицах... Пошлейшее заблуждение! Эту столичную снисходительность к «аборигенам», кстати сказать, частенько приходилось терпеть и мне, лично, автору этих строк, в бытность своего ялтинского обитания и работы в Доме творчества А.П.Чехова, от некоторых литераторов (известных и не очень), живущих в Доме творчества в Ялте или Коктебеле: «Что пописываете? Чем нас порадуете?». В основном, конечно, это была публика окололитературная: редакторы издательств, переводчики, родственники членов СП, и прочая, и прочая... Но даже у лучших — талантливых и известных писателей нет-нет да проскальзывал менторский тон, гонор. В книге замечательного поэта Бориса Чичибабина, жившего в Харькове, как-то наткнулся я на стихотворение, посвященное Станиславу Славичу, хорошее стихотворение, скажу я, но что-то было в нем и неосознанно-высокомерное:

...Ему бы про рыб да про чаек,
А он про судьбу норовит...

Он — это писатель Славич, «рыжий на вид». И это безобидное в общем — «про рыб да про чаек» чем-то задевало, коробило, словно такое «узенькое и маленькое» зрение написано на роду литератору местному, региональному. Роли, оказывается, уже расписаны где-то на самом верху: одному — главная, другому — «кушать подано». Вот что было обидно! А Славич про судьбу не «норовил», она у него б ы л а, он свою человеческую и писательскую судьбу выстрадал, не променял на посулы литературного начальства, уберег под натиском чиновничьей глупости и бездарности. Об этом — его пронзительная публицистика, его рассказы, повести, романы. Долгое одинокое противостояние... А чайки и рыбы, что ж, это — фон, городской антураж, так сказать. У каждого он — свой.

Действие повести «МАЛЬЧИК ДИМА И ЕГО ЖЕНЩИНА», происходит, догадываемся мы, в милой сердцу Ялте. Но и в этом тихом курортном городке, оказывается, «идут войны», происходят кровавые бандитские разборки с нешуточными для героев последствиями. «Гнусное время. Еще недавно думал: бывало и похуже. Прорвемся, мол. А сейчас — не знаю...» — горестно рассуждает Прокофий Семенович Новосадов, который в финале повести поставит свою точку — пустит себе пулю в висок из именного пистолета (Новосадов — фронтовик, участник войны). Казалось бы, если т а к и е

люди уходят из жизни добровольно (вспомним Захара Орлова), отринув «гнусное время», как нечто чуждое и мерзкое, что же тогда говорить о молодых – мальчике Диме и его «инфанте»? У них, правда, появляется в итоге опора – зарождающаяся Любовь, что дает надежду: может, хотя бы им, страдающим и любящим, удастся вырваться из «полосы отчуждения», в которой оказались герои «...Игры без правил». Но полоса эта, видно, кончится и для них не скоро. «*Мы-т о ладно, уже почт и от мучились, а молодым в эт ом содоме еще жит ь и жит ь...*» — эти слова героини (Дарьи) стоят почти в конце повествования. Житейская мудрость, следующая за ними, «смягчает удар»: *не мы первые, не мы последние. Да и выбора нет у.* Выбора у героев повести действительно нет. (Как известно, «времена не выбирают, в них живут и умирают».) Ведь и такие фундаментальные понятия как Любовь, Совесть, Правда сами по себе не являются панацеей от Зла. За них приходится бороться, отстаивать их, спасать, казалось бы, даже от тех, кто сам, по роду своей деятельности, должен оберегать покой граждан – институтов власти: милиции и городской администрации. Вот что ввергает в о т ч а я н ь е, которое тоже, — *полоса от чуждения...* И все же, при самых мрачных картинах, нарисованных писателем в повести и романе, а также в рассказах, которые были опубликованы на страницах газет и журналов в Крыму и Москве (рассказ «Пацка», журнал «Новый мир»), обнадеживает одно удивительное качество, свойственное героям Станислава Славича, да и, наверное, ему самому: неистребимое жизнелюбие. И – как надежда – звонок, голос человека:

«— Я люблю т ебя.

— Скажи еще раз.

Василий раст ерянно улыбнулся, или мне т олько казалась улыбкой гри-маса на небрит ом, обвет ренном лице. Дарья, забыв о споре, почему-т о зап-лакала...»

«Скажи еще раз...» — и хочется сказать, и услышать самому эти «банальные» спасительные слова, и перечитать повесть еще раз, и повторять их снова, и снова...

* * *

Станислав Славич написал свои лучшие вещи и продолжает активно работать в литературе, нести «свой крест», несмотря на то, что годы дают о себе знать... И в этом подвиге духа, кстати сказать, еще одна надежда на «выздоровление» его героев, и общества в целом, и всех нас — читателей. Хотелось бы пожелать писателю итоговой книги, в которую вошли бы опубликованные на страницах замечательного крымского журнала «БРЕГА ТАВРИДЫ» его произведения. Книга эта могла бы стать заметным явлением в отечественной литературе, послужить на благо культурной жизни Крыма. Только вот найдутся ли на берегах Тавриды неравнодушные люди (в том же Правительстве АРК или Министерстве культуры), которые к 80-летию писателя-фронтовика (оно наступит скоро — в 2005 году), лауреата премии АРК возьмут на себя труд издать книгу? Сказать не берусь... А хотелось бы. Проза Станислава Славича того стоит.

Москва



Владимир КОРОБОВ

«ПОЭТ С ЧИСТО КРЫМСКОЙ ПАЛИТРОЙ»

Две рецензии на книгу Вячеслава Егиазарова «Бегство талой воды»*

ВСЕРЬЕЗ И ВЗАПРАВДУ

Каждая новая книга сегодня в Крыму — проза это или поэзия, историко-краеведческое издание или литература детская — имеет шанс быть замеченной, а главное — прочитанной: спрос на русскоязычную литературу здесь не меньший, пожалуй, чем на знаменитые крымские вина. И так отраднo было увидеть на книжных прилавках новые книги своих добрых знакомых — крымских литераторов, историков-краеведов, которые вызывают живой интерес не только у самих крымчан, но и у пресловутых «гостей курорта». Жив, значит, в «незалежном» Крыму язык Пушкина, Толстого, Чехова, выходят, пользуясь — еще каким! — спросом, литературно-художественные журналы, альманахи, газеты... И хотя саднят в душе недавние утраты — смерть Анатолия Ивановича Домбровского и Сергея Новикова, которых знал лично многие годы, все же — в мужественном самостоянии крымской интеллигенции, в выходе новых книг товарищей по литературному цеху, жива надежда на возрождение литературного процесса в Крыму. И всё предстает таким родным вокруг, словно вернулся не в другую страну, а в ялтинское детство:

Дельфинов — тьма! Клоует султанка.
Мерцает море, как парча.
Открою окна спозаранку —
Цветут миндаль и алыча... —

это известный крымский поэт Вячеслав Егиазаров, выпустивший недавно книгу своих избранных стихотворений «Бегство талой воды», напомнил вдруг, казалось бы, давно забытое.

Читая и перечитывая стихи Славы Егиазарова, всегда удивлялся его щедро одаренной натуре, безудержной напористости, природности, избыточности — чувств, образов, жизненных наблюдений, географических названий, крымских пейзажей... Колоритная личность! Стихи его, всегда экспрессивные, за-

* «Бегство талой воды». Симферополь, «Таврия», 2003 г.

вораживают своей бурной поэтической энергией, искренностью и открытостью, однако удивляют порой — при такой-то безоглядной энергии! — повторами, стремлением автора снова и снова убедить в чем-то уже убежденного читателя, словно не доверяя самому себе и своему уже сказанному слову.

Таков поэтический почерк поэта Егиазарова. Взлеты и падения, без которых, кстати сказать, поэт — не поэт. Чтобы не быть голословным, продолжу уже процитированное выше стихотворение:

.. Воркуют горлицы на крыше,
Ведут интимный разговор,
А взгляд скользит все выше, выше —
К отрогам прихотливым гор.
Они на фоне синем неба
Теперь открыты взорам всем,
И сердце растопила нега,
Забывая зимой совсем.
Она в глазах, она в походке,
В улыбках, жестах... Боже мой,
Она пьянит покрепче водки
Да и красоты молодой!
Весна. Опять надежды живы
На лучшее, что в мире есть;
Холм, до недавнего плешивый
Усыпан крокусами весь.
И я, неудержимей танка,
Несусь к причалам, хохоча;
Дельфинов — тьма, клюет султанка,
Цветут миндаль и алыча...

Здесь картина разворачивается по нарастающей, метафоры набегают одна на другую, как волны. Кажется, остановись автор на строчке «усыпан крокусами весь», — этого будет достаточно. Но... Егиазаров не был бы Егиазаровым, если бы его можно было остановить:

И я неудержимей танка,
Несусь к причалам, хохоча...

Стихотворение оказалось «перегружено».

Поэт Евгений Винокуров советовал отбрасывать концовку стихотворения, как ящерица — хвост. Совет этот актуален для всех пишущих — начинающих и профессионалов.

Безусловное достоинство книги Вячеслава Егиазарова — ее тематическое и ритмическое разнообразие. Помимо пейзажных зарисовок, с привычными уже в книгах местных литераторов крымскими реалиями — мы слышим новое в голосе поэта: его волнуют проблемы общечеловеческие, где «обрушился век, и распалась страна, как колода» (стихотворение «Бегство талой воды»), где «эпоха рухнула, а жизни нет конца» («Конец эпохи»), — в своих новых «гражданских» стихах поэт становится на новую высоту осмысления пережитого — и настоящего, и прошедшего:

Иду, иду по собственному следу.
Туда. Назад...

Отсюда так много в книге горестных наблюдений, воспоминаний об ушедших из жизни друзьях...

Иногда новые темы книги решены поэтом, кажется, излишне прямолинейно. «Этой прозой», как вирусом неблагополучного времени, заражен ряд стихотворений, которые пока «выламываются» из общего гармонического тона сборника. Порой публицистический накал в них приобретает форму гротеска. Чего стоит хотя бы только название одного из таких стихотворений: «ОКАПИТАЛИЗДИЛИ!» И не потому, что «красоты не стало в слове» (как признается автор книги). Просто эти темы не стали органической составляющей поэтической книги Вячеслава Егиазарова, они пока воспринимаются в качестве эксперимента, творческой лабораторией поэта, в которой со временем, несомненно, сформируется и заблестит новая поэтическая грань. Автор, конечно же, знает об этом не хуже меня, и мог бы резонно заметить, процитировав свои же иронические строки:

Каждый из поэтов чуточку трепло,
Никуда не денешься от законов жанра...

Впрочем, в общей картине это мелочи, штрихи, заметки литературного брюзги, если хотите.

Главное — с уверенностью можно сказать, что «Бегство талой воды» состоялось: стихи пришли, «добежали» к читателю русской поэзии. Их живительная жизненная энергия, думается, пойдет на пользу и творцу самой книги, и тем, кому она встретится на пути, в том числе молодым стихотворцам, потому что во многих строчках «Талой воды» явлен предельно честно, без приукрашивания себя, «поэт и человек» — Вячеслав Егиазаров, убедительно сказавший:

Поэт, он должен быть подобен морю,
Где все — взаправду, каждый миг — всерьез.

Лучшие стихи поэта — лауреата премии Автономной Республики Крым, его многолетняя творческая деятельность, его любовь к поэзии, к родной Ялте — всерьез и взаправду.

Москва



Владимир КАРПИЧЕВ

ПЕВЕЦ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ

Поэзия — это особый вид искусства, стоящий на вершинах творчества. Я говорю о большой поэзии, где музыка слов ложится на изображение, создавая целостность произведения в объемных формах.

Что побудило меня прикоснуться к поэтическим струнам? Сборник стихов нашего земляка Вячеслава Егиазарова «Бегство талой воды». В нем самое важное то, что поэт почувствовал проплывающие волны реквиема над

сказочно красивой и щедрой крымской землей, истерзанной предательством и ложью в годы «демократической» вакханалии. Вот как говорит он в своем отношении к времени, в котором живет, своему читателю:

...Ведь ясно нам давным-давно:
когда заря в окне играет,
политика — не то вино,
которого душа алкает.
Но, взявшись стих писать для вас,
вдруг заскучал на первом слоге я —
политика и экология
уже тождественны для нас.
Так в этом мире все сплелось,
слилось, смешалось, пошатнулось,
аукнулось, отозвалось,
что радость грустью обернулась.
Зачах подлесок за холмом,
затих в нем птиц веселый гомон
и, прежде светлый, окоем
поблек и смогом заштрихован.
И мне уже не до метафор,
и как сдержаться, не пойму:
по роще прет с рычаньем трактор —
он прет по сердцу моему!
В волне, колышущей мазут,
погибшие мальки плывут.
Политиканствующий шут
с трибуны лжет: «Все будет гуд»...
(Моим читателям)

Не многим так глубоко открывает свой трепетный мир крымская земля — Поэту открыла. А Вячеслав Егиазаров — Поэт крымской земли, впитавший от рождения ее творческий Дух в плоть и Душу, по его собственному выражению, «поэт с чисто крымской палитрой» («Дар»).

...Одно скажу, у ялтинцев на это свой резон
в гостеприимстве нашем он и в моря томном лепете,
когда приходит бархатный, возвышенный сезон —
ни скептиков, ни нытиков уже у нас не встретите.
Здесь из великих, кажется, Рубцов лишь не бывал,
не повезло с наличными — обычная история;
здесь басом Маяковского гремит прибрежный вал
и басом же! — Шалапина ему предгорья вторят...
По Пушкинской, по Боткинской, через дворы в Горсад,
под лаврами, под пальмами в жару бродить удобно.
Есть местности на шарике, я слышал, сущий ад.
Но Ялта, коль не сущий рай, то райское подобие.
Здесь бухта вся — аквамарин и чистый изумруд,
не знаю места в мире я, где дышится привольнее,
сядь на скамейку, ангелы порхают там и тут —
все одеянье — листика библейского фривольнее.
(Et cetera)

Восторгом и гордостью пронизаны его стихи о божественном, благоуханном родном крае, он — поэт Южнобережья:

...Кто на яйле не бывал, тот в Крыму не бывал,
разве опишешь цветов настагающий вал,
где в разнотравье ты тонешь, взлетаешь, паришь
и понимаешь, что это прелюдия лишь.

Кто на яйле не бывал, разве был он в Крыму?
Пахнет душица, чабрец, а бредешь по холму
и натыкаешься вдруг на глазунью — на стайку маслят,
и разбегаются сосенки, словно ватажка девчат.

Кто на яйле не бывал, тот о Крыме молчи!
Перепел вскрикнул в траве и ему дергачи
тут же ответили, стихли и вновь прокричали,
и вот в паузе длинной ковыль, различаешь, поэт...
(На яйле)

Написанные на высокой лирической, романтической ноте, его строки полны оптимизма, облагораживают духовный мир человека, обогащают познанием родного края, дарят свет и жизненный огонь утомленному сердцу.

В поэзии Вячеслава Егиазарова особо нуждаешься в нынешние окаянные дни: когда честь унижена, а низость возвышена, потому его стихи звучат страстно, публицистически:

...Если я родился в Ялте, то по-русски постоянно
говорить и думать буду, как здесь искони велось.
Караимы, греки, немцы, украинцы и армяне:
здесь их родина, кто спорит? — вспомнить всех —
не сдюжит слог.

Как я видел сам, в Стамбуле мусульмане и христиане
уживаются спокойно, процветают — дай нам Бог!
Этот Крым, добытый Русью, словно приз почетный, будет
ей о славе, о геройстве петь и в сушь и под дождем.
Только время жар остудит, только время все рассудит, и
расставит все на место только время. Подождем!..

(Пушкинский бульвар)

Книга «Бегство талой воды», поэтические строки которой вызывают глубинные волнения в Душе человека, замечена культурным сообществом нашего чудесного Крыма. И это понятно: творчество — смысл жизни поэта.

...Что будет? Подожди до тризны,
пусть догорит заря.
Хотя б строкой остаться в жизни,
тогда она — не зря...

Поэзия Вячеслава Егиазарова не несет безысходности, она зовет к активной жизни, в ней Душа не чувствует себя бездомной.

...Бегство талой воды — это бегство из ада безмолвья,
где однажды, седы, мы пойдем, что спасались любовью
и еще кое-чем, что зовется возвышенно честью,
и унизиться с ними ни ложью нельзя и ни мстью...

Поэт, написавший такие стихи, возвышает нашу землю, укрепляет ослабевшую совесть и веру в надежду.

Ялта



Олександр ГУБАР,
професор Таврійського національного
університету ім.В.І.Вернадського

ЗАЧАРОВАНИЙ МОВОЮ «СИНЬООКОЇ СЕСТРИ УКРАЇНИ»

Перекладач з білоруської Данило Кононенко

Високу оцінку перекладацької діяльності письменників дав Іван Франко. Письменників-перекладачів він назвав будівниками золотих мостів дружби між народами. Сам Великий Каменярь був невтомним перекладачем, який збагатив українську літературу, культуру високими взірцями світової класичної літератури. Традиції І.Франка плідно розвивали Леся Українка, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Микола Бажан, Микола Терещенко, Дмитро Павличко та інші митці.

З почуттям гордості серед них ми можемо назвати талановитого українського поета-лірика Данила Андрійовича Кононенка. Гідний подиву діапазон його зацікавлень як перекладача. Він перекладав російських, кримськотатарських, казахських, молдавських, чуваських, алтайських, адигейських поетів. Особливу увагу і масштабність зацікавлень проявив Д. Кононенко до білоруської літератури.

В моїх руках матеріали його особистого архіву. Вражає жанрова різноманітність перекладів. Тут і білоруські народні казки, і більше двадцяти оповідань відомих білоруських сучасних прозаїків. Серед них — Василь Биков і Микола Янченко, Іван Пташников і Володимир Короткевич, Віктор Карамазов і Василь Хомченко, Лідія Арабей і Таїса Бондар... Досить широко представлена в його перекладах білоруська поезія. Зазвучали по-українськи вірші Пятруся Бровки, Сергія Граховського, Казимира Камейші, Михася Казакова, Олеса Рязанова, Володимира Некляева, Михася Стрельцова, Віктора Шніпа, Євгенії Янишиць, Миколи Кулецького, Валерія Дранчука та інших. Поет дав і дає можливість масовому читачеві Криму, України познайомитися з білоруською літературою для дітей, опублікувавши і систематично публікуючи в своєму перекладі на українську мову твори білоруських письменників в єдиному в Криму україномовному виданні — газеті «Кримська світлиця».

Коли заходить мова про Білорусію, її культуру, Д.Кононенко відповідає словами славного українського лірика Володимира Сосюри:

Білорусь ти моя, Білорусь,
Синьбоока сестра України.

Чим же викликана така щира душевна увага Данила Андрійовича до «синьбоокої сестри України»? Що ж стимулювало його натхненну і недремну працю перекладача білоруських майстрів художнього слова? З цим запитанням я звернувся до нього, до речі, мого колишнього студента-філолога, вже тоді молодого обдарованого поета. Першу поетичну збірку «Джерело» я мав щастя рекомендувати до друку.

— Любов до мови починається, — каже Данило Кононенко, — із захоплення художнім твором, прочитаним на цій мові, а також з прихильності до автора, котрий написав цей твір. Так трапилося і в моєму житті: вперше я почув білоруську мову іще в роки солдатської служби, коли побував на семінарі молодих літераторів, що проходив в Одеському будинку творчості письменників у травні 1963 року. То був незабутній час для української літератури — час, коли з'явилася ціла когорта молодих талановитих поетів, яких сьогодні ми називаємо «шістдесятниками», таких, як Іван Драч, Микола Вінграновський, Василь Симоненко та інші. Ось тоді я вперше почув ім'я білоруського поета Василя Сидоренка, який учився в Київському технікумі радіоелектроніки, а згодом закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. Писав вірші білоруською мовою. Забігаючи вперед, скажу, що років через десять ми познайомилися з Василем, коли він працював у газеті «Літературна Україна». «Треба ж так, — думав я, — білорус, вірші пише рідною білоруською мовою. Іще й українську знає чудово. Адже працює не в якійсь там газеті, — а в письменницькій, у «Літературній Україні», де мову треба знати досконало.

В травні 1963 року, під час семінару в Одесі, один з керівників літературних курсів, здається, Григорій Донець, прочитав нам вірш білоруською мовою іще тоді невідомого мені поета Василя Сидоренка. У вірші йшла мова про те, як в голодні і холодні повоєнні роки маленький хлопчик залишився один в хаті, бо його хвора мати була змушена сторожувати магазин. Та краще, ніж переказувати вірш, я прочитаю його в оригіналі:

ЭЦЮД ІЗ МАЙГО ДЗЯЦІНСТВА

Месяц лез нібы злудзей
Цераз шыбу у хату к нам
І па сценах праводзіу
Кішэнным ліхтарыкам.
Я малы тады у хаце
Спаць баявся адзін:
Ноччу хвора я маці
Сцерагла магазін.
Ад людзей чуу пра бацьку:
Бацьку немец забіу...
Месяц лазіу па хаце,
Ніба штось загубіу.
Потым печку обмацау
Дліннай лапай з двара,
Прымасціуся на лауцы
І напісуя з ядра.

Потым знік у агародзе,
Я падумау тады:
Можа, бацька прыходзіў
Каб напіцца воды.

Цей вірш схвилював мене до глыбіні душі. Навіць без перекладу мені ўсе было зразуміла, хоча білоруську мову я почув уперше. Я був проста зачараваны тымі звуками «дз», «ц»... Мені захотілася чытаць творы цією моваю, такою блізкаю мойй, украінскай. І блізка пазнаёміцца з білоруськаю літаратураю».

Демобілізуваўшыся з арміі, Данило Кононенка паступіў на навчання ў Кіеўскі педагогічны інстытут на філалагічны факультэт (віддзялення украінскай мовы та літаратуры). У інстытутскай бібліатэцы ён брав творы білоруськіх пісьмемнікаў у перекладах расійскаю моваю. Чытаў з інтэресам і велікою карыстю для себе Янку Купалу, Пятруся Бровку, Максіма Танка, Янку Брыля та іншых. Дізнаўся пра літаратурну перыядыку Білорусі і пачаў перадплачваць журналы «Польмя», «Маладосць», газету «Літаратура і мастацтва». Ці відання далі ёму змогу пазнаёміцца з творчэстцю багатах поетів — яго ровеснікаў. Пачаў перекладаць іхні творы украінскаю моваю. Праз магазін «Кніга — пачтой» ёму надіслалі з Мінска адну із першых збірок павістей та оповідань Васіля Бікова «Жураўліны крык». «Таких відкрыто правдывіх творів пра вайну я іще не чытаў. Оповідання Бікова, — гаворыць Д. Кононенка, — беруць за сэрце і душу».

Спачатку Д. Кононенка перекладаў творы білоруськіх поетів. Але перад оповіданнямі В. Бікова — «не утрымаўся». Ён переклаў і апублікаваў «Калі хочеш жыць», «Круты бераг річкі», «Поедынок», «Обозник» у украінскай газеті «Кіеўска світліца». Багата творів В. Бікова перачытаў моваю арыгіналу. Захопіў яго сваімі творамі і цікавы білоруські пісьмемнік Валодзімір Короткевіч, котры свого часу вчыўся ў Кіеўскаму дзяржаўнаму універсітэту ім. Т. Г. Шевченка, а потім кілька років жыў і працаваў на Украіні. Д. Кононенка переклаў яго цікаві маловідомі оповідання «Лісты не запізняюцца ніколі», «Полішук», «Маленька балерына». Валодзімір Семеновіч любіў відпочываць у Кііму ў Будынку творчэстці пісьмемнікаў «Коктебель». Але нашому поету асобісто пазнаёміцца з пісьмемніком-білорусом не довелася: ён перадчасно пішоў із жытця.

Затэ з чудовымі білоруськімі поетаімі Валодзіміром Скарынікіным та Сяргіем Законніковым падружыліся навіць родынамі. Перекладаць адін аднога. Лістуваліся. Пазнаёміўся Д. Кононенка і з такім відомым мятцем, як Сяргій Граховскіі. Багата творів переклаў Д. Кононенка для кнігі С. Граховскаго «Доброта», яка побачыла світ 1989 року ў кіеўскаму відавніцтві «Радянскіі пісьмемнік». Шыра дружба і творчі зв'язкі Д. Кононенка складаліся з Таісією Бондар, Лідією Арабей, Мыколаю Чарнявскім, Васілем Хомченком.

Горбачовска «перабудова» перешкодыла выходу ў світ кількох кніжок білоруськіх авторів у перекладі Д. Кононенка украінскаю моваю, зокрема, збірки дятячых оповідань глыбока абдарованаго прозаіка Васіля Хомченка, збірки «Казкі та оповідання білоруськіх пісьмемнікаў», фантастычнай павістей Валодзіміра Некляева «Вежа», поем для дятей пра вайну М. Чарнявскаго, багатах перекладів віршів Максіма Танка, Олеса Рязанова та іншых цікавых поетів.

В 70-х роках вийшла в Києві «Антологія білоруської поезії» в двох томах, до якої увійшли в перекладі Д. Кононенка на українську мову окремі твори Ригора Бородуліна та Віри Верби.

З поетесами Ольгою Іпатовою, Галиною Коржаневською Д. Кононенко познайомився на початку 90-х років, будучи делегатом останнього з'їзду письменників Радянського Союзу. Тоді Спілка письменників України заявила про свій вихід зі складу СП СРСР. І Галина Коржаневська, і Ольга Іпатова, і Василь Зуйонук, і більшість з білоруської делегації підтримали рішучі дії української делегації, очолюваної секретарем Спілки письменників України Олесем Лупієм.

Тісні творчі зв'язки Данила Кононенка з письменниками-білорусами, які жили і живуть в Україні. Особливо органічними вони були з Василем Сидоренком (Київ), з Михасем Казаковим (нині покійним, Ялта). Збірка «На нашій, на своїй землі» (видана 1995 р. у Києві) відкривається цілою добіркою віршів М. Казакова в гарному перекладі Д. Кононенка.

Тепер наш талановитий поет Данило Кононенко — заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим, голова Кримської організації Національної Спілки письменників України, шеф-редактор української дитячої газети «Джерельце», на сторінках якої з'явилися вірші багатьох білоруських поетів, котрі пишуть для дітей і про дітей. Данило Андрійович любить білоруську мову, білоруську літературу. У його домашній бібліотеці почесне місце займають книги з автографами білоруських письменників — друзів українського поета. Цілі полиці заставлені журналами «Польмя», «Маладосць», «Беларусь». Є енциклопедичний словник «Янка Купала», а також цілий ряд інших дорогих йому видань. Це твори В. Бикова, В. Короткевича, М. Танка, М. Богдановича (факсимільне видання його збірки «Вінок»), збірки «День поезії». Частину книг білоруських авторів Д. Кононенко подарував бібліотеці «Дружба народів» (м. Сімферополь).

Час від часу перечитуючи твори білоруських авторів, Д. Кононенко завжди знаходить в них багато цікавого і цінного для своєї роботи. Він дуже радий з того, що відшукав у зібранні творів класика української літератури Михайла Коцюбинського його переклад українською мовою прекрасного вірша Янки Купали «А хто там іде?». Про органічні зв'язки кримського українського поета Данила Кононенка з білоруськими письменниками, про їхні почуття до свого українського побратима свідчить велика кількість автографів. Не можу утриматися, щоб не процитувати, кілька з них. Микола Чарнявський на збірці своїх віршів «Тревога» залишив віршований автограф:

*Дорогі Данила!
Насі заужды у душы т рывогу —
За гэ т свет , за родны кут .
Шшы пат роху і памногу,
Гары ад т ворчасцы пакут !
Няхай радкі вясновья
Збяруща у кніжкі новья!
Па-сяброускі шчыра —
Мікола Чарняускі.
2. 02. 89.*

Душевим теплом овіяний віршований автограф, залишений колишнім пілотом, поетом Володимиром Скоринкіним, на збірці подарованій Кононенку «Разрешите взлет»:

*«Ан» — чудесный «літ ак», да не «Ил»,
Я Скоринкин, да не Скорина,
Но зат о навсегда, Даниил,
Покорила меня Украина.
Мне приснит ся не раз Кокт ебель —
Нашей дружбы с т обой колыбель.*

Автограф починався прозою: «Даниилу Андреевичу Кононенко с благодарностью за популяризацию белорусской литературы и пожеланиями самого наилучшего в жизни, творчестве».

А ось слова з листа Лідії Арабей: «Шаноуны Данила Андрэвіч! Шчыры дзякуй Вам за Вашу кнігу стихов (буду чытаць), за віншаванне з вясною і за добрыя словы пра маю аповесць.

Пасылаю Вам і сваю кнігу пра Цётку, над якою я працавала шмат гадов. Нямала у ёй старонак і пра сувязь Цёткі з Украінай.

Буду рада мець ад Вас весткі. Рада падтрымліваць з Вамі творчая і сябровскія сувязі.

З глыбокаю пашаною Лідзія Арабей. 12.03 1991 г. Мінск».

І в листах, і в автографах білоруські письменнікі висловлююць сердечну і шчыру подяку «шчыраму сябру беларускай літаратуры» Данилові Кононенкові.

При нашій зустрічі Данило Андрійович із жалем говорив, що не довелося йому побувати в Білорусіі. Він уже був близько до здійснення своєї давньої мрії. Але «ота перебудова», а згодом економічні потрясіння не дали можливості побувати на дорогій братній землі.

«Братерство, спорідненість — наша слов'янська, — говорить поет, — завжди хвилює мене. Я уболіваю душою не тільки про долю своєї Батьківщини — суверенної України, й любої моєї сторони — Білорусі. Нехай завжди нас окриляють велика віра і надія. Нехай білоруська земля, обпалена чорнобильським стронцієм, як і моя українська, ніколи більше не зазнають ні атомного, ні будь-якого іншого лиха.

Доки живуть білокора білоруська береза і наша високочола українська тополя — допоки житимуть наші близькі мови, наша література, культура. Допоки звучатимуть задзьориста білоруська «Лявоніха» і український хвацький гопак, — наші серця не знатимуть смутку. Живе Білорусь, а отже, живуть й народи — український і білоруський».



Наталья НИЧИПОРУК

А.П.ЧЕХОВ И В.Г.КОРОЛЕНКО

К 150-летию со дня рождения В.Г.Короленко

15 июля 2003 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко. В 1903 г. по случаю его 50-летия Антон Павлович Чехов писал в приветственной телеграмме: «Дорогой, любимый товарищ, прервосходный человек, сегодня с особенным чувством вспоминаю вас. Я обязан вам многим. Большое спасибо. Чехов».

А.П.Чехов и В.Г.Короленко познакомились в феврале 1887 г., когда Короленко был в Москве проездом из Нижнего Новгорода в Петербург. О первом появлении Короленко в чеховской семье рассказал Михаил Чехов, младший брат писателя:

«Однажды вся наша семья сидела наверху (мы кончали обедать), когда вдруг внизу послышался звонок. Сестра кого-то ожидала, вышла из-за стола и стала спускаться вниз. Я ее опередил и, так как пришедшему никто не отворял, сам отпер парадную дверь и впустил гостя. Это был невысокого роста человек с окладистой широкой бородой.

— Я Короленко... — сказал он.

Боже мой! Короленко! Вот неожиданность!

Мы все уже давно были знакомы с его произведениями, увлекались ими, а «Сон Макара» я знал чуть не наизусть.

...Короленко очаровал нас своей простотой, искренностью, скромностью и умом. Разговорились. Я жадно слушал, как он рассказывал о своей ссылке в Сибирь, куда не только Макар не гонял своих телят, но даже и ворон не залетал. А когда после долгих лет изгнания он наконец получил право возвратиться в Россию, добравшись до Тюмени, сел на поезд железной дороги, то так обрадовался вагону, что стал громко при всех рыдать.

— Сижу и плачу, — рассказывал он. — Пассажиры думают, что это я с горя, а я, наоборот, от радости.

Он засиделся до вечера. Антон Павлович пригласил его наверх, где наши мать и сестра уже хлопотали около самовара, и мы и там продолжали его слушать»¹.

Когда Чехов и Короленко встретились, первому было 27 лет, второму — 34 года. Короленко уже был автором таких произведений, как «В дурном

обществе», «Сон Макара», «Слепой музыкант», вышла в свет его первая книга «Очерков и рассказов». Он был уже крупной фигурой, имел уважение в обществе, литературную известность, любовь читателей. Чехов же только входил в известность. Но и у него уже вышли первые сборники — «Сказки Мельпомены» (1884) и «Пестрые рассказы» (1886), а в год знакомства с Короленко будут опубликованы еще два — «В сумерках» и «Невинные речи».

«До первой встречи, — вспоминал Короленко, — я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось <...> познакомиться с их автором. <...> В это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное»².

Чехов не оставил специальных записок о Короленко, но в письмах нередко упоминал о нем. А самому Владимиру Галактионовичу писал 17 октября 1887 г.: «... я чрезвычайно рад, что познакомился с Вами. Говорю я это искренно и от чистого сердца. Во-первых, я глубоко ценю и люблю Ваш талант; он дорог для меня по многим причинам. Во-вторых, мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет 10-20, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек общего схода. Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный <...> Вы же серьезны, крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая Вас и теперь познакомившись с Вами, я думаю, что мы друг другу не чужды. Прав я или нет, я не знаю, но мне приятно так думать».

Поскольку Чехов жил в Москве, а Короленко в Нижнем Новгороде, дальнейшие встречи писателей не могли быть частыми. Сам Владимир Галактионович из скромности скрыл одну подробность первых бесед, очень важную. Как и Д.В.Григорович, убеждавший Чехова переходить от коротких юмористических рассказов к большим повестям, Короленко влиял на молодого Чехова в том же направлении. Это видно из второго письма Чехова к Короленко от 9 января 1888 г. Посылая для Короленко копию известного письма Д.В.Григоровича, полученного в 1886 г., Чехов приписывает: «Из письма Вам станет также известно, что не Вы один от чистого сердца настаивали меня на путь истинный, и поймете, как мне стыдно». В том же письме он сообщает: «С вашего дружеского совета я начал маленькую повестушку для «Северного Вестника». И дальше излагает сюжет будущей повести «Степь».

В течение 1887–1888 гг. мысль Чехова постоянно занята новым знакомым и другом. 5 февраля 1888 г. он пишет поэту А.Н.Плещееву: «Жажду прочесть повесть Короленко («По пути»). Это мой любимый из современных писателей. Краски его колоритны и густы, язык безупречен, хотя местами и избыткан, образы благородны». Через четыре дня ему же: «Завтра у меня будет Короленко. Это хорошая душа». Когда Короленко побывал у него, Чехов сообщает 15 февраля 1888 г. А.С.Киселеву: «Вчера был у меня Короленко. Слезно просит жить это лето на Волге». Значит, дружеская связь быстро укреплялась. А в письме к Плещееву от 9 апреля 1888 г. Чехов писал: «Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем весело».

Короленко одаривал Чехова такой же симпатией. Писатели обмениваются письмами, книгами.

Посодействовав переходу Чехова к большой повести, Короленко устраивает «Степь» в «Северный Вестник». А Чехов, узнав от А.Н.Плещеева о возможном уходе Короленко из «Северного Вестника», пишет 15 сентября 1888 г.: «Если Ваша догадка относительно Короленко справедлива, то очень жаль. Короленко незаменим. Его любят и читают, да и человек он очень хороший». Чехов настойчиво размышлял над творчеством своего старшего товарища. 2 мая 1888 г. он пишет Короленко: «Дорогой буду читать Вашего «Слепого музыканта» и изучать Вашу манеру». В те годы Чехов быстро созрел как художник и заметно уходил вперед, в то время как Короленко уже определился и работал в найденном направлении. Сохранилось интересное письмо Чехова к А.Н.Плещееву, написанное летом уже следующего, 1889 г.: «Поздравляю «Северный Вестник» с возвращением Протопопова и Короленко. От критики Протопопова никому не будет ни тепло, ни холодно, потому что все нынешние господа критики не стоят и гроша медного — в высшей степени бесполезный народ, возвращение же Короленко факт отрадный, ибо сей человек сделает еще много хорошего. Короленко немножко консервативен; он придерживается отживших форм (в исполнении) и мыслит, как 45-летний журналист; в нем не хватает молодости и свежести; но все эти недостатки не так важны и кажутся мне наносными извне; под влиянием времени он может отрешиться от них». Свое оригинальное, необычное в годы популярности Короленко, суждение о его творчестве Чехов, как видим, обставляет оговорками, смягчениями. Это было в характере А.П.Чехова, терпимого и деликатного в отношении к другим. Но было здесь и скрытое размышление о самом себе. В 1888–1889 гг., в пору перехода от маленького рассказа к большой повести, Чехов сильно стремился овладеть новой, более глубокой, совершенной формой. Процесс этот оказался мучительным. В мае 1888 г. он писал Короленко: «Замечаю, что мой характер начинает изменяться, и к худшему. Меняется и моя манера письма — тоже к худшему. Мне садится, что я утомился, а впрочем черт его знает». Через год, в сентябре 1889, он жалуется Плещееву на то, с каким трудом дается ему новая повесть «Скучная история». И далее пишет: «Что касается Короленко, то делать какие-либо заключения о его будущем — преждевременно. Я и он находимся теперь именно в том фазисе, когда фортуна решает, куда пускать нас: вверх или вниз по наклону. Колебания вполне естественны. В порядке вещей был бы даже временный застой.

Мне хочется верить, что Короленко выйдет победителем и найдет точку опоры. На его стороне крепкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядов и ясный, хороший ум, хотя и не чуждый предубеждений, но зато свободный от предрассудков. Я тоже не дамся фортуне живой в руки. Хотя у меня и нет того, что есть у Короленко, зато у меня есть кое-что другое. У меня в прошлом масса ошибок, каких не знал Короленко, а где ошибки, там и опыт. У меня, кроме того, шире поле брани и богаче выбор; кроме романа, стихов и доносов, я все перепробовал. Писал и повести, и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику, и всякую ерунду, включая сюда комаров и мух для «Стрекозы». Оборвавшись на повести, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевили, и этак без конца, до самой дохлой смерти. Так что при всем моем желании взглянуть на себя и на Короленко оком пессимиста и повесить нос на квинту я все-таки не унываю ни одной минуты,

ибо еще не вижу данных, говорящих за или против. Погодим еще лет пять, тогда видно будет».

Так творческий инстинкт и самосознание художника превозмогали тревогу и отчаяние и возвращали к творческой работе.

С 1888 г. духовное и личное общение двух писателей начинает ослабевать. Редеют и письма: за 1889–1891 гг. ни одного, за 1892 г. — всего одна коротенькая записка Короленко, затем в течение четырех лет, до 1896, ни одного письма. К 1896 г. относятся шесть писем, все — деловые, затем вновь пауза, прерываемая письмом Чехова из Ялты в 1899 г.

Так было до 1902 г., до знаменитого «академического инцидента», показавшего истинную глубину их отношений и в очередной раз выявившего близость взглядов.

В конце апреля 1899 г. в ознаменование столетия со дня рождения Пушкина высочайшим указом при Академии наук был учрежден разряд изящной словесности, в который могли избираться почетные академики из числа выдающихся русских литераторов. В январе 1900 г. были избраны 10 человек: великий князь Константин Романов, А.А.Голенищев-Кутузов, А.М.Жемчужников, А.Ф.Кони, В.Г.Короленко, С.В.Максимов, А.А.Потехин, В.С.Соловьев, Л.Н.Толстой и А.П.Чехов.

И Чехов, и Короленко свое избрание в почетные академики приняли с некоторой долей юмора, понимая, что оно мало к чему их обязывает. Сообщая об этом событии матери, Короленко подписался: «Почтительный сын и российской де сьянс академии почетный член». В письмах Чехова появились титулы: «потомственный почетный академик», «*Antonio academicus*».

В декабре 1900 г. состоялись вторые выборы, а на третьи, в конце февраля 1902 г., Короленко выдвинул кандидатом в почетные академики М.Горького. Выдвижение поддержали почетные академики К.К.Арсеньев и В.В.Стасов. В результате 1 марта 1902 г. «Правительственный вестник» сообщил об избрании в число почетных академиков драматурга А.В.Сухово-Кобылина и М.Горького (А.М.Пешкова).

В правительственных кругах избрание Горького, писателя из «низов», близкое идее социал-демократии, было расценено как вызов, брошенный Академией «всей верноподданной России». По распоряжению министра внутренних дел Сипягина Николаю II были представлены два наклеенных на бумагу документа: вырезка из «Правительственного вестника» от 1 марта об избрании Горького и справка департамента полиции о политической неблагонадежности писателя.

Царь лично наложил на этот документ резолюцию. «Более чем оригинально». В письме на имя министра народного просвещения генерала Ванновского он выразил «глубокое возмущение» происходящим и повелел выборы Горького отменить. Великий князь К.К.Романов, президент Академии, сам почетный академик и поэт, поспешил выполнить высочайшую волю. На следующий день текст присланного генералом Ванновским заявления был воспроизведен в «Правительственном вестнике»: выборы признавались недействительными. Подобное же объявление 12 марта последовало и «от императорской Академии наук».

Выходило так, будто Академия отменила свой выбор сама в соответствии с полицейскими соображениями. Короленко вступил в переписку с почетными академиками К.К.Арсеньевым, А.А.Шахматовым, А.Н.Веселов-

ким. Из Полтавы, где жил в то время, специально поехал в Петербург. Там стало ясно, что все возмущены, но протестовать не решаются.

Тогда Короленко в знак протеста решил выйти из числа почетных академиков. Он приехал к Веселовскому с просьбой о собрании членов Академии для выяснения инцидента с Горьким и заявил, что, если просьба его не будет удовлетворена до середины мая, он сложит с себя звание академика. Через 4 дня после подачи письма, 10 апреля, Короленко написал в Ялту Чехову о своем ультиматуме Веселовскому, спрашивал его мнение об инциденте, и приложил три копии письма. Короленко писал: «Третий экземпляр посылаю на случай: не решаюсь послать прямо Льву Николаевичу, так как ему, конечно, не до того. Но если бы ему стало лучше и, по вашим соображениям, он проявил бы интерес к этому вопросу, то передайте ему один экземпляр».

Чехов навестил Л.Н.Толстого 31 марта 1902 г., а в письме от 19 апреля сообщил Короленко. «...Толстому передавать заявление я не стану. Когда я заговорил с ним о Горьком и об Академии, то он проговорил: «Я не считаю себя академиком» — и уткнулся в книгу. Горькому один экземпляр передал, письмо Ваше прочел ему». Чехов также писал, что очень хочет повидаться, но посетить Полтаву из-за болезни жены не может, звал приехать в Ялту. На следующий день он послал Короленко еще одно письмо: «Мне кажется, что нам удобнее действовать сообща, и надо сговориться...»

10 мая Веселовский дипломатично созвал не собрание, а «частное собеседование». Чехову было послано приглашение на него. Писатель телеграфировал, что приехать не может. Вскоре им было получено письмо от Ф.Д.Батюшкова: «Вчера состоялось в Академии наук соединенное заседание 2-го Отделения и Разряда изящной словесности по интересующему Вас вопросу. Подробности Вам, конечно, сообщит В.Г.Короленко, который отсюда, заехав в Полтаву, проедет в Ялту...»

25 мая 1902 г. газета «Крымский курьер» сообщила: «Вчера прибыл в Ялту В.Г.Короленко». В день приезда, 24-го, он уже был у Чехова.

Ни Короленко, ни Чехов не были удовлетворены результатами так называемого частного собеседования, состоявшегося в Академии. Никаких решений и постановлений сделано не было, новое заседание было отложено до осени. Президент отсутствовал по болезни, мнение его не было сообщено. Чехов и Короленко решили подать в отставку. 28 мая 1902 г. Короленко писал Ф.Д.Батюшкову: «Чехов, вероятно, отложит свое заявление до осени <...> Я «выйду» на днях, это дело, по многим причинам, необходимое».

Позднее в литературе, в частности, в книге Н.Д.Шаховской «В.Г.Короленко» утверждалось, что Короленко склонил Чехова к отказу от звания почетного академика в связи с кассацией выборов Горького³. Короленко писал Шаховской 10 июля 1913г.: «Чехова я к отказу от звания академика не склонял, а счел только нужным, как и других академиков, ознакомить со своим заявлением. Он вышел по собственной инициативе»⁴. Об этом же Короленко писал 11 марта 1918 г. Г.К.Гергеру-Нелобину: «Приводимые Вами слова Анатолия Федоровича Кони тоже вызывают на возражение. Не понимаю, какие у него основания так решительно утверждать, будто «Короленко увлек Чехова выйти из Академии, между тем, как Чехов очень гордился академическим званием». Могу утвердить, что Чехов всегда поступал очень самостоятельно, именно так, как сам считал нужным, и «увлекать» его мне не приходило в голову»⁵.

Короленко послал в Академию свой отказ от звания почетного академика 25 июля, Чехов — 25 августа. Письмо Чехова с отказом от звания почетного академика в знак протеста против аннулирования выборов М. Горького, посланное на имя председателя отделения литературы и языка Академии наук А. Н. Веселовского, было напечатано в Штутгарте, в русском журнале «Освобождение», 1902, № 10, 2 ноября, под заголовком «Заявление А. П. Чехова». Это же письмо в 1903 г. было опубликовано в Берлине, в берлинском издании Иоанна Рэде появился рассказ В. Г. Короленко «Чудная»; вслед за предисловием к рассказу, подписанным И. М., напечатаны письма об отказе от звания академика В. Г. Короленко и А. П. Чехова. Ниже следуют их тексты.

«А. Н. Веселовскому
25 августа 1902, Ялта.

Милостивый государь
Александр Николаевич!

В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики. А. М. Пешков тогда находился в Крыму, я не замедлил повидаться с ним, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство же с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, почтительнейше просить Вас ходатайствовать о сложении с меня звания почетного академика. С чувством глубокого уважения имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою

Антон Чехов.»

Веселовскому — Короленко

«Вопрос, затронутый «объявлением», не может считаться безразличным. Ст. 1035 есть лишь слабо видоизмененная форма административно-полицейского воздействия, игравшего большую роль в истории нашей литературы. В собрании, считающем в своем составе немало лучших историков литературы, я не стану перечислять всех относящихся сюда фактов. Укажу только на Н. И. Новикова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Аксакова. Все они, в свое время, подвергались административному воздействию разных видов, а надзор над А. С. Пушкиным, мировой славой русской литературы, как это видно из последних биографических изысканий, — не только проводил его в могилу, но и длился еще 30 лет после смерти поэта. (Уже в 70-х гг. истекшего века генерал Мезенцев потребовал, по вступлении своем в должность шефа жандармов, списки поднадзорных и вычеркнул из них имя титулярного советника А. С. Пушкина. — Прим. В. Г. Короленко). Таким образом, начало, провозглашенное в объявлении от имени Академии, проведенное последовательно, должно было бы закрыть доступ в Академию первому поэту

России. Это в прошлом. В настоящем же прямым его следствием является то, что звание почетного академика может быть также и отнимаемо внесудебным порядком, по простому подозрению административного учреждения, постановляющего свои решения без всяких гарантий для заподозренного, без права защиты и апелляции, часто даже без всяких объяснений...

Ввиду всего изложенного, — то есть: что сделанным от имени Академии объявлением затронут вопрос, очень существенный для русской литературы и жизни; что ему придан вид коллективного акта; что моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению; что, наконец, я не нахожу выхода из этого положения в пределах деятельности Академии, — я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за «объявление», оглашенное от имени Академии, в единственно доступной мне форме, то есть вместе с званием Почетного Академика. Поэтому, принося искреннюю признательность уважаемому учреждению, почтившему меня своим выбором, я прошу вместе с тем исключить меня из списков и более Почетным Академиком не числить.

Вл. Короленко».

В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте хранится копия письма Короленко, напечатанная на машинке на двух листах. Она вложена в книгу «Владимир Короленко. Очерки и рассказы. Изд. «Русской мысли», М., 1887» с дарственной надписью: «Антону Павловичу Чехову от В.Короленко».

Самому инциденту суждено было завершиться лишь после Февральской революции, 15 лет спустя. Почетный академик Д.Н.Овсянко-Куликовский в марте 1917 г. прислал Короленко письмо с просьбой вернуться в состав почетных академиков в виду аннулирования произведенной царем касации выборов Горького. Короленко от этого отказался, причем, приводя в письме от 29 мая 1917 г. свои мотивы, назвал и такой: «Вышли мы по обоюдному соглашению с А.П.Чеховым. Войти вместе не можем...»⁶.

Вскоре после смерти А.П.Чехова, в июльской книжке «Русского богатства» за 1904 г. были напечатаны воспоминания Короленко «Памяти Антона Павловича Чехова». Они вошли в собрание сочинений Короленко и многократно перепечатывались. В первой публикации воспоминания имели следующее окончание, позднее снимаемое редакторами: «Читатель простит мне эти, может быть, бессвязные и беспорядочные строки, лишённые претензии разобраться до конца в характере и размерах понесенной русскою литературою утраты. Разбираться придется еще много и процесс этот большой и сложный. Эти строки продиктованы лишь непосредственным ощущением тяжелой потери...»

17 лет продолжалась ничем не омраченная дружба Чехова и Короленко. Вместе они делали одно общее дело, убежденные, что когда пройдет время, всех их будут звать — «не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом артель». Так писал Чехов к одному из своих литературных приятелей в марте 1889 г. Но и имена, и дела Короленко и Чехова вышли далеко за пределы «артели восьмидесятников».

Ялта

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Чехов А.П. *Вокруг Чехова*. С.220-221.
- ² Короленко В.Г. *Ант он Павлович Чехов // А.П.Чехов в воспоминаниях современников*. М., 1960. С. 137.
- ³ Шаховская Н.Д. *В.Г.Короленко*. М., 1912. С.125.
- ⁴ Храбровицкий А.В. *Из дневника В.Г.Короленко // Литературное наследство*. Т.68. Чехов. М., 1960. С.526.
- ⁵ Там же.
- ⁶ Переписка А.П.Чехова и О.Л.Книппер. В 3 т. Т.2. М. . 193. С.420.



Александр МАЛЕНКО,
кандидат филологических наук

«...ЯЛТА..... ПРОИЗВОДИЛА НА МЕНЯ УДРУЧАЮЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»

Афанасий Фет в Крыму

«Но вот Бахчисарайская станция.

— Есть экипаж от Ребелиоти?

— Есть.

Проехав минут сорок по каменистой дорожке по долине Качи, мы въехали в каменные ворота прекрасной каменной, но видимо запущенной усадьбы, и застали во дворе самого хозяина, видимо, нас поджидавшего. Я тотчас его узнал, невзирая на его седые волосы. Он поспешил познакомить нас со своей женой, как и он гречанкой, сохранившей еще явные следы красоты, а также и с милыми своими дочерьми»,¹ — так начинает свой рассказ о пребывании на бахчисарайской земле Афанасий Афанасьевич Фет, выдающийся поэт России.

В сентябре 1879 года вместе с женой он совершает путешествие по Крыму. Фет побывал в Симферополе, Севастополе, Ялте, проехал через Байдарские ворота. Сама же идея поездки в Крым и ее осуществление стали возможны, наряду с другими обстоятельствами, благодаря возникшим в короткий срок отношениям между поэтом и его однополчанином-бахчисарайцем. В своих воспоминаниях Афанасий Афанасьевич объяснил все следующим образом: «Наслушавшись зимою восторженных воспоминаний Каткова (известный журналист того времени — **А.М.**) об очаровательной природе Крыма, я все лето толковал, что стыдно проживать в недалеком сравнительно расстоянии от Крыма и умереть, не видавши южного берега. К этому желанию случайно присоединился дошедший до меня слух, что добрый мой товарищ, однополчанин кирасирского Военного Ордена полка — Ребелиоти — проживает в своем имении близ станции Бахчисарай. Конечно, тотчас же на письмо мое к нему последовало самое любезное и настойчивое приглашение начать знакомство с Крымом с его имения в долине Качи»². А.А.Фет принял приглашение Ксенофонта Феодосиевича Ребелиоти, хозяина деревни Ак-Тачи (ныне с.Фурмановка Бахчисарайского района).

Каковы же были впечатления поэта? Вновь обратимся к страницам его воспоминаний: «Когда, оправившись после двухсуточного пребывания в вагоне, мы стали осматриваться кругом, то были поражены всем видимым. Признаюсь, я ничего подобного нигде не встречал. Небольшой, но весьма поместительный двухэтажный дом с подъездом со двора выстроен, очевидно, умелой и широкой рукой. В нижнем этаже расположены жилые, а сверху — парадные комнаты, дубовый потолок гостиной украшен посередине большою розеткой из золоченых металлических листьев аканфа. Стеклянная дверь выходит на балкон, висящий прямо над быстрыми струями Качи, заключенной в каменный арык, вращающий могучим падением воды мельничное колесо, но при закрытии шлюза орошающий все четыре десятины сада. И что это за сад смотрит вам в лицо! Какие тополи, кипарисы и орехи стоят тотчас же по другую сторону арыка, уносящего у ног ваших множество падающих в него яблок! Чтобы не отнимать у вас возможности полюбоваться садом и лежащими за ним горами, гигантские деревья расступаются, связанные между собой только могучим побегом лозы, бросившейся с высоты и увешанной темно-сизыми гроздьями. Самые фруктовые деревья до того усыпаны краснеющими яблоками, что без сотен подпорок не в состоянии бы были выдержать тяжести»³.

Фет был восхищен фруктовым садом и видом, открывавшимся на горы.

Спустя два дня А.А.Фет покидает деревню Ак-Тачи «с таким расчетом времени, чтобы иметь возможность осмотреть Бахчисарай и на другой день с утренним поездом уехать в Севастополь»⁴.

Будучи с детства страстным любителем пушкинской поэзии, Афанасий Афанасьевич не мог уехать, не побывав в Бахчисарае, столь блистательно описанном Пушкиным. Он посвятил городу всего несколько строк, но они красноречиво свидетельствуют о том, что их автор сумел почувствовать необычность Бахчисарая: «Не буду говорить о замечательном в своем роде и характерном, хотя и небогатом дворце и ханском кладбище; скажу только, что Бахчисарай с его тесной горной улицей, харчевнями, лавками, медными и жестяными производствами, действующими открыто на глазах прохожих, сохранил полностью характер азиатского города»⁵. Переночевав в одной из гостиниц Бахчисарая, поэт отправился в Севастополь, где жил другой его знакомец по полку, грек, полковник Александр Андреевич Тази.

После возвращения супругов из Крыма жена поэта, Мария Петровна, послала жене Ребелиоти пуд малины, на что не последовало никакого ответа. Дважды писал в Ак-Тачи Афанасий Афанасьевич, но так и не дождался ответных писем. А в ноябре 1880 года А.А.Тази сообщил А.А.Фету о смерти Ксенофонта Феодосиевича. В связи с этим в воспоминаниях Афанасия Афанасьевича появилась запись: «С тех пор всякие сношения мои с Крымом прекратились»⁶.

Конечно же, коль речь идет о выдающемся поэте, то интересны, прежде всего, творческие результаты его пребывания в Крыму. На первый взгляд они неожиданны: всего два стихотворения. Первое, «Ты был для нас всегда вон той скалою...», датировано 2 июня 1883 года и отражает реальное событие: обвал у Байдарских ворот, унесший в море участок с садом. Позднее, 4 июня 1887 года, написано

«Севастопольское братское кладбище», где отражены впечатления автора от посещения им кладбища защитников города в 1854–1855 годах.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что оба стихотворения написаны отнюдь не по свежим впечатлениям. Автор со-здал их спустя многие годы после возвращения из Крыма. Да и выбор тем заставляет думать, что фетовское восприятие Крыма отличалось от традиционного, во многом определявшегося пушкинской романтической традицией. Если же сравнить мемуарные записи Афанасия Фета и его письма с пушкинским письмом к брату и его же «Письмом к Д», то становится ясно, что впечатления поэтов были абсолютно разными. Пребывание в этом ярком крае не стало для А. А. Фета праздником, не вызвало творческого подъема, как это было почти шесть десятилетий назад у Пушкина. Весьма показательны в этом отношении фетовское письмо к Л. Н. Толстому, писанное 9 октября 1879 года: «Я так рад, что после всех чудес природы и ханских дворцов вернулся в топленные комнаты и ем по-человечески, а не по гостиницам с горьким маслом и такую жесткую говядину, хоть топором руби»⁷. Строки, вполне раскрывающие характер восприятия А. А. Фетом увиденного на полуострове. Не произвели на него впечатления ни ялтинский амфитеатр, ни сама Ялта, ставшая к тому времени известным курортом. Еще раз предоставим слово самому поэту:

«Насколько я недавно чувствовал себя в праздничном расположении духа на северной стороне Севастопольской бухты и –

«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...»

– настолько Ялта, невзирая на живописно возносящиеся над нею горные утесы, производила на меня удручающее впечатление»⁸.

Красоты Южного берега Крыма почти не оставили следов в душе А. А. Фета. Отсюда – скромный творческий результат его поездки по Южному берегу. Лучшие строки крымской части воспоминаний Афанасия Фета относятся к его пребыванию в имении К. Ф. Ребелиоти. Но и в этом высокохудожественном фрагменте виден не только восторг человека, впервые попавшего в долину Качи, одну из красивейших в юго-западном Крыму. За строками описания проглядывает помещик, должным образом оценивший все удобства усадьбы. Афанасий Афанасьевич заметил многое в ее устройстве: какова планировка барского дома, как устроен арык, вид на горы, особенности сада. Нужно ли быть поэтом, чтобы так написать? И все-таки поэзия сопутствовала А. А. Фету в его странствиях по Крыму. Она была его спутницей, начиная с приезда в Симферополь: «...мы въехали в ущелье, где Симферополь приютился на берегах Салгира.

О, скоро ль вновь увижу вас,
Брега веселые Салгира.

«Вот, – невольно подумал я, – как игриво весела эта невзрачная речонка в волшебных стихах поэта»⁹. В приведенном выше отрывке воспоминаний, где Фет восторгается северной стороной Севастополь-

ской бухты, он цитировал пушкинскую «Нереиду», в Симферополе — «Бахчисарайский фонтан». А его прощание с морем у Байдарских ворот? Здесь опять появляются строки Пушкина: «Но вот мы на высоте горного хребта и медленно въезжаем в знаменитые Байдарские ворота, откуда путнику, едущему из Севастополя на южный берег, вдруг, как со вскрытием театрального занавеса, впервые представляется величественная картина необъятного моря. Прощай море!».

«Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой!»¹⁰.

Все это приводит к выводу о том, что великий лирик видел Крым во многом глазами Пушкина. Это касается, в частности, тех мест, которые когда-то были описаны любимым поэтом Афанасия Фета. А то, что два стихотворения Афанасия Афанасьевича, написанные по крымским впечатлениям, посвящены местам, Пушкиным не описанным, говорит о нежелании А.А.Фета вступить в творческий диалог с создателем «Нереиды» и «Бахчисарайского фонтана». В то же время крымская часть его мемуаров стала литературным памятником великому предшественнику Афанасия Фета в странствованиях по дорогам Тавриды. Отдадим должное позиции мемуариста, намеренно не отразившего в своей поэзии впечатления от мест, показанных в стихах Пушкина.

В отличие от многих других, он не создал цикла крымских произведений.¹⁰

Останься Ксенофонт Ребелиоти жив, и, может быть, перед нами предстал бы еще один, не похожий на пушкинский, поэтический образ Крыма? Крыма Афанасия Фета.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фет А.А. Мои воспоминания // Фет А.А. Воспоминания. — М., 1983. — С.453.

² Там же, с. 452.

³ Там же, с. 453-464.

⁴ Там же, с. 455.

⁵ Там же, с. 455.

⁶ Там же, с. 460.

⁷ Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. — М., 1978. — Т.2. — С.84.

⁸ Фет А.А. Указ. соч. // Там же. — С.459.

⁹ Там же. с. 453.

¹⁰ Там же, с. 459-460.



Александр ПОТАПЕНКОВ,
член-корреспондент
Крымской академии наук

*Светлой памяти и
Анатолия Домбровского посвящаю*

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Эпоха Перикла и роман Анатолия Домбровского «Перикл»

«Перикл был первый из афинян своего времени, сильный словом и делом... Стоя во главе государства в мирное время, он правил умеренно и охранял безопасность. Афины достигли при нем высшего могущества.»

Фукидид.

Имя Перикла мало знакомо современному читателю, даже высокообразованному. Получилось так, что в истории общественной и политико-правовой мысли он оказался незаслуженно забытым. Этот недостаток знаний, а вернее, новое знание о Перикле и его эпохе дает вышедший в Москве роман А.И. Домбровского «Перикл».¹

Перикл был выдающимся государственным деятелем, мыслителем, полководцем и оратором. Его имя стоит в одном ряду с такими великими историческими личностями, как Александр Македонский, Цезарь, О. Кромвель, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Екатерина II, А. Линкольн, Ф. Рузвельт, Ш. де Голь, У. Черчилль, В.И. Ленин, И.В. Сталин.

Кто же такой Перикл, что он сделал такого, что оставил неизгладимый след в истории? Чем он знаменит?

Родился Перикл в начале греко-персидских войн, около 500 г. до н.э. По матери он происходил из рода Алкмеонидов и приходился племянником Клисфену. Клисфен был весьма видным государственным деятелем. В 509 г. до н.э. он провел реформы, которые ликвидировали в Афинах последние остатки родового строя. Реформы Клисфена завершили длительный процесс становления государства в Древних Афинах. Возникновение государства в Афинах сопровождалось ожесточенной борьбой между родовой аристократией и демосом, завершившейся победой демоса. В результате этой победы в

¹ Домбровский Анатолий. *Перикл*. Исторический роман. М., Астрель, 2002.

Афинах возникло рабовладельческое государство в форме демократической республики.

Отец Перикла Ксантипп, афинский стратег, командовал греческим флотом в битве при мысе Микале. По социально-экономическому положению Перикл принадлежал к афинским землевладельцам-аристократам. Поместье его находилось неподалеку от Афин и было образцово поставлено.

В V в. до н.э. в Афинах кипела борьба за политическое руководство между двумя партиями – аристократической и демократической. Вождем аристократической партии после Кимона стал Фукидид, сын Мелесия, которого не надо смешивать с историком Фукидидом, сыном Олора. Фукидид объединил все элементы, недовольные демократической политикой Афин, и образовал из них сильную оппозицию против демократической партии.

Демократическую партию возглавлял Перикл. Борьба между Периклом и Фукидидом носила в высшей степени страстный характер и велась с большим упорством. В конце концов после многих лет напряженной борьбы победа осталась за Периклом. Победа Перикла означала победу демократии, и притом главным образом городской и морской демократии. С середины 60-х гг. V в. до н.э. Перикл стал лидером афинской демократии и верно служил ей всю свою жизнь. Как позднее писал Аристотель, «демос почувствовал свою силу и старался сосредоточить все политические права в своих руках» («Афинская полития», с.27).

Время правления Перикла считается «золотым веком» древнегреческой истории, эпохой высшего расцвета Афин. К этому времени окончательно сложилась демократическая конституция Афин в ее классической форме, в разработке которой большую роль сыграл Перикл. Афинская конституция V в. была органическим развитием, дополнением и отчасти видоизменением клисфеновской конституции.

Верховным органом Афинского государства признавалось Народное собрание, или экклесия. При Перикле экклесия превратилась в регулярно действующий высший политический орган. Экклесия решала все важнейшие дела общины, вопросы войны и мира, продовольственного снабжения города, принимала отчеты должностных лиц, имела высший государственный контроль, рассматривала судебные дела в последней инстанции и т.д.

Активными правами в экклесии пользовались полноправные афинские граждане, достигшие двадцатилетнего возраста, без ограничения имущественным или каким-либо иным цензом. Женщины и метеки в Народное собрание не допускались.

Превращение экклесии в постоянный, регулярно действующий орган коренным образом изменило природу другого важного политического органа – Совета пятисот. Он стоял во главе государства, ведал делами войны и мира, на нем лежали различные административные функции, как то: управление финансами, надзор за арсеналами, доками, флотом, контроль над должностными лицами, но одной из главных функций Совета было предварительное обсуждение дел, поступивших на рассмотрение Народного собрания. Он был прежде всего совещательным органом, «советом предварительных обсуждений».

Некогда всемогущая коллегия архонтов также должна была утратить свое значение, поскольку назначение и контроль должностных лиц переходило к экклесии. Избирались архонты по жребию, как и все прочие должност-

ные лица, за исключением стратегов, которые выбирались в экклесии открытым голосованием путем поднятия рук (хиротония).

Высшей судебной инстанцией и высшим контролирующим юридическим органом оставался Суд присяжных – гелиея. При Перикле судебные процессы, состав судей и их функции были упорядочены.

Следующим государственным органом Афин была коллегия стратегов, значение которой сильно возросло со времени греко-персидских войн. Коллегия десяти стратегов была единственным в Афинском государстве учреждением, где допускалось переизбрание неограниченное число раз и где не существовало ежегодной отчетности. Стратегов судили лишь в случае их измены или понесенных военных поражений. В этих случаях они подвергались конфискации имущества, высылке и даже лишению жизни. Даже Перикл, остававшийся в должности первого стратега 15 лет, будучи фактически единодержавным правителем Афин, в конце концов все-таки при первой же крупной неудаче был смещен и приговорен к штрафу, хотя скоро и был реабилитирован.

В экклесии допускалась полная свобода слова. Говорить мог всякий, и не особенно считаясь при этом с повесткой дня. Голосование происходило поднятием рук или опусканием в урны мелких камешков. Всякий гражданин имел право предложить вынести какое-либо постановление, поставить на обсуждение новый закон или возбудить вопрос об отмене существующего закона. Однако процедура прохождения и утверждения нового закона или отмена старого сопровождалась соблюдением сложных формальностей, при помощи которых стремились оградить афинский рабовладельческий строй от случайностей и потрясений.

Для создания реальной возможности участия в государственных делах необеспеченных слоев афинских граждан Перикл ввел плату за отправление обязанностей присяжного в судах, в заседаниях. Перед вступлением в судебную палату каждому гелиасту вручались судейский посох и марка (символ), по которой он получал причитающиеся ему два обола (диэты).

Кроме введения диэт, Периклу приписывается еще введение театральных денег (теорикон), выдававшихся гражданам на покупку марки или билета на театральные представления. Выдаваемые суммы в размере двух оболов равнялись стоимости дневного содержания одного человека. Введенные Периклом диэты являлись естественным продолжением и развитием оплат за несение государственных обязанностей (в особенности за военную службу), установившихся во время греко-персидских войн.

Перикл сыграл огромную роль в укреплении могущества Афин и создании Афинской державы. Внутриполитическое положение в Греции второй половины V в. до н.э. определяли взаимоотношения между наиболее могущественными объединениями греческих полисов – Пелопоннесским союзом, во главе которого стояла Спарта, и первым Афинским морским союзом, возглавляемым Афинами. Эти союзы к середине V в. до н.э. превратились в сильные военно-политические блоки, между которыми развивались не только внешнеэкономические, но и глубокие социально-политические противоречия. В конечном счете эти противоречия обострились до такой степени, что привели к одной из самых кровопролитных войн в греческой истории – Пелопоннесской войне.

Противоборство Пелопоннесского и Афинского морских союзов определялось прежде всего глубокими различиями в их структуре, в характере

социально-экономических отношений, политическом строе входящих в их состав полисов.

Пелопоннесский союз был одним из первых крупных военно-политических объединений в греческом мире. Он сложился во второй половине VI в. до н.э. и включал на первых порах полисы, расположенные в Пелопоннесе: Лаконики, горной области Аркадии, равнинной Элиды.

К середине V в. до н.э. в состав союза вошли почти все полисы Пелопоннеса (кроме враждебного Спарте Аргоса), целый ряд городов Средней Греции, включая сильные Фивы и более мелкие полисы Фокиды, северной Дориды, острова Левкады. Большая часть союзных государств, включая и Спарту, относилась к аграрным, со слабым развитием ремесла и торговли, полисам, с архаическими общественными отношениями, олигархическим устройством и консервативной политической программой. Правда, среди союзников были и такие торгово-ремесленные полисы, как могущественный Коринф, Мегары, Сикион, в которых экономическая жизнь была достаточно интенсивной. Эти города хорошо дополняли аграрные полисы и в целом повышали военно-политический потенциал Пелопоннесского союза, превращали его в одну из сильнейших военно-политических коалиций Греции.

Многочисленное и хорошо тренированное войско гоплитов, которых посылали аграрные полисы, дополнялось достаточно сильным флотом и солидными денежными поступлениями богатых торгово-ремесленных центров типа Коринфа или Мегар.

Используя большой военно-политический потенциал союза, Спарта стала сильнейшим государством Греции и играла решающую роль в греческом мире V–IV в.в. до н.э. Она повсюду поддерживала аристократические группировки, была оплотом греческой олигархии.

Пелопоннесскому союзу в V в. до н.э. противостояло другое военно-политическое объединение греческих полисов на главе с Афинами – первый Афинский морской союз. Афинский морской союз вырос из объединения греков, сплотивших свои силы для освобождения захваченных персами греческих городов Малой Азии и островов Эгейского моря. Но уже в конце греко-персидских войн Афинский морской союз перерос рамки военного союза и превратился в особое политическое объединение греческого мира с более широким кругом задач, своей социально-экономической и внешней политикой, сыгравшее большую роль в событиях V в. до н.э.

В истории Афинского морского союза можно выделить два периода: период Делосской симмахии (478–455 г.г. до н.э.), когда перед союзниками стояли прежде всего задачи освобождения захваченных персами эллинских городов Малой Азии и островов Эгейского моря, и период политического господства Афин в союзе, которое превратило Делосскую симмахию в афинскую державу (архэ), проводившую активную политику в греческом мире второй половины V в. до н.э.

Афинский морской союз постоянно пополнялся новыми членами, и к концу 30-х годов V в. до н.э. превратился в самое крупное в истории Греции политическое объединение как по числу членов (около 200 полисов), так и по величине контролируемой территории. В состав Афинского союза вошла большая часть греческих полисов, расположенных по побережью Эгейского моря и на островах.

подавляющее большинство афинских союзников составляли приморские города с интенсивной экономикой, процветающим ремеслом и активной

торговлей, сложными социальными отношениями, демократическим устройством.

Афинский морской союз в отличие от Пелопоннесского имел более сложную организацию. Прежде всего была создана единая финансовая система, которая предполагала наличие общей союзной казны, пополняемой за счет ежегодных взносов (форос).

Важной особенностью организационной структуры Афинского морского союза была попытка создания некоторого экономического единства внутри союза. Создание такого экономического объединения диктовалось потребностями хозяйственного развития. Для Греции этого времени характерны экономический подъем, развитие ремесленного производства, торговых связей, денежного обращения. В состав афинского союза вошли преимущественно города с товарной экономикой, заинтересованные в налаживании хозяйственных связей, обмене ремесленными изделиями, сельскохозяйственной продукцией и сырьем. Чтобы облегчить экономические связи, была проведена унификация мер, веса, монетной системы, в основу всех расчетов были положены афинские стандарты, афинский порт Пирей стал перевалочным пунктом товарных потоков всей Эгеиды, местом скрещения потоков всей Эгеиды, местом скрещения важнейших торговых путей. Через Пирей товары распределялись по всем союзным городам.

Энергичная политика Афин, направленная на укрепление демократических порядков и стоящих за ними социальных слоев, преследовала цели известной унификации государственного управления в многочисленных полисах, входящих в состав Афинского морского союза, а в конечном итоге – некоторой его централизации. Афины были не только гегемоном и руководящим полисом этого обширного объединения. Они стали рассматриваться как своего рода столичный, главный город, в который съезжаются представители всех союзников по разным делам экономического, судебного, политического, культурного характера. Афины рассылают своих уполномоченных для сбора фороса, своих клеруков на союзные земли, афинский флот бороздит воды Эгейского и Черного морей. Наиболее зримым показателем роли Афин как союзной столицы является строительство великолепных архитектурных ансамблей, таких, как Парфенон, комплекс Акрополя, в которых нашли свое выражение стили и идеи художественных школ Эллады. Становление Афин как столичного города союза вместе с тем означало, что сам Афинский морской союз перерос рамки объединения отдельных полисов и превратился в Афинскую державу, федеративное государственное образование нового типа, ранее в греческом мире неизвестное. В Афинской державе как новой форме федеративного объединения была сделана попытка преодоления полисной раздробленности и разобщенности. Наиболее глубокой основой таких объединительных тенденций был общий подъем греческой экономики, развитие товарно-денежных отношений.

Создание довольно обширной экономической зоны в рамках Афинской державы, известная однородность социально-политических порядков, некоторая централизация государственного управления и преодоления полисной разобщенности были прогрессивным явлением в общем историческом развитии Греции V в. до н.э. Не только столичный полис Афины, но и большинство рядовых членов Афинской державы были заинтересованы в существовании этого объединения, поскольку членство в союзе способствовало их эко-

номическому процветанию, утверждению демократических порядков и культурному развитию.

Далеко не все союзники мирились с господством Афин, и выражением их недовольства были попытки выхода из состава союза. Такие попытки предпринимались сильными и крупными полисами, для которых афинское владычество было особенно тягостным. Они считали возможным обеспечить свое существование в условия полисной независимости. Как правило, такие города имели олигархическое правление, и их недовольство великодержавной политикой Афин усугублялось социальными противоречиями, антипатиями олигархов к демократическим порядкам. Первые восстания против усиливающегося афинского господства разразились на таких крупных островах Эгейского моря, как Наксос (469 г.), Фасос (465 г.) и в г. Халкиде на острове Эвбея (446 г. до н.э.). Были выступления против афинской гегемонии также на острове Самосе в 440 г. и на острове Лесбосе в 427 г. до н.э. Как правило, подавление таких попыток к выходу из союза сопровождалось установлением демократических порядков и приходом к власти демократических кругов, которые становились надежной опорой афинской власти прежде всего потому, что большинство членов союза было заинтересовано в существовании такого военно-политического и экономического объединения греческих полисов.

Перикл и его сторонники разработали политику по превращению равноправного союза полисов, Делосской симмахии в Афинскую державу. Располагая огромными по тому времени силами и средствами такого мощного объединения, Афины стали проводить активную внешнюю политику в греческом мире, преследуя несколько целей: 1) дальнейшее расширение союза путем включения в него новых городов в Эгейском бассейне; 2) усиление политического влияния Афин в Великой Греции, Южной Италии и Сицилии; 3) проникновение в бассейн Черного моря; 4) изоляция Пелопоннесского союза, уменьшения его политического влияния и превращение Афин в гегемона большинства греческих полисов.

Достижение этих целей встретило, естественно, противодействие Спарты и ее наиболее могущественного союзника — Коринфа. 440–430 г.г. до н.э. стали временем острого дипломатического и политического противостояния двух наиболее крупных объединений греческого мира в V в. до н.э.

Крупным успехом Афин было включение в состав союза соседнего острова Эгины. Несмотря на противодействие Спарты и Коринфа, афиняне высадились на острове, разбили эгинян в сражении, захватили город (458 г. до н.э.). его стены были срыты, наложена большая контрибуция, установлены угодные Афинам порядки. Эгина стала послушным членом союза, выплачивала ежегодно до 30 талантов фороса (один из самых высоких членских взносов в союзе).

Афинам удалось установить дружественные отношения с традиционным противником Спарты в Пелопоннесе — Аргосом и фессалийскими городами. После этих успехов власть Афин в бассейне Эгейского моря практически никем не оспаривалась.

С середины 40-х годов V в. до н.э. афиняне обратили самое пристальное внимание на греческие города, расположенные по берегам Черного моря. Большинство причерноморских центров было основано ионийскими полисами, с которыми они поддерживали самые тесные отношения: торговые, политические, культурные. К середине V в. до н.э. греческие города Причерно-

морья превратились в развитые и богатые полисы, контролировавшие значительную территорию, установившие связи с местными племенами. Включение этих полисов в состав Афинской державы, усиление влияния в этом регионе давали Афинам больше выгоды как экономического, так и политического характера, привели к возрастанию их могущества.

С конца 40-х годов V в. до н.э. афиняне приступают к реализации программы по установлению своего господства в Причерноморье. В 437-435 гг. до н.э. хорошо оснащенная эскадра и отборные отряды гоплитов во главе с Периклом были направлены в Понт. «Прибыв в Понт с большой эскадрой, блестяще снаряженной, — передает Плутарх, — он (Перикл. — **А.П.**) сделал для эллинских городов все, что им было нужно, и отнесся к ним дружелюбно, а окрестным варварским народам, их царям и князьям он оказал великую помощь, показав неустршимость, смелость афинян, которые плывут куда хотят и все море держат в своей власти. Жителям Синопы Перикл оставил тринадцать кораблей под командой Ламаха и отряд гоплитов для борьбы с тираном Тимесилеем. После изгнания последнего и его приверженцев он провел в Народном собрании постановление о том, чтобы в Синопу было отправлено шестьсот человек афинян, изъявивших на то согласие: они должны были жить вместе с коренными гражданами Синопы, поделив с ними дома и землю, которую прежде занимали тираны.»

Синопа становится своего рода опорным пунктом афинской власти на Черном море. После понтийской экспедиции Перикла в состав Афинской державы, кроме Синопы, вошли также Амис на южном берегу, Аполлония и, возможно, Истрия на западном побережье, в Северном Причерноморье — Нимфей на Керченском полуострове и, возможно, Ольвия. Таким образом, власть Афинской державы утвердилась в наиболее крупных центрах Причерноморья, что позволяло афинянам контролировать обширные территории этого богатого ресурсами района.

Не довольствуясь блестящими успехами своей политики и дипломатии в бассейне Эгейского моря и в Причерноморье, афиняне стали развивать активную деятельность по распространению своего влияния в западном направлении на путях в Великую Грецию и в Южной Италии, Сицилии. Это направление афинской внешней политики казалось афинским лидерам необычайно перспективным. Дело в том, что Великая Греция была богатейшей и густонаселенной областью с процветающими городами. Тарент, Метапонт, Кротон, Локры, Регий, Катана, Сиракузы, Гела, Селинунт не уступали по уровню своего экономического и культурного развития наиболее знаменитым городам Балканской Греции. К тому же установление афинской гегемонии в Великой Греции превратило бы Афинскую державу в политическое объединение практически всего греческого мира и привело бы к полной изоляции Спарты. Вместе с тем это нанесло бы смертельный удар по экономике Коринфа, могущество и существование которого в наибольшей степени зависело от его связей с городами Великой Греции. С середины 440-х годов до н.э. афиняне начали планомерную реализацию своей западной политики.

В 435–433 г.г. до н.э. афиняне ловко вмешались во внутреннюю борьбу, которая разгорелась между жителями большого острова Керкиры (совр. Корфу) и его колоний на Адриатическом берегу — Эпидамном, заключили союз с Керкирой и приняли этот богатый остров в состав Афинского морского союза. Эта акция означала большой успех афинской западной политики. Дело в том, что через Керкиру проходил основной морской путь из Греции на Сици-

лию и этот остров издавна был под контролем Коринфа. Кроме того, Керкира располагала крупным флотом (около 120 боевых триер – третий по величине после Афин и Коринфа греческий флот), что резко усиливало военное могущество Афинского союза. Закрепившись на путях в Великую Грецию, Афины сделали попытку проникнуть в Южную Италию и Сицилию.

Руководители афинской демократии, развивая внешнеполитический успех по укреплению политического влияния в греческом мире и желая закрепить свое руководство среди греков, выдвинули идею созыва общеэллинского конгресса. «Перикл, — говорил Плутарх, — желая еще более пробудить народную гордость и внушить гражданам стремление к великим делам, внес в Народное собрание предложение о том, чтобы все эллины, где бы они не жили, в Европе или Азии, в малых городах или больших, послали на общий съезд в Афины уполномоченных для совещания об эллинских храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые они должны принести за спасение Эллады по обету, данному богам, когда они сражались с варварами, о безопасности для всех плавании по морю и о мире.»

Созыв общеэллинского конгресса в Афинах, находящихся на вершине внешнеполитических успехов, был бы выгоден прежде всего Афинам, усилил бы их политическое влияние в Греции, причая эллинов к мысли, что их город – признанный лидер греческого мира. Естественно, Спарта и Пелопоннесский союз выступили против, были предприняты ответные меры, и конгресс не состоялся.

Продвижение Афин в западном направлении было смертельно опасно для Коринфа, вело к изоляции Спарты и наносило сильнейший удар по Пелопоннесскому союзу в целом. Ни Спарта, ни Коринф не могли с этим мириться и предприняли самые энергичные меры, чтобы противодействовать афинским инициативам. Пелопоннесцы искали пути ослабления Афинской державы, поддерживая олигархические круги среди союзников, подогревали недовольство оппозиционных элементов финансовой эксплуатацией афинян, побуждали к выходу из союза. Спартанцам удалось склонить к выходу из Афинского союза очень важный в стратегическом отношении полис Мегары, запиравший проходы из Пелопоннеса в Среднюю Грецию. Попытки Афин вернуть Мегары в состав союза не привели к успеху. Благодаря проiscaм Коринфа один из полисов на Халкидике, город Потидея, в 432 г до н.э. вышел из союза, и афиняне законно опасались, как бы этому примеру не последовали жители северного побережья Эгейского моря. Но особенно энергичные усилия противостоять афинской экспансии были предприняты Коринфом в Великой Греции. Основанный под руководством Афин новый город Фурии так и не превратился в их плацдарм, поскольку пелопоннесцам удалось укрепить здесь свое влияние. Афинские союзники Регий и Леонтины были нейтрализованы сплочением сицилийских городов во главе с Сиракузами, где преобладали антиафинские настроения, и потому возможности афинского вмешательства здесь оказались незначительны.

С другой стороны, Спарта расширяла зоны своего влияния, включая в Пелопоннесский союз новых членов в Средней Греции: полисы Беотии, Фокиды, Северной Дориды, острова Левкады. Большая часть Средней Греции стала зоной спартанского влияния.

Однако в целом можно говорить о большой активности и успешных внешнеполитических инициативах Афинской державы, руководимой Перик-

лом. Руководящие круги пелопоннесцев начинают понимать, что дипломатическими и политическими средствами они не смогут остановить растущее афинское могущество. К концу 30-х годов V в. до н.э. в повестку дня ставится вопрос о войне между Афинской державой и Пелопоннесским союзом.

Время правления Перикла характеризуется величайшим взлетом греческой культуры и науки. Не только рядовая масса гражданства, но и выдающиеся люди греческого мира ценили государственную мудрость и образованность Перикла. Близкими друзьями и советниками Перикла были философы Анаксагор, Протагор, Зенон, ученый Дамон, великий греческий скульптор Фидий, замечательный греческий историк Геродот, врач Гипократ, великий трагик Софокл, поэт Эврипид, архитектор Гипподам и др. в Афины съезжались из многих городов лучшие художники, скульпторы, философы, авторы трагедий и комедий. Даже враги Перикла признавали, что большая часть государственных доходов при нем тратилась на культурные и научные цели. Перикл и окружавшая его группа просвещенных друзей стремилась превратить Афины в культурный центр тогдашнего мира. Они полагали, что город – гегемон должен сделаться во всех отношениях гегемоном эллинского мира. Афины должны стать экономическим, политическим, культурным и религиозным центром всей Эллады, сделаться «Элладой в Элладе».

Внешний вид Афин при Перикле совершенно изменился. Из старого полусельского города, каким был город Афины до персидской войны, при Перикле он превратился в большой город мирового значения, своим блеском затмивший все остальные города Греции.

Постройки перикловой эпохи считаются образцом классического стиля. Большая часть лучших шедевров античного строительного и изобразительного искусства принадлежит «золотому веку» Перикла. К числу наиболее замечательных в художественном отношении построек этого века принадлежат: Парфенон (храм Афины), построенный выдающимися архитекторами Греции Калликратом и Иктином; Эрехтейон (храм Эрехтея), Тезейон (храм, посвященный богу Гефесту) и, наконец, изумительные по красоте ворота, ведущие на Акрополь, — Пропилеи, украшенные великолепной колоннадой. Скульптурные работы, украшавшие Парфенон, производились под руководством художника Фидия, первого скульптора Эллады, ближайшего советника Перикла. Совершенно заново отстроен был Пирей, из скромной гавани афинской общины превратившийся в огромный порт Афинской республики. От Афин к Пирею и Фалеру (другой гавани Афин) тянулись массивные длинные стены, защищавшие город от нападения с моря. «Тем большее восхищения заслуживают создания Перикла, возникшие в короткий срок и тем не менее сохраняющие свое значение столь долгое время. Каждая из этих вещей была настолько прекрасна, что производила впечатление чего-то стоящего с незапамятных времен, по своей жизнерадостности эти творения и до сих пор кажутся чем-то юным и только что возникшим», — так расценивали архитектурные памятники классической эпохи сами древние писатели и историки.

Как во всех других делах, так и в культурном отношении Перикл оперся на достижения своих предшественников. В смысле внешнего оформления города предшественниками Перикла были Писистрат и Кимон. Писистрат построил рыночную площадь (агора), соорудил монументальный вход в Акрополь и снабдил город водой. Кимон заложил Тезейон, построил Цвет-

ной портик (Стоя Пейкила), стены которого расписаны знаменитым мастером древности Полигнотом.

Культурно-просветительная деятельность Перикла не ограничилась одними только постройками и скульптурами. Его намерения были гораздо шире. Он желал воспитать афинских граждан в духе добродетели (аретэ), сделать их, как тогда говорили, прекрасным во всех отношениях. Прекрасным человеком греки классического периода считали добродетельного человека, а главными качествами добродетели признавались храбрость, правдивость, благочестие, чувство меры и красота. Физические качества человека ценились столь же высоко, как и духовные. Элементарная грамотность была обязательна для всех граждан. Из словесных искусств выше всего ценилось красноречие, находившее широкое применение в общественной жизни Афин.

Наряду с художественными целями широкое строительство, развернутое Периклом, преследовало и другие цели: политические, экономические и т.д. Привлекая в Афины массу иностранцев, он имел в виду расширение торговых, что повышало заработок ремесленников, содержателей гостиниц, постоялых дворов и т.д. На постройках работала масса ремесленников различных специальностей: плотников, скульпторов, литейщиков, ткачей, резчиков, каменщиков, рудокопов, красильщиков, золотых дел мастеров, граверов, орнаментовщиков и т.д.

Центральная идея полиса – помощь гражданам – и в этом случае стояла на первом плане. Число рабочих – рабов при общественных постройках ограничивалась определенным процентом. Каждое ремесло составляло как бы особую самостоятельную корпорацию, подобно военной фаланге управляемую своим стратегом. Работы организовывались таким образом, что в них принимали участие люди всех возрастов и званий. Внешний успех строительной политики Перикла был блестящий. «Воздвигались сооружения, выдающиеся по величине, неподражаемые по прелести очертаний, причем мастера наперебой старались превзойти друг друга возможностью своего искусства, тонкостью своей работы,» - пишет Плутарх.

Фукидид в своей «Истории» приводит речь Перикла, якобы произнесенную им при погребении воинов, в которой рисуется идеал политического строя, основанного на мудром сочетании интересов общества с интересами отдельного человека, на предоставлении индивиду возможности развернуть свои личные таланты и инициативу. «Наш строй, — говорит Перикл, — называется демократией потому, что он сообразуется не с меньшинством, а с интересами большинства.» Идеал афинян - красивая и простая жизнь. Они пользуются богатством скорее как условием для общественной деятельности, чем как предметом для хвастовства. Афиняне умеют объединить заботу о домашних делах с государственными делами. Человека, уклоняющегося от участия в общественных делах, афиняне считают пустым человеком, так как было недопустимо, не обсудив дела во всесторонних прениях, перейти прямо к их выполнению.

Любя красоту и образованность, афиняне не уступали ни одной из эллинских народностей, в том числе и спартамцам, также и в военном искусстве. Но сила афинян состоит не в военной муштре и хитрости, а в гражданском энтузиазме и патриотическом рвении к общему делу...

«Я утверждаю, — указывает Перикл, — что все наше государство — центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне кажется, приспособиться у

нас к многочисленным родам деятельности и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния. Что все сказанное — не громкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина, доказывает самое значение нашего государства, приобретенное нами именно благодаря Фукидиду раскрывает образ мыслей Перикла как выдающегося государственного деятеля. Пока Перикл, говорит Фукидид, стоял во главе государства, он правильно руководил им и твердо охранял его безопасность. При нем Афинское государство достигло высшего своего могущества.

Поддерживая и насаждая демократические учреждения, Перикл вместе с тем не заискивал и не льстил народу, держал себя с полным достоинством крупного государственного вождя, но не отделялся от народа. Выступления Перикла в Народном собрании носили торжественный характер. В Афинах высоко ценилось красноречие, а Перикла считали первым оратором. В его речах гармонически сочетались ясный ум, высокая культура и непоколебимая убежденность в правоте своего дела, патриотизм и чувство меры и красоты. Недюжинные способности Перикла как оратора, прозванного «Зевсом олимпийским», не отрицали даже и его враги. Перикл, великий мастер слова, в красноречии видел своего рода музыкальный инструмент, и умело пользовался им для приведения в исполнение своих широких планов. Перикл, говорит Плутарх, закалял и выковывал свое слово, соединяя, по примеру философа Анаксагора, красноречие с тонким знанием природы человека.

В историю век Перикла вошел как «золотой век», олицетворяющий величайший расцвет Древней Греции.

Поэтому вполне закономерен тот высокий интерес, который проявлял писатель А.И. Домбровский к эпохе и личности Перикла. Будучи философом по образованию и стилю мышления, Анатолий Иванович со студенческой скамьи глубоко увлекся древнегреческой философией и до конца жизни сохранил к ней глубокую любовь. Надо сказать, что на философских факультетах университетов МГУ, ЛГУ и др. уделялось очень большое внимание изучению античной философии. Преподавание ее вели такие крупнейшие философы, ученые с мировым именем, какими были В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, А.О. Маковельский, М.А. Дынник и др. Они были энциклопедически образованными учеными, в совершенстве владели европейскими, а некоторые из них, и восточными языками. В своих лекциях, научных работах они внушали слушателям не просто большое уважение, а благоговение перед античной философией.

Наши преподаватели проводили идеи о том, что в греческой философии V–IV в.в. до н.э. были заложены основы многих философских направлений последующего времени, она стала фундаментом, на котором развивалась мировая философская мысль. Культура Греции классического периода представляла собой новый шаг в судьбах мировой цивилизации, она обогатила всемирный процесс культурного творчества многими плодотворными идеями, образами, шедеврами, которые вошли в художественную сокровищницу человечества, послужили исходным пунктом развития разных направлений культурной жизни многих последующих поколений.

Вклад древних греков в развитие мировой культуры оказался необыкновенно великим. Высокий уровень культуры, многообразие и глубина, работанность ее направлений, создание шедевров и выработка плодотворных

идей, вошедших затем в сокровищницу мировой цивилизации, выделяют феномен древнегреческой культуры среди многих других национальных культурных систем.

Успехи греческих мастеров были поразительно велики во всех областях культурного творчества. Древняя Греция дала миру философские системы Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура.

Мировую славу приобрели три корифея античной трагедии: Эсхил, Софокл и Эврипид. Всемирно-историческое значение греческой трагедии заключается в ее изумительном богатстве идей и в философской глубине трактуемых вопросов. К этому надо прибавить еще мастерство стиха, богатство и красочность языка, бесконечное разнообразие образов высокой красоты. Несмотря на кажущуюся архаичность сюжета, греческая трагедия всегда насыщена идеями современности и полна жизни. Авторы трагедий брали мифологический или исторический сюжет и наполняли его содержанием современности, приближая его главным образом к массовому зрителю. История и современность в произведениях античных драматургов гармонически сочетались. В умении сочетать историю с современностью, сделать далекое близким, понятным и интересным и состоит значение греческой трагедии для мировой культуры. Расцвет греческой трагедии совпадает с «золотым веком» Перикла, с расцветом афинской демократии, и продолжается до конца пелопоннесской войны. В основу греческих трагедий обычно положен какой-либо миф о богах и героях, чаще всего гомеровского цикла, реже пользовались каким-либо историческим фактом.

К историко-мифологической основе трагедии присоединялась масса всевозможных религиозных, политических и психологических мотивов. Сюда входили: борьба свободной воли человека против слепой судьбы, метаморфозы судьбы, столкновения социального с индивидуальным, бесконечные смены счастья и несчастья, гордость и унижение, любовь к родине и предательство. Вера и безверие. Иногда в трагедии звучали вполне определенные политические мотивы.

Театральные представления давались только в праздники Диониса и составляли первоначально принадлежность культа. Лишь постепенно театр стал приобретать общественное значение, являясь политической трибуной, местом отдыха и развлечения. Высокий общекультурный уровень греческих полисов в значительной степени следует приписать театру, организовывающему, воспитывающему и просвещающему народные массы. Драматические представления неотделимы от демократических полисов, а демократию полисов невозможно представить себе без театральных представлений, на которые иногда собиралась чуть ли не половина города. Наряду с театральными представлениями следует отметить устраивавшиеся государством и частными лицами спортивные состязания, игры, борьбу, музыкальные, литературные и многие другие виды физического и духовного спорта. «Организуя из года в год игры и жертвоприношения, — говорил в одном из своих выступлений Перикл, — мы доставляли нашей душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как и благопристойностью домашней обстановки — повседневное наслаждение, которое прогоняет уныние и тоску.» Ряд исследователей считают любовь афинян к театральным представлениям и празднествам одним из естественных следствий демократического строя.

Следует отметить одну из особенностей культуры древних греков — это ее гуманистический характер. В центре культурного творчества греческих

мастеров стоял гражданин как носитель лучших человеческих качеств, притом в демократических полисах не аристократ — богатый и получивший специальное воспитание, а гражданин вообще, независимо от его имущественного состояния.

Древнегреческая философская мысль в лице Демокрита, Платона, Аристотеля, Анаксагора выработала идеал правителя государства, какие черты личности должны быть присущи ему. Они полагали, что занятие государственными делами — это дело высококультурных, мудрых, справедливых и честных людей. Государственный деятель должен быть высоко нравственным человеком, в основе политики должна находиться высокая мораль. Мудрый политик ведет государство и его народ к процветанию, демагог — к его упадку и обнищанию народа. Правителями должны быть мудрецы — философы, а не темные, ничтожные посредственности, демагоги и аферисты. Идеальному типу правителя в наибольшей степени соответствовал Перикл, за очень короткий период времени превративший Афины в цветущее государство.

Влияние древних греков на последующее развитие народов Средиземноморья в период Римской империи, европейской, а затем и мировой цивилизации стало весьма значительным и плодотворным. Оно не только питало это развитие, но целый ряд достижений древних греков (принципы демократии как власти народа, регулярные города, стадионы, театры, скульптурные образы, художественные типы греческой литературы, научные открытия в области философии, истории, в медицине, логике, математике и др.) вошли в структуру современной цивилизации как ее органическая и неотъемлемая часть.

Вот на таком идейном материале проходило формирование мировоззрения студента — философа А.И. Домбровского. Влияние античной философской мысли явно прослеживается во всем творчестве Анатолия Ивановича. Все его произведения отличаются философичностью, то скрытой, то явной. В его личности были неразрывно связаны литература, философия, история, мифология.

А.И. Домбровский с честью исполнил свой долг перед древнегреческими философами. Его перу принадлежат романы о Демокрите, Сократе, Платоне, Аристотеле, Эпикуре, которые и по форме, и по содержанию являются философско-историческими произведениями.

И вот перед нами книга писателя о выдающемся государственном деятеле Древней Греции Перикле, вышедшая в свет в Москве. Анатолий Иванович Периклом и его эпохой занимался долго. Результатом его творческих поисков были такие романы, как «Тайна Алкивида», «Черный плащ для Перикла», «Золотой век Аспасии», которые впервые были опубликованы в журнале «Брега Тавриды». Роман о Перикле является синтезом, результатом идей, мыслей, образов предшествующих работ Анатолия Ивановича.

К слову, следует сказать, что в истории российской исторической и философской мысли Перикл и его деятельность оставались в тени. Но некоторые историки XIX — нач. XX в.в. оставили нам ценные труды. Так, объектами научных интересов одного из крупнейших русских ученых В.П. Бузескула была история афинской демократии. В монографии «Перикл» (1889) Бузескул дал самый обстоятельный в русской науке анализ политической деятельности вождя афинской демократии. В «Истории афинской демократии» (1909) В.П. Бузескул исследовал генезис афинской демократии, ее структуру, функционирование и показал большое воздействие на греческий мир.

Характеристика перикловых Афин дана в работе Р.Ю. Виппера «История Греции классического периода».

Анатолий Иванович, конечно, изучил эти работы. Он прекрасно знал всю историографию Древней Греции, как отечественную, так и зарубежную.

Главными героями нового романа являются Перикл и его жена Аспасия.

Перикл показывается в различных обстоятельствах: в сражениях, когда он руководит войсками, в Народном собрании, когда он произносит речь, в кругу друзей и единомышленников, когда ведет дипломатические переговоры. Цель всей его деятельности, к которой он постоянно стремился – превратить Афины в образец для других народов и государств, сделать ее школой всей Эллады. Благо и могущество Афин – это высшая цель каждого гражданина. Перикл мужественно ведет себя в сложных, противоречивых ситуациях, тогда, когда он терпит неудачу.

Очень много места в романе отводится философским спорам, которые постоянно ведут между собой Перикл, Сократ, Протагор, Фидий, Геродот, Софокл, Аспасия. С помощью философии они пытались преобразовать мир по законам гармонии, красоты и мудрости.

Под стать Периклу была его вторая жена Аспасия, в прошлом гетера. Автор с большой любовью рисует ее образ. Аспасия не получила такого высокого образования, как Перикл, но от природы была женщиной прекрасной, умной, обстоятельной, начитанной. Она всю себя посвятила Периклу, его делу, помогая ему во всем, стараясь облегчить для него удары судьбы. Аспасия очень тонко чувствовала и мыслила, была для Перикла его верной советницей, помощницей, женой, верным другом, любовницей. Большую часть повседневных забот она брала на себя, чтобы облегчить тяготы управления государством Периклу.

В романе много сцен из деятельности Народного собрания, являющегося во времена Перикла высшим органом государственного управления. Причем А.И. Домбровский далек от идеализации как самого народа, так и Народного собрания. Богачи, олигархи, используя деньги для подкупа, могли смещать неугодных руководителей, даже выдающихся, обвиняя их в измене, взяточничестве, в расхищении государственной казны. Народное собрание приговаривало видных людей, мыслителей (Сократа, Анаксагора), патриотов к смерти, идя на поводу у демагогов и олигархов. Использовались и клевета, и дача ложных показаний, и приписывание руководителям, неугодным олигархам, непочитания богов, традиций и т.д. Судьбы и Перикла, и Аспасии глубоко трагичны. Перикла Народное собрание отстраняет от должности первого стратега, но через некоторое время вновь его восстанавливает, во время чумы (или холеры – точно не установлено) Перикл теряет двух сыновей от первой жены, а затем умирает и сам. После его смерти начинается преследование Аспасии и ее сына – Перикла-младшего, которого суд приговаривает к смерти. После смерти сына Аспасия принимает яд и умирает.

Образ Аспасии, этой великой и прекрасной женщины Древней Греции, создан писателем с особой любовью. Это самый удачный женский образ, нарисованный Анатолием Ивановичем в последние годы жизни с такой художественной силой. Она была достойна Перикла во всем. Все, что успел сделать Перикл великого, чем он обессмертил свое имя, неразрывно связано с Аспасией.

Этот роман, как и все предшествующие, является гимном человеческому разуму, познанию. В мире нет таких тайн, которыми не смог бы овладеть дерзновенный разум человечества – вот лейтмотив нового произведения А. Домбровского. «У познания есть лишь одна достойная цель – познание законов гармонии, красоты; есть лишь одно достойное человека дело – создание прекрасного; есть лишь одно истинное наслаждение – созерцание прекрасного. Все остальные знания, дела и удовольствия доступны любым другим животным, а познание прекрасного, создание прекрасного и наслаждение прекрасным доступны и свойственны только человеку. Кто поймет это, тот скажет: истинными людьми среди греков были лишь немногие: Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Полиглот, Эврипид, Фидий, Анаксагор, Калликрат, Протагор, Солон, Перикл, Геродот, Иктин, Сократ... Кто еще? Все, кто постиг смысл гармонии, трудился ради нее и наслаждался ею, зовя за собою других. Только эта работа – ради постижения и созидания прекрасного – делает человека созвучным всему миру, бессмертным, равным богам, которые суть лишь несовершенные образы истинных целей нашей земной жизни...» («Перикл», с. 428). И такими философскими размышлениями пронизан весь роман. (К роману прилагаются словарь и хронологическая таблица, которые будут полезны для читателей, впервые знакомящихся с историей Древней Греции).

Некоторые коллеги Анатолия Ивановича и при жизни, и теперь укоряют его в том, что, выбирая сюжеты для своих произведений из далекой античности, он как бы уходил от изображения современности, настоящей, реальной жизни. Это обвинение глубоко ошибочно, оно не выдерживает никакой критики. Каждый внимательный читатель поймет, что, описывая события, которые происходили 2500 лет тому назад, А.И. Домбровский проводит параллель и ставит во весь рост проблемы современного этапа развития Украины, России, других государств. Тем-то и значителен его великий талант, что через призму прошлого он увидел наиболее глубокие, базовые, фундаментальные политические проблемы современности, той эпохи, в которую жил и творил. Одной из таких важных проблем после распада СССР, нашей великой Родины, по мнению А. Домбровского, было создание прочного союза всех славянских народов, в первую очередь, русского, украинского и белорусского.

Древнегреческие государства были сильны тогда, когда выступали вместе против общего противника. Когда они были вместе, они побеждали. Яркий пример этому – победа, одержанная древними греками над персами.

Но они часто и враждовали друг с другом. Вели борьбу за верховенство в древнегреческом мире. Взаимные войны, когда греки воевали с греками, ослабляли древнегреческие государства. Особенно тяжелой и продолжительной была война между Афинами и Спартой, которая вошла в историю как Пелопоннесская война. Она привела к крайнему истощению, ослаблению двух мощных по тому времени государств. Внутренние распри явились основной причиной гибели и утраты независимости древнегреческих государств. Они были завоеваны вначале Македонией, а затем Римом. Такая же участь ожидает и славян, если они не сумеют объединиться в крепкий и длительный союз.

Книга, написанная А.И. Домбровским, представляет собой синтез философии, литературы, истории, она необыкновенно богата философскими раздумьями о судьбах народов и государств, великом и ничтожном, трагическом и

комическом, о смысле жизни, смерти и бессмертии, о роли великой личности в истории. Эту книгу, как и многие другие, следовало бы экранизировать, что сыграло бы большую воспитательную роль, особенно для юношества, молодого поколения.

К великому сожалению, смерть преждевременно оборвала жизнь Анатолия Ивановича. У него было много творческих планов. Он хотел еще написать исторические романы о великих древнегреческих трагиках: Эсхиле, Еврипиде, Софокле, много читал исторических работ, изучал первоисточники. Судьба распорядилась по-иному. Но и то, что А.И. Домбровский успел написать, навсегда войдет в золотой фонд великой русской литературы, будет ее украшением, ее славой, ее гордостью. А поиск философской истины продолжат уже другие поколения, которые придут на смену нам, ибо процесс познания бесконечен. Пока существует человечество, будет продолжаться поиск истины.

Симферополь



Михаил КОЛЕСОВ,
доктор философских наук

«СМУТНОЕ ВРЕМЯ» И РОМАНОВЫ*

«История, от раженной в одном человеке, в его жизни, быт ее, изоморфна историческому человеку. Они отравляют друг друга и познают друг друга»

Ю.М.Лотман

Уже в конце XVI в. были ясны те процессы в русском обществе, которые сообщили смуте острый характер кризиса. Первой причиной смуты явился прекращение царской династии. «Начальный факт XVII в. — смута, — как считает Платонов, — в своем происхождении есть дело предыдущего XVI века, и изучение смутной эпохи вне связи с предыдущими явлениями нашей жизни невозможно». (1, с. 235).

Джером Горсей утверждает, что против Бориса Годунова существовал «замысел»: «хотели отравить и умертвить молодого царевича, третьего сына покойного царя, Дмитрия, с матерью и роднёю, друзьями и приближенными, который содержался под строгим присмотром в отдаленном городе Угличе». (3 с., 206). В этом «замысле» был заподозрен Никита Романович — дядя царя, который «околдован и внезапно лишился языка и рассудка» и вскоре умер. Его старший сын Федор Никитич, «молодой, красивый, подающий большие надежды», «был принужден жениться на одной черкешенке, служанке сестры Бориса, и имел от нее сына» (будущий царь — Михаил Романов). Федора Никитича, после смерти отца, постригли в монастырь и вскоре он стал ростовским архиепископом. А его брат Александр Никитич бежал в Польшу, где присоединился к Богдану Бельскому, вместе с которым и другими «недовольными вельможами, проживающими как за границею, так и в России, задумал не только конечную гибель Бориса Федоровича и его фамилии, а переворот всего царства».

Горсей пишет о Богдане Бельском, «временщике и любимце великого царя Ивана Васильевича»: «...Никто не был настолько могуществен и способен, чтобы справиться с наиболее опасными врагами царя, боярами и другими недоброжелателями и довести их до гибели. Но он получил ту награду, какая всегда выпадает на долю таких вероломных орудий. Сам царь Борис, его сестра-царица и вся их семья и приверженцы страшались тон-

* Фрагмент книги: *Философские очерки Российской истории*.

ких происков Бельского, искали случая и делали попытки, чтобы избавиться от него, подвергая опале и, вместе с его приверженцами, отправили на далекое расстояние от Москвы... Однако бесчисленные сокровища и масса денег, захваченные Бельским во времена его благополучия и отправленные им на всякий случай за границу, пригодились для его плана мести. Он спасся бегством, соединился со многими другими недовольными боярами и влиятельными людьми, не только с целью оказать им помощь, но задумал поднять против России польского короля, главнейших воевод и князей литовских». (3 с., 220).

Удивительно, что почти никто из русских историков не обратил внимание на эти свидетельства современника-иностранца, прожившего много лет в Москве и прекрасно ориентировавшегося в происходящих тогда событиях. Из утверждений Гурсея совершенно ясно, что в убийстве Дмитрия были заинтересованы именно Романовы с целью скомпрометировать Бориса Годунова, что позже и произошло. Но так как при этом сбросить с трона Годунова не удалось, был задуман и осуществлен другой «замысел» — был создан **Лже-Дмитрий**, которого поддержал не только Богдан Бельский, но и Романовы. Отличительной особенностью «смуты» явилось то, что в ней выступают все «классы» русского общества, начиная с боярства, затеявшего «смуту», свергнувшие впервые законно избранного царя Бориса Годунова, который мог стать основателем новой династии.

Костомаров обращает внимание на то, что появление в русской истории **Лже-Дмитрия** (1605–1606) «остаётся до сих пор темным», что был он личностью незаурядной и повел себя после вступления в Москву совсем иначе, чем ему надлежало по замыслу создавших его заговорщиков. Дмитрий не допускает к правлению ни своих польских покровителей, но монахов-иезуитов, а стремится опереться на русское молодое боярство и украинских казаков, которые пришли вместе с ним. Он пытается завести при дворе европейские порядки, намеривается открыть школы и даже университет. У московского простого люда не было к нему ненависти и вражды, потому что он был щедр, нежесток и доступен. «Кто бы ни был этот названный Дмитрий и чтобы ни вышло из него впоследствии, — пишет Костомаров, — несомненно, что он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни, к новому пути. Он заговорил с русскими голосом свободы, настез открыл границы прежде замкнутого государства, ... объявил полную веротерпимость, представил свободу религиозной совести...». (2, с. 167).

Жак Маржерет, французский военный на русской службе при Борисе Годунове, затем, после его смерти, перешедший на службу к Лже-Дмитрию I и ставший начальником его дворцовой гвардии, в своих записках, в которых он очень подробно описывает ход военных действий против войск Лже-Дмитрия и поведение при этом московских бояр, предававших один за другим Годунова, выдвигает свои «представления» по поводу обвинения Лже-Дмитрия в «самозванстве».

Вполне вероятно, рассуждает он, что мать и другие из оставшейся тогда знати, пытались всеми средствами избавиться ребенка от опасности, в которой он находился. С этой целью они подменили ребенка и проделали это столь хорошо, что никто, кроме принадлежавших к их партии, ничего не узнал. Он был воспитан тайно и был отправлен в Польшу. Маржерет считает, что отождествление Лже-Дмитрия и пресловутого «растриги» Гришки

Отрепьева бесосновательно, так как, во-первых, у них большая разница в возрасте, а, во-вторых, Отрепьев «пережил» убитого в Москве Лже-Дмитрия, будучи сосланным им в Ярославль. «Итак, если он был поляк, воспитанный с этой целью, то нужно было бы в конце концов знать кем; притом я не думаю, чтобы взяли ребенка с улицы». Вместе с тем, какое соображение могло заставить зачинщиков этой интриги предпринять такое дело, когда в России не сомневались в убийстве Дмитрия, и Борис правил страной при «большем благоденствии», чем любой из его предшественников, народ почитал и боялся его. Притом мать названного Дмитрия и многочисленные родственники были живы и могли засвидетельствовать, кто он.

И совершенно невероятно без ведома польского короля предпринимать дело столь большой важности, весь урон от которого, если оно не удастся, падет на Польшу в виде большой войны в невыгодное время. Наконец, если бы он был поляком, то вел бы себя иначе по отношению к некоторым из них.

«Самым большим доказательством того, что если он не был истинным сыном Ивана Васильевича, то не был русским, я считаю, — пишет Маржерет, — во-первых, то, что его противники постарались бы и при его жизни и после его смерти найти его родственников, кем бы те ни были, особенно если принять во внимание порядок и способ ведения дел у русских. Далее, если бы он чувствовал свою вину, он, вероятно, стремился бы всегда и во всем угождать русским... Но если мы примем во внимание его уверенность, мы увидим, что он должен был быть по меньшей мере сыном какого-нибудь государя. Его красноречие очаровывало всех русских, а также в нем светилось некое величие, которого нельзя выразить словами и невиданное прежде среди русской знати и еще менее среди людей низшего происхождения, к которым он неизбежно должен был принадлежать, если бы не был сыном Ивана Васильевича. Его правоту, кажется, достаточно доказывает то, что со столь малым числом людей, что он имел, он решился напасть на столь огромную страну, кода она процветала более чем когда-либо...» (3, с.284-285).

Маржерет спрашивает, если Лже-Дмитрий был самозванцем и истина открылась лишь незадолго до убийства, почему он не был взят под стражу? Почему его не вывели на площадь, пока он был жив, чтобы перед собравшимся там народом уличить его, как самозванца, не прибегая к убийству? Почему Василий Шуйский и его сообщники взяли на себя труд измыслить столько лжи, чтобы сделать его ненавистным для народа? ...И заключает: «... Если бы Дмитрий был самозванцем, то было бы достаточно доказать чистую правду, чтобы сделать его ненавистным для каждого... Посему я считаю, что раз ни при его жизни, ни после смерти не удалось доказать что он — некто другой, далее, по подозрению, которое питал к нему Борис, и по тирании, к которой он поэтому прибег; далее, по разногласиям во мнениях о нем, далее по его поступкам, его уверенности и другим бывшим у него качествам государя, качествам, невозможным для подложного и узурпатора, и также потому, что он был уверен и чужд подозрений; ...я заключаю, что он был истинный Дмитрий Иванович, сын императора Ивана Васильевича, прозванного Грозным!».(3,с.285-286).

А. Буровский обращает внимание на возможность другой версии: «Общее число детей, родившихся от Ивана IV, мы не знаем, и скорее всего

никогда не узнаем... Известно, что Иван задушил больше ста собственных детей сразу после рождения; ведь незаконные младенцы, как известно, не угодны Богу... Но, кто сказал, что нам известны все сексуальные связи великого князя? Более того, кто сказал, что все его связи были известны современникам? ...В том-то и дело, что внебрачных детей у Ивана IV было много... В принципе «царевичи Дмитрии» могли маршировать отрядами — и никакого самозванства. ...Этот человек был убежден в себе; он точно знал, что он —Дмитрий».(4, с. 411-412).

А. Бушков считает, что реформы Лже-Дмитрия были «обширными» и «толковыми», «безупречны и хороши». «Это был первый государь в Европе, который сделал свое государство до такой степени свободным». «Из воспоминаний практически всех, как дружелюбно настроенных к новому царю, так и заядлых недругов, встает человек, крайне напоминающий молодого Петра Первого — умный, живой, веселый и любознательный, охотно перенимающий европейские новшества, доступный и простой в обращении, сплошь и рядом ломавший замшелые традиции». (5,с.312-313). Пожалуй, единственно, чем отличался Лже-Дмитрий от молодого Петра, это отсутствием жестокости; он никого не казнил и не лишил имущества при ссылке, простив даже братьев Шуйских, после того, как Боярская дума вынесла им смертный приговор за подготовку его свержения. На свою беду «прямо-таки особое внимание» он оказал семье Романовых, вероятно, полагая, что именно им он обязан своим «воскрешением» и восхождением на русский престол.

«...Самодержец, даже если он умен, добр и преисполнен наилучших намерений для страны, удержаться на русском престоле может только в том случае, если сечет головы направо и налево, — пишет А. Бушков. — Гуманисты не выживают, более того, после смерти оказываются выманы грязью и клеветой по самую маковку». (5, с.313).

«...А не был ли самозванец и впрямь настоящим царевичем? — спрашивает А. Бушков. — Ясно одно. Пушкин, конечно же, был великим поэтом, но Годунова в убийстве царевича он, похоже, обвинял совершенно напрасно. ...Загадка Лжедмитрия навсегда останется загадкой...» (5, с.352-353).

Однако, очевидно одно: так называемый Лже-Дмитрий не стал марионеткой ни в руках бояр, ни в руках польского короля, и поэтому был убит.

Это была первая попытка осуществить то, что хотел еще Борис Годунов, — развернуть Московское государство лицом к Европе, понимая, что это единственная возможность спасти его от неизбежной стагнации. Но именно поэтому, как и его предшественник, Лже-Дмитрий был обречен. Москва была еще не готова к осознанию своих интересов и возможностей на пути сближения с европейской цивилизацией. Значительно более понятным и привычным оставался традиционный страх быть поглощенным более мощным европейским государством, каковым тогда представлялась Речь Посполитая, которая являлась географически ближайшей «дверью» в Европу, но за этой «дверью» для русского обывателя и его правителей скрывалось «неизвестное», а значит «опасное». Польша на протяжении всего XVII века оставалась символом угрозы независимости страны. «Русские и поляки, — пишет Костомаров, — два народа одноплеменные и соседние, сходны притом во многом между собою и по нравам, и по близости языка, не могли ужиться между собою так, чтобы и у тех, и у других сохра-

нилось свое независимое государство. Завязался такой узел, что либо Русь должна была покорить Польшу, либо Польша — Русь...Польша домогалась не только покорить себе Русь, но и ополчить ее». (6, с.68).

Однако, спор между историками о том, кем был Аже-Дмитрий, — «законным» или «незаконным» сыном Ивана Грозного, — имеет значение лишь для реабилитации Бориса Годунова. При этом опять же странно, что никто из историков не замечает очевидную несуразность: Борис Годунов был убит как ненавистный «убийца» царевича Дмитрия именно тогда, когда стало известно, что якобы именно этот Дмитрий оказался жив! И далее: почему, чтобы уличить Аже-Дмитрия в «самозванстве» его сначала надо было убить? Один из вполне возможных вариантов ответов на эти вопросы может также быть и такой: Борис Годунов был убит потому что *знал*, что не «убивал» царевича Дмитрия, а Дмитрий был убит потому, что *мог доказать*, что он не «самозванец». Таким образом, все происшедшие события 1605–1606 гг. есть ничто иное как, «государственный переворот», осуществленный боярством с целью вернуть себе утерянную при Иване Грозном власть над государством и свергнувший страну в «первую гражданскую войну».

«Все историки более или менее согласились в том, что в деле появления самозванца активную роль сыграло московское боярство, враждебное Борису, — отмечает Платонов. — Неизвестно, кто он был на самом деле, хотя о его личности делалось много разысканий и высказано много догадок». Но для Платонова было ясно, что «Аже-Дмитрий — затея московская, что это подставное лицо верило в свое царственное происхождение и свое восшествие на престол считало делом вполне справедливым и честным». Но «Аже-Дмитрий сослужил свою службу, к которой предназначался своими творцами, уже в момент своего воцарения, когда умер последний Годунов — Федор Борисович. С минуты его торжества в нем боярство уже не нуждалось. Он стал как бы орудием, отслужившим свою службу и никому более не нужным». (1, с.267, 272).

Избранный на московский престол **Василий Шуйский** (1606–1610) был полной «посредственностью». «Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоєм», — пишет Костомаров. (2, с. 168).

Как считает А. Бушков, «черной памяти Василию Шуйскому» следует присвоить «титул самого ничтожного и бездарного русского самодержца». (5, с.319).

Тем не менее, кратковременное правление Василия Шуйского, по мнению Ключевского, «составило эпоху в нашей политической истории», так как это была отчаянная попытка русского боярства повернуть историю страны вспять. «...Шуйский вступил на престол не законным избранием земли, а умыслом бояр, от которых и должен был стать в зависимость», — пишет Платонов. «...Воцарение Шуйского может считаться поворотным пунктом в истории нашей смуты: с этого момента из смуты в высшем классе она окончательно принимает характер смуты народной, которая побеждает Шуйского, и олигархию». (1, с.275, 279).

После свержения Василия Шуйского «Москва лишилась правительства в такую минуту, когда крепкая и деятельная власть была ей очень необходима», — замечает Платонов. Страх перед самозванцем **Аже-Дмитрием II** и польской военной силой заставил московских бояр склониться

на избрание в русские цари поляка: 27 августа Москва присягнула **Владиславу**, сыну польского короля Сигизмунда, который и сам претендовал на русский престол; началась «польская оккупация».

Так, трагическим узлом, завязавшим события начала XVII века в Московском государстве, явилось убеждение, освященное многовековой традицией, в том, что государственный порядок возможен только при государе, принадлежащем царствующей династии, данной народу «от Бога». Тогда еще не было сознания «народного блага», не было понимания того, что государство есть «союз народностей», не было «надлежащего соответствия» между личными и сословными правами и обязанностями. «Коренными причинами «смуты» Ключевский считал «народный взгляд» на отношение старой династии к Московскому государству, мешавший принять самую идею о «выборном царе».

Именно из трагических событий «смуты» русский народ вынес ряд новых для себя политических понятий. «Тревожные времена отнимают довольство и покой, но дают опыт и идеи», — заметил Ключевский. (7, с.62). Это лучшая, хотя и «тяжелая школа», которая положила начало политическим размышлениям. «Смута» изменила привычный взгляд общества на государство и государя. Понятие государства начинает отделяться от государя и сближаться с понятием «народ». «Как прежде, из-за государя не замечали государства и народа и скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без государя, так теперь опытом убедились, что государство, по крайней мере некоторое время, может быть без государя, что ни государь, ни государство не могут обойтись без народа». (7, с. 64).

Таков был политический результат российской «смуты»: старое Московское государство прекратило свое существование вместе со старой династией и московские боярством, появилось новое государство — Россия.

«Смута» была первой гражданской войной в России, которая завершилась победой нового социального класса «служилого дворянства», отодвинувшего от власти старое боярство и создавшего новую форму политического правления. Эта новая политическая власть создала новый экономический порядок: «крепостное право» и новый тип общества: «сословный». «Таковы главные новые факторы.., — пишет Ключевский: — это новая династия, новые пределы государственной территории, новый строй общества с новым правительственным классом во главе, новый склад народного хозяйства». (7, с. 7). Во внутренней и внешней политике новое государство ввело новый геополитический фактор: европейский.

Окончание «смутного времени» связано с появлением в России новой династии **Романовых**, («скверная полунемецкая династия», как называл ее Пуришкевич), которая в Гутском альманахе упорно называется «Романовыми-Голштинскими». В 1613 г. на русский престол был избран практически случайный человек — молодой **Михаил Романов**, сын известного ростовского митрополита Филарета, находящегося в то время с «посольством» в Польше. «Мало в истории найдется примеров, когда новый государь вступал на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при которых избран был шестнадцатилетний Михаил Романов», — заметил Н.И. Костомаров. Страна была разорена, Москва и многие города находились в развалинах, по стране бродили «шайки под названием казаков». «Прежняя пе-

чальная история русского общества принесла горькие плоды», — заключает он. (2, с. 242).

Михаила вознесла не личная, а «фамильная» популярность. Романовы представляли ветвь старинного боярского рода Кошкиных, выходцев из «Прусской земли» при Иване «Калите». В XVI веке при царе Иване III заметную роль играл Роман Захарьин, потомок рода Кошкиных, от которого и пошли Романовы, из семьи которых была царица Анастасия — первая жена Ивана Грозного. Отец Михаила — Федор Романов — единственный из семейного рода, оставшийся в живых после репрессий Бориса Годунова и постриженный в монахи, стал при Лже-Дмитрий I митрополитом Ростовским Филаретом, сыгравшим заметную роль во времена Лже-Дмитрия II и польской оккупации.

С. Ф. Платонов, ссылаясь на свидетельства иностранцев, прямо указывает на то, что «это избрание было делом именно казаков», пришедших под Москву вместе с Лже-Дмитрием II. «Нет сомнения, что казаки выдвигали его по тушинским воспоминаниям, потому что имя его отца Филарета было связано с тушинским табором...», — пишет он. — На Романовых могли сойтись и казаки и земщина — и сошлись: предлагаемый казачеством кандидат легко был принят земщиной. Кандидатура М.Ф. Романова имела тот смысл, что мирила в самом щекотливом пункте две еще не вполне примиренные общественные силы и давала им возможность дальнейшей солидарной работы». (1, с. 331).

Таким образом, ясно, что Михаил Романов был удобен в качестве компромиссной фигуры для тех, кто, активно участвовал в событиях «смуты», в свержении Бориса Годунова и Василия Шуйского с помощью польских «самозванцев», и сейчас хотел сохранить свое влияние на власть. «Хотели vybrать не способнейшего, а удобнейшего», — заметил Ключевский.

Костомаров описывает Михаила Романова как человека «кроткого характера», «меланхолического нрава», «мягкосердечного», который не был одарен «блестящими способностями» и являлся «только по имени самодержцем». Но с приездом из Польши его отца Филарета, ставшего патриархом русской церкви, все изменилось. «Стала заметна более сильная рука, управляющая делами государства. Господствующим стремлением было возвратить государство в прежний строй, какой оно имело до смутного времени...», — пишет Костомаров. — Наступило невиданное еще в истории Московского государства явление. Главою духовенства сделался отец главы государства. Установилось «двоевластие». (2, с.261). Филарет захватил власть в свои руки и имел огромное влияние в государстве. Оба — отец и сын — носили титул «великого государя». Все указы сына писались с «совета» отца и подписывались вместе. Патриарх Филарет при своем сыне Михаиле был формально вторым человеком в государстве, но на самом деле был тем, кого на Руси станут называть «временщиками», сильным человеком, верящим в свое право применять силу. «С возвращением Филарета, — отмечает Г.В. Вернадский, — каждый наконец почувствовал, что Россия обрела хозяина».

Как считает Платонов, «правительству Михаила Федоровича не удалось быть верным старине, не удалось ему добиться своей цели, т.е. исправить администрацию и устроить благосостояние». Но все-таки оно сделало много, «даже чрезвычайно много». (1, с. 366). Это правительство побороло «смуту» и избавило государство от распада.

Адам Олеарий, немецкий ученый и дипломат, посетивший Москву в 30–40-е гг., оставил довольно подробное «Описание путешествия в Московию», где он в частности записал: «Что касается русского государственно-го строя, то, как видно отчасти из вышеприведенных глав, это, как определяют политики, «monarchia dominika et despotica». Государь, каковым является царь или великий князь, получивший по наследству корону, один управляет всей страной, и все его подданные, как дворяне и князья, так и простонародье, горожане и крестьяне, являются его холопами и рабами, с которыми он обращается как хозяин со своими слугами». Этот род управления, по его мнению, близок к тому, что Аристотель называл «тиранией». (3, с. 354).

Адам Олеарий пишет о том, что для удержания своих подданных в страхе и рабстве, «никто из них, под страхом телесного наказания, не смеет самовольно выехать из страны и сообщить им о свободных учреждениях других стран». Это относится и к купцам, которые без разрешения царя не смеют пересекать границу и вести за границей торговлю. Правда, он признает, что за последнее время многое изменилось в «управлении и людях». Царь не подчинен законам и может, по мысли своей и по желанию, издавать и устанавливать законы и приказы. Эти последние все, какого бы качества они ни были, принимаются и исполняются без противоречий и даже с тем же послушанием, «как если бы они были даны самим богом». Великий князь не только назначает и смещает начальство, но «даже гонит их вон и казнит их, когда захочет». Лишь великий князь имеет право объявлять войну иноземным нациям и вести ее по своему усмотрению.

Однако Олеарий замечает, что никаких решений, мнений, приказаний, договоров, назначений и т.п., издаваемых от царского имени, его царское величество не подписывает лично... все подписывается боярами и государственным канцлером и лишь скрепляется царскою печатью.

«Патриарх, после великого князя, имеет наибольшую честь и власть в стране. Он судья над духовными в делах, которые не подлежат одному лишь светскому праву, ему принадлежит надзор над религиозными делами, добрыми нравами и христианским образом жизни; что ему при этом представляется правильным, он, по усмотрению своему, устраивает, учреждает и упраздняет, предоставляя великому князю исполнение. В его предприятиях ни великий князь, ни вообще кто бы то ни было не имеет права советовать, ни, того менее, противоречить ему...». (3, с. 406). При этом он отмечает, что «московиты относятся терпимо и ведут сношения с представителями всех наций и религий», «каждому разрешается по-своему совершать богослужение в публичных церквях». При этом, «что касается римско-католиков, или папистов, то они до сих пор встречали у них мало расположения; напротив, они вместе с их религиею были как бы мерзостью в их глазах». «Эта древняя и как бы прирожденная ненависть и недружелюбие русских к папистам, или латинской церкви, впитана их предками от греков и их религии и от них передана потомству и получила дальнейшее развитие». (3, с. 413-414).

Тридцатилетнее царствование **Алексея Михайловича** (1645–1676), по мнению Костомарова, не принадлежит к «светлым эпохам русской истории». Оно характеризуется серьезными ошибками как во внутренней, так и во внешней политике. Описывая царя Алексея Михайловича как человека внешне привлекательного, благочестивого, начитанного, примерного семь-

янина, любителя природы, не лишённого поэтического чувства, вместе с тем он заключает: «несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был неспособен к управлению». Он был под влиянием окружающих его людей, но «безукоризненно честных людей около него было мало».

Одним из таких, ненадолго приближенных к Алексею Михайловичу людей, был хорват, **Юрий Крижанич**, приехавший в Москву в 1659 году, но уже в 1661 году сосланный в Сибирь (откуда был возвращен уже при царе Федоре). «Истинным отечеством для него было не какое-либо исторически известное государство, а объединенное славянство, т.е. чистая политическая мечта, носившаяся где-то вне истории», — пишет о нем Ключевский. Он назвал Россию центром славянства, вокруг которого должны объединиться все славяне, но этому мешают, по его мнению, две причины («язвы»): «чужебесие» — бешеное пристрастие ко всему чужеземному, ... и следствие этого порока — «чужевладство», иноземное иго, тяготеющее над славянами». (7, с. 231-234) «Чужебесие», или «ксеномания», как считал Крижанич, — это «смертоносная немощь», которая заразила весь народ.

Вместе с тем, Крижанич достаточно критично относился к самому русскому государству, не идеализируя его и видя многие его недостатки. В связи с этим он критиковал русское общество за многие его пороки: пьянство, отсутствие гордости, чувства личного достоинства и пр.: «великое наше народное лихо — неумеренность во власти, не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, и все норовим по окраинам и пропастям блуждать...» (9, с. 378).

С.М. Соловьев пишет: «Крижанич, по его словам, пришел в Россию, чтоб совершить три работы: поднять славянский язык, написавши для него грамматику и лексикон... Во-вторых, написать историю славян, в которой опровергнуть немецкие лжи и клеветы. В-третьих, обнаружить хитрости и обольщения, которыми чужие народы обманывают нас славян. Крижанич исполнил первое... и последнее намерение». (9, с. 375).

Его трактат «Политичные думы» представлял собой «обширное сочинение», в котором Крижанич, начертав «печальную картину» состояния России, предлагал преобразовательную программу, в основу которой были положены две идеи. Первое, «главное средство — это наука, окружение себя мертвыми советниками, книгами...» Второе: «преобразование должно идти сверху, от самодержавной власти: русские сами себе не захотят добра сделать, если не будут присуждены к тому силою». (9, с. 379-380). Эти идеи позднее найдут свое воплощение в реформах Петра Великого.

«Всякому легко может показаться, что Петр Великий в своей преобразовательной деятельности находился под влиянием этой программы, — пишет Соловьев. — Мы далеки от мысли предполагать здесь непосредственное влияние; но сравнение программы Крижанича с деятельностью Петра очень важно: оно ясно показывает, что пути преобразования, избранные Петром, не были следствием его личного произвола, его личных взглядов, а были следствием общих взглядов тогдашних лучших людей, тогдашних авторитетов». (9, с. 381).

К таким «лучшим людям» XVII века относится **Афанасий Ордин-Нащекин**, сын бедного псковского дворянина, поднявшийся до главы Посольского приказа, который он называл «оком России, которым она должна смотреть на другие государства», и требовал, чтобы «око» это было чис-

тым. По свидетельству иностранцев, он по своему образованию не уступал иностранным министрам. «Внимательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделала Нащекина ревностным поклонником Западной Европы и жестким критиком отечественного быта», — пишет Ключевский. — «Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления». Ключевский считает, что Ордин-Нащекин «во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь». (7, с. 317-329).

«Лучшими людьми» своего века были **Федоц Ртишев** — дворецкий Алексея Михайловича и воспитатель его сына Федора, и князь **В.В.Голицын** — продолжатель преобразовательных идей Ордина-Нащекина. А также **Матвеев**, который пользовался неограниченной доверенностью Алексея Михайловича и участвовал в устройстве как военных, так и гражданских дел государства. Так, например, ему Россия обязана устройством отношений с «Малороссией», а также с Китаем. Он был образованнейшим человеком среди современников и оказал большое влияние на воспитание детей Алексея Михайловича.

Вместе с тем, как отмечает И. Е. Забелин, «вкусы и потребности жизни в допетровской Руси в течение целых столетий были одни». «Основною мыслью было жить так, как жили отцы и деды, по старине и по пошлине, что пошло исстари, как было при отцах, при дедах и при прадедах». (16, с. 88). К тому же в то время немного было причин, которые могли бы слишком резко изменить образ жизни наших предков, так как до XVI в. «чужое», которое приходило к нам, мало чем было выше своего «туземного». Только с эпохи Возрождения, прямое влияние которой нас не коснулось, мы стали отставать от общего движения «не по дням, а по часам» и сохранили свою художественную «старину» до конца XVII в. «По характеру своего образования — религиозного богословского — древний русский человек любил олицетворенные притчи и церковные бытия, изображениями которых и украшали свои хоромы. При отсутствии эстетического элемента в своем образовании он не знал и искусства в том значении, какое придает ему современность...» (16, с. 193).

«Русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули, — пишет Ключевский. — Судорожное движение вперед и раздумье с пугливой оглядкой назад — так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII в. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали». (7, с. 336).

Люди этой «культурной элиты» думали, что, заимствуя европейский комфорт, они уклоняются от усвоения европейских идей и понятий, не желая отказываться от своих. «В этом состояла их простодушная ошибка, — замечает Ключевский, — в какую впадают все мнительные запоздалые подражатели». (7, с.257). Ближайшим европейским соседом для Москвы была Польша: «западноевропейская цивилизация в XVII веке приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шляхетской одежде».

Ключевский заметил, что влияние европейских идей в России появляется тогда, когда осознается превосходство влияющей среды и культуры и необходимость у нее учиться. Западное влияние в стране явилось след-

ствием ощущения «национального бессилия», вышло из сознания своей отсталости в материальных и духовных средствах. Но это влияние натолкнулось на встречное движение — восточное, или «византийское» (греческое). Первое имело место на государственном уровне, второе — на церковном. Так начинают формироваться два взгляда на культуру и жизнь русского общества.

Это отмечает и Г.В. Вернадский: «В России в XVII столетии появились две тенденции: уменьшение роли церкви в национальной культуре и усиление западного влияния». Это стало проявляться в религиозной жизни, в искусстве, в образовании «...К концу XVII столетия в России образовался тонкий слой западноевропейской культуры элиты. Этот слой играл двоякую роль: служил связующим звеном между Россией и Западом и был источником, откуда распространялись новые идеи в России». (10, с.150).

При Алексее Михайловиче европейская волна достигла церковной «завоуди». Г.В.Вернадский отмечает, что «серьезный религиозный кризис» возник в Москве в связи с «украинскими делами». «Возросшие связи с внешним миром подняли интерес русских к западным религиям... Русским было запрещено покидать греческую православную церковь, и случаи открытого перехода в протестантизм были редки». (10, с. 134). Но многие, в том числе и церковные иерархи, понимали необходимость определенных реформ внутри церкви и в отношении между церковью и государством.

«Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хотя бы из православной Греции, из православной Малороссии, необходимо сталкивались с старыми учителями, и отсюда борьба, которая вела к чрезвычайно важным последствиям,.. — пишет Соловьев. — Легко понять, как должны были смотреть на это отцы духовные. Светопреставление! Яйца курицу учат!» (9, с.327). Столкновение между старыми и новыми «учителями» неизбежно вело к «церковному мятежу»; «общество, видимо, тронулось; начались колебание, тряска, которые не позволяли пребывать в покое».

Церковные реформы патриарха **Никона** вызвали «раскол» русской церкви. «До патриарха Никона русское церковное общество было церковным стадом с единым высшим пастором», — пишет Ключевский. (7, с.268) В 1654 г. Никон провел на церковном соборе постановление о переиздании церковных книг «по греческим подлинникам». Это было чрезвычайно важно потому, что для религиозного сознания (веры) идея и буква (слово) неразрывны. Между тем, как отмечает Ключевский: «Органический порок древнерусского церковного общества состоял в том, что оно считало себя единственным истинным правомерным в мире, свое понимание божества исключительно правильным, творца вселенной представляло своим собственным русским богом». (7, с.279) Патриарх Никон бросил вызов всему «прошлому русской церкви».

А.Буровский отмечает, что в культуре Московии оставалось совершенно непонятно, где кончается государство и начинается церковь, что среди священнослужителей было много неграмотных, а то и просто диких и безнравственных людей. «Никон... на самом деле... стремился вовсе не к возвращению к древнему благочестию, а к тому, чтобы учесть изменения, происходившие в православии за двести лет изоляции... Для Никона, конечно, важным было никакое такое «благочестие», а унифицировать с греческими церковные чины и обряды, дать царю основания объединить под

своим скипетром все православные народы. ...Никон же попытался обосновать, что «священство выше царства» и патриарх должен командовать царем, а не наоборот». (4, с.427-428). До Никона такую же «книжную справу» провел на Украине Петр Могила, но без «дикого отторжения» и «гражданской войны».

Костомаров, называя Никона одним из «самых крупных, могучих деятелей русской истории», отмечает, что он, будучи простого происхождения, обладал сильной волей и жаждой деятельности, хотел быть творцом, строителем, но имел «узкий кругозор». «Буква обряда давно уже лежала камнем на русской духовной жизни; эта буква подавляла богатую натуру Никона... Задачей Никона было правильное однообрядие церковной практики. Из этой задачи прямо истекла потребность единой церковной власти, а эту власть находил он в себе, в своем патриаршем сане...» (2, с.406-407).

Платонов отмечает, что «значение тогдашних церковных событий было очень велико: тогда начался раскол, остающийся и теперь еще вопросом не только истории, но и жизни; тогда же возник вопрос об отношении церковной и светской властей» (1, с.389).

Соловьев считает, что Никон допустил серьезную ошибку, позволив себе принять «роковой» титул «великого государя», то есть главного правителя страны, что не имело ничего общего с значением патриарха. «Патриаршество, высокое духовное значение стало для Никона на втором плане, он бросился на мирскую власть, захотел быть настоящим великим государем, настоящим, законным и проиграл свое дело...» (9, с.335).

Никон проиграл потому, что вступил в борьбу с Алексеем Михайловичем, так как «влияние Никона основывалось не на законе и не на обычае, а единственно на личном расположении к Никону царя». «Про Никона надо вообще заметить, — пишет Платонов, — что его любили отдельные лица, но личность его не возбуждала общей симпатии, хотя нравственная его мощь покоряла ему толпу». (1, с.408-409). Платонов, однако, считает, что Никон пал не только из-за личной ссоры с царем, а из-за того принципа, который он твердо проводил в своих речах и посланиях русскому царю, — «о пространстве власти царской и архипастырской». Никон был убежден, что церковное управление должно быть свободно от всякого вмешательства светской власти, а церковная власть должна иметь влияние в политических делах. Представители церкви, по мысли Никона, стоят выше прочих властей. Но эти взгляды Никона ставили его «в разлад с действительностью». «Никон потому и пал, что историческое течение нашей жизни не давало места его мечтам, и осуществлял он их, будучи патриархом, лишь постольку, поскольку ему это позволяло расположение царя. В нашей истории, — замечает Платонов, — церковь никогда не подавляла и не становилась выше государства...». (1, с.415).

По свидетельству Соловьева, царь был отнюдь, не «благочестив» и любил «светскую» жизнь на европейский манер: «...цивилизация закинула уже свои сети на русских людей, приманивая их к себе новыми для них удовольствиями и удобствами жизни...» (9, с.353). Поэтому по поводу «раскола» Алексей Михайлович занял двойственную позицию: «одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за черту, и так и остался в этом нерешительном переходном положении», — пишет Ключевский и замечает, что царь «был непрочь срывать

цветки иноземной культуры, но не хотел мараить рук в черной работе есе посева на русской почве». (7, с.301, 309).

Платонов пишет о нем: «Добродушный и маловольный, подвижной, но не энергичный и не рабочий, царь Алексей не мог быть бойцом и реформатором...» (1, с.444). Однако, он все-таки открыл дорогу новым идеям, помог выступить новым идейным реформаторам, и его правительство «стояло на известной высоте во всем том, что ему приходилось делать».

XVII век был эпохой, подготовившей преобразования Петра Великого, так считали многие русские историки. Но только лишь «подготавливавшей», но не осуществившей эти преобразования. Однако, думается, причина этого была в значительной степени «объективной»: Россия не могла сделать резкий разворот в сторону Европы, хотя необходимость этого уже ощущалась «умными людьми» эпохи и нашла свое отражение во внешней политике русского государства, в которой главными стали две задачи: завершить объединение русского народа и расширить территорию государства по всей протяженности русской равнины. Таким образом, исходным пунктом внешней политики стал «малороссийский» вопрос, который оказался «самым тяжелым» для России.

Одной из причин этого было «казачество», распространенное по всей Руси и за ее пределами. Ключевский считает, что «казаками» звали наемных работников, батрачивших по крестьянским дворам, без определенных занятий и постоянного место жительства. «Позднее этому бродячему, бездомному классу в Московской Руси усвоено было звание вольных гулящих людей, или вольницы». Крымские татары называли этих людей «казаками». (7, с.98).

Первые известия об украинских «казаках» относятся к XV в. В 50–60 гг. XVI века «казаки» стали строить укрепленные военные поселения в Сичи и получили имя «запорожцев», т.е. живущих на острове Хортица за порогами Днепра. Они создали свое выборное управление и военное командование. Впоследствии Польша стала привлекать «казаков» на военную службу, такие казаки получали постоянное жалование и назывались «реестровыми», их возглавлял выборный «гетман».

В начале XVII в. казаки во главе с гетманом Сагайдачным воевали с поляками против Турции в Крыму и на Черном море. Но после того, как польский сейм отказался удовлетворить требование казаков признать православных украинских священников и изгнать с украинских земель священников-«униатов», в Запорожской Сечи гетман Тарас «Бульба» поднял восстание против поляков, но был схвачен в бою и казнен.

«...Украинское население живет в украинских провинциях Польши только как этнографическая масса, а не нация, и православная «русская» церковь остается единственным институтом, носящим национальную форму», — пишет Грушевский. Польская шляхта, «сидя на украинской земле и живя трудами украинского крестьянина, привыкла в то же время игнорировать все туземное, смотреть на украинский народ как на гелотов польской народности, на его язык, культуру, традиции, право как на нечто неизмеримо низшее сравнительно с польским...» (11, с.131).

Введение церковной унии, по мнению Костомарова, было началом великого переворота в умственной и общественной жизни южной и западной Руси. Казачество увидело в Польше, которую оно защищало, большего врага, чем крымский хан, с которым оно постоянно воевало. Перед ним

стал нелегкий выбор: либо Отечество (Польша), либо Вера (православие). Без веры его жизнь была лишена нравственной основы. Без православия, защитниками которого на южных рубежах считало себя казачество, оно превращалось в обыкновенные «разбойничьи шайки». Казачество сделало свой выбор в сторону Веры и оказалось без Отечества. Как отмечал Пантелемон Кулиш: «казацкий элемент был отрицанием... принципа общности, отрицанием принципа государства». «В своей Украине при крайне тугом мышлении оно еще не привыкло видеть отечество, — отмечает Ключевский. — Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества». (7, с.105).

Но политический подъем Польши и оживление ее культурной жизни при активной роли католической церкви стали притягательными факторами для украинской знати, которая торопится приобщиться к плодам этого успеха. «Православие, украинское просветительское и культурное движение запоздало, — заметил М.С.Грушевский, — ...высшие слои оказались уже вовлеченными польскою культурою, когда украинская делала первые шаги в своем возрождении». (11, с.150).

Украинский народ оказался расколот на две части: ополчившуюся казацкую элиту («старшину»), с одной стороны, и крестьянство и военное казачество, с другой. Рубежом между ними пролегла Вера. Защита православной Веры стала знаменем той части украинского казачества, которое сосредоточилось на левобережье Днепра (вокруг Киева и Запорожья). Стремление к «оказачиванию», так называемое «украинское своеволие», начало принимать религиозную окраску и получило в глазах народа нравственное освещение.

Здесь важнейшая роль принадлежит киевскому митрополиту **Петру Могиле** — сыну молдавского «господаря», получившему образование в Париже. Он создает в Киеве высшую школу (1633 г.), возвращает православию Софийский собор, создает при Киево-Печерской Лавре типографию, ведет активную полемику с католической церковью, приводит в единообразие православное богослужение. «Наша церковь, оставаясь непогрешимою в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития», — писал Петр Могила. Он был «человек не только европейского образования, но и обладающий светской полировкой. Могила мог с успехом представлять собою интересы православия в шляхетской Речи Посполитой», — писала А.Я.Ефименко. (12, с.189). Петр Могила умер в 1647 г. (в возрасте 50 лет), не дожив до Переяславской рады, которая вознесла на пьедестал истории Богдана Хмельницкого.

«Жизнь украинского общества шла впереди теорий, — пишет Грушевский. — Идея автономного государства, замкнутой украинской территории только начинала формироваться в умах украинских вождей, но фактически уже несколько лет Хмельницкий был главою государства, отнимавшего восточнукраинские земли и жившего вполне самостоятельной жизнью». (11, с.153).

Зиновий-Богдан Хмельницкий — сын галицкого сотника, — участвовал в военных кампаниях против Турции (был в плену) и Московского государства (за бой под Смоленском в 1632 г. был награжден польским королем Владиславом почетной саблей). В 1647 г. из-за ссоры с польским шляхтичем Чаплинским уходит в Запорожскую Сечь, где обращается к казакам с призывом: «Хватит нам терпеть этих поляков, давайте соберем раду и будем

защищать церковь православную и Землю Русскую!» «Запорожцы» избирают Хмельницкого гетманом, и он заключает договор с Крымским ханом против Польши.

В 1652 г. Польский сейм обвинил Хмельницкого в измене и вынес ему смертный приговор. При поддержке крымскотатарских войск Хмельницкий вторгся в Молдавию и Польшу. Поднялось народное восстание против поляков. Костомаров подчеркивает, что именно украинский народ вынудил Хмельницкого возглавить восстание против Польши, в котором главную роль сыграло казачество. Поэтому он называет это восстание «казацкой революцией».

Здесь очевидна его личная позиция сильного человека, принявшего трудное, но важное для себя решение. Чем руководствовался при этом сам Хмельницкий, остается для истории загадкой. Вероятно, он искал путей объединения украинского народа, разобщенного и разоряемого в то время борьбой между знатью и казачеством, в создании общерусского федеративного государства с сохранением казачьих традиций.

Костомаров считает, что залогом его успеха было укрепление украинского народа в православной вере, которую он считал основой единой русской цивилизации. «Богдан стоял выше своего века», так как «связь Украины с Москвою была не внешняя, не государственная, а внутренняя, народная». И не его вина, что близорукая, невежественная политика московского боярства не поняла его, «свела преждевременно в гроб», испортила плоды его десятилетней деятельности, и «на многие поколения испортила дело, которое совершилось бы с несравненно меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его советы». (2, с. 525-526).

Богдан Хмельницкий осуждал царя Алексея Михайловича за то, что тот согласился на раздел Украины, оставив западную часть ее в составе католической Польши «Великий государь, единый православный царь в подсолнечной! Вторично молим тебя: не доверяй ляхам, не отдавай православного народа на поругание!» Вероятно, что заключение мирного договора между Москвой и Варшавой было самым большим «разочарованием» Хмельницкого.

Однако, Богдан Хмельницкий, похоже, родился раньше, чем Россия стала готова принять на себя всю ответственность за объединение с Украиной. В середине XVII века все противоречия и бессмыслицы внешней и внутренней политики Москвы уходили еще корнями в события и последствия начала века (время «смуты» и польской оккупации), в которых «казачество» принимало самое активное участие. Московское государство в то время еще не было столь сильным внутренне и столь авторитетным внешне, чтобы позволить себе, с одной стороны, заполучить огромную «мятежную» территорию в своем «тылу», с другой — поссориться с все еще достаточно сильной и пользующейся поддержкой западных стран Польшей по поводу ее собственных «подданных». Так что «компромисс» Алексея Михайловича был достаточно разумен для своего времени, но, действительно, это было «недальновидное» решение. В последующей отечественной истории это решение явилось причиной многих серьезных и драматических последствий для России.

В середине XVII в. Украина не была самостоятельным государством, обладавшим международным правом «присоединения» к какой-либо дру-

гой стране (подобно тому, как это сделали позднее Грузия, Армения, Азербайджан и пр.). Левобережные украинские земли, принадлежавшие тогда Польше, были «аннексированы» Россией в результате русско-польской войны, которая была инициирована восстанием запорожского казацкого войска. Неслучайно преемники Хмельницкого, начиная с его сына Юрия (воспитанника крымского хана) и кончая гетманом Мазепой, пытались вернуть «независимость» украинскому народу. «Хмельницкий и Мазепа, — пишет Ефименко, — начало и конец того краткого, но яркого, как метеор, пути, каким промелькнула политическая история казацкой Украины на общем фоне исторических судеб южнорусского народа». (12, с.268).

Однако, московский царь Алексей Михайлович выполнил «нравственный долг» перед своими киевскими предками, вернув «историческую Родину» русско-славянского народа. Так считали многие русские историки, и Л.Н. Гумилев, например, убежден, что «первостепенное значение имела единая суперэтническая принадлежность России и Украины». «Об это всеобщее ощущение единства, как волны о скалу разбивались рациональные планы волевых, умных искателей власти. Два близких этноса — русский и украинский — соединились не благодаря, а вопреки политической ситуации... Выбор, сделанный на основе естественного мироощущения народа, оказался правильным». (13, с.249).

Итак, XVII век, столь богатый на «судьбоносные» для русской истории события оказался перенасыщен выдающимися личностями, стоявшими выше уровня своего времени. Их личная трагедия была predetermined тем, что они соответствовали времени своим делом, но не соответствовали ему своей личностью. Так было всегда: выдающаяся личность появляется в истории с тем, чтобы сделать то, что никто, кроме нее, сделать в это время не может, но уходит из жизни непонятая своим поколением.

Можно сказать, что XVII век наиболее трагичен в истории России с точки зрения краха его выдающихся исторических деятелей и их идей. Народ и общество еще не сформировались как национальные формы, но государство уже существует и управляют им люди, семейные кланы, отнюдь не отражающие интересы русского народа и общества, а руководствуются прежде всего своими личными интересами и представлениями. Народ — всегда традиционно-консервативная сила, способная на спонтанное, непредсказуемое выступление, сила, сметающая все на своем пути, но он не способен на взвешивание тех идей и тех лидеров, опережающих ход его сознания, т.е. медленный процесс эволюции его инертного менталитета, даже, если те отвечают объективным потребностям времени. Народ всегда силен так называемым «задним умом», он является носителем так называемого «здорового смысла», поэтому не всегда способен адекватно оценить быстро меняющуюся реальность.

Вместе с тем, у московских правителей появилась привычка говорить и действовать от имени народа как «политическая фикция» с «чисто условным значением». Так, в соборном Уложении 1649 г. была заявлена «личная свобода», которая становилась «обязательной», и потому непонятной. В действительности провозглашенная свобода превращалась для «черного человека» XVII века в «неволю» во имя государственного интереса. Таким образом утверждалось «крепостное право», с установлением которого государство вступало на путь, «который под покровом наружного порядка и даже преуспеяния вел его к расстройству народных сил, сопровождавшие-

муся общим понижением народной жизни, а от времени до времени и глубокими потрясениями». (7, с.175).

«Два царствования первых государей Романова дома были периодом господства приказного люда, расширения письмоводства, бессилия закона, пустосостательства, повсеместного обдирательства работающего народа, всеобщего обмана, набегов, разбоев и бунтов. Самодержавная власть была на самом деле малосамодержавной: все исходило от бояр и дьяков, ставших во главе управления и в приближении к царю, царь часто делал в угоду другим то, что не хотел, чем объясняется то явление, что при государях, несомненно, честных и добродушных, народ вовсе не благоденствовал». (8, с.197).

В народных мятежах XVII века проявилось отрицательное отношение к новой династии, которое она пыталась скрывать официозной исторической мифологией. Так, например, родилась легенда об Иване Сусанине, костромском крестьянине, якобы ценой своей жизни спасшем только избранного молодого царя Михаила Романова. Случай беспрецедентный в русской истории, тем более, что ни один историк не упоминает об этом, и нет никаких исторических источников, хотя бы косвенно подтверждавших бы эту легенду: «ни в русских, ни в иностранных тогдашних сочинениях... нет ни слова об этом происшествии», — утверждает Костомаров.

В XVII веке различие между интересами народа и государства проявилось во всей своей остроте во время «Смуты», церковного «раскола» и, наконец, «казацкой войны» под руководством **Степана Разина**.

Платонов считает, что «бунт» Степана Разина «значительно отличался от предыдущих волнений». «Те имели характер местный, между тем как бунт Разина имеет уже характер общегосударственной смуты. Он явился результатом не только неудовлетворенности экономического положения, как то было в прежних беспорядках, но и результатом недовольства всем общественным строем... Разинцы, хотя и не имели ясно сознанный программы, но шли против «боярства» не только как администрации, но и как верхнего общественного строя; государственному строю они противопоставляли казачий». (1, с.383).

Царь Алексей Михайлович «Тишайший» жестоко расправился с участниками восстания. «Так закончилась кровавая драма, имевшая значение попытки низвергнуть правление бояр и приказных людей, со всяким тяглом, с поборами и службами, и заменить старый порядок иным — казачим, вольным, для всех равным, выборным, общенародным, — пишет Костомаров. — Попытка эта была задушена в пору; дух мятежа не умел еще охватить большей части Московского государства... Малороссия служит наглядным образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составляющее идеал восстания Степана». (8, с.66-67).

Таким образом, XVII век для истории России был действительно революционным во всех отношениях. Во-первых, в политическом плане: в стране утверждается новая царствующая династия Романовых, которая в своей власти опирается уже не на «народ», а на «служильный» класс, «дворянство», тем самым создав особую национальную форму правления — «самодержавие». Во-вторых, законодательную форму обретает специфически русский тип экономических отношений — «крепостное право», которое фактически явилось внутринациональным рабством, окончательно проложившим пропасть между властью и народом. В-третьих, в духовную

жизнь русского элитарного сословия (дворянства), проникают западноевропейские идеи и манеры: быта, под влиянием которых происходит европеизация внутренней и внешней политики государства и реформация русской православной церкви. Европа превращается для России из постоянного врага в источник цивилизации, просвещения и культуры.

Однако, именно эта европеизация вступает в противоречие с двумя другими факторами: «самодержавием» и «крепостным правом», — которое находит свое дальнейшее трагическое развитие в XVIII веке.

«Нужен был сигнал со стороны правительства, чтобы пренебречь традициями и предрассудками и двигаться вперед по пути западничества. Этот сигнал был дан Петром Великим», — отмечает Вернадский. (10, с.150).

При правлении **Федора Алексеевича** (1676–1682) «культурная реформа» ограничивалась только Москвой и царским двором, коснулась только верхних слоев общества. Здесь имеет место влияние киевское и греческое, и главным образом в интересах церкви; западноевропейское влияние еще бессистемно и определяется практическими нуждами (например, реорганизация армии). «Воспитанник Симеона Полоцкого, знавший польский и латинский языки, слагавший вирши, Федор сам стал киевлянином по духу и дал простор киевскому влиянию, которое вносило к нам с собой и некоторые, мало, впрочем, заметные, польские черты», — пишет Платонов. (1, с.457).

При царе Федоре был создан проект первого высшего училища: Греко-Латинской академии, которая была создана уже после его смерти братьями Иоаникием и Сафронием Лихудами. С.М. Соловьев назвал ее «цитаделью» церкви в борьбе с Западом, «страшным инквизиционным трибуналом», который должен выносить приговор «виновен в неправославии». В 1682 г. Федор отменил «местничество». Ключевский по этому поводу заметил, что «не боярство умерло, потому что осталось без мест... а места исчезли, потому что умерло боярство...»

«Смерть царя Федора с первого же раза возбудила важный вопрос: кто будет царем? Положение было почти такое же, как по смерти Грозного», — пишет Костомаров. — Во главе правления стала девица — событие небывалое до того времени на Руси. <...>Софья <...> отличалась от других замечательным умом и способностями. Она более всех своих сестер приблизилась к Федору...» (6, с.89). Софье было 25 лет, когда Земский собор назначил ее регентство при малолетних братьях **Иване** и **Петре**. (1682–1689).

Как свидетельствует французский иезуит, посланник польского короля при московском дворе Де ля Невиль, в своих «Любопытных и новых известиях о Московии»: Петр очень красив и строен собою, и острота ума его дает большие надежды на славное царствование, если только будут руководить им умные советники. Принцесса София не очень была довольна его избранием, ибо она предпочитала видеть корону на голове Ивана Алексеевича, брата единоутробного и единокровного, который был бы царем одним, без сотоварища, причем ей по праву принадлежало бы регентство». (15, с.485).

После подавления мятежа стрельцов под командованием **Хованского**, был возведен в звание «великого канцлера», а фактически стал правителем государства князь **В.В.Голицын**, о котором Де ля Невиль пишет с большой симпатией: «Этот князь Голицын, бесспорно, один из искуснейших людей,

какие когда-либо были в Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных держав. Он хорошо говорит по-латыни и весьма любит беседу с иностранцами, не заставляя их пить, да и сам он не пьет водки, а находит удовольствие только в беседе. Не уважая знатных людей, по привычке их невежества, он чтит только достоинства и осыпает милостями только тех, кого считает заслуживающими их и преданными себе». (15, с.488). Голицын управлял государством так, «как ему казалось лучше и выгоднее». После расправы над руководителями стрелецкого бунта он навел порядок в управлении государством, заключил мирные договоры со Швецией и Польшей. Однако, такое «самовластие» возбудило «великую» ненависть «знатных людей», которые нашли в конце концов возможность удалить Голицына далеко от Москвы: он был назначен главнокомандующим русскими войсками, направляемыми в Крым. «Бывши более великим государственным мужем, нежели полководцем, он предвидел, что отсутствие его из Москвы причинит ему больше вреда, нежели принесло бы славы самое завоевание Крыма, так как оно не поставило бы его выше, звание же начальника войск решительно ничего не прибавляло к его могуществу». (15, с.491).

После неудачи первого крымского похода (1687 г.) Голицын свалил всю вину на казацкого гетмана **Ивана Самойловича**, который после позорного военного суда над ним был сослан в Сибирь вместе со своим сыном. Новым гетманом украинского казачества бы избран писарь **Мазепа!** Несмотря на то, Голицын видел, как усиливается «партия царя Петра», он вновь возглавил армию во втором походе на Крым в 1689 г., который также как и первый, не принес ему ни пользы, ни славы, но оба предприятия нанесли большой вред государству и привели к падению Голицына. Как свидетельствует Де ля Невилль, «враги его, узнав истину о его походе, сделали его ненавистным царю Петру». Но Голицын продолжал управлять государством, поддерживать Софью. Он вызвал в Москву гетмана Мазепу с 500 его офицерами, которого Софья и Голицын пытались привлечь в заговор против Петра. «Царевна, предвидя, что со временем, рано или поздно, Петр делается камнем преткновения для ее власти и опасным препятствием ее властолюбию, если она заблаговременно не предупредит опасности... Все эти соображения побудили царевну, честолюбивую и смелую более, нежели можно было ожидать от женщины, решиться на все, чтобы удержаться на той ступени величия, на которой она находилась и к которой она всегда стремилась». (15, с.503). Начальнику стрелецкого приказа **Федору Шакловитому** было поручено арестовать Петра в селе Преображенском, но это не удалось, и Петр нанес ответный удар. Шакловитый был казнен, Голицын со всеми родственниками и друзьями были отправлены в ссылку, Софья отправлена навсегда в монастырь.

Вот как Де ля Невилль объясняет «московские события», свидетелем которых он был: «...Смятения, как происшедшие уже в этом государстве, так и те, которые впредь могут произойти, суть следствие козней царевны Софии, ум и дарования которой несколько не походят на ее наружный вид, ибо она очень безобразна, необыкновенно толста, с головою огромною, как подушка; на лице у нее волосы, на ногах наросты, и ей теперь по крайней мере сорок лет; но насколько стан ее толст, короток и груб, настолько, напротив, тонок и пронизателен ум; и хотя она никогда не читала и не изучала Макиавелли, но по природе знает его принципы, и особенно то, что нет ничего, никакого преступления, которого нельзя было бы предпри-

нять, раз дело идет о получении власти. Если бы она довольствовалась управлением государством и не пыталась бы избавиться от своего брата, то нет сомнения, что никто не возымел бы смелости образовать против нее партию в пользу брата Петра». (15, с.510-511).

Де ля Невиль подробно описывает, на чем строился «заговор» Софьи против Петра: женить на себе князя Голицына (отправив в монастырь его законную жену) и вынудить его убить обоих царевичей. На это князь не соглашался, предложив свой план отстранения Петра от власти через женитьбу его брата Ивана (в силу его неспособности, подыскав его жене любовника): после рождения у него «наследника» принудить Петра постричься в монастырь, а затем заставить Ивана признать своего сына «незаконным» и развестись со своей женой — тогда вступившие официально в брак Голицын и Софья становятся законными наследниками. Первая часть плана удалась, жена Ивана родила... дочку. На это Петр ответил своей женьбой, вопреки воле старшей сестры, и Голицын понял, что его план провалился и стал помышлять о бегстве в Польшу (до границы которой тогда было «сорок немецких миль»), но не успел. Интересно, что «младший» Голицын стал любимцем Петра, но вскоре был удален под давлением родственников царя Нарышкиных.

Де ля Невиль по этому поводу пишет: «Но те, кто радовался падению великого Голицына, вскоре раскаялись в его погибели, так как Нарышкины, которые управляют ими в настоящее время, будучи необразованны и грубы, начали, вопреки всякому политическому смыслу и благоразумию, уничтожать все, что этот великий человек умно и рассудительно ввел нового для славы и пользы нации; они желали приобрести всеобщее уважение, облакаясь снова в свою черную, зловонную шкуру». (15, с.516). Несимпатия французского иезуита к Нарышкиным понятна, так как «эти варвары снова запретили иностранцам въезд в Россию, равно как и отправление католической службы». Однако, его уважение к Голицыну безгранично: «Достаточно указать на то, что он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, из дикарей сделать людей, превратить трусов в добрых солдат, хижины в чертоги и что все эти предприятия погибли в Московии с его падением». Он описывает дом князя, который был «одним из великолепнейших в Европе», покрыт медными листами и внутри украшен дорогими коврами и прекрасною живописью». Польский посланник утверждает, что при его правлении в Москве, в которой жило тогда до полумиллиона жителей, были построены 3000 каменных домов. Де ля Невиль убежден, что «намерением Голицына было поставить Московию на одну ступень с другими государствами». Изучив состояние европейских государств, Голицын намеревался начать... «с освобождения крестьян, предоставив им земли, которые они в настоящее время обрабатывают в пользу царя, с тем чтобы они платили ежегодный налог», что увеличивало бы доход от этих земель, по его подсчетам, более, чем в двое! Не это ли послужило действительной причиной его свержения?

В 1696 г. после смерти Ивана «двущарствие» было прекращено, и Петр стал «единодержцем» России. Попытка стрельцов в 1699 г. посадить Софью на престол была жестоко подавлена (были казнены 772 человека) и Софья заточена в Ново-Девичий монастырь.

Как отмечает А. Бушков, «Петра, собственно говоря, никто и не рассматривал в роли самодержца всероссийского... А потому Петра ничему

серьезно не учили... Его «воспитанием» ...занималась личность жалкая и ничтожная — дьяк Зотов, отнюдь не светоч ума и знаний, пьяница и придворный клоун». Государственный переворот в пользу Петра совершил клан его матери — Нарышкины, и только после смерти Натальи Нарышкиной в 1694 году Петр начал всерьез заниматься государственными делами. (5, с.365).

Де ля Невильль описывает молодого Петра следующим образом: «Петр весьма высок ростом, хорошо сложен и довольно красив лицом. Глаза у него довольно большие, но блуждающие, вследствие чего бывает неприятно на него смотреть. Несмотря на то, что ему только 20 лет, голова у него постоянно трясется. Любимая его забава заключается в натравливании своих любимцев друг на друга, и весьма нередко один убивает другого из желания войти к царю в милость... Любит он также звонить в большой колокол, но самая главная страсть его — любоваться пожарами, которые весьма часто случаются в Москве». (15, с.519).

С.Ф.Платонов заметил: «Новую русскую историю обыкновенно начинают с так называемой эпохи преобразований нашего общественного быта. Главным деятелем этих преобразований был Петр Великий. Поэтому время его царствования представляется нашему сознанию той гранью, которая отделяет старую Русь от преобразованной России». Однако, он же отмечает, что «деятельность Петра до сих пор не имеет в нашем общественном сознании одной твердо установленной оценки», «мнения иногда резко противоречат друг другу». Историк объясняет такие «несогласия» прежде всего тем, что «преобразования Петра, захватывая в большей или меньшей степени все стороны древнерусской жизни, представляют собой сложный исторический факт, что всестороннее понимание его трудно дается отдельному уму». А также тем, что «не все мнения о реформах Петра выходят из одинаковых оснований». В связи с этим Платонов различает «научный» (т.е. аналитический) подход от «публицистического» (т.е. оправдательного). И, наконец, «общее развитие науки русской истории всегда оказывало и будет оказывать влияние на представления наши о Петре».

«Повинуясь присущему нашему духу стремлению не только знать факты, но и логически связывать их, мы строим наши выводы и знаем, что самые наши ошибки облегчают работу последующим поколениям и помогут им приблизиться к истине так же, как для нас самих поучительны и труды и ошибки наших предков», — пишет Платонов. (1, с.462-463).

Безусловными апологетами Петра I, создателями исторического мифа о «великом» преобразователе России, были представители так называемой «историко-юридической школы» К.Д.Кавелин и С.М.Соловьев, которые, как известно, находились под влиянием немецкой философии, в частности Гегеля, и немецкой исторической школы. Они первые утвердили мысль о том, что реформы Петра явились необходимым следствием всего развития русской истории. По их мнению, государственный порядок окончательно был установлен деятельностью Петра Великого, который своими реформами отвечал на требования национальной жизни. Таким образом, деятельность Петра вытекала из исторической необходимости, связана с предыдущей эпохой, с кризисом старого строя, а значит — была вполне национальной.

В своих популярных «Публичных чтениях о Петре Великом» Соловьев последовательно проводит свой главный исторический тезис: «великий человек является сыном своего времени, своего народа», — который оказал

определяющее влияние на многие поколения русских историков. «Долго относились у нас к делу Петра неисторически: как в благоговейном уважении к этому делу, так и в порицании его,.. — пишет Соловьев. — Я назвал такой взгляд неисторическим потому, что здесь деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа; в жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая по своему произволу, причем народ был осужден на совершенно страдательное отношение к ней». (9, с.417-418).

Этим объясняет историк трудность «биографической задачи изображения деятельности одного исторического лица»: «Отсюда понятно, почему у нас так долго не было истории Петра Великого, несмотря на попытки писать или заставлять писать эту историю... Нельзя было воздвигать здания, когда не было почвы для него; почва для истории великого человека есть история народа». (9, с.420).

Соловьев утверждает, что «у нас в России переход из древней истории в новую совершился по общим законам народной жизни, но с известными особенностями вследствие различия условий, в которых проходила жизнь нашего и западноевропейских народов». В России в т.н. «эпоху преобразований» на первый план выдвигается экономическое развитие, которое при этом отстает от движения государственной и народной жизни. Поэтому ощущается потребность в экономическом перевороте, как «удовлетворяющем главной народной потребности», как «совершившемся вдруг». «Необходимость движения на новый путь была создана; обязанность при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя и вождь явился». (9, с.451).

Петр — «работник» с «мозольными руками», «пребыванием в работе» добывающий народу «хлеб насущный» и «предметы первой необходимости», — таков иконный образ Петра I, сотворенный вернопопданническим воображением историка. «Благодаря успехам нашей науки, мы оставили далеко за собою ребячьи мнения, по которым одному человеку приписывалось то, что являлось общим по непреложным законам народной жизни, — мнения, по которым в вину одному человеку ставились неблагоприятные обстоятельства, бывшие необходимым следствием известных исконных условий развития какого-нибудь народа. Но мы должны признать и значение вождей народных, великих людей: от их искусства зависит уменьшить затруднения, ослабить вредные влияния опасных сторон известного положения, провести народный корабль во время бури без больших потерь». (9, с.464).

Соловьев называет народ «учеником», который должен «учиться» в «начальной школе преобразования» с тем, чтобы «заимствовать плоды цивилизации». «Народный вождь» сам проходит эту практическую школу и заставляет других проходить ее, он несет в себе сознание того, что «его время есть время школы», «школьного учения для народа». «...Петр был сам истый русский человек, сохранивший крепкую связь с своим народом; ...он жил с своим народом одной жизнью и вне этой жизни существовать не мог... За горячую любовь, за глубокую и непоколебимую веру в свой народ этот заплатил вождю успехом, превосходившим все ожидания, силой и славой небывальными...» (9, с.467).

«Вождь народный» — «он первый подставляет свои могучие плечи под тяжесть, отдает всю свою чрезвычайную силу в общее дело, и дело,

благодаря этому вкладу, начинается, идет, народ получает помощь». (9, с.469). Так Соловьев создает образ «великого помощника народного»: «Петр обладал необыкновенным нравственным величием: это величие выражалось в том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников, когда осознал, что необходимо ввести в свой народ силу, до тех пор мало известную и в почете не находившуюся, — силу умственного развития, искусства и личной заслуги... Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный, и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, ...там он схватывался с человеком, как личным врагом своим и позволял себе терзать его». (9, с.483).

Вместе с тем, Соловьев вынужден признать, что «в русской истории был уже пример царственного ребенка, высокодаровитого и страстного, воспитанного подобным же образом: из этого ребенка вышел Иоанн Грозный». «В характере великого человека мы увидали явные признаки того, что общество не могло дать своему члену хорошего воспитания; мы увидели эту темную сторону великого человека; но великий человек остается великим человеком; его величие оказалось в том, что он понял неспособность общества давать хорошее воспитание и употребил все средства искоренить эту неспособность; поэтому история признает за ним высокий титул народного воспитателя». (9, с.491).

Соловьев был убежден в том, что «историк... не позволит себе вооружиться против великого начала, ...выведшего народ в новую историю, к новой жизни; не позволит себе вооружиться против великого человека, провозгласившего это начало и давшего себя ему в вечное служение».

Эту точку зрения Соловьева на Петра I разделял впоследствии и С.Ф.Платонов: «Его личность не оторвана от родной его почвы, он для нас уже не Бог и не антихрист, он — определенное лицо, с громадными силами, с высокими достоинствами, с человеческими слабостями и недостатками. Мы теперь вполне понимаем, что его личность и пороки — продукт его времени, а его деятельность и исторические заслуга — дело вечности». (1, с.473).

Значительно более сдержанными в оценке деятельности Петра I были другие русские историки. Так, Н.И.Костомаров считал, что Петр, как историческая личность представляет «своеобразное явление» не только в истории России, но в истории всего человечества «всех веков и народов». «...В Петре... сама натура создала... человека с неудержимой и неутомимой волею, у которого мысль тотчас обращалась в дело... Петр жил в такое время, когда России невозможно было оставаться на прежней избитой дорожке и надобно было вступить на путь обновления. Как человек одаренный умственным ясновидением, Петр сознавал эту потребность своего отечества и принялся за нее со всею своею гигантскою волею. Петр самодержавен, и в такой момент истории, в какой тогда вступила Россия, только самодержавие и могло быть пригодным. ...Петру помогло более всего его самодержавие, унаследованное им от предков». (2, с. 520-521).

Петр и его реформы стали «камнем, на котором оттачивалась русская историческая мысль более столетия», — считал Ключевский. Научный вопрос о значении реформ Петра превратился в «шумный журнальный и салонный спор» о древней и новой России.

Как отмечает А.Гумилев, «петровская легенда» родилась при Екатери-

не II как легенда о «мудром царе-преобразователе, прорубившем окно в Европу» и открывшем Россию влиянию западной цивилизации. «К сожалению, ставшая официальной в конце XVIII в. легендарная версия не была опровергнута ни в XIX, ни в XX столетиях. Пропагандистский вымысел русской царицы немецкого происхождения, узурпировавшей трон, подавляющее большинство людей и по сию пору принимает за историческую действительность». (13, с.281).

А. Бушков пишет: «Самая грандиозная ложь, пущенная в широкий обиход еще при жизни Петра I, — это уверения, будто Петр первым придумал и ввел многочисленные новшества», и указывает на то, что «эту людочную сказку» подвергали сомнению еще во времена Екатерины (князь Щербатов). «А факты таковы: во-первых, Петр I не придумал сам решительно ничего нового... Петр не «ввел реформы, а принялся с яростью идиота прищипывать и ускорять реформы уже начавшиеся... Цели он вроде достиг — но загнанная лошадь пала, и, стоя над ее трупом, Петр вдруг обнаружил, что примчался вовсе не туда... До Петра Россия вовсе не была отгорожена от остальной Европы никаким «железным занавесом». (5, с.357-358). Все, что сделал Петр, было лишь продолжением преобразований, начатых задолго до его рождения.

Стало стереотипом общественного сознания мнение Соловьева о том, что Петр «Великий» совершил «глубокий переворот» в нашей жизни, обновив русское общество до самых его основ. «Звание преобразователя стало его прозвищем, исторической характеристикой <...> Между тем, у самого Петра долго не заметно такого взгляда на себя. Петр стал преобразователем как-то невзначай, как будто нехотя, поневоле. Война привела его и до конца жизни толкала к реформе», — заметил Костомаров. (17, с.190).

Увлечение молодого Петра военным и, в частности, морским делом, превратилось у него в всепоглощающую страсть. «Петр сразу понял, что в решении вопроса об обладании морем стоит важнейшая политическая задача России того времени... Любимая до страсти Петром мысль о кораблестроении последовательно увлекла его к теснейшему сближению с Западной Европой.» (2, с.290).

Петр прежде всего стремился познакомиться с теми странами, где была развита военно-морская промышленность: с Голландией и Англией. «Попав в Западную Европу, он поспешил прежде всего забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше, по крайней мере оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни», — отмечает Ключевский. (16, с.25).

«Для самого Петра путешествие было последним актом самообразования, — пишет Платонов. — ...Сознавая превосходство Запада, он решил приблизить к нему свое государство путем реформы. Смело можно сказать, что Петр как реформатор созрел за границей». (1, с.515).

Путешествие молодого Петра в Европу положило начало его преобразовательной деятельности. «Молодой Петр, на которого упорядоченная, комфортабельная жизнь в Голландии произвела глубокое впечатление, был захвачен великими планами: сделать из России такую же «цивилизованную» державу, построить такой же морской флот и развить коммерцию, — пишет Гумилев. — ...Стремление Петра в России конца XVII — начала XVIII в. подражать голландцам напоминает поступок пятилетней девочки, надевающей мамину шляпку и красящей губы, что-

бы быть похожей на свою любимую маму. Но как шляпка и помада не делают ребенка взрослой женщиной, так и заимствование европейских нравов не могло сменить фазы русского этногенеза». (13, с.279).

Платонов указывает: «...Историки придают важное значение влиянию на Петра немецкой слободы. Она явилась для Петра первым уголком Европы и завлекла его к дальнейшему знакомству с ней. ...Однако дружба Петра с иностранцами, эксцентричность его поведения и забав, равнодушные и презрение к старым обычаям и этикету дворца вызывали у многих москвичей осуждение — в Петре видели большого греховодника». (1, с.507-508).

Платонов отмечает, что «резкое противоречие меры царя с давними привычками народа и проповедью русской иерархии придало этой мере характер важного и крутого переворота и возбудило народное неудовольствие и глухое противодействие в массе». «В обществе слышался ропот на жестокости, на новшества Петра, на иностранцев, сбивших Петра с пути. На голос общественного неудовольствия Петр отвечал репрессиями: он не уступал ни шагу на новом пути, без пощады рвал всякую связь с прошлым, жил сам и других заставлял жить по-новому». (1, с.517).

В 1700 г. священник Григорий Талицкий публично назвал Петра «антихристом», под этим именем он и вошел в историю русской церкви. «Русский народ видел в своем царе противника благочестия и доброй нравственности; русский царь досадовал на свой народ, но настойчиво хотел заставить его силою идти по указанной им дороге. Одно давало ему надежду на успех: старинная покорность царской власти, рабский страх и терпение, изумлявшие всех иностранцев...», — отмечает Костомаров. «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так; если б я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел Русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей», — заявлял Петр I. (2, с. 298-299).

Голландский путешественник и ученый К. де Бруни, дважды посетивший Россию в начале XVIII века, совершив путешествие от Москвы по Волге к Астрахани, и оставивший подробное описание географии, нравов и культуры страны в своей книге «Путешествия в Московию» (1711 г.), был свидетелем первых шагов молодого Петра на государственном поприще. «Что касается величия русского двора, — пишет он, то должно заметить, что государь, правящий сим государством, есть монарх неограниченный над всеми своими народами; что он все делает по своему усмотрению, может располагать имуществом и жизнью своих подданных, с низших до самых высших, и наконец, что всего удивительнее, власть его простирается даже на дела духовные, устройство и изменение богослужения по своей воле: это уже такая область, касаться которой другие венчаные особы воздерживаются из опасения возбудить против себя духовенство». (15, с.86-87).

Он имеет в виду, что в 1700 г. Петр фактически отменил патриаршество. Интересно, что де Бруни отмечает, что в 1689 г. было в Москве всего 44 боярина, или государственных советников, и он называет всех их поименно. Он свидетельствует: «Время произвело великие перемены в этом государстве, в особенности со времени возвращения царя из путешествия. Прежде всего он повелел изменить род одежды, как мужской, так и жен-

ской, и особенно распоряжение касалось до придворных лиц, которые исправляли там различные должности...»(15,с.91) Примечательно, что голландский посланник при этом прилагает свои рисунки национальной одежды, «так как перемена со временем может совершенно изгладить даже из памяти старинную русскую одежду». «Кроме описанной перемены в одежде, русским приказано было брить бороды; но усы носить дозволяется, хотя придворные чины и другие лица не носят уже и усов. Для того же, чтобы приказание это исполнялось в точности, заведены были особые бородобреи, чтобы они брили бороды без различия всем тем, кого встретят с бородою... Невозможно выразить скорбь, какую причиняло это бритье многим русским, не могшим утешиться оттого, что они потеряли бороду, которую они так долго носили и которую считали признаком почета и знатности». (15, с.91-92).

Несмотря на то, что Петр, как считает Ключевский, был «человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, о расстройстве церкви, чтил и знал церковный обряд», тем не менее многие русские духовные лица ненавидели его «нововведения» и любовь к иностранному; «с реформой Петра протестантская культура стала широко влиять на Русь». «Начатая при Петре европеизация России состояла прежде всего в секуляризации русской культуры, — отмечает Вернадский. — Церковь, которая в русской жизни прежде играла ведущую роль, постепенно потеряла свое значение. Высшие круги общества, которые попали под европейское влияние, больше не нуждались в церкви. Во всяком случае, церковь определенно утратила свое положение главного источника культурной жизни...» (10, с.181).

Вместе с тем сам Петр, не получивший никакого систематического образования и воспитания, не был лишен некоторого художественного вкуса; он тратил много средств на приобретение за границей картин и статуй, был приверженцем классического стиля, но относился к искусству прагматически и субъективно эмоционально. В культурную жизнь общества Петр не внес «новых откровений», так как новые начала культурной жизни начали формироваться еще в XVII веке, здесь он был преемником своего отца и брата. Костомаров отмечал: «Собственно культурная идея не была до такой степени чужда русскому уму, как некоторые думали, повторять с иностранцами, будто бы русский народ ненавидел образованность и вести его к просвещению можно было только страхом, насилием, или, как выражаются ученые немцы просвещенным деспотизмом..., было бы клеветой на русский народ».

Вместе с тем Костомаров отмечает, что «в то время какие-нибудь тридцать лет реформаторской Петровой деятельности не успели образовать эту бездну, которая впоследствии выработалась временем между высшими слоями русского общества и черным народом». (6, с.168).

Петр был первым человеком, решившимся осуществить культурную реформу, и результаты его деятельности были велики: он, прежде всего, дал возможность общения с цивилизованным миром. «Но не следует, однако, преувеличивать этих результатов, — считает Платонов. — При Петре образование коснулось только высших слоев общества и то слабо; народная же масса пока оставалась при своем старом мировоззрении». (1, с.569).

Это привело к культурному расколу в русском обществе. Если до петровских реформ литература, искусство были в равной степени обращены ко всему обществу, имеющему одинаковое религиозное воспитание, то те-

перь для высших слоев общества стала формироваться новая культура, отходящая от церкви и от народной традиции. «В то же время низшие классы остались без культурного руководства, которое они прежде имели». (10, с.187).

Так, В.О.Ключевский писал: «Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика, долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него.» (16, с.16).

Вместе с тем Петр вел свои реформы без заранее составленного плана, сообразуясь, прежде всего, с военными потребностями в своей деятельности. «Невозможно <...> было ждать от Петра заранее составленного и теоретически разработанного плана преобразовательной деятельности. Его воспитание и жизнь не могли выработать в нем склонности к отвлеченному мышлению: по всему своему складу он был практическим деятелем, не любившим ничего абстрактного, — отмечает Платонов (1, с.531). — Петр всю свою жизнь прожил под давлением несочувствия к нему и к его заветным стремлениям со стороны малоразвитого общества. <...>Если дело Петра и не пропало с кончиной его, а стало жить в истории, то причина этого не в непосредственном сочувствии общества, а в полном соответствии реформы с вековыми задачами и потребностями народа». (1, с.561,564).

Петр находился в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. «Но он не был охотник до досужих общих соображений», — пишет Ключевский. Это наложило свой отпечаток на реформаторскую деятельность Петра.

Петр как государь сформировался в неблагоприятной для его политического развития среде, которую Ключевский характеризует как «беспорядочный хлам, состоявший частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветостей и вотчинных привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии понять свое положение в государстве». Политическое сознание Петра ограничивалось «одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности». «Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек...,он не сумел очистить свою кровь... от инстинкта произвола. До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни...Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения: он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега». (16, с. 42-44).

«...Может быть, на нашем веку мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую ступень славы», — говорил Петр. (8, с.363).

Однако, как считает Костомаров, для того, чтобы ввести в России признаки европейской образованности, нужно было, с одной стороны, более или менее продолжительное время, а с другой — надобно было безбояз-

ненно допустить внутри русского общества борьбу понятий, верований и взглядов, надобно было «терпеливо и милостиво сносить противодействия образовательными мерами». Тогда достигнутое таким путем прочно привилось бы к России, вошло бы в ее «плоть и кровь, выработало бы в ней нечто зрелое, своеобразное, самостоятельное, твердое, здоровое». Но Петр не был воспитан для этого, поэтому у него не было цели духовного просвещения народа. «Русские издавна привыкли к своим старинным приемам жизни, они ненавидели все иноземное; погруженные в свое внешнее благочестие, они оказывали отвращение к наукам. Самодержавный царь заставляет их... плевать на то, что прежде имело для всех ореол святости. И русские пересиливают себя, повинуются, потому что так хочет их самодержавный государь». (8, с.521).

Костомаров считает, что ненависть к иностранцам происходила оттого, что иностранцы пользовались и преимуществами и милостями царя более «природных» русских и позволяли себе презрительно обращаться с русскими. В то же время «все стремления Петра сделать Россию европейским государством не только не находили сочувствия в Европе, но возбуждали зависть и боязнь..., на русских продолжали смотреть с высокомерным презрением». (8, с.338).

«Все темные стороны характера Петра, конечно, легко извинять чертами века, пишет Костомаров; справедливо могут указать нам, что подобных сторон еще в большей степени найдется в характере других современников Петровых... Несомненным остается, что Петр превосходил современных ему земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в нравственном отношении не лучше был многих из них...» (8, с.524).

Костомаров заметил, что распоряжения Петра, касающиеся внешней стороны жизни русского общества, раздражали современников и принесли много вреда в последующее время, так как приучили русских бросаться на внешние признаки образованности, часто с ущербом и невниманием к внутреннему содержанию. С другой стороны, его деспотические меры только способствовали упорству, с которым защитники старины противились всякому просвещению. «Русский народ вовсе не так был неприязнен к знакомству со знаниями, как к чужеземным приемам жизни, которые ему навязывали насильно». (8, с.314).

Признавая, что правление Петра Великого открыло в русской истории новый период, благодаря ему Россия стала европеизированным государством и членом европейского сообщества наций; управление и юриспруденция, армия и различные социальные классы были реорганизованы на западный лад. Г.В. Вернадский, вместе тем замечает, что его политика сопровождалась внутренними конфликтами, вызванными кризисом национальной психологии. Новые идеи, которые принесла европеизация России, были восприняты только правящим классом, но не достигли народных масс и, как следствие, возник раскол между «интеллектуалами» и народом. К этому времени русская церковь была уже потрясена расколом и теряла свое влияние. «У Петра не было уважения к традициям и авторитетам... Его первой заботой было благо, и не столько для русского народа, сколько — для государства... И к себе, и к другим Петр предъявлял жестокие требования и ни перед чем не останавливался...» (10, с.153).

А.Бушков считает, что «никакой «культуры» Петр I из Европы и не

пытался заимствовать. «Нововведения в этой области шли по двум направлениям: либо чисто механическое заимствование внешних примет «цивилизации» (бритье бороды, одежда, курение табака), либо обучение предметам, необходимым для решения чисто функциональных задач: военной, технической пользы для государства. ...Петр направил всю свою деятельность на то, чтобы воспитать подданного с деловой сметкой свободного человека и психологией раба. То есть поставил перед собой совершенно нереальную задачу». (5, с.410). В результате «одно из самых страшных последствий петровских реформ — фактический раскол народа и «верхнего мира» на две нации. Возникло две нации, две культуры, два мира...» (5, с.424).

Л.Толстой отзывался о Петре I: «Был осатанелый зверь... Великий мерзавец, благочестивейший разбойник, убийца, который кошунствовал над Евангелием... Забыть об этом, а не памятники ставить». (5, с.428).

Программа преобразований Петра была определена условиями XVII века, которые его сформировали. Северная война, с ее поражениями и победами, окончательно определила направление его внешней и внутренней политики. Война была важнейшим из этих условий. Петр почти весь свой век воевал с кем-нибудь. Война была главным движущим рычагом преобразовательной деятельности Петра, военная реформа — ее начальным моментом, устройство финансов — ее конечной целью, отмечает Ключевский. «...Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом Петра, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него самого, так и для народа. Она имеет очень важное значение в нашей истории..., реформа оказала глубокое действие и склад общества и на дальнейший ход событий... Военная реформа Петра осталась бы специальным фактом военной истории России, если бы не отпечаталась слишком отчетливо и глубоко на социальном и нравственном складе всего русского общества, даже на ходе политических событий». (16, с.59,64).

Соловьев пытается убедить своего читателя в том, что, «будучи полным представителем своего народа, будучи совершенно чужд воинственности, вовсе не гоняясь за славою полководца-завоевателя, занятый мыслью о внутреннем преобразовании», Петр ввязывается в долгую и разорительную войну со шведами за узкую и необитаемую полосу Балтийского моря, «исполняя завещание предков, соединяя древнюю и новую Россию». «...На войну великий царь смотрел гражданским взглядом, именно как подобает правителю; он смотрел на нее как на школу для народа, который хотел занять почетное место среди других народов, не выпрашивать цивилизации как милости, но предъявить не нее свои бесспорные права». (9, с.500).

Петр произвел переворот с целью поднять силы народа во всех отношениях: поднять войско, его победами поднять значение государства извне и добыть море и в то же время «поднять промышленные силы народа», изменив исключительно земледельческий характер русского государства, сделать его богатым. Соловьев убежден в том, что «Петр прямо и для всех понятия указывал своему народу цели его и своей чрезвычайной деятельностью — внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащения страны посредством торговли».

Однако Костомаров по этому поводу замечает, что военные обстоятельства были лишь поводом, что главнейшая деятельность Петра во внутреннем устройстве государства клонилась к возможно большему обогащению казны для доставки средств для ведения войны. Этой цели соответ-

ствовавали почти все нововведения того времени. «У него была цель — создать государство, которое бы не только не боялось нападений и в состоянии было бы от них отстоять себя, но само стало бы грозным для соседей, заставило бы их, если не уважать себя, то опасаться своего материального могущества... Петр считал себя одного умнее всех русских людей... Мы не станем отрицать высоты целей Петра, — пишет Костомаров, — но меры, постоянно употребляемые для этих высоких целей, были ужасны». (6, с.132-133).

Однако, остается неясным, каким образом Петр намеревался обеспечить «внешнюю безопасность» своего народа, непрерывно ведя войны со своими южным (Турция), западным (Польша) и северным (Швеция) соседями за принадлежавшие им территории, тем самым создавая угрозу их политическим интересам, нередко в интересах других стран (например, Англии и Дании). Как отмечает Костомаров: «невynosимые поборы и жестокие истязания, которые повсюду совершались над народом при взимании налогов и повинностей, приводили народ в ожесточение». (6, с.332). Тем более непонятно, как намеревался Петр «обогащать» страну, обложив ее население всевозрастающими тяжелыми налогами (для ведения войны), в том числе и русское купечество, и при этом разрешив беспоплинную торговлю в России иностранным купцам (англичанам и немцам, прежде всего). «Народ разоряется, нищает, зато Россия приобретает море, расширяются пределы государства, организуется войско, способное мириться с соседями. (6, с.521).

А П.Н.Милюков писал: «Ценой разорения страны Россия возведена была в ранг европейской державы... Политический рост государства опять опередил его экономическое развитие». (5, с.430).

В основу экономической программы Петра легла мысль о необходимости подъема производительных сил страны для пополнения казны в военных целях. Но Петр понимал экономику по-своему: «чем больше колоть овец, тем больше шерсти должно давать овечье стадо». «Петр был, кажется, довольно равнодушен к экономической и юридической выработке новой системы обложения... Он не понимал вопроса о согласовании военного расхода с платежными силами народа». (6, с. 124-125). У Петра было два врага казны: дворянин и чиновник, созданные им самим и столь плохо ему служившие. «В своей финансовой политике Петр походил на возницу, который изо всей мочи гонит свою исхудалую лошадь, в то же время все крепче натягивая вожжи», — пишет Ключевский. (16, с.132).

Почти три четверти доходов государства уходило на содержание армии и флота, для этого было введено 28 видов налогов (даже на покупку гробов!), была введена «подушная подать», «раскладка полков на землю» (фактически оккупация собственной страны), «рекрутская» и «постоянная» повинности на «посадских» людей. Именно при Петре началось закабаление крестьян; Указ 1711 г. «О крепости крестьянской» вводит для крестьян паспортную систему. К 1710 г. погибли 15% податного населения страны, во время «Прутского похода» Петра в 1711 г. погибли 27 285 человек (и только 4800 — в боях)! В результате позорного мира с Турцией был потерян Азов.

Что же касается так называемого «государственного устройства», которое, прежде всего, было подчинено также военным интересам Петра, то Соловьев признает: «Ничто так не раздражает, не выводит из себя

человека сильного, как сознание, что всякая сила бессильна против тупой силы закоренелого зла». «В течение нескольких лет нельзя было переменить утвердившихся веками привычек и взглядов», в то время как «движение, переворот, перелом, который испытала Россия в конце XVII — начале XVIII века, был один из самых сильных, какие только знает история». (9, с.630, 653).

В ходе военно-политических преобразований Петра боярство постепенно сливается с так называемым «служилым людом», образуя новое сословие, которое сначала получило польское название «шляхетство», а позднее «дворянство». Но это новое сословие, как заметил Ключевский, «очень мало было подготовлено проводить какое-либо культурное влияние». «В умственном и нравственном развитии дворянство не стояло выше остальной народной массы и в большинстве не отставало от нее в несочувствии к еретическому Западу. Военное ремесло не развило в дворянстве ни воинственного духа, ни ратного искусства... Это был и административный класс, и генеральный штаб, и гвардейский корпус». (16, с.68).

Петр внес новый элемент в «генеалогический» состав дворянства — службу «отечеству», утвердив, что служба — главная обязанность дворянства, что было утверждено «Росписью чинов» («Табель о рангах») 1722 года. «Этот учредительный акт реформированного русского чиновничества ставил бюрократическую иерархию, заслуги и выслуги, на место аристократической иерархии породы, родословной книги... Петр созданием регулярной армии и особенно гвардии дал ему вооруженную опору, не подозревая, какое употребление сделают из нее его преемники и преемницы...» (16, с.76,78). Тяжелые последствия для страны имел петровский указ 1722 г. «о престолонаследии», который отменял традиционный русский принцип «старшинства» и ввергал Россию в череду дворцовых переворотов.

Уже задолго до Петра была «начертана» преобразовательная программа, идущая значительно дальше его реформ. «Все петровские реформы были, по существу, логическим продолжением реформаторской деятельности его предшественников Алексея Михайловича и Ордин-Нащекина, Софьи и Василия Голицына — да и проблемы он решал те же самые, — утверждает Л. Гумилев. — <...>Петровские реформы, являясь по сути, продолжением политики западничества в России, конечно, оказались глубже, чем предыдущие, по своему влиянию на русские стереотипы поведения... Но и при Петре в известном смысле была продолжена русская традиция XVII в.». (13, с.282).

Реформа Петра была его личным делом, «делом беспримерно насильственным», хотя и необходимым. Но Петру принадлежит важная заслуга в том, что он попытался дать власти нравственно-политическое определение, поставив государя в подчинение государству как «верховному носителю права и блюстителю общего блага»; он сам на свою деятельность смотрел как на службу государству, «отечеству». Поэтому и сближение с Европой было только средством достижения этой цели «...Отношение царя Петра к Европе, при всей его восторженности, в известной мере оставалось, если можно так выразиться, потребительским, — отмечает Гумилев. — Известна фраза царя: «Европа нам нужна лет на сто, а потом мы повернемся к ней задом». (13, с.281).

«Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданскому росту, — утверждает Ключевский. — Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушать; они могли его только портить». (16, с.232, 234).

В законодательной и административной реформе Петра не просматривается определенной программы; «цель реформы была исключительно фискальной». Так, созданный им Сенат был отнюдь не государственным советом, а все лишь распорядительным учреждениям по исполнению указаний и поручений государя, простой «государственной управой», замещающей царя в его отсутствие. В.О.Ключевский блестяще подводит итог деятельности «Великого реформатора»: «Петр I своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства: он видел цель государства в *добре общем*, в народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения — в законности, в крепком хранении «прав гражданских и политических»; свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность — служением государству». Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями, так как от своих предшественников он унаследовал два «вредных политических предрассудка»: веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Поэтому он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Однако, в результате Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а «после него она погасла в правительственных умах».

«Ни в московском государственном прошлом, ни в окружавших Петра дельцах, ни в своем собственном политическом мышлении он не находил никакого материала для постройки самобытной системы государственных учреждений. На эти учреждения он смотрел взглядом корабельного мастера: зачем изобретать какой-то особый русский фрегат, когда на Белом и Балтийском морях прекрасно плавают голландские и английские корабли... Но и на этот раз дело пошло обычным ходом всех реформ Петра; быстрое решение сопровождалось медленным исполнением». (16, с. 154-155).

Ключевский утверждал, что «преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни, правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей...». Петр пытался совместить несовместимое в достижении своих целей, стремясь одновременно проводить военную и финансовую реформу и поднять производительность «народного труда». Если первое можно было осуществить силами государства и его учреждений, то второе — «ближе касается общества». «Сорванные с другого склада понятия и нравов, новые учреждения не находили себе сродного питания на чужой почве, в атмосфере произвола и насилия». (16, с.181).

Неудачей закончилась и попытка превратить дворянство в проводника европейской военной и морской техники, оно оказалось неспособным к их восприятию, поэтому редко кто из русских дворян становился инженером или капитаном. «Когда школа рассматривалась, как преддверие казармы или канцелярии, то и молодежь приучалась смотреть на школу, как на тюрьму или каторгу, с которой бежать всегда приятно». При этом «обра-

зовательными средствами побирались, как милостыней, и брали все, что бог посылал». (16, с.224, 229).

Здесь, считает Костомаров, — предел самодержавной власти. Внеся много новых учреждений и «жизненных приемов» в Россию, Петр не мог вдохнуть в нее «новой души», здесь он оказался бессильным. «Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества... Нельзя человека делать счастливым против собственной его воли и, так сказать насиловать его природу. История показывает нам, что в обществе, управляемом деспотически, чаще и сильнее появляются пороки, мешающие пополнению самых похвальных и спасительных предначертаний власти». (8, с.522).

«...Одним словом, — пишет Костомаров, — натворивши множество учреждений, создавая новый политический строй для Руси, Петр все-таки не мог создать живой, новой Руси». Петр задался отвлеченной идеей государства и принес ей в жертву благополучие народа, который для него был «только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства». «Много совершенно им возмутительных деяний, оправдываемых софизмами политической необходимости... Сам Петр оправдывал свои жестокие казни потребностью правосудия, но факты показывают, что не для всех он был одинаково неумолим в правосудии, ...самые его дела внешней политики не отличаются безукоризненною честностью и прямою. Северная война никак не может быть оправдана с точки зрения справедливости». (8, с.523).

При Петре «жутким цветком распустилось пресловутое «слово и дело», отмечает А.Бушков. «Тирания Петра для России в чем-то была качественно новым явлением. Иван Грозный был сатрапом... Петр же создал систему, по которой всякий без исключения был призван винтиком». Он цитирует Николая II, который говорил: «Я не могу не признать больших достоинств моего предка... но именно он привлекает меня менее всех. Он слишком сильно восхищался европейской культурой... Он уничтожил русские привычки, добрые обычаи, взаимоотношения, завещанные предками». (5, с.377-378).

Бушков указывает на то, что Петр вводит в стране такую административно-экономическую систему, которую позднее назовут «государственным капитализмом», а также называет его «родоначальником ГУЛАГа», имея ввиду принудительные работы при строительстве Петербурга и каналов, при которых погибли тысячи человек. «...Беда петровского времени в том, что любая удача, любое толковое предприятие сопровождалось десятком провалов в других областях жизни, массовыми жертвами, казнокрадством...» (5, с. 383).

Всеобщей милитаризацией страны Петр, ликвидировав старую русскую правовую систему, ввел режим «чрезвычайщины» (вершить суд «согласно здравому смыслу и справедливости»), создав «фискальную» систему (священники были обязаны сообщать о содержании исповеди) и установив контроль со стороны армии над местной администрацией.

«Опомнившись от реформы Петра и оглядываясь вокруг себя, сколько-нибудь размышлявшие люди сделали важное открытие: они почувствовали при чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона», — пишет А. Бушков. (5, с.279).

Неудачи его, прежде всего промышленно-хозяйственных реформ,

Ключевский объясняет тем, что «Петр шел против ветра и собственным ускоренным движением усиливал встречное сопротивление». «В его деятельности было нравственное противоречие, которое он не мог побороть, — несходство побуждений с образом действий. Как Петр в своем преобразовательном разбеге не умел щадить людские силы, так люди в своем сомкнутом, стоячем отпоре не хотели ценить его усилий»... Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью... Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времен Петра два века, и доселе неразрешимая», — пишет Ключевский. (16, с.203).

Цели и средства преобразовательной деятельности петровских реформ оставались непонятными народу и вызывали его «глухое противодействие». В то время в народе бытовала легенда о том, что Петр «самозванец», который посягает на чистоту родной веры и родных обычаев. «Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой». (16, с.215).

Ключевский считает, что вопрос о значении реформ Петра в значительной степени есть «вопрос о движении нашего исторического сознания». «Часто даже вся философия нашей истории сводилась к оценке петровской реформы: посредством некоторого, как бы сказать, ученого ракурса весь смысл русской истории сжимался в один вопрос о значении деятельности Петра, об отношении преобразованной им новой России к древней. Реформа Петра становилась центральным пунктом нашей истории, совмещавшей в себе итоги прошлого и задатки будущего. С этой точки зрения по упрощенной систематизации вся наша история делилась на два периода: на Русь древнюю, допетровскую, и Русь новую, петровскую и послепетровскую. ...По смерти преобразователя в обществе, захваченном реформой и обаянием личности, долго господствовало отношение к его деятельности, которое можно назвать благоговейным культом Петра». (16, с. 183-184).

Ключевский отмечает, что деятельность Петра пробудила политическое сознание общества, однако, он предупреждает, что не следует преувеличивать действие на русские умы политической литературы того времени. Петр внес в свою преобразовательную деятельность новое понятие государства и взгляд на науку как государственное средство, которые были положены в основу его программы, но «хорошо сознавал что не выполнил этой программы, сделал более сильным и богатым государство, не обогатил и не просветил народа». (16, с.310).

Платонов считал, что эпоха Петра была обусловлена всем ходом предшествующей исторической жизни России. Поэтому «реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом; Петр не был «царем-революционером», как его иногда любят называть». Петр всю свою жизнь боролся за то, во что верил; это сообщило его реформе черты насильственного переворота. Но, как убежден Платонов, «по существу своему реформа не была переворотом».

Между тем Костомаров был убежден в том, «Петр как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце». Это — преданность той идее, которой он посвятил свою жизнь и свою душу. «За любовь Петра к идеалу русского народа русский народ будет

любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его память». (8, с.524).

«Результаты деятельности великих людей, богатство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает жить дух этих великих людей, — пишет Соловьев. — ...То нетленное наследство, которое оставил он нам, есть пример небывалого в истории труда, силы воли в борьбе с препятствиями, в борьбе со злом, пример любви к своему народу, пример непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в его значение..., пример, страсти к знанию и преданности вере, что обещает народам долголетие, как написано на скрижалях истории». (9, с.583).

Петр в конце жизни оказался жертвой своего деспотизма и самоуверенности. «Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе и не находил для престола надежного лица, для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе и самая воля, — так описывает последние дни его жизни В.О.Ключевский. — Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью и по привычке в ней искал выхода, предоставив исключительно ей назначение преемника. Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой» (16, с.246).

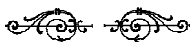
«Шесть царствований на протяжении 37 лет достаточно выяснили судьбу преобразовательного дела Петра по смерти преобразователя, — пишет Ключевский. — Он едва ли узнал бы свое дело в этом посмертном его продолжении. Он действовал деспотически; но, олицетворяя в себе государство, отождествляя свою волю с народной, он менее всех своих предшественников сознавал, что народное благо — истинная и единственная цель государства. После Петра государственные связи, юридические и нравственные, одна за другой порываются, и среди этого разрыва меркнет идея государства, оставляя по себе пустое слово в правительственных актах». (16, с.305).

БИБЛИОГРАФИЯ

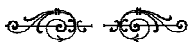
1. Платонов С.Ф. *Полный курс лекций по русской истории*/ С.Ф. Платонов — СПб.: Литера, 1999. — 800 с.
2. Костомаров Н.И. *Русская история в живописаниях ее главнейших деятелей в 4 тт. Т.2.*/ Н.И.Костомаров — М.: Рипол Классик, 1998. — 576 с.
3. Россия XV–XVII глазами иностранцев. — Л.: Лениздат, 1986. — 543 с.
4. Бушков А., Буровский А. *Россия, которой не было. (2) Русская Атлантида.* / А. Бушков. А. Буровский — М.: Бонус, 2001.
5. Бушков А. *Россия, которой не было.* (А. Бушков — М.: Олма-Пресс, 2000. — 608 с.
6. Костомаров Н.И. *Исторические монографии и исследования в 2 кн.* / Н.И.Костомаров — М.: Книга, 1989. — 339 с.
7. Ключевский В.О. *Сочинения в 9 тт. Т.3. Курс русской истории. Ч.3.*/ В.О. Ключевский— М.: Мысль, 1988. — 414 с.

8. Костомаров Н.И. *Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей в 4 тт. Т.3.* / Н.И.Костомаров — М.: Рипол Классик, 1998. — 576 с.
9. Соловьев С.М. *Чтения и рассказы по истории России* / С.М. Соловьев— М.: Правда, 1989. — 767 с.
10. Вернадский Г.В. *Русская история* / Г.В. Вернадский — М.: Аграф, 1997.— 544 с.
11. Грушевский М.С. *Очерк истории украинского народа* / М.С. Грушевский — Киев: Лыбидь, 1990. — 597 с.
12. Ефименко А.Я. *История украинского народа* / А.Я. Ефименко — Киев: Лыбидь, 1990. — 509 с.
13. Гумилев Л.Н. *От Руси до России: очерки этнической истории* / Л.Н. Гумилев — М.: Рольф, 2000. — 320 с.
14. Забелин И.Е. *Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях*. В трех книгах. Книга первая. Государев двор или дворец, / И.Е.Забелин — М.: Книга, 1990. — 416 с.
15. Россия XVIII глазами иностранцев. — Л.: Лениздат, 1989. — 544 с.
16. Ключевский В.О. *Сочинения в 9 тт. Т.4.* / В.О. Ключевский — М.: Мысль, 1989. — 398 с.
17. Костомаров Н.И. *Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей в 4 тт. Т.4.* / Н.И. Костомаров — М.: Рипол Классик, 1998. — 544 с.

Севаст ополь



*Управление «Берегов Тавриды», крымские
писатели поздравляют коллегу
МИХАИЛА СЕМЕЧОВИЧА КОЛЕСОВА
с юбилеем, желают здоровья и
новых творческих свершений!*



Феликс ЛАЗАРЕВ,
доктор философских наук

СЛАВЯНСКОЕ ДРЕВО: КНИГА СУДЕБ

Часть пятая*

ВНИМАТЬ БЫТИЮ

Обреченный на свободу

Жизнь — это неожиданность. Ведь мы ее не ждали. И потому наше бытие — странный, завораживающий, загадочный дар. Как говорит Мераб Мамардашвили, нет никаких причин к тому, чтобы мы были, и тем радостнее быть, и тем больше продуктивной гордости можно от этого испытать. Но парадокс нашего повседневного существования состоит в том, что мы этот дар — в заботах о хлебе насущном — не замечаем, не отдаем себе отчета в его явленности нам. Потому-то, как учат экзистенциалисты, человеческое в нас открывается не само собой, а через усилие, душевное напряжение. Смысл этого усилия заключается в переходе от погруженности в мир каждодневных забот и мелочных интересов к тому, что может глубоко захватить человека, его душу и его сердце. А по-настоящему захватить его может только то, что составляет основное занятие человека в мире — его встреча с метафизической подоплекой жизни. Это встреча с тем, что захватывает и потрясает вас — с красотой во всех ее трепетных проявлениях, с тайнами жизни, с человеческим самопожертвованием, с любовью, с загадками мироздания. На первый план выступает сам факт нашего присутствия в мире, неожиданность, непостижимость дара нашего индивидуального бытия в его открытости к окружающей реальности.

Экзистенция — это и есть в сущности встреча с метафизикой. Речь идет о таком *способе жить*, о таком мироощущении и миропереживании, благодаря которому *бытие* как тотальность только и может открыться человеку. Бытие, став предметом нашего переживания, захватив и заволаговив нас своей абсолютной значимостью, порождает то, что иногда называют *осененностью бытия*. Это — зрелый, этически ориентированный ум, т.е. мудрость, это полнота переживания жизни, гармония, духовное здоровье, бросающее свой ответ на все, с чем сталкивается индивид в своих земных делах и культурных практиках. *Оказатся в свет бытия*, внимать ему, вслушиваться в его космическую музыку, открывать его тайны, скрытые ритмы и симметрии — только на этом пути может состояться человек, реализовать сокровенные и непроявленные индивидуальные возможности.

* Продолжение. Начало см. «Берега Тавриды», № 4, 1997; № 2–3, 1998; № 3–4, 1999; № 4–5, 2000.

Экзистенциалисты сделали удивительное открытие в философии: они установили, что человеческое *сущест вование* предшествует его *сущност и*. Человек, в отличие от животного, не предопределен, не завершен, он, как чистая экзистенция, — есть пространство возможностей, он устремлен в будущее. Сущность ограничивает, приковывает индивида к каким-то социальным мирам, системам, порядкам, мироустроительным связям и отношениям. Существование — напротив, есть самобытность и абсолютная свобода, через которую и благодаря которой человек становится вестником бытия, носителем универсальных начал и потенций в самоосуществлении. Экзистенция, пишет О.Болльнов, — означает то самое внутреннее ядро человека, которое остается нетронутым даже тогда — и вообще только тогда по-настоящему познается, — когда человек теряет все, чем может владеть в этом мире и к чему может быть сердечно привязан, или когда все это оказывается иллюзорным.

Разорвать напрочь связанные в нашем индивидуальном бытии сущность и существование — вот в чем проблема, вот в чем искусство жить. Животному его сущность задана от рождения. Иное дело — человек. Ни его судьба, ни его образ жизни, ни профессия не запрограммированы. Индивид в принципе свободен для выбора своего пути, своей сущностной самореализации. Жан Поль Сартр не устал повторять: *человек обречен на свободу*.

Что это значит? Человек делает сам себя, он — свой собственный замысел, свой собственный проект. Свобода — не просто некое свойство человеческой натуры, она неотделима от самого его бытия. И лишаясь свободы, он перестает быть *homo sapiens*. Любое сущностное определение человека формируется, выстраивается, задано же нам лишь одно — наше существование. Человек в потоке своего жизненного времени оказывается прикованным к своей конечной сущности, которая им не выбирается осознанно, а как бы навязывается социумом, стандартами массовой культуры, нищенскими условиями жизни. Только через очищение своего сознания человек может прийти к критическому осмыслению тех конкретных пространств бытия, в которые волею обстоятельств встроено индивид. В результате человек должен оказаться в особой смысло-жизненной позиции — один на один с бытием, с *собст венным сущест вованием*. Нужно разорвать жесткую связь между конкретной социальной сущностью и своим абсолютным существованием. Зачем? Затем, чтобы не быть рабом тех или иных конкретных обстоятельств своей жизни, тех или иных своих конечных целей, интересов и ориентаций, тех или иных светлых потребностей и притязаний, не быть заложником чьих-то бредовых фантазий и утопий. Та или иная наша конкретная социальная сущность, пронизывая все наше существование, внутренне связывает волю, приковывает к случайным обстоятельствам. Разрыв с тем или иным топосом нашего бытия, с теми или иными ценностями, утрата тех или иных привилегий, званий, вещей, неудача в достижении желаемых целей нередко переживается человеком как жизненная трагедия, как удар судьбы, катастрофа. В этом случае избежать такого переживания случившегося можно только одним способом — отказаться самым решительным образом от отождествления, как правило, неосознаваемого нами, нашей конечной сущности с самим фактом существования, увидеть более глубокую иерархию ценностей, включая ту, предельно широкую, которая открывается в ситуации «лицом к смерти». И только тогда человек становится по-настоящему свободным и абсолютно ответственным за свое бытие существом.

Человек как преодоление

Человек — это преодоление. Ежедневное и ежечасное преодоление силы земного притяжения плоти. Часто утверждают, что земные радости и приземленные ценности, сиюминутные желания — это нормально и даже хорошо. Чем плоха, к примеру, телесная любовь? Кто сказал, что в этом есть что-то предосудительное? Вообще — разве нам недостаточно, чтобы иметь лишь земные блага? К чему эти старомодные разговоры об идеальных началах жизни, идеальной дружбе, любви? А

я спрошу: а разве вы не желали бы, чтобы вас любили возвышенно, необъятно, всей силой души, всей мудростью сердца? Разве вы не хотели бы, чтобы любовь к вам другого человека выражалась в каждом помысле, порыве, жесте, вздохе? Чтобы эта любовь была нежной и чуткой, отзывчивой и одухотворенной, чтобы она затрагивала самые сокровенные тайники вашего сердца, самые заветные мысли и желания, возбуждала высокие цели и направлялась благородными идеалами? Чтобы в свете этой любви небосвод вашей жизни казался бесконечным, как великое путешествие по странам, континентам с попутным ветром? Чтобы в ней мечта слилась с явью в творческом порыве, чтобы вдохновение освещало ей путь, и она озаряла дорогу жизни, чтобы звала к непреклонности в отстаивании добра и справедливости? Чтобы она была честна, искренна и открыта в такой степени, когда в ее свете можно было бы судить весь мир за любые грехи, малые и большие, за любую праведность, за любое несовершенство в жизни, в людях, в человеческих отношениях? Чтобы она была плодотворной и взывала к творчеству — к сотворению прекрасных вещей и новой плоти? Или вы все же предпочли бы, чтобы любовь к вам была всего-навсего игрой условных и безусловных рефлексов, управляемых центрами в головном и спинном мозге? Это ваше право. Но тогда вы не подпадете под определение человека. Тогда вы — другое, хотя, разумеется, столь же законное на Земле существо. Понятно, что весь вопрос в том, как определить смысл слова *человек*. Это понятие всегда можно (для нашего удобства и комфорта) определить так, что каждый из нас при любых качествах подпадет под это определение. Но если определить человека как универсальную самость, то в этом случае человек — только такое существо, которое способно к преодолению земного тяготения плоти.

Кажется, я догадываюсь, что значит нам, людям, *истинно жить* на Земле. Не о том ли речь, чтобы подружиться со счастьем? Знаю, знаю эту смешную и пугливую птицу, которая прилетает к нам вечно невпопад: то слишком рано, неожиданно, на заре, захватывая нас врасплох, сонными, то слишком поздно, в сумерки, когда красочный карнавал жизни уже закончен, оставив нас в вечном плену соблазнов. И тогда мы вопрошаем мудрость, взываем к ее сострадающей и созидающей силе.

КРИЧИТ ГОРЛИЦА НА ЗАРЕ

(Беседа мудреца Симеона со своим учеником)

— В последнее время в моей душе все чаще шевелится мысль: правильно ли я живу?

— Если у тебя появляются вопросы такого рода, если в тебя вселилась извечная «тревога судьбы», то я приоткрою одну простую и, может быть, самую основную истину: а не в том ли суть, что ты вообще не живешь, но лишь присутствуешь в потоке бытия?

— Это касается только меня?

— Думаю, что не только. Многие существуют, но им не дано знать главного, — они *не живут*. Можно сказать и по-другому, более мягко: они, вообще-то говоря, по-своему живут, как живут травы, звери, но при этом не ведают об этом; они не догадываются, что им даровано такое чудо как *жизнь*. И посему сам повседневный факт своего существования они и принимают за жизнь. Но жизнь — это не прозябание в повседневности.

— Не этот ли мотив встречается у Григория Сковороды и в «Мертвых душах» Гоголя?

— Параллели можно найти не только у них. Здесь важно другое: у каждого мыслителя свой оттенок, свой ракурс этой мысли, поэтому мне не хотелось бы сейчас углубляться в историю вопроса. Главное в том, что эта проблема существует в реальности.

— Но откуда можно заключить, из каких фактов, что многим людям неизвестно, что значить жить?

— Все дело в том, что если бы они действительно знали, то они вели бы совершенно иной образ жизни, они бы иначе существовали, по-другому выстраивали бы свое присутствие в мире. По тому, чем они занимаются, как относятся к самому факту своего бытия, как самоутверждаются, — по всему этому видно, что жизнь как подлинность — для них тайна за семью печатями.

— Но что следует сделать, чтобы начать жить?

— Первым шагом человека должно быть: пробудиться к жизни, сделать шаг к мудрости, обрести пробужденное сознание и тем самым состояться как человеку.

— Из чего видно, что мы все еще не пробудились?

— Из того, что мы по-настоящему не осознаем самую соль — что каждый из нас *где-то есть* и что непременно наступит момент, когда нас нигде в этой вселенной не будет. Человек существует не вообще, жизнь всегда имеет свое место, свой корабль и свой маршрут. Жить — значит быть душевно и чувственно открытым миру, замысливать свой путь и двигаться по нему. Идти не куда-то, а к себе, научиться быть просто *здесь*.

— Идти к себе — это трудно?

— Идти — нетрудно, трудно остановиться, понять, что никуда не надо идти. Во сне вы куда-то идете, но чтобы проснуться, никуда не надо идти, нужно просто пробудиться к жизни наяву.

— Что служит основанием, чтобы говорить о том, будто мы не осознаем главного?

— То, что мы всю жизнь занимаемся бессмысленными делами. А это видно из того, что, занимаясь чем-то, мы не задаем себе прямого вопроса: *а какое от ношение эт и наши дела имеют к самому факту у нашего бытия в мире, к тому, что о мы все еще где-то есть*. Мы избегаем ясного и убедительного ответа на собственный вопрос: действительно ли то, что делаем, открывает нам *горизонт жизни*, ее бесконечную суть или же это есть всего-навсего лишь профанация жизни?

— Вы хотите сказать, что чаще всего мы обманываемся, лишь делаем вид, что занимаемся серьезным делом, т.е. делом самой жизни?

— И не только делаем вид, но и даем увлечь себя чем-то прямо противоположным ценностям жизни. Вот что говорил Иван Ильин: «Современное нам человечество не ценит того, что ему дается; не видит своего естественного и духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нем заложено. Оно ценит не внутреннюю силу духа, а внешнюю власть — техническую и государственную. Оно хочет не творить, создавать и совершенствовать, а владеть, распоряжаться и наслаждаться. И поэтому ему *всегда мало и всего мало*: оно вечно считает свои “убытки” и ропщет. Оно одержимо жадностью и завистью и о благодарности не знает ничего... Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни, и мы увидим, что каждое мгновение как бы испытывает нас, — созрели мы для благодарности и умеем ли благодарить. И тот, кто выдерживает это испытание, тот оказывается человеком будущего».

— Полагаете ли Вы, что суждения русского философа справедливы и в отношении XXI века?

— Пока в жизни человечества мало что изменилось. Нам всем не хватает истинно философского отношения к жизни как ценности, т.е. мудрости.

— В чем смысл философии как движения к мудрости?

— В том, чтобы учиться внимать бытию — с бесконечным восторгом, удивлением и благодарностью.

— И ни в чем другом?

— Решительно ни в чем.

— Но что значит *жит ь*?

— Это значит непосредственно касаться обнаженной реальности, встречаться с бытием, с тем самым бытием, которое открывается человеку посредством его собственного сердца.

— А непосредственно переживать бытие — это и значит жить?

— Да.

— Не скрыт ли здесь некий логический круг? Чтобы жить, надо пробудиться.

Пробуждение же означает встречу с реальностью. А это и означает жизнь. Так иной может рассуждать о жизни, сам не зная, что это такое.

— Да, здесь возникает нечто вроде круга, и связано это вот с чем. Жизнь относится к тем базовым феноменам нашего бытия, которые невозможно определить словами. Смысл и содержание явления жизни нельзя передать, выразить в понятиях. Встреча с бытием — это когда вы потрясены, когда вы испытываете радость, может быть, экстаз, ощущение полета, но вы не можете это рационально описать. Это напоминает ситуацию с ребенком, который приходит к вам и спрашивает, что такое “сладкое”, что такое “горячее” и т.п. “Сладкое” нельзя определить словами. Смысл здесь познается через личный опыт, через переживание.

— Что нужно, чтобы пробудиться к жизни?

— Я посоветовал бы для начала соблюдать три запрета:

1) не заниматься бессмысленной работой, т.е. тем, что не имеет прямого отношения к жизни как дару, как величайшей духовной и онтологической ценности. Разве не бессмысленно, например, что человечество тысячи лет ведет непрерывные войны, вместо того, чтобы созидать и обустроить землю, превращая ее в большой цветущий сад; удивительно, что война до сих пор остается важнейшим инструментом разрешения человеческих проблем;

2) не обманывать самого себя (не надо думать: авось, то, чем я занимаюсь, и есть настоящая жизнь), а формировать в себе начала мудрости;

3) не загромождать пространство своего бытия ненужными вещами. Бессмысленная работа съедает время жизни, самообман мешает пробуждению, ненужные вещи порабащают и делают заложниками своего никчемного существования. (И тогда вещи живут за нас и вместо нас).

— Жить — значит напрямую прикасаться к реальности. Является ли любовь таким прикосновением?

— Лев Толстой как-то заметил: любовь есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная. Я думаю, что любовь, будучи явлением жизни, многолика, как многомерен сам человек; и в каждом своем новом измерении человек любит по-своему и по-своему ждет откровения, новый свет и благоухание.

— Что главное в любви — любить или быть любимым?

— Если верить Ф.Ларошфуко, счастье любви заключается в том, чтобы любить; люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают. Но, пожалуй, верно и другое: отсутствие взаимности делает твою любовь иссушающей и бессильной. Кроме того, в любви очень важно время твоей жизни, на которое она приходится: безответная любовь делает молодого человека юнцом, а пожилого — стариком. Я предпочел бы поэтому любовь не иссушающую, а побеждающую, ту, что на изломе наших духовных переживаний источает невиданную энергию, творящую новую реальность и новые возможности прикосновения.

— Когда мы любим, это что: самоутверждение или самоутрата?

— Если конец драмы бытия — это начало чего-то другого в непрерывной цепи жизни, то естественнее говорить о самоутверждении; ежели конец — это провал, онтологический разрыв с самой реальностью, то, любя, мы трагим себя.

— «О любви не говорят...»?

— Нет, о любви не «все сказано». Можно утверждать даже, что о любви ничего не сказано. Ведь любовь, также как и сама жизнь, неизреченна.

— Секс — это любовь. Кто будет с этим спорить?

— Это любовь в том смысле, в котором говорят: “я люблю орехи в сахаре”.

Небесвод любви бесконечен, орехи же быстро приедаются. Во всем остальном — нет различия.

— Любовь связана с игрой?

— Ни одна любовь не обходится без игры и даже без плутовства. Кто-то разбрасывает сети, кто-то прибегает к уловкам обольщения. Но в итоге ловец сердец сам попадает в сети. И это уже серьезно. В этом-то и вся прелесть: здесь серьезность подменяется игрой, а плутовство выдает себя за серьезность. Се ля ви.

— Такова жизнь?

— Для жизни все игры хороши, кроме скучных. Жизнь – волнующая встреча с бытием и *игра с бытием*, в ходе которой самоосуществляются все дремлющие в вас родовые, сущностные силы и способности. Таков *смысл творчества*.

— Если творчество предполагает игру, то не есть ли это как раз та самая “бессмысленная работа”, которая отдаляет нас от естества жизни и уносит в заоблачные выси?

— Творчество есть *испытание*, некое экспериментирование духа, оно неизбежно связано с риском, оно внутренне проблематично. Здесь никогда не знаешь наверняка, что это: “игра в бисер” или постижение бытия. Весь духовный опыт Гете – это постоянное бегство от любви к творчеству, от творчества – к вечно зеленому древу жизни. По кругу. Толстой, как великий мудрец, никогда не ставил творчество выше жизни, но всю жизнь посвятил творчеству, которое не укладывалось ни в какие рамки традиционного человеческого бытия. Много раз он разочаровывался в творчестве, в самой его сути. И вновь понимал, что только инстинкт творчества придает его обыденному существованию высший смысл. В конце концов, те *дома*, которые создает зрелый ум, посвятивший себя идеалу, никогда не остаются необитаемыми. Прочность или брэнность творений ваших грез зависит только от глубины вдохновения.

— И все же, что надо делать, чтобы пробуждение к жизни состоялось?

— Думаю, что речь должна идти о трех вещах: первое – понять ту истину, что мы *живем*, второе – понять, что наша жизнь *быст рот ечна*, и третье – что она имеет – в конце концов – *мет афизический* смысл. И тогда к нам придет то, что иногда называют экзистенцией, т.е. бытием человека с пробужденным сознанием. Но при этом не надо пытаться объяснять жизнь умом. Мы же не стремимся понять умом голубое небо, дуновение морского ветра, закат солнца, крик горлицы на заре. Подобно этому, не надо ставить цель постичь умом наше экзистенциальное присутствие в мире. Дело не в том, что смысл экзистенции абсолютно невыразим в понятиях и рациональных категориях, а в том, что он не нуждается в рационализации. Когда вы, припадая к чистому источнику, утоляете жажду – это просто акт жизни. Жизнь как актуальность – цепочка актов переживания. Но экзистенция – не есть лишь чувственная открытость бытию, но и предугадывание бездны, и в силу этого – трансцендирование, нацеленность на смыслы, на поиск мостов через бездну. Это – прыжок через зияющий провал. Поэтому экзистенция – это бытие-в-мире как универсальный и метафизический акт. Это – переживание целостности мира и красоты мгновения, когда исчезает различие между частью и целым, между важным и пустяком, между минутой и вечностью.

— Вот вопрос: как понять ту истину, что мы живем?

— Через уразумение того, что *жизнь – эт о дар*. А дар – это всегда чудо. К чуду надо относиться трепетно, не пытаясь извлечь из него пользу. Дар – это то, что не может быть – по определению – предметом экспериментирования. А. Швейцер не уставал говорить о благоговейном отношении к жизни вообще. Давайте начнем хотя бы с благоговения перед фактом своей собственной жизни. Удивительно: ни с того – ни с сего нам даровано чудо жизни, которое мы, конечно, не заслужили и которого, может быть, недостойны. Осознать подлинную ценность жизни как чудесного и незаслуженного дара – это и значит сделать первый шаг к пробуждению. Если же поймем, что жизнь дарована нам не навсегда, что она обладает способностью быстро протекать – сделаем и второй шаг. Вот две тайны, о которых знаем с детства и которые, тем не менее, скрыты от нас, ибо все еще плохо представляем, какие заключения следует делать из этих тайн.

— А какие из этого вытекают следствия?

— Признаком того, что эти тайны открылись в нашем сердце, служит переживание бытия как высшей радости. Если радость исчезает, значит, мы уклонились от верного пути, значит, обманываем сами себя, будто все нормально и жизнь продолжается.

– Из того, что жизнь быстротечна, по-моему, следует скорее печаль, чем радость.

– Грусть – оборотная сторона радости. Склонность к радости и к гармонии с окружающими, способность к радости – это и есть счастье. Но счастье всегда мимолетно и внезапно, нечаянно... Оно есть своеобразная компенсация быстротечности жизни. Жизнь, которая нам подарена, именно ввиду ее конечности и может переживаться как счастье. Больше всего мы ценим то, что быстро кончается. У счастья нет “завтра” и его нельзя повторить. Оно говорит нам: данное мгновение абсолютно и единственно. Мы в гостях у мира, а счастье – в гостях у нас. Окружи его заботой, но не удерживай. Оно не всегда будет с тобой, ведь ему пора на вершину высокой горы, где оно обитает и откуда ты можешь видеть его в ясные солнечные дни. Живи так, чтобы каждое прикосновение к реальности пронизывало тебя током счастья, как касание руки любимой.

– А третья тайна?

– Третья тайна заключается в том, что нам подарена не только жизнь, но и весь мир. Мы – это бытие-в-мире. Мы живем не на Земле, а во Вселенной. Мы – ее абсолютная точка напряжения, ее живой центр. И осознание этого наполняет наше существование особой, неземной радостью. Просторы твоего бытия в мире бесконечны, и ты – не песчинка в темноте вселенской ночи, а полноправная часть гармонии бытия. Чувствуй себя жителем Универсума, путешественником по мирозданию.

– В этом и заключается метафизический смысл жизни?

– Это – шаг в нужном направлении. Ощущение полноты жизни невозможно без космического сознания у человека. Но это только начало трансценденции. Последняя питается верой в высшие смыслы.

– Какие именно?

– Я бы мог рассказать о некоторых из тех, в которую верую я. Но дело-то вот в чем. У каждого человека могут быть свои представления на этот счет. Для пробуждения к жизни важен сам факт трансцендирования, факт обращенности к высшим смыслам, наличие света, проникающего в вашу духовную субстанцию.

– Если говорить о трех тайнах, то какая должна быть последовательность в их постижении?

– Здесь – триединство; нельзя понять одно в отрыве от другого. Это лишь разные измерения, разные интервалы одного и того же. Здесь нет восхождения по ступеням, но слитность, целостность переживания жизни.

– Я не пойму только одного, во всем этом есть какой-то парадокс. Ведь я как обыкновенный индивид, вообще говоря, нахожусь все время в мире, среди людей, вещей и явлений. Почему же мой обыденный контакт мы не можем назвать *прикосновением к реальности*?

– Человек чувствует иначе, чем вещь. Одна вещь может взаимодействовать с другой, вступать с ней в контакт, но это не значит, что она прикасается к реальности как целостности, что она встречается с бытием. Только человек способен быть *вовлеченным* в смысловые события мира. Жить – это постоянно осознавать, что мы делаем, т.е. обнаруживать себя самого в реальности, быть ясным для самого себя. Испанский философ Ортега-и-Гассет говорит: камень не чувствует и не знает, что он камень: для себя самого он совершенно слеп; напротив, жизнь – это открытие, не утверждение бытия, а понимание, отдавание себе отчета в том, что является ею. Бесперывное открытие, которое совершаем относительно себя и окружающего мира, постоянное и коренное присутствие при всем, что бы ни делали, отличает жизнь от всего остального. Подлинное присутствие в мире начинается с умения останавливать взгляд на самом жизненном потоке, на его значимости и чувственной наполненности.

– Этому умению приходится учиться?

– Природа человека такова, что он склонен забывать о том, что он живет. У него есть много способов не соприкасаться напрямую с реальностью, уходить от нее, прятаться за различного рода ширмами, отгораживаться “миром посредников”, машинами, приборами и т.п. Как часто он просто уходит в мир грез, в виртуальную реальность; он боится соприкасаться с бытием. Он всегда в одеждах, скафандрах,

масках. В конце концов, человек не только привыкает существовать в искусственном созданном мире, но полностью отождествляет свой образ мира и свою искусственную жизненную оболочку с самим миром. И поэтому, когда вдруг встречается с реальностью в ее обнаженной сути непосредственно – один на один – не узнает ее, пугается, отворачивается. Между человеком и действительностью всегда расположена некая сетка понятий, представлений, мифов, некая система практик (предметных, языковых, культурных). Экзистенциальное присутствие в мире предполагает поэтому *вопросание к бытию*. Для этого человек должен все время как бы *заглядывать* за свой концептуальный экран в попытках найти способ оказаться “лицом к объекту”. Отчуждение человека от жизненных форм деятельности, от культуры и от своей собственной экзистенциальной сущности порождает одиночного человека, который относится к самому себе и к другим людям как к вещи. Чтобы преодолеть противоречие в бытии человека между жизнью и социумом, между жизнью и наличными формами культуры, возникает необходимость “заглянуть” под маску различного рода мифологем, форм культуры, стереотипов повседневности. Вот этому и следует учиться – искусству жить, искусству поворачиваться *лицом к жизни*.

– Учитель, а что значит встреча с Богом? Это – тоже встреча с жизнью?

– Господь дает жизнь. И нельзя встретиться с жизнью, минуя Творца. Почувствовать всю глубину жизни – значит, открыть себя Трансцендентному. Но в чем конечный смысл нашего одинокого предстояния перед Господом – разговор особый.

Россия в XXI веке: философско-исторический прогноз

Франсуа Ларошфуко как-то заметил: “На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определенного расстояния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными только издали”. Сегодня очевидно, что для каждого случая восприятия жизни нужно подбирать свою оптику постижения и отыскивать нужную позицию. Это касается и нашего понимания потока истории.

Мы не живем в свете истины, скорее – в полумраке слегка проступающих образов, грез и иллюзий. И лишь временами дымка бытия пронизывается ослепительными молниями истины. Так же, как мы часто заблуждаемся в отношении настоящего, мы плохо понимаем прошлое. Восприятие исторического времени всегда опосредовано. Момент настоящего слишком подробен и единичен, чтобы мы могли осознать его в его *сущест венных* и *всеобщих* чертах; момент прошедшего слишком отдален от нас, чтобы представить исторические события и явления в их подлинном контексте. В первом случае мы расположены слишком близко к реальности истории, и поэтому картина целого смазывается и дробится в восприятии, во втором случае слишком удалены от того, что когда-то случилось. Возможен ли “интервал фокусировки”, когда ясно и определенно видим то, что пытаемся рассмотреть, понять, осознать? Полагаю, что такой интервал существует. “Историческое настоящее” имеет свои границы схватывания в мысли. Возможно, они составляют промежуток в 10 лет в одних случаях, два-три года – в других.

Эффект помутнения восприятия или изменения перспективы видения касается не только нашего познания жизни общества в потоке истории, но и восприятия нас самих спустя определенный отрезок времени. Макс Фриш в “Нашей жажде истории” отмечает: “Каждый человек, не только писатель, придумывает свои истории – только в отличие от писателя, он принимает их за свою жизнь – а иначе нам не представить то, что приходит нам в голову, а не то, что пережито, опыт нашего “Я”. Вот что я имею в виду: опыт – это то, что якобы произошло с нами... Опыт – это мысль, а мысль – это и есть настоящее событие, прошлое вымысла, который не состоялся, некий проект прошлого”. У каждого – свой “проект прошлого” и не только относительно своей жизни, но и пережитого исторического времени. Одни

вспоминают, как они уютно жили при социализме, другие в прошедшем видят только тоталитаризм и репрессии, третьим запомнились романтические времена покорения космоса, небывалый взлет науки, образования, духовного творчества.

Понятно, что человек способен отражать ткань исторических событий в пределах заданной интеллектуальной перспективы, лишь занимая ту или иную познавательную позицию, ограниченную наличным горизонтом данностей современной ему культуры. Поэтому принято говорить, что никто не может выпрыгнуть за границы своего времени. Но тут возникает ряд вопросов. У всех ли современников одинаков “угол зрения”, интервал исторического видения? Возможно ли историческое предвидение? Возможны ли провидцы грядущих событий и процессов? Если даже прошлое видится в дымке наших предрассудков и мировоззренческих установок, то что говорить о наших возможностях прогнозировать ближайшую перспективу истории!

Отвечая на первый вопрос, заметим, что в том или ином обществе существует стихийно сложившиеся или сознательно внедренные стереотипы восприятия социальной действительности. В этом случае “угол зрения” определенных групп людей совпадает. Но всегда существуют и “инакомыслящие”, чьи взгляды на ход событий резко отличаются от общепринятого. Что касается возможности предвидения, то не нужен даже вдохновляющий пример Нострадамуса, достаточно сослаться на факт существования законосообразностей, тенденций в социальной эволюции, чтобы признать, что прогнозирование все же возможно.

При прогнозировании социальной истории обычно используются разные методики и методологии. Среди них можно выделить два наиболее распространенных подхода. В одном случае используется метод экстраполяции количественно фиксируемых характеристик изменения тех или иных показателей, например, отслеживание темпов прироста населения в тех или иных регионах мира. Вторая методика опирается на фактор цикличности тех или иных процессов, например, на влияние циклов солнечной активности на определенные процессы в области социальных отношений, в деятельности творческих людей и т.п. Здесь можно говорить о “фазовой методологии”. При этом следует помнить, что любой социально-исторический прогноз носит вероятностный характер, следовательно, он неизбежно включает в себя элемент погрешности.

В данном случае я попытаюсь применить именно этот второй подход. Дело в том, что в историческом бытии России просматривается некая удивительная, если не сказать странная цикличность: каждые десять лет у нас что-то случается такое, отчего порой волосы дыбом встают. В самом деле, то вдруг нагрянет революция, то голод, то брат идет на брата, то объявят социализм, то коллективизацию, то перестройку. Все хотим как лучше... В этой череде событий можно заметить некоторые любопытные детали даже, так сказать, математического свойства. Например, все начинается, как правило, на третий год десятилетия (плюс-минус один год), а завершается на седьмой. Обратимся к исторической хронологии событий. 1903 год – начало первой русской революции, 1907-й – ее позитивное завершение, после чего события идут как бы по проторенной предшествующим тектоническим сдвигом колее, но лишь до 13-го года (плюс один год). В 14-м начинается первая мировая война, которая завершается (для России) незабываемым 17-м (любопытно: третий год – всегда как бы зародыш нового цикла, новой космогонии, седьмой год – это некий итог, кульминация, потом события идут на спад или развитие, в продолжение точки апогея). С 17-го по 23-й (год фактического ухода Ленина из реальной истории) – это завоевание и закрепление того, что дала Октябрьская революция. В 23-м к власти приходит Сталин, до 27-го идет борьба за удержание и укрепление этой власти, после этой точки – Сталин – единоличный правитель. Дальнейшее укрепление власти и новая политическая и экономическая стратегия Сталина более или менее спокойно набирает обороты до 33-го – 34-го. 17-й съезд и убийство Кирова – сигнал для небывалой в истории России полосы политических репрессий, кульминацией которых стал 37-й год. Само это словосочетание для российского слуха стало символом. Конечно, репрессии не закончились в 37-м, но явно пошли на убыль.

Наступает относительно мирная полоса, но ей не суждено было продлиться до 43-го. Внешний, фашистский фактор начинает доминировать в европейской истории. Грянула Великая Отечественная. Россия испытала одно из самых сильных социальных потрясений за всю свою историю. До 47-48 гг. мы жили под впечатлением великой Победы, но знаменитые “ждановские” дискуссии в биологии, языкознании, партийные постановления по вопросам литературы, музыки и театра вновь напомнили советским людям, что “семерку” просто так проскочить (под шумок наших великих ратных и трудовых успехов) не удастся. Но после 48-го все же без особых трагедий пришло замирение. Русская история ждала 53-го года. Когда он наступил, всем стало ясно, что в нашей отечественной истории перевернулась еще одна страница, началась новая эпоха. После смерти Сталина к власти медленно, но верно приходит Хрущев. Уже на сентябрьском Пленуме 53-го его назначают главным партийным секретарем. К 57-му году ему удалось, наконец-то, разгромить “антипартийную группу” и стать единоличным лидером партии и государства. Началась самая яркая, самая волнующая и романтическая часть хрущевской “оттепели”. Над Россией – “чистое небо”, а в небе – неповторимая улыбка Гагарина, на площадях и залах – молодые боги Поэзии, полные творческих сил, веры в добро и прекрасное Будущее. Но коварство русской истории состояло в том, что не за горами уже был 63-й год, точнее, октябрьский Пленум 64-го. К 67-му Брежнев (которого политическая верхушка рассматривала как сугубо временную фигуру), к удивлению многих, становится высшим партийным “авторитетом”. И надолго. Вместо скачка вперед (как ожидалось в обществе), произошел откат. Что же произошло в 73-м? Редкий случай – ничего особенного. Как говорится – “застой”. Но подспудно – это был рубеж, за которым начался активный процесс разложения правящей номенклатуры. Общество перестало верить в социалистические ценности, но взамен ничего не получило. Оно плавно достигло 77-го рубежа. И здесь история сказала: хватит, пора готовиться к 83-му. Брежнев ушел из жизни за полтора месяца до этой “магической” даты. Одно было ясно всем, кто имеет вкус к историческому мышлению: речь шла не просто о смене партийного лидера, речь шла о новом, непредсказуемом повороте в нашей истории. Никто, конечно, не мог предвидеть, что он будет столь трагическим для нашего народа. Попытки как-то задержать надвигающиеся тектонические сдвиги (Андропов, Черненко) ни к чему не привели. История уложилась в те же самые отведенные ей сроки – 83-87 гг. За эти годы пришел на политический олимп и укрепил свою власть Горбачев. С 87 по 93-й (точнее, по 91-й) продолжалась горбачевская “оттепель”, пока не нагрязнул “путч”. “Путч” – это, конечно, типичный политический миф (аналогичный мифу о “выстреле Авроры”), ибо разгром вялой команды гэкапистов был лишь поводом или предлогом для захвата власти более молодой и политически более изощренной командой Ельцина. Даже если бы никакого ГКЧП и в помине не было, правый переворот все равно бы произошел, и довольно скоро, по крайней мере, не позднее 93-го. Разгон Конституционного суда и расстрел парламента (под предлогом его “реакционности”) в октябре (опять в “октябре”!) 93-го лишний раз об этом свидетельствует.

Режим Ельцина достиг кульминации в 97-м и после 98-го (дефолт) медленно шел к завершению – 2003 году. Процесс ускорился по причине полной немощи Ельцина (сдвиг на два года). Таким образом, Путин приходит к власти именно в тот год (с небольшой естественной погрешностью), который для русской истории всегда означает “начала” и “кануны” нового витка истории. Что же ожидает Россию в ближайшие десятилетия?

В 2001-м завершилась эпоха “смутного времени” на Руси, спровоцированная Горбачевым. С 2003 года начнется качественно новый период развития российской истории. Его коротко можно определить как фазу восстановления и стабилизации, переход от разрухи к созиданию. Но при этом новый виток нашей истории будет связан с некой важной тенденцией, которая, начавшись, вывлет все свои исторические возможности к 2007 году. После чего история, набрав инерцию, войдет в фазу “закрепления достигнутого скачка”, которая продлится до 2013 года. В указанном году резко обозначится существенно новая историческая тенденция, которая набе-

рет всю свою силу и достигнет пика своих возможностей к 2017 году. Затем опять наступит полоса спокойной эволюции, которая продлится 6 лет. И вот тогда-то Россия станет свидетелем “нового поворота” к смутному времени. Завершится двадцатилетняя фаза стабилизации и “обустройства”, собрания сил и великих духовных свершений. Наступит новый искуc “все поменять”, собственные культурно-исторические ценности заменить “общечеловеческими”. Российской политической и интеллигентской элите вновь потребуются великая мудрость, чтобы не растерять уже достигнутого за предшествующий период, чтобы не ввергнуть многострадальный народ в пучину новых перестроек. Будем надеяться, что проснувшаяся страсть к “реформам” не будет разрушительной и преступной и что новый двадцатилетний отрезок “социального экспериментирования” благополучно закончится к 2043 г. И тогда мы вновь будем “завидовать внукам и правнукам”, которым суждено жить в России в 2040-м.

В своем мини-прогнозе я дал лишь схему, не прорисовывая детали, хотя, понятно, что в этом деле последние как раз представляют особый интерес. Но таково требование “пророческого жанра”: не вмешиваться в будущий ход истории, ибо излишней подробностью можно навредить. Вообще-то, прорицательство как деятельность имеет по отношению к будущему некоторые любопытные особенности: с одной стороны, оно может навязывать себя будущему, выступая практически в функции “проектирования” (эта технология широко используется в проведении избирательной кампании), с другой стороны, оно может стать основанием для упреждения (если враги точно знают, что наследный принц станет королем, то возникает соблазн устранить его физически, изменив тем самым расклад сил в историческом процессе). Ванга поступила поэтому вполне в духе жанра, когда, предсказав приход к руководству Путина, отказалась сообщить излишние детали (и прежде всего фамилию будущего президента России). “Это будет совсем неожиданная фигура”, — сказала Вангелия Гущерова. Любопытно, что знаменитая болгарская прозорливица предпочитала больше рассказывать людям об их прошлом, об умерших родственниках, чем о будущем. Ведь будущее, вопреки представлениям Лапласа, в каждый данный момент не есть нечто жестко запрограммированное; таким его нельзя в принципе провидеть. Будущее — в тумане даже для прорицающего, ибо многие его составляющие зависят от нас, живущих в данный момент и способных воздействовать на тот расклад возможностей, который позднее будет реализован. Будущее — не статическая, а динамическая реальность, которая ткется нами из нитей возможностей в узор свершающегося. Подсчитано, что предсказания великих ясновидцев (таких, как Эдгар Кейси или Ванга) сбываются на 80 процентов. И главная тайна — в оставшихся 20 процентах. В процентах нашей свободы перед лицом Судьбы.

Что ждет мир в ближайшие десятилетия? Если никто не вмешается в *образ будущего*, человечество столкнется с глобальной социально-экологической катастрофой к 2040 году. А еще не *поздно* вмешаться? И *кто* должен вмешаться? Много будем знать — скоро состаримся. В будущее можно вмешаться, но лишь *загодя*, с определенной дистанции, в противном случае поезд истории наберет такие обороты, что с него нельзя будет спрыгнуть, не разбившись.

И несколько слов о свободе

Кто же из русских не думал о свободе? Кто не грезил о ней в долгие зимние вечера! Кто не давал себе обет бороться за нее до конца! Русское сердце истрадалось в неволе. Чей только неукротимый дух не сковывали самодурство власти да кандалы на Руси! Вспомним Аввакума, Пугачева, Радищева, Пестеля, Чернышевского, Достоевского, Флоренского... Звон кандалов все еще отдается в самых дальних уголках нашей души. Потому так целительна для нее свобода. Она кружит нам голову, пьянит, зачаровывает.

Неверно думают, будто в нашем самосознании свобода сопрягается непременно с бунтарством, анархизмом, вседозволенностью. Да, порой мы склонны к мятежу,

но у нас есть вкус и к творческому, созидательному началу жизни. О смысле свободы много и глубоко размышлял Николай Бердяев. Ему принадлежит мысль о том, что “тайна творчества есть тайна свободы”. По-настоящему понять подлинно творческий акт означает признать его неизъяснимость и бесознательность. В сущности, вся система этого философа опирается на категорию свободы. Пожалуй, ни один западный мыслитель не чувствовал такой тесной и органической связи свободы с экзистенциальным бытием человеческой личности. Мятёж сердца против превратности судьбы, ее поворотов и трагических изломов неизбежно выводит индивида за черту повседневности, к ощущению подлинности, к примату свободы над бытием. Метафизика русской свободы замешана не на идее скучных юридических установлений, норм и предписаний, не на балансе вольности и ее противоресов, а на жажде добра, на неистовстве любящей души, на безмерности самоотдачи в “минуты роковые”. Поэтому русский дух не только всегда страдал от не-свободы, — он испытывал жгучий стыд за постоянное унижение быть подневольным, подавляемым, поднадзорным.

И все же свобода на Руси не выше правды и справедливости, ибо сердце жаждет свободы не как самоцели, не ради личной самореализации, а ради “правды сущей”. А это от метафизики возвращает нас к *социологической ст орон е дела*. Когда случилось последнее затмение на Руси, когда нагрянули все эти “перестройки” и “радикальные” реформы, то нередко можно было услышать: да, народ стал жить намного беднее, да, растет смертность, безработица, преступность. Все это так, но ... зато мы имеем свободу: свободу слова, печати, демонстраций и т.п. Да, мы заплатили за все это дорожную цену. Но ведь имеем! Наконец-то!

Но вот тут-то и вышла заковыка. Имеем ли? То, что большинство крупных газет, журналов и телекомпаний проданы и куплены, сегодня это очевидный факт. В последние годы имена владельцев не только не скрываются, но даже выставляются напоказ. При этом в качестве обоснования коммерциализации СМИ часто ссылаются на практику Запада. По мне же, какая разница — Запад ли, Восток ли, важен результат: свободы информации в исконном смысле слова нет. С точки зрения идеалов демократии — это удручающее обстоятельство. И сколько бы ни кивали на Запад, я никогда не соглашусь, что якобы подобное — в порядке вещей для цивилизованного мира.

Выходит, описали круг: “социалистическая демократия” — гласность — продажная пресса. Так что, вернулись к тоталитаризму? Ну, не совсем. Тогда был один хозяин и одна точка зрения на всех. Сегодня может быть несколько хозяев и “плюрализм” их точек зрения. По-настоящему свободой слова, свободой влияния на общественное мнение может пользоваться крайне ограниченное число людей. Это, несомненно, некий прогресс в развитии свободы на Руси, хотя и весьма относительный. Свобода, во-первых, как товар продается и покупается, а во-вторых, носит избирательный характер. Например, при социализме нельзя было критиковать правительство, теперь — можно, однако по НТВ (до смены владельца) нельзя было критиковать Гусинского, но можно Путина и Зюганова; после прихода команды Киселева на ТВ-6 она не смела критиковать Березовского, но могла Путина и Зюганова... Когда в ночь на 22 января 2002 года сняли с телеэфира эту команду, правые вновь заговорили об угрозе свободы слова в России. Но опрос общественного мнения показал, что подобное заявление поддерживают лишь 4,8% граждан. Гораздо больший интерес вызвало заявление Сагалаева, который поделился своими воспоминаниями о том, как в свое время Березовский приглашал его на работу на канал ТВ-6. Олигарх поставил одно жесткое условие: непримиримая политическая борьба телеканала с властью. Сагалаев отказался, но этого не скажешь о Киселеве. Федеральные каналы давно уже “ангажированы”, и свобода слова нужна им лишь как условие легализации узкоклановой политической борьбы. Возможно, кто-то из читателей в этом месте воскликнет: подумайшь, Америку открыл! Все это сегодня азбучные истины... Не скажите! Я тоже так думал, пока не услышал, как вполне серьезные люди — известные писатели, актеры, журналисты, короче, “совесть нации”, часами доказыва-

ют по разным каналам, что уход команды Киселева сначала с НТВ, затем с ТВ-6 – это величайшая трагедия для демократии.

Проблема Киселёва и ему подобных не только в том, что они откровенно служили и служат Гусинским, Березовским и другим “друзьям народа”, вопрос глубже: какую роль играли “демократические СМИ” в роковые годы развала нашей страны, её культуры, её социальных завоеваний и какую роль во всём этом играли наши уважаемые писатели, артисты, деятели науки и культуры? Речь опять о суде истории, от которого не уйдёшь, как нельзя уйти от суда своей совести. Вопрос в том, какие ценности мы выбираем. Для одних разрушение Отечества, обнищание, утрата социальных гарантий – это трагедия. Для других всё это несущественно, для них важнее – свобода самовыражаться, обогащаться, ездить за границу, получать престижные премии и т.п.

Когда мы вступили в “эпоху демократии”, пошли разговоры, дескать, вот теперь и у нас появилась “четвертая власть”. В самом деле, разве СМИ не оказывают мощного воздействия на общество и властные структуры, вплоть до президента? Отвечу так: смотря где и когда. Когда Ельцин собрался остаться на второй срок, то разные телеканалы сыграли, может быть, решающую роль в его избрании. Когда, к примеру, в начале 2001 года Гусинским усиленно заинтересовалась прокуратура, то мощная информационная империя, включая старую команду НТВ, профессионально взялась за дело. С помощью изощренных способов манипулирования сознанием нам доказывали, что речь идет о судьбах свободной России, о самых святых понятиях – свобода, права человека, гласность, правовое государство. Какой пафос, какой накал высокой публицистики, какая утонченность аргументации! Здесь – сам Киселев со своим “гласом народа” и приглашенными на программу все теми же коллегами-единомышленниками, которых мы видим на телеэкранах, словно они штатные сотрудники. Что-то не видно было на этих посиделках ни Распутина, ни Глазнова, ни Шафаревича. Как говорится, плюрализм – плюрализмом, а принцип партийности все же торжествует. Не знаю, как за границей, а у нас “четвертая власть” мало печется об интересах общества, нередко выступая лишь инструментом в разборках элит. В этом-то и вся суть вопроса: являются ли наша печать, телевидение культурной и духовной *самоценностью гражданского общества*, или же они – лишь удобное для манипуляции *средств* во в руках олигархов, властей, партийных группировок и т.п.? Торжествует ли ленинский принцип “партийности” печати или побеждает принцип примата духовности и подлинно гуманистических ценностей? Мы не идеалисты и понимаем, что капитал и власть всегда будут стараться “прибрать к рукам” печать, кино, телевидение и даже интернет. Это – естественная потребность элит как в условиях рыночного хозяйства, так и в обществе с тоталитаристской идеологией. Ни Америка, ни Россия, ни Китай не являются здесь исключением. Беспрецедентно жесткое, откровенное давление американских властей на прессу во время войны США с талибами повергло в шок даже наших проамерикански настроенных либералов. Однако, и на Западе, и у нас должна существовать совокупность культурных пространств гражданского общества, в пределах которой гарантируется подлинная независимость СМИ от какого бы то ни было диктата и реализуется свобода как духовная ценность.

В этом смысле мы можем сказать, что за последние два-три года наши СМИ стали более человечными и начинают поворачиваться лицом к исконным отечественным ценностям. Сегодня элита, которая развалила страну, маскируется под общий фон, но она, разумеется, жива и невредима. Народ не любил старую партноменклатуру, но ненависть к новой элите на порядок сильнее, ведь ей удалось сделать то, о чем только мечтали наши враги. Страна развалена, доведена до нищеты, унижена. У новой элиты нет ничего за душой, кроме духа наживы, породившего предательство. Какова роль во всем этом чудовищном деле “демократических” СМИ? Самая что ни на есть непосредственная: СМИ были рупором всех этих исторических инноваций, инструментов промывания мозгов и внедрения в сознание народов новых политических мифов. И всех этих талантливых “демократических” журналистов, включая членов команды бывшего НТВ, мы знаем по именам. И теперь они

с недоумением задают вопрос: почему народ не заступился за них (когда, например, шли разборки с Кохом и т.п.)? Как это могло случиться, что общество не понимает важности либеральных ценностей? Помнится, весной 2001-го года вся “демократическая общественность” была мобилизована на борьбу против угрозы нового тоталитаризма в России – журналисты, писатели, телеведущие, депутаты. Кто только не побывал на этих телетгусовках! Господа, не надо нам доказывать важность для нашего Отечества свободы! Но также, как вы испоганили слово “демократия”, так вы теперь можете испоганить (на много лет) слово “свобода”. Не дай Бог! Своим талантливым сладкоголосием насчет важности этого сладкого слова *свобода* однажды вам уже удалось зачаровать, если не всех, то многих. Но во второй раз это не пройдет. У вас есть, конечно, запасной ход – обращение к чужим дяденькам из-за границы: дескать, караул! на Руси опять душат свободу! Там поверят скорее. А могут при случае и прислать миротворческие отряды для замирения (в Югославии опробовано).

Говорят: у нас есть сторонники и противники демократического выбора. Полнейший вздор! Просто наши российские маргиналы и болтуны любят рядиться в демократическую тогу, чтобы скрыть свою наготу. Демократия нужна нам как воздух, но только не для разрушения наших исторических духовных корней, не для голодомора, а для созидания.

А потому путь, который нам предложили ценители “либеральных” ценностей, не приемлем. Это путь обмана, корысти, стяжательства. Мы же, может быть, по наивности продолжаем верить в девиз Цветаевой “Единственная обязанность на земле человека – правда всего сущего”. Устали от лжи! Устали от демократических масок скоморохов и всемирных попрошаек, от переворачивания самых святых понятий и смыслов.

Коли уж мы заговорили о таком важном для нашего бытия понятии, как свобода, то было бы небезынтересно поразмышлять о философской стороне дела. Осмысливая ход “перестройки” и дальнейшей трансформации в “капитализм” всей нашей социальной системы, я набрел на одну простую гипотезу. Суть ее в двух словах такова: социальная свобода, подобно энергии, в своем историческом существовании подчиняется своеобразному “закону сохранения”, так что увеличение свободы на каком-то одном полюсе социального бытия порождает дефицит ее на другом. Образно говоря, свободу нельзя породить из ничего, без специальных культурных вложений. Здесь недостаточно просто желания людей, даже если они воплощены в какие-то волевые решения. Свободу нельзя ввести декретами и постановлениями. В лучшем случае такие декреты могут лишь перераспределить по-новому общую “сумму свободы”, направив ее из одних сфер в другие. Так мы в конце 80-х ввели больше свобод для индивида по отношению к произволу властей. В известном плане мы ослабили власть и передали часть властных полномочий гражданскому обществу, общественным организациям, частным структурам. Но за это нам пришлось заплатить дорогую цену, ибо в результате ослабления власти и разрушения экономики поднял голову криминальный мир во всех его ипостасях. В прежние годы простые граждане, женщины, дети, старики могли чувствовать себя в безопасности в общественных местах в вечернее время. Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, даже имея личную охрану, в собственном подъезде. О заказных убийствах я уже не говорю. За свободу “критиковать начальство” мы заплатили тем, что нам зажимает рот и вытряхивает кошельки отребье из подворотни. Очевидно, безопасность личности в общественных местах – одно из измерений ее общественной свободы. Мы лишились этой свободы всерьез и надолго. Власть неспособна защитить своих граждан. Зато теперь мы имеем право ее бранить на чем свет стоит. Кроме того, мы потеряли такие важные права как право на труд, на своевременную зарплату, на бесплатное образование, медицинское обслуживание. И все это за то, чтобы при случае иметь право выругать правительство? Не слишком ли дорогая цена? Отменили цензуру в деятельности СМИ, в сфере искусства, науки, образования; и немедленно телеканалы превратились в духовную канализацию, с утра до вечера растлевающая души людей. Мы хотели свободы творчества и информа-

ции, а получили свободу нравственно-психологического насилия. Вот такая получается диалектика.

В эпоху ельцинизма можно было, конечно, возмущаться новым режимом, разоблачая его дешевые политические мифы о демократии, о народовласти, правовом государстве и т.п. Но если наша гипотеза верна, то власть, в сущности, и не могла дать на деле больше свободы, чем мы де факто имели. Но какие отсюда следуют выводы? Может быть, мы должны были сказать: пусть власти занимаются своим делом насколько могут, а мы оставим их в покое до лучших времен, ведь они предоставляют обществу столько свободы, сколько могут? Нет! Я полагаю, что вывод должен быть прямо противоположным. Во-первых эти господа-реформаторы не имели никакого исторического и морального права “дурить” свой собственный народ, обещая ему на второй же день все блага западной цивилизации, чтобы он поддался на уговоры демонтировать всю прежнюю социальную систему и не сопротивлялся проведению радикального перераспределения общенародной собственности. Китай, как известно, не пошел по этому губительному пути (его политическая элита не была столь умственно убогой и морально разложившейся, как у нас). В результате за короткий срок он добился небывалого экономического подъема (по подсчетам экономистов благосостояние китайцев увеличилось за последнее десятилетие в 22 раза). В России же Гайдар одним лишь актом по изъятию денежных сбережений понизил, как говорится, за одну ночь, жизненный уровень народа в 6 раз. Некоторые скажут: Китай достиг успехов в экономической сфере, а как там со свободой прессы, со свободой ругать начальство и устраивать массовые беспорядки? А вот с этим стоит, очевидно, повременить... Во-вторых, эти господа не имели никакого исторического права, “даря” людям не обеспеченную “золотым запасом” свободу (“берите суверенитета столько, сколько можете проглотить”), тем самым ввергать миллионные массы людей в большие и малые гуманитарные катастрофы. Именно по причине всех этих манипуляций со свободой сотни тысяч наших сограждан оказались втянутыми в искусственно раздуваемые, но часто сопровождаемые кровью межэтнические конфликты, десятки тысяч превратились в беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов, бездомных, потерявших Отечество, униженных, бесправных. Для миллионов людей разговоры о правах человека стали просто надругательством над здравым смыслом. Более бесправных людей человечество не помнит, возможно, со времен Римской империи.

Вот в прессе заговорили об одном любопытном феномене, связанном со свободой СМИ: на “острые” выступления газет и телевидения практически мало кто реагирует. Собака лает, а караван идет. Ведь как было при социализме: если какая-нибудь центральная газета, например, та же “Литературка”, публиковала “критический материал”, то реакция общественности и власти не заставляла себя долго ждать. Сегодня человек может критиковать власть и общественные явления через прессу, на митингах, ходить с плакатом по площадям и подъездам, устраивать пикетирование парламента – из ста попыток один раз могут и заметить. Получается: больше свободы – больше безответственности. И безнадежности. Кричи – не кричи, никто не услышит.

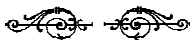
Означает ли сказанное, что свобода как некое качество человеческого бытия не может наращиваться? Думаю, что нет. Рост свободы в обществе связан с реальным раскрепощением творческого потенциала человека, повышением культурного уровня широких масс людей, с неудержимостью технического прогресса, с накоплением морального потенциала, или, как говорит А.С.Панарин, культурного капитала (“габитуса”). Другими словами, подлинная свобода социального бытия приходит к нам в соответствии с нашими вложениями в ее произрастание, по мере накопления ее предпосылок, по мере вызревания ее экзистенциальных оснований. Потому-то путь социальных революций, когда хотят одним рывком перейти из мира необходимости в царство свободы, часто столь губителен для народа, тем более, что этот путь часто ведет к братоубийственной гражданской войне.

К концу XX века мыслящим людям в России было совершенно ясно, что наше продвижение вперед возможно только путем *конст рукт ивных реформ* без ради-

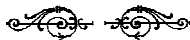
кальной ломки всей социально-экономической системы (например, китайский вариант модернизации). Речь идет о таких преобразованиях в экономической, социально-политической и культурной сферах, которые не разрушают насильственным путем старые формы и структуры и в историческом соревновании смогут доказать свое превосходство. Здесь должен действовать известный принцип социальной экологии “Не навреди!” Прежде чем ломать и разваливать старое – заводы, фабрики, совхозы – потрудитесь вначале создать нечто более совершенное и эффективное. И если в результате там, где процветало хозяйство, ныне царит разруха и запустение, безработица и нищета, то кто-то должен нести за это в каждом конкретном случае персональную ответственность, причем уголовную. Если человек украл кошелек, его судят, а если человек развалил народное хозяйство целой области, то он почему-то часто оказывается в демократических лидерах, в национальных героях.

Свобода, которую подарили нам “демократические власти”, является, по преимуществу, разрушительной, а то и просто криминальной вседозволенностью. Ей не хватает творческого, созидательного и подлинно духовного начала. Рост подлинной свободы непременно должен сопровождаться ростом ответственности – ответственности как самой власти сверху, так и каждого гражданина – снизу. У нас же безответственная власть сомкнулась с наплевательской психологией граждан.

Свобода обладает такой особенностью, что, укоренившись в той или иной социальной сфере, она начинает оздоравливать вокруг себя все сущее. В этом смысле я – оптимист. Наша свобода из рук вон плоха, но не безнадежна. Уж коль так случилось, что робкие огоньки свободы – надо признать – за последнее время все чаще загораются в тех уголках нашего бытия, где раньше мы двигались лишь наощупь, не дадим же этим огонькам погаснуть! Мы за них дорого заплатили. А зарево Свободы непременно засияет.



*Правление журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу
ФЕЛИКСА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАЗАРЕВА
с юбилеем, желают здоровья и
новых творческих свершений!*



**Сергей ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук**

ОТЕЦ И СЫН ВЕРНАДСКИЕ В КРЫМУ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(Новые материалы)

В 1920 году, в разгар братоубийственной гражданской войны, интеллигенция Крыма, оставаясь верной культурным традициям, решила отметить 100-летнюю годовщину со времени пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Крыму.

Непосредственным инициатором празднования юбилея был замечательный крымский ученый-краевед, многолетний бессменный председатель Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК) и, по емкому определению Георгия Владимировича Вернадского, “ее душа”¹ — Арсений Иванович Маркевич.

19 мая 1920 года на заседании ТУАК (на котором присутствовали и такие знаменитые в будущем ученые, а в то время — молодые профессора историко-филологического факультета Таврического университета, как Б.Д. Греков, Г.В. Вернадский, Н.К. Гудзий) А.И. Маркевич предложил отметить предстоящее в сентябре 100-летие со времени пребывания А.С. Пушкина в Тавриде устройством особого публичного заседания Комиссии, с соответствующими докладами и речами, и изданием сборника статей. Как отмечено в протоколе заседания, собрание “вполне согласилось с мыслью А.И. Маркевича и постановило употребить старания к составлению и изданию Пушкинского сборника”².

Из отчета ТУАК за 1920 год явствует, что сборник издать не удалось³.

А заседание ТУАК, посвященное памяти А.С. Пушкина, состоялось 18 октября 1920 года. Проходило оно в зале окружного суда (ныне — Голубой зал Крымского республиканского краеведческого музея). На заседании присутствовали, помимо многочисленной публики, следующие члены ТУАК: председатель ТУАК А.И. Маркевич, управляющий губернской казенной палатой А.П. Барт (месяц спустя он будет расстрелян красными), философ, экономист, богослов, публицист и общественный деятель священник С.Н. Булгаков (кстати, это было его первое и последнее участие в заседаниях ТУАК, членом которой он был избран 15 ноября 1919 года; в 1922 году С.Н. Булгаков был выслан властями за пределы Советской России⁴), профессор Таврического университета историк Г.В. Вернадский, профессор литературовед Н.К. Гудзий, филолог Л.В. Жирицкий, профессор историк литературы А.П. Кадлубовский, профессор философ П.П. Кудрявцев, профессор литературовед Е.В. Петухов, будущий классик советской литературы К.А. Тренев, востоковед В.И. Филоненко, археолог и историк Н.Л. Эрнст и др.

Объявив заседание открытым, А.И. Маркевич предложил собранию почтить память А.С. Пушкина. Собрание почтило память великого поэта вставанием. Затем были заслушаны доклады А.И. Маркевича “А.С. Пушкин и Таврида”, Г.В. Вернад-

кого “А.С.Пушкин как историк”, Л.В.Жирицкого “А.С.Пушкин и Овидий”, Н.К.Гудзия “А.С.Пушкин как литературный критик”⁵.

Увы, в протоколе изложение докладов отсутствует. Вероятно, предполагалось, что они будут напечатаны в намеченном к изданию сборнике. А сборник, как мы знаем, издан не был, т.к. спустя несколько дней после означенного заседания Крым стал красным в прямом (от крови) и переносном значении этого слова...

Удалось установить, что доклады А.И.Маркевича и Л.В.Жирицкого спустя несколько лет все же были опубликованы⁶. Следы доклада Н.К.Гудзия можно отыскать в его многочисленных опубликованных пушкиноведческих трудах⁷. Но вот о судьбе доклада Г.В.Вернадского до недавнего времени ничего не было известно.

Дело в том, что осенью 1920 года выдающийся русский историк Г.В.Вернадский состоял в должности не только профессора Таврического университета, но и начальника отдела печати в правительстве генерала П.Н.Врангеля, а потому имел основания полагать, что с приходом красных он будет немедленно расстрелян. (Напомню читателям, что в ноябре 1920 года красными были расстреляны министры антибольшевистских Крымских краевых правительств А.П.Барт и А.А.Стивен⁸).

30 октября 1920 года (т.е. 12 дней спустя после прочтения своего доклада), взойдя в Севастополе на палубу парохода “Рион”, Г.В.Вернадский покинул Родину. Как оказалось, навсегда...

Константинополь, Афины, Прага, Йель (США)... Г.В.Вернадский становится одним из основателей современной американской школы русской историографии. Он — автор 22 книг (в том числе многотомной “Истории России”) и около 300 статей. Его читают и почитают во всем цивилизованном мире. Но не в СССР. Здесь он — “белоземigrant”, “видный представитель классово чуждой буржуазной историографии”. Статьи о нем отсутствуют не только в таких официальных изданиях, как “Большая Советская Энциклопедия”, “Советская Историческая Энциклопедия”, “Украинская Советская Энциклопедия” и т.д., но и в вышедших уже в середине 1990-х годов очерках истории Симферопольского университета и биографическом справочнике о его преподавателях⁹, где профессор Г.В.Вернадский не значится даже в списках... По существу, впервые о Г.В.Вернадском крымская общественность узнала лишь в 1994 году, когда в журнале “Крымский Архив” были перепечатаны из американского “Нового журнала” воспоминания Г.В.Вернадского о Крыме¹⁰.

Дальнейшие разыскания в архивах, музеях и библиотеках позволили дополнить бытующие с тех пор представления о крымском периоде творческой биографии Г.В.Вернадского.

Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973) родился 20 августа 1887 года в Петербурге в семье ученого-энциклопедиста Владимира Ивановича Вернадского. В 1910 году Г.В.Вернадский с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета. Свою магистерскую диссертацию “Русское масонство в царствование Екатерины II”, выполненную под руководством профессора С.Ф.Платонова, Г.В.Вернадский успел защитить в Петербургском университете 22 октября 1917 года, за 3 дня до большевистского переворота и, таким образом, формально может считаться последним видным представителем дореволюционной русской исторической науки.

В эпоху революции и гражданской войны Г.В.Вернадский покидает столицу. Он преподает русскую историю нового времени поначалу в Пермском университете, а с осени 1918 года — в Таврическом¹¹. В Симферополе он становится, кроме того, членом-учредителем, а затем и председателем Общества философских, исторических и социальных знаний при Таврическом университете, товарищем (заместителем) председателя организованного в марте 1919 года Религиозно-философского общества, членом ТУАК и заведующим ее архивом, научным сотрудником учрежденного 22 мая 1919 года Таврического центрального архива, возглавил который коллега и близкий друг Г.В.Вернадского — крупнейший отечественный историк Борис Дмитриевич Греков¹².

Документы свидетельствуют, что членом ТУАК Г.В.Вернадский был избран 15 ноября 1918 года, одновременно с профессорами Таврического университета Н.К.Гудзием и А.П.Кадлубовским. 25 марта 1919 года, когда закрытой баллотировкой переизбирались все должностные лица ТУАК, председателем был избран А.И.Маркевич, товарищем председателя — Б.Д.Греков, а заведующим архивом — Г.В.Вернадский.

Непосредственный вклад Г.В.Вернадского в развитие архивного дела в Крыму состоял в следующем. Им были куплены на личные средства и тем спасены для науки продававшиеся на базаре в Симферополе по 2 рубля за фунт в качестве оберточной бумаги документы симферопольского полицейского архива. Им были разобраны, систематизированы и научно описаны вывезенные из имения Тавель материалы большого и чрезвычайно ценного архива В.С.Попова, правителя дел канцелярии князя Г.А.Потемкина¹³. Летом 1920 года Г.В.Вернадский должен был принять участие в разборе архивов удельных имений (т.е. имений, принадлежавших членам царской фамилии) на Южном берегу Крыма, но, скорее всего, обстоятельства гражданской войны помешали ему выполнить это поручение ТУАК.

На заседаниях ТУАК Г.В.Вернадский выступал с научными докладами: “К истории колонизации Азовского побережья” (25 марта 1919 г.), “А.С.Лаппо-Данилевский как историк России XVIII века” (11 мая 1919 г.), “Письма М.А.Гарновского кн. Г.А.Потемкину-Таврическому” (18 июня 1919 г.), “Стихи кн. Г.А.Потемкина на основание Екатеринослава” (18 июня 1919 г.), “Записки о необходимости присоединения Крыма к России” (3 июля 1919 г.), “Об историко-философских воззрениях С.Ф.Платонова” (1 ноября 1919 г.), “А.С.Пушкин как историк” (18 октября 1920 г.)¹⁴. На заседании ТУАК 18 июня 1919 года Г.В.Вернадский должен был выступить еще и с докладом “Тавельский архив Поповых и значение его для истории”, но, поскольку он был прочитан несколькими днями раньше на заседании, состоявшемся в Комиссариате народного просвещения по случаю открытия Центрального архива, было решено вторично его не заслушивать.

Шесть из восьми перечисленных докладов тогда же были напечатаны в “Известиях” ТУАК. Неопубликованными остались лишь доклады об историке академике С.Ф.Платонове и А.С.Пушкине.

Казалось, что подробно об их содержании мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Ведь в протоколах заседаний ТУАК эти доклады не были изложены. В крымских архивах рукописей этих докладов обнаружить не удалось. О печатных трудах профессора американского университета Г.В.Вернадского в СССР мало кому полагалось знать...

Но вот в 1998 году в Москве вышла книга Г.В.Вернадского “Русская историография”. Она представляет собой первое в России переиздание вышедших в США в 1970-х годах очерков истории русской исторической науки. Есть в этой книге и очерки о С.Ф.Платонове и А.С.Пушкине, основные положения которых, несомненно, были изложены Г.В.Вернадским на заседаниях ТУАК в Симферополе еще в 1919 — 1920 годах.

В том же 1998 году, к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, в московском журнале «Преподавание истории в школе» была напечатана статья Г.В.Вернадского «Пушкин как историк»¹⁵. Как явствует из редакционного примечания, статья эта — перепечатка из изданного в Праге еще в 1924 году сборника. Думается, что статья в пражском сборнике — ни что иное, как доклад, прочитанный Г.В.Вернадским на заседании ТУАК 18 октября 1920 года. Его последний научный доклад на Родине...

А недавно мне довелось сделать и совершенно неожиданное открытие. Работая с крымскими антибольшевистскими газетами периода Гражданской войны (они наконец-то рассекречены и стали доступны исследователям), я наткнулся на опубликованные на их страницах в апреле — декабре 1919 года следующие восемь статей Г.В.Вернадского: «Памяти академика А.С.Лаппо-Данилевского» (*Таврический голос.* — 1919. — № 73), «Памяти С.Ф.Платонова» (там же. — № 78; статья эта была вызвана поступившей в Крым из Петрограда информацией о кончине акаде-

мика С.Ф.Платонова, оказавшейся ложной; Платонов умер в ссылке в Самаре в 1933 году), «Столетие военных поселений» (там же. — № 99), «Дар Екатерины (К восст ановлению память ника императ рице Екат ерине)» (там же. — № 102), «Советский социализм и крепостное право» (там же. — № 108), «Национальное творчество русского народа» (там же. — № 112), «Английская революция в XVII веке» (там же. — № 113), «Против солнца» (там же. — № 125).

Примечательно, что эти статьи сына внимательно читал отец, академик В.И.Вернадский. 10 (23) января 1920 года он записал в дневнике: «Прочел статьи Георгия [Вернадского] в симфер[опольских] газетах. Ясно, что он как историк считает вероятным, что окончательное успокоение и воссоздание мощной России — неизбежное и неотвратимое — может произойти через годы и десятилетия. То же чувство и у П.И.[Новгородцева]. Может быть, это правильный путь мышления»¹⁶.

Увы, все прошедшие после гражданской войны годы эти статьи Г.В.Вернадского оставались малоизвестными, а к настоящему времени стали и вовсе неизвестными. Ведь даже в изданном в 1975 году в Нью-Йорке списке печатных трудов Г.В.Вернадского (список этот, подготовленный к печати Н.Е.Андреевым (Кембридж), успел за месяц до своей кончины просмотреть сам Георгий Владимирович и признал его исчерпывающим) вышеперечисленные статьи не значатся¹⁷. А они представляют большой научный и широкий общественный интерес, так как являются уникальными памятниками русской исторической мысли периода великой русской смуты. (Статьи эти готовятся мною к републикации).

Из информационных заметок, напечатанных в том же «Таврическом голосе», явствует, что в 1919 году Г.В.Вернадский выступал с научными докладами, помимо ТУАК, на заседаниях и других общественных организаций Симферополя. 27 октября 1919 года на заседании Национально-славянского кружка при Таврическом университете Г.В.Вернадский выступал с докладом «От Москвы к Тихому океану (Из ист ории русской колонизации XV —XX в.)»¹⁸, а 5 ноября 1919 года на заседании Общества философских, исторических и социальных знаний — с докладом «Два лика декабристов». Как сообщалось в заметке о последнем докладе Г.В.Вернадского, «докладчик, анализируя историю и причины возникновения движения декабристов, указал на его двойственность: с одной стороны, оно было вызвано недовольством офицеров победоносной армии политикой Александра I, с другой — глубокими религиозными побуждениями декабристов, толкнувшими их на организацию тайных обществ. В оживленном обмене мнений по поводу доклада приняли участие проф. Н.П.Четвериков, В.А.Розов и С.Н.Булгаков, произнесший блестящую, насыщенную глубиной проникновения, речь»¹⁹.

К разряду сенсационных находок можно отнести и выявленное мною в севастопольской газете «Юг России» от 14 (27) октября 1920 года интервью с ректором Таврического университета Владимиром Ивановичем Вернадским. Напомню, что академик В.И.Вернадский был избран ректором Таврического университета накануне, 10 октября по новому стилю. Таким образом, перед нами — первое его интервью в новой должности. (В скобках замечу, что интервью это — не только первое, но и, вероятно, последнее: полмесяца спустя после его напечатания, 13 ноября 1920 года, в Симферополь вступили части Южного фронта под командованием М.В.Фрунзе; большевикам поначалу было не до интервью, а уже в январе 1921 года В.И.Вернадского на посту ректора университета сменил профессор А.А.Байков, которого лично еще с дореволюционной поры знал М.В.Фрунзе). Интервью это не значится в изданном списке опубликованных работ В.И.Вернадского²⁰ и является, таким образом, неизвестным. А оно представляет большой интерес и для истории Таврического университета, и для истории интеллигенции, науки, культуры и просвещения в Крыму в годы гражданской войны. Поэтому ниже републикую это интервью в качестве приложения к настоящей статье.

...Имя Владимира Ивановича Вернадского, ученого-энциклопедиста, академика, в 1919 — 1921 годах — первого президента Украинской академии наук, в октябре 1920 — январе 1921 годах — ректора Таврического университета, известно в Крыму давно и широко. В августе 1999 года Указом Президента Украины Л.Д.Кучмы

Симферопольский государственный университет имени М.В.Фрунзе был преобразован в Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского.

В настоящее время научная литература, издаваемая в России, становится в Крыму большой библиографической редкостью. Так например, вышеупомянутой книги Г.В.Вернадского «Русская историография» (М., 1998) нет сегодня, увы, ни в одной публичной библиотеке Крыма. Поэтому имя выдающегося русского историка Георгия Владимировича Вернадского известно в Крыму пока еще недостаточно широко. Между тем Крым был последним местом его пребывания на Родине. Пришла пора подумать о форме увековечения здесь памяти Г.В.Вернадского. Быть может, с помощью топонима. Или назвать именем Г.В.Вернадского одну из аудиторий исторического факультета Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, где он преподавал в 1918 – 1920 годах. Будет глубоко символично, если на крымской земле, где в 1920 году в результате гражданской войны отец и сын Вернадские навсегда расстались, их имена воссоединятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Републикация оставшегося неизвестным интервью с В.И.Вернадским

РУССКАЯ НАУКА И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ В КРЫМУ **Беседа с ректором университета В.И.Вернадским**

Наш сотрудник обратился к приехавшему в Севастополь академику Вернадскому с вопросом о положении Таврического университета и русских ученых, находящихся в Крыму.

Роль и задачи университета

— В моем заявлении, — сказал академик Вернадский, — сделанном профессорам университета перед моим избранием, я высказал свою мысль о положении Таврического университета и той роли, которую он должен сыграть.

Университет должен активно идти на помощь и поддерживать правительственные усилия (имеются в виду усилия правительства генерала П.Н.Врангеля. — **С.Ф.**) в деле возрождения России.

В настоящее время это единственный свободный русский университет (все остальные университеты были уже в руках большевиков. — **С.Ф.**), в котором полностью сохранена автономия, и именно ему надлежит заботиться о возрождении научной работы и воссоздании высшей школы на всей территории России по мере ее освобождения.

Другая задача — это немедленное содействие правительству в правильном использовании производительных сил природы.

Для выполнения намеченного мною плана Совет университета избрал специальную комиссию, задачи которой заключаются в собирании сведений о положении высшей школы в России, составлении мартиролага русских ученых и выработке плана воссоздания высшей школы и науки в России. (Увы, эти замыслы не были реализованы. — **С.Ф.**).

Положение ученых

— Положение профессоров и преподавателей сейчас очень тяжело; многие живут в ужасных материальных условиях и потому, конечно, не в состоянии правильно работать. Наша задача, прежде всего, — создать такие условия, при которых бы был обеспечен хотя бы минимум, необходимый для существования.

В этом отношении правительство широко идет нам навстречу.

Но, как уже всем теперь ясно, одно только увеличение количества выдаваемых денежных знаков не улучшает дела. Университет встал на путь самостоятельности и организует сам ряд продуктивных центров – сельскохозяйственные фермы, разведение птиц, свиней, кроликов, устройство молочной фермы, собственное рыболовство, прачечную и т.п.

Все это возможно, конечно, при правительственной поддержке, и начинания университета в этой области встречаются самое сочувственное отношение правительства.

Связь с научным миром

— До сего времени мы были совершенно оторваны от научных центров Европы и Америки. Чтобы исправить это, университет организует получение иностранной научной литературы, для чего обращается с воззванием ко всем без различия странам Запада.

В этом деле университету широко идет на помощь правительство и обещает свое содействие американский Красный Крест, дающий обстановку для всех клиник и других учреждений медицинского факультета. Долгое время среди русской интеллигенции замечалась какая-то апатия – это явление чисто психологическое и в настоящий момент заметно стремление к активной работе. В этом отношении мы придаем большое значение предстоящему с 22 по 30 октября VII съезду Таврической Научной Ассоциации, и университет перенес даже свой годичный акт (торжества по случаю очередной годовщины основания университета. – **С.Ф.**) со 2-го октября на 22, приурочив его к этому съезду. Все вопросы, касающиеся положения русской науки и ученых, конечно, будут обсуждаться на этом съезде, который вследствие этого получает значение всероссийское, а не только местное.

— Я думаю, — закончил свою беседу ак. Вернадский, — что несмотря на стихийные процессы, участниками которых мы являемся, очень многое зависит от нашей воли. Надо думать, у русских ученых хватит энергии и воли к возрождению русской науки и русской культуры, к возрождению России, тем более, что правительство чрезвычайно охотно и широко идет навстречу всем начинаниям университета.

Юг России (Севастополь). 1920.14(27) окт ябры

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вернадский Г. Русская историография. - М., 1998. - С. 133.

² Крымский республиканский краеведческий музей (КРКМ). Архив ТУАК. КП - 23075. Л. 18.

³ Там же. КП - 23076. Л. 6. См. также: **Филимонов С.Б.** Крым, 1917 – 1920 годы: Таврическая ученая архивная комиссия и памятники культуры // Крымский музей, № 1/ 94 год. – Симферополь, 1995. – С. 100.

⁴ Подробно о следственном деле С.Н.Булгакова см.: **Филимонов С.Б.** Тайны судебнo-следственных дел. Документальные очерки о жертвах политического репрессий в Крыму в 1920 – 1940-е годы. – Симферополь, 2000. – С. 15 – 27.

⁵ КРКМ. Архив ТУАК. КП - 23075. Л. 21.

⁶ См. соответственно: Студії з Криму: Всеукраїнська АН: Зб. іст.-філол. відділу / Ред. А.Е.Кримський. – Київ, 1930. – С. 111 – 115; Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. – Симферополь, 1927. – Т. 1 (58). – С. 90 – 99.

⁷ См.: Библиография трудов Н.К.Гудзия // Воспоминания о Николае Калликовиче Гудзии. – М., 1968. – С. 150 – 180. Хочу обратить внимание читателей на следующее. Из вышеуказанного списка печатных трудов Н.К.Гудзия следует, что в 1920 году им была опубликована единственная работа – статья «А.С.Пушкин», которая предваряла изданный в Симферополе в 1920 году сборник «А.С.Пушкин.

Избранные стихотворения». Однако мои попытки обнаружить этот сборник в крупнейших библиотеках Крыма не дали результатов. Между тем сборник этот представляет громадный научный интерес. Ознакомление с ним позволило бы ответить на ряд вопросов. Кто, какая организация сочла необходимым издать стихотворения Пушкина в разгар гражданской войны в Крыму? Какие произведения вошли в сборник? Что написал о Пушкине в 1920 году Н.К.Гудзий, один из крупнейших отечественных литературоведов? Словом, сборник представляет интерес для изучения и истории пушкинистики, и истории отечественной культуры, и истории Крыма в период гражданской войны. Быть может, кто-то из читателей окажется удачливее меня, и изданный в Симферополе в 1920 году сборник стихов Пушкина будет обнаружен?

⁸ Подробно об этом см.: **Филимонов С.Б.** Тайны судебно-следственных дел. – С. 5 – 9, 81 – 90.

⁹ См.: Очерки истории Симферопольского государственного университета (1918-1993). – Симферополь, 1993; Биографический справочник о преподавателях Таврического университета – Крымского государственного педагогического института – Симферопольского государственного университета 1918 - 1993. – Симферополь, 1994. Отмеченный пробел был ликвидирован лишь в самое последнее время; см.: Профессора Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 1918 – 2000. – Київ, 2000. – С. 30.

¹⁰ «В Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни...»: Г.В.Вернадский и его воспоминания о Крыме (Предисловие, подготовка текста В.В.Лаврова, комментарии А.В.Мальгина) // Крымский Архив. – Симферополь, 1994. - № 1. - С. 28 - 46.

¹¹ Биографическую справку профессора Таврического университета Г.В.Вернадского, заверенную ректором университета Р.И.Гельвигом в 1920 году, выявленную мною в Государственном архиве Российской Федерации, см.: Крымский Архив. – Симферополь, 2000. - № 6. – С. 69 – 70.

¹² См.: **Филимонов С.Б.** «Белые» страницы в биографии академика Б.Д.Грекова // Берега Тавриды. – 2003. – № 4-5(69-70). – С. 358-365.

¹³ Подробнее см.: **Филимонов С.Б.** Б.Д. Греков – заведующий Крымцентрархивом // Советские архивы. – 1978. – № 3. – С.28-31.

¹⁴ См.: **Филимонов С.Б.** Хранители исторической памяти Крыма: [О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии, 1887 – 1931 гг]. – Симферополь, 1996. – С. 46 – 47.

¹⁵ Преподавание истории в школе. – 1998. - № 8. – С. 3 – 10.

¹⁶ **Вернадский В.И.** Дневник, 1917 – 1921: январь 1920 – март 1921. – Киев, 1997. – С. 24. Благодарю В.В.Лаврова, указавшего мне на эту дневниковую запись В.И.Вернадского.

¹⁷ См.: Список трудов Г.В.Вернадского by Nikolay Andreyev // Записки Русской академической группы в США. – New York, 1975. – Т. IX. – С. 168 – 181.

¹⁸ Таврический голос (Симферополь). – 1919. – 27 октября (9 ноября). - № 79 (229).

¹⁹ Там же. – 7 (20) ноября. – № 87 (237). См. также: **Филимонов С.Б.** К истории религиозно-философских обществ в Крыму в годы Гражданской войны: Новые материалы о С.Н.Булгакове // Крымский Архив. – Симферополь, 2002. – С. 54.

²⁰ См.: Владимир Иванович Вернадский (Материалы к биобиблиографии ученых). Изд. 2-е, доп. – М.: Наука, 1992.



Аза ПАЛЬЧИКОВА

МАГИЯ СОЗВУЧИЯ КРАСОК И ЛИНИЙ

Изобразительное искусство Элеоноры Щегловой

ЭЛЕОНОРА ЩЕГЛОВА – талантливый и многогранный художник, мастер, работающий в разных жанрах и техниках. В ее крупномасштабных и монументальных мозаиках, витражах, декоративных росписях раскрываются сила, внутренняя энергия художницы, а удивительно изящные рисунки карандашом, тушью, гелевой ручкой восхищают виртуозностью, изысканностью линий, передающих тончайшие нюансы тона и формы. Камерные натюр-



Элеонора Щеглова. Бум., итальянский карандаш, 50х40. «Улица Бассейная в Ялте».

морты, особенно любимые ею букеты цветов, всегда артистичны, одухотворены. Уютные дворики, каменные лестницы и улочки старой Ялты в ее пейзажах навевают ностальгическую грусть о гармонии прежнего архитектурного облика города, безвозвратно уходящего, теряющего свои неповторимые черты в бурном натиске новостроек. Немногочисленные портреты художницы хранят теплые чувства к духовно близким ей людям.



«Портрет»
Татьяна Щеглова
г. Ялта

Поиски тонких колористических решений и попытки в иносказательной форме решить сложные жизненные проблемы воплотились в своеобразных коллажах, всегда удивляющих своей фантазией и творческими находками. А в своих религиозных, мифологических мотивах Щеглова стремится постичь и осмыслить глубину и мудрость мироздания. Бурные события современности, войны, катаклизмы, по ее собственному поэтическому восприятию, «цветными осколками падают прямо на сердце» и рождают композиции, отличающиеся сложными средствами выразительности. Сама художница объясняет появление в ее творчестве непривычных для восприятия полотен: «Когда я смотрю на то, что создал Бог, я могу только восхищаться, и мои

картины – это гимн природе и красоте. Люди не хотят жить в гармонии с миром. Своими страстями они создают конфликты и проблемы, и это тоже меня волнует. Для воплощения этой темы нужен другой язык, поэтому мои картины такие разные». И все же во всех этих, казалось бы, многоликих работах всегда присутствует сам автор, со своим искренним, непосредственным эмоциональным откликом на все увиденное, пережитое и всегда окрашенным поэтическим восприятием действительности.

Элеонора родилась далеко от Крыма – в Лейпциге (ГДР), но считает Ялту своим родным городом. Здесь она с двухлетнего возраста, здесь сформировалась как художник. В родительском доме всегда царила творческая атмосфера: ее мама занималась рукоделием: вышивала, плела кружева, делала интересные поделки, коллажи. Элла вспоминает о детстве: «В нашем доме самыми дорогими вещами были книги, покупала их мама. И много репродукций картин. Мама всю жизнь проработала бухгалтером, но душа у нее творческая. Дома мне не было скучно никогда, и все мои творческие начинания всегда поддерживались».

Становлению художественного мироощущения во многом способствовала и ялтинская школа № 5 (бывшая женская гимназия), в которой она училась. «Сам дух здания, в котором бывали А.П. Чехов, Марина и Анастасия Цветаевы и др. настраивали на поэзию». Серьезно заниматься искусством Элеонора начала в 16 лет, несмотря на то, что уже в школе появилось желание рисовать. Она часто на уроках рисовала на всем, что попадалось под руку, – на листках из тетради, промокашках, учебниках. Начала ходить в художественную школу, но тяга к музыке пересилила: она закончила не художественную, а музыкальную школу. И только после поездки в Москву и посещения Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Пушкина, когда впервые перед ней открылся богатый мир изобразительного искусства, возникло желание заниматься им серьезно.

Покоренная полотнами признанного мастера натюрморта народного художника Украины В.П. Цветковой – чистотой цвета, обилием света, гармонией и экспрессией – 16-летним подростком приходит в мастерскую прославленной художницы и становится ее ученицей. Каждое посещение мастерской превращалось в своеобразный праздник. Ее поражала сильная личность Валентины Петровны, покоряло ее творческое горение. По словам Элеоноры, «Валентина Петровна как будто была заряжена огромной внутренней энергией. Когда она работала – темпераментно, экспрессивно, – все вокруг заряжалось этой энергией, и я невольно получала большой энергетический заряд. Я изучала полотна Валентины Петровны, стремясь постичь секрет их солнечности и светоносности, секрет достижения гармонии колорита, цельности и обобщенности. Вся обстановка мастерской настраивала на творчество, и, к моему удивлению, первый натюрморт, написанный под руководством Валентины Петровны, оказался удачным. Это была акварель, а потом я сразу перешла на масло». В течение двух лет Элеонора занималась у Цветковой. Несомненно, что Цветкова, сильная, волевая личность и художник яркой творческой индивидуальности, оказала большое эмоциональное воздействие на формирование будущей художницы. И возможно, именно поэтому предметом



изображения многих камерных натюрмортов Щегловой со временем станут букеты цветов. Но Элла не стала подражать своей маститой учительнице, она искала свой путь в искусстве и пластический язык: «Я не подражала Валентине Петровне. Мне хотелось все тщательно выписать, каждый лепесток, чтобы передать прелесть неповторимых и разнообразных форм растений». Теперь у Элеоноры Щегловой свой индивидуальный почерк. У Цветковой – это всегда экспрессия, внутренняя порыв, стремление очень эмоционально передать щедрость и богатство даров крымской земли,

мощь и красоту цветения пробуждающейся весенней природы. Либо это обобщенный образ Южного бережья, где в панорамном решении слились воедино и характерный пейзаж, и натюрморт. Все мощно, звонко, патетично.

Натюрморты Элеоноры, как правило, – камерные, лиричные. В цветах она прежде всего чувствует «молчаливую яркую поэзию» и передает ее нежно, изящно. Натюрморты ее построены не на звучных, ярких красочных сочетаниях, а на тонких ритмических соотношениях, где в единый композиционный, очень музыкальный строй включаются тщательно прописанные стебельки, веточки, листья и лепестки цветов. Все построено на полутонах, мягко сливается с фоном. Этот негромкий ритм и нерезкие контрасты цветовых пятен как будто разыгрывают сдержанную негромкую мелодию. Художница говорит, что ей одинаково дороги трогательные фиалки и роскошная сирень. И осенние хризантемы, где за буйством красок ощущается живое дыхание осени: «Розы – мои любимые цветы, они женственны и прекрасны. Особенно я люблю плетистые розы... Я пишу цветы, потому что они всегда красивые, в них много жизни, они всегда разные, радостные, очень живописные».

Но этот любимый Элеонорой жанр живописи (натюрморт с букетами цветов) объясняется не только сложившимся отношением к цветам в годы учебы у Цветковой. Вся атмосфера Ялты, этого удивительно живописного уголка Крыма, где все утопает в море зелени, где все находится в постоянном цветении, всегда «подсказывает» художнику свои мотивы.

В Крымском художественном училище им. Н.С. Самокиша педагогами Элеоноры были А.Н. Шипов и народный художник Украины Л.В. Лабенок – талантливые художники, замечательные, чуткие учителя. Следуя заветам своих учителей, позже, будучи преподавателем Ялтинской детской художественной школы, она стремилась также чутко и внимательно относиться к своим ученикам, стремилась почувствовать и попытаться развить в каждом из них творческое начало и индивидуальные особенности, присущие каждому.

После окончания училища Щеглова активно участвует во многих выставках. И, не останавливаясь на достигнутом, желая совершенствовать свое мастерство и утвердиться как художник, она поступает в Киевскую академию изобразительного искусства и архитектуры и выбирает отделение монументальной живописи. С детства она любила рисовать больше по воображению, фантазировать, придумывать разные темы, композиции. Занятия на монументальном отделении предоставляли свободу фантазии, ученики не были связаны с заданной темой, могли свободно предаваться своему творческому воображению, выразить себя, создавая большие пространственные и декоративные композиции. Интересно было работать в разных техниках: учась у великих мастеров прошлого, они делали свои настенные росписи, витражи, мозаики, пробовали свои силы в полуабстрактных композициях (хотя в то время это было под запретом). Элеоноре и в Академии повезло с учителями: мастерскую возглавлял профессор В.А.Чеканюк, внесший большой вклад в развитие украинского искусства в 60-70-х годах XX века. С особой благодарностью она вспоминает педагога, профессора Н.А.Стороженко.

Тематически в Академии Элеонору «подпитывали» воспоминания о Крыме. Созданный ее воображением образ Южного берега лег в основу дипломной работы «Сбор винограда». Солнце, красота пейзажа, осенний звонкий колорит, любовь к родному краю, радость труда – все вместились в это монументальное произведение размером 2 х4 метра (картон для витража был выполнен в натуральную величину и оставлен в училище как методическое пособие, два фрагмента Элеонора выполнила в технике классического витража).

И вот после почти 10 лет разлуки с Ялтой она снова в любимом городе (4 года учебы в Симферополе, 6 лет – в Киеве). Ей очень хотелось реализовать свои знания, полученные в Академии, принести пользу городу, подарить ему свое искусство, наполнить его улицы, интерьеры зданий монументальными художественными формами. Она активно включается в работу как член коллектива Ялтинских художественно-производственных мастерских (с 1984 г). По государственным заказам она делает мозаики: украшает фасад детского сада «Катюша», павильон автобусной остановки «Массандра», пляж санатория «Золотой пляж». По ее эскизам делаются витражи в школе № 7, в институте «КрымНИИПроект». Она выполняет декоративные росписи в холле административного здания рыбозавода, в санатории «Ялта». Работы оригинальны по композиции, гармоничны по цветовому решению. Последней монументальной работой, которую удалось выполнить Щегловой, стало панно, украшающее сегодня вестибюль второго этажа Ялтинского горисполкома. Написано оно широко и декоративно, художница удачно и достоверно совместила городские пейзажи Ялты по ул. Таврической, сделанные по предварительным натурным наброскам, и свою фантазию, свое представление о южном солнечном городе у моря.

Уже в начале 90-х годов изменилась ситуация в стране, прекратились государственные заказы, труд художников оказался невостребованным, ху-



Элеонора Щеглова. Тушь, кисть. «На этюдах».

дожники, к сожалению, оказались ненужными городу. Пришлось им самим искать возможности реализации своих работ, переключаться на камерные формы, доступные покупателю среднего достатка. Таким образом, Элеонора стала работать исключительно в области станковой живописи и графики. Она много пишет с натуры. В 1993 году Щеглова принята в члены Национального Союза художников Украины. Она активно участвует в многочисленных выставках в стране и за рубежом (Болгария, Югославия). Только за последние три года ее работы экспонировались почти на 30 городских, групповых, региональных, всеукраинских выставках. В 1996 году состоялась ее первая персональная выставка. Несмотря на то, что выставка была небольшой, она оказалась очень важной для художницы: Элеонора почувствовала, что организация персональных выставок существенно помогает творческому росту. Персональные выставки дают возможность каждому художнику взглянуть на свои работы как бы со стороны, проанализировать их, почувствовать свои «находки» и «промахи», и наметить дальнейшие творческие задачи. Кроме того, на персональных выставках, которые раскрывают характер творчества художника, его индивидуальный почерк, особенно остро воспринимается реакция зрителей и их оценка, как отдельных работ, так и всего творчества художника. Именно поэтому одной из главных задач, которую Элеонора поставила перед собой – стала организация персональных выставок, как своеобразных встреч с их посетителями. На протяжении последних 7 лет она провела 15 персональных выставок: в Ялте они были показаны в выставочном зале Союза художников, в Ливадийском дворце-музее, в Доме-музее А.П. Чехова, в центре детского и юношеского творчества; в Симферополе выставки прошли в Доме художника, в Краеведческом музее, в холле Верховного совета, в галерее КЭП; в Киеве выставки экспонировались в трех галереях – «Акварель», «Мистець», «Кроки на зустріч». Шестнадцатую свою персональную выставку, которая летом 2003 года была развернута в залах Ливадийского дворца-музея, художница назвала «И цвет, и трепет лепестков». Действительно, на выставке преобладали цветы: и разнообразные букеты, и отдельные цветы, искусно скомпонованные и превращенные в красивую картину. Художница пишет их маслом, акварелью, рисует карандашом. «Для меня цветы, – говорит художница, – это не только красота хрупких, нежных и бесконечно сильных ростков жизни, которые всегда согревают душу, но и смена времен года, и взаимоотношение человека и природы, и многообразие цвета и света».

Вот это многообразие цвета и света особенно ярко было представлено на живописных полотнах Ливадийской выставки. Центральное место в экспозиции занимал самый большой по размерам и самый мощный по звучанию натюрморт, который художница назвала «Летний праздник». Интересна история его создания. В день рождения художницы друзья подарили ей много цветов. Желая передать свой восторг от этих подарков и свою благодарность друзьям, вложившим свое душевное тепло и в роскошные, и в очень скромные букеты, Элеонора решила написать картину, составленную из этих цветов, как бы продляя жизнь празднику. А праздник получился двойным: он совпал с действительно радостным и необычайно важным событием в творческой биографии художницы – ей была предоставлена новая, не только большая, но главное, очень светлая творческая мастерская. Прежде она работала в своей небольшой, слабо освещенной жилой комнате. Теперь обилие солнца и света, наполняющее мастерскую, дало новый импульс художнице. «Когда

видишь этот свет, это солнце, невольно хочется и в свои полотна «впустить» это сияние, хочется писать широко, свободно. Я пишу большой кистью, мастихином». Получив возможность работать в достаточно свободной мастерской, она смогла воплотить то, что, очевидно, давно зрело в душе художницы, но оставалась неосуществленным из-за отсутствия условий для работы. Теперь, истосковавшись по большим работам, она всю свою накопившуюся энергию с огромной экспрессией чувств воплотила в своих новых живописных полотнах. Ее большие натюрморты на выставке «Летний праздник», «Цветы осени», «Натюрморт с хризантемами», «Осенние листья и яблоки» написаны сочным энергичным мазком, они – звучные по цветовым сочетаниям, солнечные и радостные. Торжественные, сияющие кисти гладиолусов, пышные хризантемы, белые и алые розы, разнообразные стеклянные вазы, бокалы – все пронизано светом, воздухом, все окутано солнечными бликами, все искрится, переливается... Работы выполнены с полной отдачей сил; ощущаешь, как художница радуется этому солнцу и свету, красоте и разнообразию форм цветов и фруктов. И это творческое «горение» невольно передается зрителю, который получает от встречи с полотнами огромный энергетический заряд бодрости и радости. Можно считать, что последние ее работы говорят о новом этапе в творчестве художницы. В работах ощущается особая «вольность» в сущности самой живописи – как пишется в одном из отзывов о выставке. Когда-то одну из своих персональных выставок художница назвала «Крещендо», подчеркнув тем самым процесс постепенного восхождения по ступеням большого искусства. Действительно, новые работы Элеоноры звучат мощно, торжественно, радостно.

Многим работам Щегловой присуща особая музыкальность. Ее букеты пионов, написанные в пастельных тонах, где тщательно прописан каждый лепесток, а линии стебельков и листьев составляют легкую ритмическую композицию, звучат негромко, как бы «под сурдинку». Будто слышишь, как звенят ее колокольчики – так художница тончайшей градацией оттенков сиреневого цвета смогла донести до зрителя их мелодичный звон.

Музыка рано вошла в жизнь Элеоноры, она играет сама, ее муж – музыкант, и творчество ее также пронизано яркой «музыкой очей».

В одном из своих полотен «Натюрморт в мастерской» художница изобразила любимые ею плетистые розы, написанные свободно, живописно, начатые холсты, приготовленные подрамники, икону и парящую над всем, сделанную из бумаги птицу – и все это на фоне темного пианино, как бы сконцентрировавшего все, что особенно дорого художнице, что составляет ее жизнь.

Группа прихожан храма св. Иоанна Златоуста (Ялта) так отзывалась о работах Э. Щегловой: «В ее картинах чувствуется божья благодать! Только человек, понимающий так глубоко красоту природы, мог с такой подлинностью изобразить эти Божьи творения... Спасибо художнице, сумевшей так наглядно, живо и с душой приобщить нас к великой тайне творения» (7 подписей).

Помимо натюрмортов, в которых она прежде всего решает колористические и композиционные задачи, большое внимание художница уделяет пейзажу.

Щеглова создала свой пейзаж. Ее пейзажи всегда небольшие, очень поэтические. В них нет праздничной курортной Ялты. Элеонора любит писать тихие улочки старого города, сохранившие свой особый колорит и поэзию. Выросшая в Ялте, она как бы впитала в себя очарование ауры старого города,

гармонию архитектурных ансамблей прошлого. Ей хочется привлечь внимание к сохранившейся красоте прошлого: «Ялта – говорит художница, – это мой родной и любимый город. Ее маленькие переулки, дворики, старые домики с подпорными стенками из серого камня, обвитые глицинией или плющом, действительно уходят в прошлое. И я стараюсь в своих пейзажах продлить им жизнь. Ведь Ялта не похожа ни на какой другой город в мире».



*«Лодки на берегу»
73 см, 61 см
Э. Элеонора
г. Ялта*

Одну из своих персональных выставок художница так и назвала – «Мой любимый город».

«Пронзительная осень» – так ее собственными словами можно назвать картину «Осенний день». По контрасту с прозрачными далями, так характерными для осеннего состояния природы, буйство красок и насыщенные цветовые контрасты первого плана придают небольшой ее картине монументальное звучание. Красные виноградники и желто-оранжевые листья осенних деревьев в этой картине буквально разыгрывают радостную мелодию, и как торжественные аккорды звучат силуэты темных кипарисов и золотистых пирамидальных тополей.

«Память» – так назвала художница одну из своих картин, в которую она вложила свое восприятие Ялты. Художница написала весну. Для нее Ялта – это сплошная нежно-сиреневая кипень цветущей глицинии, удивительно чистый воздух, прозрачные морские дали, рождающие светлые, радостные мечты. Картина Элеоноры покоряет своим тонким лирическим настроением: колоннада над морем, увитая глицинией, одинокая фигурка девушки,

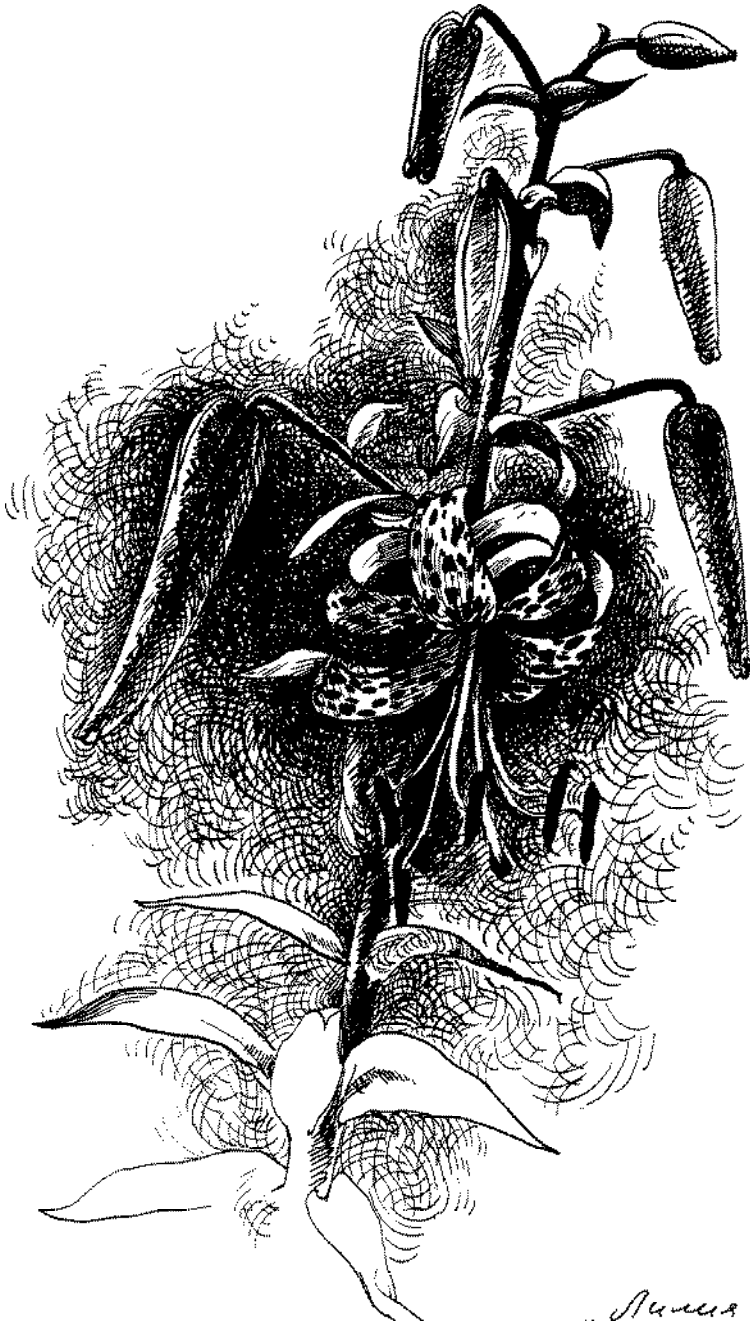
сидящей на берегу и мечтательно всматривающейся в голубые просторы в ожидании тихой радости – все как бы растворилось в чистом, прозрачном воздухе.

Чтобы полнее выразить свое отношение к природе, Щеглова часто создает целые серии, объединенные тематически. Очень интересны ее живописные и графические пейзажи снежной зимы в Ялте. «Я попыталась, – говорит она, – остановить мгновенье – нарисовать пейзаж заснеженного южного города, ставшего таинственным, непривычным. Ведь пальмы в снегу – разве это не чудо?». В зимних пейзажах, мерцающих тонкими серебристыми оттенками, как будто ощущается легкий летящий снег, мягко падающий на пальмы, зелень деревьев и кустарников. В рисунках, выполненных простым и итальянским карандашами, художница растушевкой добивается впечатления пушистого свежеснежавшего снега.

Нельзя без восхищения смотреть на ее рисунки, в которых тончайшие линии, нанесенные простым карандашом, поражают своей виртуозностью. Выполненные уверенной рукой опытного мастера, эти линии не только с какой-то особой изысканностью очерчивают силуэты хрупких ирисов, затейливых по форме водосборов, пышных пионов, но и выявляют их объем. Легкой растушевкой карандаша художница достигает впечатления наполненности этих рисунков воздухом, создается ощущение движения воздуха и колыхания лепестков. Чувствуется, как по-особому бережно художница стремится передать своеобразие каждого цветка, каждого лепестка.



Ветка вишни
Щеглова



Lilium

Молодые ялтинские художники Максименко А. и Ускова М. пишут: «утонченная графика завораживает. Это чудесно!».

Высокую оценку работ Щегловой дал профессор Никитского ботанического сада, знаток и высокий ценитель искусства, коллекционер, подаривший свою уникальную коллекцию произведений русских художников конца XIX – начала XX века Алупкинскому дворцу-музею – В.Н. Голубев. Он пишет в книге отзывом: «Исключительны по совершенству, пластике графики рисунки итальянским карандашом и простым карандашом, воздушные, трепетные и интимные, с неповторимым дыханием».

Акварели Щегловой нежные и романтические, очень легкие, прозрачные, «сквозистые». Чуть касаясь кистью бумаги, она дает возможность краске легко расплываться, а тончайшим оттенкам мягко перетекать один в другой, достигая тем самым передачи удивительной трепетности лепестков. Даже когда она оставляет чистой белую бумагу (как в оригинально решенном ею «Весеннем натюрморте», эти светлые пятна, окруженные тончайшей градацией цветных оттенков, воспринимаются как гроздь белой сирени, такие же живые, пышные, воздушные.

Иногда, когда бывает трудно передать какие-то эмоции, ощущения, художница прибегает к языку ассоциаций – создает коллажи.

Вот как об этом говорит сама художница: «В изобразительном искусстве много разных путей и технологических приемов. Для своей работы я использую различные материалы, и не только краски. Все они служат для выражения конкретной темы. Когда есть сюжет, я выбираю средства выражения, чтобы результат был наиболее полным. То, что сделано акварелью, невозможно повторить маслом, и наоборот. Иногда мне хочется «материализовать» какую-нибудь мысль или понятие – и здесь классические приемы живописи не годятся. Жизнь идет вперед, под натиском цивилизации и скоростей меняется восприятие окружающего, меняется язык времени. Динамика и надлом современного мира меня волнуют, мне это тоже интересно, и я пытаюсь передать это в своих работах ярким акрилом. Душа отдыхает на цветах, но жизнь – это не только розы. Некоторые мои картины называют «философскими». Но там нет философии, там мое восприятие и мое мироощущение, а философия – это для писателей и философов».

Очень часто образы рождаются в то время, когда она слушает музыку или играет сама. Это состояние выражено в ее поэтических строках: «За музыкой – в радость, в запах красок и роз». «Я пишу картины, – говорит художница, – под музыку Баха и Вивальди. И когда хочется сделать паузу во время работы над картиной, сажусь за фортепиано и играю классику. Она меня вдохновляет, подсказывает образы, которые сначала появляются в моем воображении, а потом уже на полотне».

У художницы большой опыт работы над монументальными произведениями, живописными полотнами, графическими сериями, и все же она до конца не удовлетворена своими результатами, считая что находится еще в поиске. Ей хочется создать яркий эмоциональный образ, где воедино бы слились и импрессионистская трепетность, подвижность природы, струящийся воздух, и свет, и реалистическая плотность, весомость предметного мира. Но при этом, как она считает, надо ввести в образ долю стилизации и декоративности... Пусть осуществится все задуманное ею.

Геннадий ШАЛЮГИН,
заслуженный работник культуры Украины

«МУДРЫЕ ЗВЕРИ»

Крещенский обряд балаклавских греков в зеркале русской литературы

Таврида подарила мировой литературе немало сюжетов — начиная от эпизодов знаменитой поэмы Гомера «Одиссей», трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» — до «Бахчисарайского фонтана» А.Пушкина, «Севастопольских рассказов» Л.Толстого, «Дамы с собачкой» А.Чехова и «Бега» М.Булгакова. К числу незаурядных произведений относятся и очерки А.Куприна «Листригоны» (1907–11 гг.), в которых воспроизведен оригинальный крещенский обряд балаклавских греков, издревле исповедовавших православную веру и относящихся к разряду «культурообразующих» этносов Крыма.

Сам обряд своеобразного «крещения моря», соединенный с состязанием молодежи, неоднократно описан в краеведческой литературе. В частности, подробно рассказывается о нем в книге епископа Гермогена «Таврическая епархия», увидевшей свет в 1887 году во Пскове, куда после Крыма был переведен автор. Гермоген, епископ Симферопольский и Таврический, оставил после себя выдающийся для своего времени труд, подробно раскрывающий историю, географию, быт и обычаи народов, населявших Крым. На Крещение крымские греки, после освящения воды, устраивали своеобразное состязание: священник после крестного хода бросал в море деревянный крест, и молодежь наперегонки устремлялась за ним, каждый старался первым поймать крест. Победитель заплыва, проходящего в ледяной воде, считался героем дня. С крестом на блюде молодые люди обходили дома и пели Богоявленский тропарь. Домохозяйка клала на блюдо деньги. Часть их шла на нужды церкви, а другую часть молодежь расходовала на себя. В Евпатории, например, пожертвования делились на три части: для церкви, для бедных — и для самой молодежи (1).

Подобный обряд бытовал практически во всех местах проживания таврических греков — в Феодосии, Судаке, Севастополе... В неизменном виде, как свидетельствует передача Российского телевидения, обряд живет до сих пор у константинопольских греков: там тоже бросают в пролив деревянный крест.

Даже в начале XX столетия, вплоть до появления очерков А.И.Куприна, Балаклава считалась малозначительным в курортном отношении городишком, «прескучным и прегрязным», по определению крымского краеведа Евгения Маркова. Городок набит «горбоносыми, черноволосыми и черноглазыми греками <...> — это потомки греческих корсаров <...>, особенно неприятное впечатление производят эти физиономии хищной птицы, носатые, узколобые, с выражением алчности и тупоумия в глазах». «Чисто племя коршунов!» (2).

Куприн же, в начале века чуткий ко всему героическому, проникся симпатией к обитателям балаклавской бухты, куда во время оно заплывал сам Одиссей. С предельным реализмом и некоторой романтической приподнятостью он зарисовал картины быта и нравов местных греков (3), в том числе и необычный крещенский обряд, который не встречается, кажется, более нигде во всем христианском мире.

Своеобразие балаклавского крещенского обряда пристокает, очевидно, от особого «удальства» местных греков — потомков легендарных листригенов, а также специфика их морских промыслов. А.Куприн провел немало времени в окружении колоритных рыбаков: он приобрел в Балаклаве домик, отдыхал и работал здесь в 1904–05 годах и настолько проникся местным духом, что даже вступил в местную артель ловцов кефали (4). Он отметил, что способность глубоко и продолжительно находиться под водой считается большой доблестью и предметом особой похвальбы. Один из таких ныряльщиков по имени Спирос стал живой легендой из-за фантастической способности находиться под водой до четверти часа; ему якобы удалось видеть золото знаменитого фрегата «Черный принц», затонувшего в годы крымской кампании у входа в Балаклавскую бухту. Приведем описание обряда из очерка А.Куприна «Водолазы»:

«Это было 6 января, в день Крещения Господня, — день, который справлялся в Балаклаве совсем особенным образом. <...> Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно несло пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуся...» — тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Вздуродраженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водой мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади. <...> Ослепительно

блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!» (5).

Куприн назвал крещенский обряд балаклавских греков «полуспортивным, полурелигиозным» и увидел в нем отголоски далекой, еще дохристианской древности, когда на берегах бухты Символон, освещенной авторитетом творца «Одиссеи», жили веселые и радостные люди, «свободные и мудрые как звери» (6). Его «Листригоны» стали упреком современности, нынешнему оскудению человечества, скуке буржуазной жизни. Не случайно основным художественным приемом писателя стало контрастное сопоставление постылого, пошлого «сегодня» — и героического, свободного прошлого, густо замешанного на мифологических мотивах. Ведь балаклавские листригоны — потомки морских великанов, сожравших спутников Одиссея!

Смакуя подробности, Куприн рисует картины кабацких пирушек, когда рыбаки воздают должное молодому «бешеному» вину, приготовленному тем же первобытным способом, которым пользовались прародитель Ной или Улисс, опивший Полифема. Великолепный праздник Вакха гремел на этих горах 4–5 тысяч лет назад! Безумно-радостные, божественно-пьяные возгласы «Эвое! Эван! Эвое!» гремели над заливом. Куприн с восхищением воспроизводит внешность рыбаков, в жилах которых смешалась таинственная, древняя кровь листригонов и скифов. Автор романтизирует сцены борьбы рыбаков с морской стихией (очерк «Бора»), с необыкновенно крупной рыбой («Белуга»), приводит апокрифическое сказание о «Господней рыбе» с красивыми пятнами на боках, по уверениям рыбаков, это следы пальцев Иисуса Христа, который ради матери сотворил чудо и оживил рыбу, находившуюся на сковородке. Оказывается, эта же рыба бытует под именем «Зевсова рыба»... Кто скажет, до какой глубины времен восходит этот апокриф, укаражающий нелегкий труд рыбаков?

Окружающие горы и древние развалины напоминают Куприну сказочное чудовище, которое сунуло пасть в море и жадно его пьет... И даже огонек таможи на темной горе воспринимается как красный глаз дьявола, что весьма смахивает на восприятие Чеховым пейзажей Сахалина, сущего ада на земле.

Благодаря такому контексту в христианском обряде Крещения вскрывается его дохристианское, мифологическое начало. Бросание креста в море напоминает языческий обряд жертвоприношения, призванного усмирить стихию. Известно, что многие христианские святые (Николай-чудотворец — покровитель моряков) обладали языческими, по сути, свойствами — усмирять штормовые воды. Крещенные рыбаки и крещеное море становятся как бы братьями по крови и вере.

Таким образом, воспроизведение крещенского обряда балаклавских греков выходит за рамки этнографического интереса: за внешней экзотикой проступают черты жизни веселых и мудрых «зверей», и на фоне эпического, легендарного прошлого, сохранившегося в жалких осколках, мещанская ограниченность современного обитателя Балаклавы особенно разительна:

«Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезунд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пяточок по заливу детей и няnek и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим». Снова и снова Куприн возвращается к идее упадка, деградации настоящего человека под ударами «цивилизации»: «По заливу плавают лодки с татарской музыкой:

бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно-уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив...» (7).

Характер использования Куприным христианского обряда крещения свидетельствует, что автор нарочито отвлекается от собственно-религиозного содержания обряда; он воспринимается как красочная греческая экзотика, которую под аплодисменты наблюдают случайные зрители — итальянские моряки. Нравственная жизнь потомков листригонов также мало соотносится с таинством Крещения: победителем состязания ныряльщиков на празднике становится Яни Липиади, заядлый браконьер, герой очерка «Воровство». Да и другие славные представители отважного племени не гнушаются при случае надуть доверчивую публику. Сашка Аргириди, первый ныряльщик и первый плут на побережье, к примеру, любил продавать заезжим туристам обыкновенную гальку с просверленной дыркой (грузило от сети) как бесценный талисман, спасающий от бури и освященный якобы у раки Николая Угодника ...

* * *

Куприн не был первым русским литератором, кто обратился к крещенскому обряду балаклавских греков. В 1892 году, за пятнадцать лет до Куприна, обряд нашел отражение в стихотворной поэме Владимира Шуфа «Баклан», опубликованной в популярном русском журнале «Вестник Европы».

Имя В. Шуфа по ряду причин практически выпало из истории литературы. Главную роль сыграло то обстоятельство, что этот литератор оказался связан с черносотенным движением, и после победы Октябрьской революции большевики постарались убрать какое-либо упоминание о нем. Едва ли не единственное упоминание о нем за последнюю половину столетия найдем в романе Владимира Рынкевича «Ранние сумерки», где поэма «Баклан» охарактеризована как глупое сочинение о ссоре двух греков из-за женщины: один грек утопил другого (8). В последние годы появились публикации, в которых обобщены биографические сведения о писателе, сделаны попытки приоткрыть взаимосвязи творчества В. Шуфа и А. Чехова (в частности, между поэмой Шуфа «Баклан» и чеховской «Чайкой») (9). Добавим, что недавно в крымской прессе вышли статьи Г. Пяткова с претензиями на «первооткрывательство» (10).

Владимир Шуф действительно оставил след в литературе и культуре: на первые публикации его благословил Надсон; был он знаком с Чеховым; состоял в переписке с великим князем Константином Романовым, сотрудничал в крупнейшей буржуазной газете «Новое время», был ее корреспондентом в Манчжурии в период русско-японской войны.

Согласно статье известного «Энциклопедического словаря» Товарищества бр. Гранат, Владимир Александрович Шуф родился в Москве в 1865 году, на литературное поприще вступил в 1884 году в журнале «Неделя», сотрудничал в «Ниве», «Живописном обозрении», «Осколках» (где, кстати, начинал писательскую карьеру и Антон Чехов), других изданиях. Печатал злободневные фельетоны и очерки под псевдонимом «Борей» в газете «Петербургский листок» (11).

Если заглянуть в алфавитный каталог Российской государственной библиотеки (Москва), то обнаружится, что В. Шуф — автор по крайней мере десяти отдельных книжных изданий, в том числе большого романа «Кто идет?»

(Вильборг, 1907), написанного по свежим следам революции 1905 года и ставшего откровенной апологией «Черной сотни».

Одна из книг В.Шуфа — сборник стихотворений «В край иной» заслужила подробного разбора К.К.Романова («К.Р.»), который весьма сочувственно оценил сонеты поэта (назвал их «спелой пшеницей») и его раннюю романтическую поэму «Баклан», целиком построенную на крымском материале. Он отметил, что поэма заслуживает похвалы, поскольку содержание ее «просто, естественно и передано поэтично» (12).

Крымскому читателю Шуф интересен и тем, что значительная часть его жизни прошла на Южном берегу. Легочное заболевание привело его, сына московского педагога, в Ялту, где семья приобрела домик в Ливадийской слободе. Здесь он встречался с С.Надсоном, сопровождал Антона Чехова в 1889 году в поездках по Южнобережью, в том числе и в Балаклаву. Судя по воспоминаниям писательницы Е.Шавровой, романтический поэт Шуф эпатировал публику ярко-красной шелковой рубахой, вызвав, судя по всему, неудовольствие Чехова, который был, ко всему прочему, еще и врачом. Земские доктора того времени имели красную рубаху в качестве форменной одежды, и красный цвет вовсе не означал либерализм, как может показаться поначалу. В красном покрывале изображался на иконах святой целитель Пантелеймон, прославившийся бескорыстием во врачевании народных недугов. Ироническое отношение к романтическому «юноше», который был моложе Чехова всего на пять лет, в полной мере проявилось в 1892 году, когда Шуф явился в Мелихово с поэмой «Баклан». Антону Павловичу, занятому в это время борьбой с холерой, было не до романтических поэм, и он откровенно посоветовал крымскому знакомцу в этом жанре больше не упражняться, а в письме А.С.Суворину охарактеризовал поэму весьма нелицеприятно: «дрянь ужасная и притом всплошь глупая» (13). Чехов был раздражен тем обстоятельством, что вскоре после его ругательного отзыва «Баклан» был опубликован в «Вестнике Европы» и получил положительные отзывы. Любопытно, что Суворин, словно в пику Чехову, пригласил Шуфа в реакционном «Новом времени», где романтический поэт быстро освоился в компании заядлых ретроградов вроде Н.Энгельгардта и С.Сыромятникова.

Крым стал катализатором романтических устремлений Шуфа. Здесь он занялся собиранием и переводом на русский язык крымскотатарского фольклора. В книге «Крымские стихотворения» (1890) целый раздел составили переводы татарских песен; через пять лет в Петербурге вышла книга Шуфа «Могила Азиза. Крымские легенды и рассказы», которая и сегодня заслуживает пристального внимания. Стихотворный нравоописательный роман «Сварогов» (1898), написанный в явное подражание пушкинскому «Евгению Онегину» и приуроченный к 100-летию со дня рождения Поэта, также переполнен крымскими реалиями. Сатирическое описание курортных нравов буржуазной публики, проводящей время в модной Ялте, как бы предвосхищает соответствующие страницы рассказа А.Чехова «Дама с собачкой» (1899).

Умер Владимир Александрович Шуф в 1913 году в Ялте. Здесь он лечился от сильной простуды, полученной на автопробеге «Санкт-Петербург — Персия». Похоронен на Поликуровском кладбище. Могила его потеряна (14). Архив разграблен и частично находится в фондах Ялтинского объединенного историко-литературного музея.

Итак, поэма Владимира Шуфа «Баклан». Содержание ее, в отличие от отзыва Антона Чехова, было высоко оценено великим князем Константином

Романовым, вкусу которого также стоит доверять. В истории литературы немало примеров, когда одно и то же произведение получало прямо противоположные оценки. Л.Толстой, к примеру, совершенно не воспринимал чеховские пьесы. Считал, что они еще хуже пьес Шекспира...

Поэма романтична прежде всего своей целевой установкой — утверждением индивидуальной, личной свободы как наивысшей ценности. Любопытно, как из одних и тех романтических установок, разделяемых в 90-х годах XIX века широким кругом литераторов, выросли антиподы — революционер Горький и реакционер Шуф... Еще один парадокс времени.

Поэма названа по имени малопривлекательной на вид птицы, ведущей исключительно морской образ жизни: она питается, спит, да и размножается, кажется, тоже в море. Ее называют иногда «морским вороном». В поэме Шуфа «Бакланом» кличут молодого безродного моряка Анастаса, проводящего дни и ночи под парусом: свою приверженность к свободе и морю он не готов променять и на любовь прекрасной жительницы Балаклавы Кире, жены здешнего капитана Мавромихали. «Кира» по-гречески означает «владычица, хозяйка»: это действительно сильный характер. Полюбив Анастаса, она готова бросить постылого мужа и бежать в греческие поселения на Азове, куда в восемнадцатом столетии русская царица ради спасения от мести мусульман переселила православных жителей Балаклавы. «Мавромихали» в переводе с греческого означает «темный, черный Михаил» (14): уже в самом значении фамилии обозначена роль черного ревнивца Отелло, которая уготована старому капитану.

Однако в поэме вскрывается и вполне реальный пласт крымской истории. Узнаваемы приметы Балаклавы, описания местного базара, развалины старинной крепости, местные обряды... Как выяснили историки и краеведы, на протяжении всей современной истории городом правил клан Мавромихали — потомки легендарного командира греческого батальона Стефана Мавромихали. В начале 19 столетия в родовом имении Мавромихали побывал известный исследователь таврических древностей А.Н.Муравьев-Апостол и писал: «Прелестное место! Если мне вздумается писать роман в рыцарском вкусе, я здесь запрусь с Ариостом и с 1001 ночью» (16). У его сына Павла была красавица-дочь Мария Павловна Мавромихали, которую считают той самой таинственной крымской красавицей, которая пленила сердце Пушкина... (17). В замужестве у нее была фамилия Анастасьева, что прямо перекликается с именем героя поэмы Шуфа; вполне возможно, что автор поэмы был в курсе южнобережных легенд о связях семьи Мавромихали с Пушкиным и нарочито создал аллюзии, пробуждающие историческую фантазию читателей.

Но обратимся непосредственно к описанию обряда, который, в отличие от очерков Куприна, имеет в поэме сюжетообразующее значение: благодаря победе в соревновании ныряльщиков Анастас попадает в дом Мавромихали, встречается с Кирой, которая подарила ему не просто деньги или сладости — подарила горячую и беззаветную любовь.

Он вспомнил зимний день холодный,
Крещенский праздник, крестный ход,
Хоругви, гул толпы народной
На берегу плескавших вод.
.....

Пять-шесть искуснейших пловцов,
 Известных в целом околотке,
 Стояли в простынях на лодке,
 И каждый был из них готов,
 Священным рвением, верой полный,
 Нырнуть в застынувшие волны
 И крест схватить наперебой,
 Когда он, встреченный пальбой,
 Здесь будет вынесен народу
 И с пеньем клира брошен в воду.
 На лодке, в холст закутав стан,
 Среди пловцов стоял Баклан,
 Тая волнение и тревогу,
 На скользкий борт поставив ногу.
 Вот дальний звон колоколов
 Раздался мерно, тронул воду...
 И обернулся ряд голов.
 Пронесся говор по народу,
 И крестный ход в блистанье риз
 С холма от храма сходит вниз.
 Священник стал у вод залива,
 Крест позлащенный бросил он,
 И грянул залп со всех сторон,
 И эхо гор, как грохот взрыва,
 Промчало залп во все концы,
 И в воду бросились пловцы.
 И холодом, и дрожью полны,
 Баклана охватили волны.
 Опередив других, рукой
 Рассек он плещущую воду,
 И крест из глубины морской
 Он вынес к шумному народу. (18).

В отличие от очерков Куприна, крещенский обряд воспроизводится со всеми атрибутами церковной праздничности, вместе с атмосферой религиозного одушевления, охватившего народ. И это не случайно: христианская обрядность несет в себе огромное морально-нравственное содержание, которому суждено предопределить развитие сюжета и судьбу героев. Сюжетообразующая роль обряда крещения подчеркивается и тем, что его описание приводится с незначительными вариациями дважды. Узнав об измене жены, Мавромихали решается на смертельную схватку с молодым соперником в морской пучине. Происходит это опять-таки на Крещение во время доставания креста. Ввиду сильного мороза ряды состязателей поредели: за крестом ныряли только Баклан и Мавромихали. По сути дела, Мавромихали решается на суд Божий: здесь, в пучине, над святым крестом, должен победить тот, кто прав перед Богом.

Баклан бросается в ледяную пучину, рука его уже тянется к кресту, обвитому морской травой, как злобный, воспаленный взор соперника впивается в него.

Так в море смелый водолаз
 На ловле жемчуга порою,
 Прельстившись раковин игрою,
 Встречает вдруг, взглянув назад,
 Вблизи акулы хищный взгляд.
 И ближе все глаза сверкали
 Сквозь зелень волн, и наконец
 Рукой, как опытный пловец,

Рассек волну Мавромихали
И, прянув вниз, рукой другой
Обвил Баклана стан ногой.
Напрягшись, с сжатыми губами,
Ему уперся в грудь руками
Баклан, и с плеском и борьбой
Безмолвный завязался бой.
Сплетясь подобно двум полинам,
Они друг другу иногда
Давили горло, и тогда
Им в рот и ноздри, вместе с хрипом
Врывалась мутная вода.
О, это были уж не люди! —
Два краба, пара злых акул.
Один всплывал, другой тонул,
Мутился взгляд, спиральсь груди...

Отвлечемся от ритмики и стилистики поэмы, явно повторяющей соответствующую сцену схватки Мцъри с барсом. Главное — в самом способе разрешения конфликта, который, как уже было отмечено, предопределен идеей «Божьего суда».

В христианской средневековой Европе «Божий суд» являлся распространенным явлением, что нашло отражение в последующей романтической традиции преданий, легенд, народных баллад и поэм (см., к примеру, знаменитую «Песнь о Роланде»). Победитель рыцарского поединка получал моральное оправдание как лицо, на чьей стороне была божья защита. И тут перед автором поэмы В.Шуфом встала сложная проблема: на чьей же стороне должна быть победа?

На чьей стороне нравственная правда и право жить дальше? На стороне черстового, бездушного, но законного перед Богом и людьми старого мужа — или на стороне молодого любовника, чья незаконная связь с замужней женщиной самоочевидна? Шуф, с самого начала сделавший акцент на неизбежность христианских нравственных ценностей, что подчеркнуто возвышенно-торжественным описанием крещенского обряда, оказался несвободен в разрешении финала: финал предопределен задолго до его фактического свершения. Победит законный муж...

В ушах Баклан уж слышал шум,
Дыханья нет, мутился ум...
В последний раз рванувшись дико,
Хотел он крикнуть, — нету крика!
И без сознания на дне
Он распростерся в глубине. (19).

Хладный труп его, с венком зеленых водорослей на бледном челе, рыбаки увидели уже далеко в море...

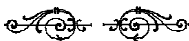
Вполне возможно, учитывая самоочевидную слабость финала, Чехов, и сам не раз мучительно бившийся над проблемой разрешения концовок (герою приходится или стреляться, или жениться), признал поэму Шуфа «всплошь глупой». Тем не менее, нельзя не признать смелость автора в использовании уникального Крещенского обряда балаклавских греков для создания крупного поэтического произведения.

Крымская история хранит еще немало сюжетов, способных возбудить творческую фантазию драматургов, прозаиков и поэтов. Знакомство с тем, какое место и какую роль таврические древности занимали в творчестве известных и малоизвестных предшественников, поможет избежать ошибок, непременно ожидающих новаторов, и подсказать новые, оригинальные решения.

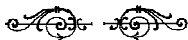
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гермоген, епископ. Таврическая епархия. Псков, 1887. С. 441.
2. Марков Евгений. Очерки Крыма. СПб.-Москва, 1902. С.335.
3. История русской литературы, в 4 тт. Т.4. Л., 1983. С. 338.
4. Дегтерев П.А., Буль Р.М. У литературной карты Крыма. Симферополь, 1965. С. 118-20.
5. Куприн А.И. Собрание соч. в 9 тт. Т.9. М.: «Правда», 1964. С.140-41.
6. Там же. С. 142.
7. Там же. С. 142,145.
8. Рынкевич Владимир. Ранние сумерки. Роман. М.: Армада, 1998. С.31.
9. См.: Шалюгин Г.А. Крымские реалии в поэме В.Шуфа «Баклан»./ 150 лет Керченскому музею древностей. Материалы научной конференции. Керчь. 2001; Шалюгин Геннадий. «Лежит у моря Балаклава...».Крещенский обряд балаклавских греков в зеркале русской литературы./ Севастополь. Альманах. 2001. № 14(1); Мурыянов М.Ф. О символике чеховской «Чайки»./ Чеховиана. Полет «Чайки». М.: Наука. 2001; Шалюгин Г.А. Крещенский обряд балаклавских греков в зеркале русской литературы. // Христианство на Южном берегу Крыма. Материалы Крымской научно-практической конференции (24 ноября 2000 г.). Ялта. 2002;
10. Пятков Григорий. Возвращение Владимира Шуфа. // Крымская газета, 2003, 7 февраля; Пятков Григорий. Вернувшийся из забвения: Владимир Шуф и его судьба./ «Черное море». Литературно-художественный журнал. Симферополь. 2003. № 1.
11. Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Ал И. Гранат и Ко». Изд. 7. Том 11. СПб. 733-34.
12. К.Р. Критический разбор книги В.Шуфа «В край иной». Из трудов разряда изящной словесности Императорской академии наук. СПб., 1907. С. 7, 36.
- 13.Чехов А.П. Полн.собр. соч. и писем, в 30 тт. М.: Наука, 1974-83.Письма. Т. 5. С. 116-117.
14. Сошин Геннадий. «Они жили в Ялте». Справочник о деятелях культуры дореволюционного периода. Рукопись. Ялта, 1967. С. 138-140. Биографические сведения о В.Шуфе (с неточностями) приведены автором со слов дочери поэта Н.В.Шуф.
15. Наследие Эллады. Энциклопедический словарь. Сост. Ю.И.Сердерида. Краснодар, 1993. С. 164.
16. Шавшин Владимир. Балаклава. Симферополь, «Таврия», 1994. С. 28.
17. Вербицкая А.В., Михайлова С.В., Омелай В.В. Незнакомка. Неизвестные факты крымского периода жизни и творчества А.С.Пушкина. В сб.: Слово о Пушкине. Материалы Пушкинского общества Украины. Киев, «Логос», 1999. С. 95.
16. Шуф. В. Баклан. Поэма. /Вестник Европы. Август 1892. Т. 4. С. 489-90,
17. Там же. С. 517.

Ялта

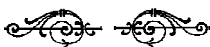


**Правление журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют
ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАЛЮГИНА
с присвоением ему звания
«Почетный гражданин Ялты»,
желают новых трудовых побед и новых наград!**



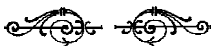
КРЫМСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2004 ГОДА

- 22 Тва (60) — МАКУХА Пеш ПешФви , ХФЦХ бли и Ш
13 Тва (55) — РИКМАН Г игФий МиЫлФви , Хе евФд ик.
1 Уа Ш (70) — ПОТАПЕНКОВ Алек аТд Ва ил еви , Х бли и Ш
10 аХ ел (80) — ЛАТЫШЕВ ГеФгий Алек ееви , Х Фзаик.
25 аХ ел (55) — ПАНАСЕНКО ЛеФид НикФлаеви , Х Фзаик.
14 и Т (80) — ПОТЕХИН Ва илий ЕвдФвиУФви , Х бли и Ш
16 и л (55) — БОЛОТИН ВладиУи ИваТФви , ХФЦХ бли и Ш
19 авг Ш (55) — ВЕРЕМЕЕНКО ЕвгеТий Алек ееви , Х Фзаик.
14 ФШб (70) — БАРТОШИН ВикФ СИХаТФви , Х Фзаик.
18 ФШб (50) — АБДУРАИМОВ Ва ви ЭТТаТФви , Х бли и Ш
21 ФШб (55) — ЕФАНОВ ЛеФид Алек аТд Фви , Х Фзаик..
27 ФШб (45) — КРАМАРЕНКО ВикФ ВикФФви , ХФШ
17 ТФб (55) — ШКОДИН Алек аТд ДуиШиеви , ХФШ
4 декаб (55) — ПОРТОВ (РАПОПОРТ) Ю ий Ил и , аШ ик.



САМЫЕ ТЕПЛЫЕ, ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДОРОГИМ
НАШИМ ПИСАТЕЛЯМ-ЮБИЛЯРАМ И ДОБРЫЕ
ПОЖЕЛАНИЯ ЕЩЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ РАДОВАТЬ НАС И
ЧИТАТЕЛЕЙ НОВЫМИ КНИГАМИ, НОВЫМИ
ТВОРЧЕСКИМИ СВЕРШЕНИЯМИ!

Правление “Брегов Тавриды”



Державний комітет зв'язку України

АБОНЕМЕНТ На журнал **30400**
(індекс видавництва)

«Брега Тавриды»
(найменування видання)

Кількість комплектів	
----------------------	--

на 200 ____ рік по місяцях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куди (поштовий індекс)

Кому (адреса)

(прізвище, ініціали)

ДОСТАВНА КАРТКА - ДОРУЧЕННЯ

На журнал **30400**
(індекс видавництва)

«Брега Тавриды»
(найменування видання)

ПВ	місяць	літер	Кількість комплектів	

Вартість

передплати	грн.	коп.	Кількість комплектів
переплатувача	грн.	коп.	

на 200 ____ рік по місяцях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

поштовий індекс	місто
код вулиці	село
	область
буд.	район
	вулиця

буд. корп. кв. прізвище, ініціали

